Цена 90 коп. Индекс 70331

14

Читайте:

ЗНАМЯ 3 / 1989

Борис СЛУЦКИЙ. «Капли времени». Стихи

Александр АВДЕЕНКО. «Отлучение». Автобиографический роман

Олег ЕРМАКОВ. Рассказы

Владислав ХОДАСЕВИЧ. «Колеблемый треножник». Речь о Пушкине. Фрагменты о Лермонтове. «Четыре звездочки взошли на небосводе...» (стихотворение)

Рой МЕДВЕДЕВ. «Сталин и сталинизм». Исторические очерки (продолжение)

Знамя, 1989, № 2, 1—240

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1989

Февраль



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга вторая
ФЕВРАЛЬ
1989

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Яков Хелемский

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Февраль

Из тетрадей военного корреспондента

Дотла разграблена избенка.
Огонь печи почти потух.
Старуха над больным ребенком
Склонилась, кутаясь в кожух.

Фанерой забрано окошко.
В дому студеный полумрак.
Забытая врагами плошка,
Оплыв, мерцает кое-как.

Вопросы задавать нелепо.
Закрой блокнот.
Все, чем богат,
Оставь хозяйке. Пайку хлеба.
Тушенку. Пшенный концентрат.

Добавь таблетки аспирина
И сахар в крошках табака.
...А за окном ревут машины,
Идут по зимнику войска.

Окрепнув, обретя оружье,
Идут, нашествие тесня.
Грохочет, устремляясь к Зуше,
Заиндевевшая броня.

Ну что ж, пора и мне. В дороге
Усталость легче побороть.
Задерживаюсь на пороге.
Вослед: «Храни тебя господь!»

Под гулкий танковый раскат
Малыш, проснувшись, кличет бабку.
Он жалуется: «Знобко... Зябко...»,
Помедлив, добавляет: «Кальт...» [1].

Февраль 1942
Мценское направленне

[1] Kalt — холодно *(немецк.)*

★

Выцветшая газета. Послевоенный год.
Тягостная замета — лето двойных невзгод.
Засуха сорок шестого, испепелив хлеба,
Не пощадила и Слово — всех обожгла судьба,
Словно сражений гарью снова затмился свет,
Каждого облагая данью утрат и бед.

Выцветшая газета. Душной стихии злей
Пагубный слог навета, окрика суховей.
После победы нашей выдался год крутой,
Грубо тесня бесстрашье страхом и немотой.
И, обмелев, иссякли разум, душа, река.
Дождика бы! Ни капли... Свежести! Ни глотка...

Пахаря и поэта, плоть и певучий дух
Вдруг покарало лето худшей из голодух.
Горе столбцам журнальным и опаленным полям,
Двум именам опальным и, безымянным, нам.
Влагу подарит небо, поле вздохнет и луг.
Станет побольше хлеба. Страх отомрет не вдруг.

...К финишу век суровый движется, обновив
Произношенье слова и колошенье нив.
Все же пережитое часто тревожит нас.
Лето сорок шестое. Памяти строгий глас.
Горя двойного знаки. Послевоенный год.
Выгоревшие злаки. Совести недород.

1986 г.

★

Безмерно славен, богоравен,
Сановен и в сужденьях строг,
Сказал о лирике Державин:
— Ц в е т у щ и й слог.

Воздал он слогу по заслугам
И слово новое изрек,
Сравнил с благоуханным лугом
Соцветья строк.

Сравненье, словно предсказанье...
Лицея актовый чертог.
Стихи в завороженном зале,
Судьбы пролог.

Благословленное предтечей
Начало пушкинских дорог.
Цветение российской речи
На вечный срок.

1987 г.

Борис Куняев

Танковый десант

Худые, в гимнастерках чистеньких,
Мы лезли на броню гурьбою,
Еще не знавшие статистики,
Законов танкового боя.

Когда ревут стальные полчища,
Взвалив десант на бычьи спины,
То командир живет лишь полчаса,
А рядовые — половину.

Навстречу било пламя рыжее.
Мы жались к раскаленной башне.
А лейтенант горланил: «Выживем!
Нам только взять окоп на пашне!»

И мир чадил горелым мясом.
И мы чужую сталь таранили...
Атака длилась меньше часа.
В живых от роты —
двое раненых.

Ной Рудой

★

Совсем недавно в мастерской протезной
Примеривал я свой протез железный
Среди таких же, как и я, солдат,
Которым далеко за шестьдесят.
Был юноша на костылях средь нас,
И рвался из его усталых глаз
Мне душу обжигающий упрек:
«Чтó мой отец — он знать войну не мог...
Но ты, узнавший ужас тех дорог,
Как ты, скажи, меня не уберег?..»

Георгий Владимов

ВЕРНЫЙ РУСЛАН

ИСТОРИЯ КАРАУЛЬНОЙ СОБАКИ

Что вы сделали, господа!

М. Горький. «Варвары»

1

Всю ночь выло, качало со скрежетом фонари, брякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось, и пришел хозяин. Он сидел на табурете, обхватив колено красной набрякшей рукою, и курил — ждал, когда Руслан доест похлебку. Свой автомат хозяин принес с собою и повесил на крюк в углу кабины — это значило, что предстоит служба, которой давно уже не было, а поэтому есть надлежало не торопясь, но и не мешкая.

А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести ее в угол и затолкать в подстилку, чтобы уж потом разгрызть как следует — в темноте и в одиночестве. Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал все мясо на всякий случай — опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться. Бережно ее передвигая носом, он вылакал навар и принялся сглатывать комья теплого варева, роняя их и подхватывая, — как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо:

— Готов?

И, уже вставая, кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось, но Руслан не подал виду, чтоб это его удивило или обидело, а поднял взгляд к хозяину и качнул тяжелым хвостом — в знак благодарности за кормежку и что он готов ее отслужить тотчас. На косточку он взглянуть себе не позволил, лишь наспех полакал из пойлушки. И был совсем готов.

— Пошли тогда.

Хозяин предложил ему ошейник, Руслан с охотой в него потянулся и задвигал ушами, отзываясь на прикосновения хозяевых рук, застегивающих пряжку, проверяющих — не туго ли, вдевающих карабинчик в кольцо. Сколько-то поводка хозяин намотал на руку, а самый конец прикрепил к поясу, — так все часы службы они бывали связаны и не теряли друг друга, — свободной рукою подбросил автомат и поймал за ремень, закинул за спину вспотевшим стволом книзу. И Руслан привычно занял свое место — у левой его ноги.

Они прошли сумрачным коридором, куда выходили двери всех кабин, забранные толстой сеткой, — сквозь прутья влажно блестели косящие глаза, некормленые собаки скулили, бодали сетку крутыми лбами, а в дальнем конце кто-то лаял навзрыд от злой, жгучей зависти, — и Руслан чувствовал гордость, что его нынче первым выводят на службу.

Но едва открылась наружная дверь, как белый, слепяще яркий свет хлынул ему в глаза, и он, зажмурясь, отпрянул с рычанием.

— Нно! — сказал хозяин и рванул поводок. — Засиделся, падло. Чо пятисси, снега не видал?

Вон что выло, оказывается. И вон как улеглось — толстым пушистым

Георгий Николаевич Владимов известен советскому читателю как автор повести «Большая руда» (1961 г.) и романа «Три минуты молчания» (1969 г.), опубликованных в журнале «Новый мир» и затем изданных отдельными книгами. С 1983 года Г. Владимов живет в ФРГ.

покровом по безлюдному плацу, по крышам казармы, складов и гаража, шапками на фонарях, на скамейках вокруг окурочного ящика. Сколько же раз это выпадало на его веку, а всегда в диковинку. Он знал, что у хозяев это зовется «снег», но не согласился бы, пожалуй, чтоб оно вообще как-нибудь называлось. Для Руслана оно было просто — белое. И от него все теряло названия, все менялось, привычное глазу и нюху, мир опустел и заглох, все следы спрятались. Лишь четкая виднелась цепочка от кухни к порогу — это хозяевы сапоги. В следующий миг белое кинулось ему в ноздри и всего объяло волнением; он окунул в него морду по брови и пропахал борозду, забил им всю пасть; отфыркавшись, даже пролаял ему что-то нелепо-радостное, приблизительно означавшее: «Врешь, я тебя знаю!» Хозяин его не придерживал, распустил поводок на всю длину, и Руслан то отставал, то вперед забегал — уже белобородый, с белыми ресницами и бровями — и не мог успокоиться, надышаться, нанюхаться.

Оттого-то он и допустил маленькую оплошность — не взглянул, куда следует, когда тебя выводят на службу. Но что-то, однако, насторожило его, он вздел высоко уши и замер. Явилась неясная тревога. Справа были ошкуренные столбы и проволока с колючками, а дальше — пустынное поле и темная изузубренная стена лесов, и слева такие же столбы и проволока, и такого же поля кусок, но с разбросанными по нему бараками — низкими, как погреба, из бревен, почерневших от старости. И как всегда, они на него глядели заиндевелыми, пустыми, как бельма, окошками. Все стояло на месте, никуда не сдвинулось. Но необычайная, неслыханная тишина опустилась на мир, шаги хозяина вязли в ней, точно он ступал по войлочной подстилке. И странно: никто в тех окошках не продышал зрачка — полюбопытствовать, что на свете делается (ведь люди в этом отношении нисколько не отличаются от собак!), — и сами бараки выглядели странно плоскими, как будто намалеванными на белом, и ни звука не издавали. Как будто все сразу, кто жил в них, шумел и вонял, вымерли в одну ночь.

Но — если бы вымерли, то ведь он бы это почувствовал! Не он, так другие собаки, — кому-то же это непременно приснилось бы, и он бы всех разбудил воем. «Их там нет, — подумал Руслан. — Куда ж они делись?» Но тут же он устыдился своей недогадливости. Не вымерли они, а — убежали. Он весь затрепетал от волнения, задышал шумно и жарко; ему захотелось натянуть повод и потащить хозяина, как это бывало в редкие, необыкновенные дни, когда они пробегали иной раз по нескольку верст и все-таки догоняли, ни разу не было, чтоб не догнали! — и начиналась настоящая Служба, лучшее, что пришлось Руслану изведать.

Однако ж, не все укладывалось — даже и в редкое, необыкновенное. Он знал слово «побег», различал даже «побег одиночный» и «групповой», но в такие дни всегда бывало много шума, нервозной суеты, хозяева с чего-то орали друг на друга, да и собакам доставалось ни за что, и они — в ошеломлении, в беспамятстве — затевали свою грызню, утихавшую лишь с началом погони. Такой тишины он не слышал ни разу, и это наводило на самые ужасные подозрения. Похоже, ударились в побег все обитатели бараков, а хозяева — за ними, и так поспешно, что даже не успели прихватить собак, а без них какая же может быть погоня! И теперь лишь они вдвоем, хозяин и Руслан, должны всех найти и пригнать на место — все смрадное, ревущее, обезумевшее стадо.

Он почувствовал томление и страх, от которого захолодело в брюхе, и забежал поглядеть на лицо хозяина. Но и с хозяином что-то неладное сделалось: так непривычно он сутулился, хмуро поглядывая по сторонам, а руку, продетую сквозь автоматный ремень, держал не на ремне, как всегда, а сунул зябко в карман шинели. Руслан подумал даже, что и у него там, в животе, захолодело, и ничего удивительного, когда им сегодня такое предстоит. Он приник к шинели хозяина, потерся об нее плечом — это значило, что он все понимает и на все готов, пусть даже и умереть. Руслану еще не приходилось умирать, но он видел, как это делают и люди, и собаки. Страшней ничего не бывает, но если вместе с хозяином — это другое дело, это он выдержит. Только хозяин не заметил его прикосновения, не ободрил ответно, как всегда делал, кладя руку на лоб, и вот это уже было скверно.

Внезапно он увидел такое, что шерсть на загривке сама собою вздыбилась, а в горле заклокотало рычание. Он не отличался хорошим зре-

нием,— и знал за собою этот грех, честно его искупая старательностью и чутьем,— главные ворота лагеря бросились ему в глаза, когда они с хозяином уже вошли через калитку в предзонник. И так странен был вид этих ворот, что и представить себе невозможно. Они стояли — открытые настежь, поскрипывая от ветра в длинных оржавленных петлях, и никто к ним не бежал с криками и стрельбою, спеша затворить немедленно. Мало этого, и вторые, с другой стороны предзонника, никогда не открывавшиеся с первыми одновременно, и они были настежь; белая дорога вытекала из лагеря, не разгороженная, не расчерченная в решетку, и убегала к темному горизонту, в леса...

А что с вышкой сделалось! Она совсем ослепла — один прожектор валялся внизу, заметенный снегом, другой, оскалясь разбитым стеклом, повис на проводе. Исчезли с нее куда-то и белый тулуп, и ушанка, и черный ребристый ствол, всегда повернутый вниз. Линялый кумач над воротами еще остался, но кем-то изодранный в лохмотья, безобразно свисавшие, треплемые ветром. А с этим красным полотнищем, с его белыми таинственными начертаниями[1] у Руслана свои были отношения: слишком запечатлелось в его душе, как черными вечерами после работы, в любую погоду — в стужу, в метель, в ливень — останавливалась перед ним колонна лагерников, с хозяевами и собаками по бокам, и оба прожектора, вспыхнув, сходились на нем своими дымными лучами; оно все загоралось — во весь проем ворот, и невольно лагерники вскидывали головы и, ежась, впивались глазами в эти слепяще-белые начертания. Всей затаенной мудрости их не дано было постичь Руслану, но и ему тоже они щипали глаза до слез, и на него тоже вдруг нападали трепет, сладостная печаль и восторг невозможный, от которого внутри обморочно замирало.

Эти утраты и разрушения ошеломили Руслана, он растерялся перед наглостью беглецов. Как они были уверены, что теперь-то их не догонят! И как все заранее знали — что выпадет снег и заметет все следы, и как трудно собаке работать на холоде. Но самое скверное, что они особенно и не таились: ведь отлично же он помнил, как все последние непонятные дни, когда собаки изнывали без службы и приходил только хозяин Руслана, и то — без автомата, покормить их и дать немножко размяться в прогулочном дворике,— как все это время вели себя лагерники. В высшей степени странно: расхаживали по всей жилой зоне табунами, визжали гармошкой, горланили песни, а то еще и собак принимались передразнивать — так непохоже и безо всякого смысла. И как же хозяин ничего этого не замечал, когда буквально все собаки чувствовали неладное и от злой тоски грызли свои подстилки!

Руслан не винил хозяина, не упрекал его. Он уже был немолод и знал — хозяева иногда ошибаются. Но им это можно. Это нельзя собакам и лагерникам, которые всегда отвечают за свои ошибки, а часто и за ошибки хозяев. И коли так вышло, эту ошибку — он знал — ему придется разделить с хозяином и помочь исправить ее, чего бы это ни стоило. И думая о том, как ловко беглецы обвели хозяина, он просто растравлял себя для дела, растил в себе злобу, пока не озлился по-настоящему. Злоба его была желтого цвета. В желтое окрасились небо и снег, желтыми сделались лица беглецов, в ужасе оборачивающихся на бегу, желтыми бликами замелькали подошвы. Увидев все это вживе, он не выдержал, рванулся с яростным лаем, натягивая широкий сыромятный повод, выволок хозяина за собою в ворота.

— Ты что, ты что, падло! — Хозяин едва удержался на ногах. Он подтащил Руслана к себе и, чтоб успокоить, проделал свой обычный номер: привздернул его за ошейник, так что передние лапы повисли в воздухе. Руслан не рычал уже, а хрипел.— Куды рвёсси, в рай не успеешь? Там таких только не хватает.— Затем отпустил, отстегнул карабинчик, а поводок смотал и сунул в карман.— Вот теперь иди. Вперед иди, не ошибёсси.

Рукою он показывал в поле, вдоль белой дороги, и это одно могло

[1] На таких полотнищах писалось обычно: «ТРУД В СССР ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ, ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОИСТВА. И. СТАЛИН». *(Здесь и далее примечания автора.)*

значить: «Ищи, Руслан». Такие вещи Руслан понимал без команды. Только вот никакого следа он не чуял, намека даже на след.

Он взглянул на хозяина быстро и тревожно, близкий к отчаянию, и, опустив голову, взрывая снег носом, сделал положенный круг. Пахло иссохшими травами, прелью, мышами, золой, а людьми — нет. Не останавливаясь, он сделал второй круг — пошире. И опять ничего. Так давно они тут прошли, что глупо и пытаться вынюхать что-нибудь толковое. А соврать, куда-то наобум повести, а потом разыграть истерику, что сам же хозяин что-то напутал, а от него требует,— этих штук он не позволял себе. И ничего не мог напутать хозяин, они ушли в ворота, это яснее ясного, вот и танцуй от ворот. Скоро он лишился сил, почувствовал себя как будто выпотрошенным и плюхнулся в снег задом. Вывалив набок дымящийся язык, виновато помаргивая, прядая ушами, он честно признался в своем бессилии.

Хозяин смотрел на него и недобро кривил губы. Ни малого сочувствия Руслан не нашел в его глазах,— в двух таких восхитительных плошках, налитых мутной голубизною,— а только холод и усмешку. И захотелось распластаться, поползти на брюхе, хоть он и знал всю бесполезность мольбы и жалоб. Все, чего хотели эти любимейшие в мире плошки, всегда делалось, сколько ни скули и хоть сапоги ему вылизывай, смазанные вонючим едким гуталином. Руслан когда-то и пробовал это делать, но однажды увидел, как это делал человек — и человеку это не помогло.

— Может, подалее? — спросил хозяин.— Или тут хочешь, к дому поближе? — Он оглянулся на ворота и медленно потянул автомат с плеча.— Один хрен, можно и тут.

Руслана забила дрожь, и неожиданною зевотой стало разламывать челюсти, но он себя пересилил и поднялся. Иначе и не мог он. Все самое страшное зверь принимает стоя. А он уже понял, что оно пришло к нему в этот белый день, уже минуту назад случилось — и дальнейшего не избежать, и даже винить тут некого. Кто виноват, что вот и он перестал п о н и м а т ь, ч т о к ч е м у?

Он знал хорошо, что́ за это бывает, когда собака перестает понимать, что к чему. Тут не спасают никакие прежние заслуги. Впервые на его памяти это случилось с Рексом, весьма опытным и ревностным псом, любимцем хозяев, которому Руслан по молодости сильно завидовал. День Рексова падения был самый обычный, ни у кого из собак не возникло предчувствия: как обычно, приняли тогда колонну от лагерной вахты и, как обычно, всех пересчитали, и были сказаны обычные слова. И вот здесь, едва от ворот отошли, один лагерник вдруг закричал дико, точно его укусили, и кинулся наутек. Безумец, куда бы он делся в открытом поле, да на виду у всех! Он никуда и не делся, еще его вскрик не умолк, как автоматы загрохотали в три, в четыре ствола, а с вышки еще добавил пулеметчик. Да, на такие вот глупости, как ни странно, способны иногда двуногие! Но своей глупостью он сильно подвел Рекса, который шел рядом и должен был держаться начеку и все предчувствовать заранее, а если уж прозевал, допустил оплошность, то кинуться следом и повалить немедленно. А Рекс, увлекшись зрелищем, сел с высунутым языком и допустил, чтобы еще трое нарушили строй и кричали на хозяев, размахивая руками. Их тут же загнали на место прикладами, помогли и собаки, но Рекс-то даже в этом не участвовал! Он совсем перестал понимать, что к чему. Он кинулся к тому человеку, в поле,— который уже и не хрипел! — и впился в его правую руку. Это было так глупо, что сам он даже не рычал при этом, а скулил прежалким образом. Хозяин Рекса оттащил его и при всех поддал ему хорошенько сапогом под брюхо. В этот день Рексу еще доверили конвоировать, но все собаки поняли — случилось непоправимое, и Рекс это понял лучше всех. Весь вечер после службы он переживал свой позор. Он лежал, как больной, носом в угол кабины, и не притронулся к еде, а ночью вдруг принимался выть, так что все собаки с ума сходили от страшных предчувствий и глаз не могли сомкнуть. Наутро хозяин Рекса пришел за ним, и как ни скулил Рекс, сколько ни лизал ему сапоги, ничего не вышло. Его повели за проволоку, в поле, все слышали короткую очередь, и Рекс не вернулся. Не то чтобы он сразу исчез навсегда — еще несколько дней его присутствие слышалось в зоне, и неподалеку от

дороги собаки видели его вздувшийся бок, по которому расхаживали вороны, и вспоминали ужасную ошибку Рекса. Потом и следа не осталось. Рексову кабину помыли с мылом, сменили кормушку и подстилку, повесили другую табличку на дверь, и там поселился новичок Амур, у которого все было впереди.

Рано или поздно так случалось со всеми. Одни теряли чутье или слепли от старости, другие слишком привыкали к своим подконвойным и начинали им делать кое-какие поблажки, третьих — от долгой службы — постигало страшное помрачение ума, заставлявшее их рычать и кидаться на собственного хозяина. А конец был один — все уходили дорогою Рекса, за проволоку, лишь одно помнилось исключение, когда собака умерла в своей же кабине. Когда Бурану в схватке с двумя беглецами перебили спину железной трубой, хозяева принесли его из лесу на шинели, гладили его и трепали за ухом, говорили: «Буран хороший, Буран молодец, задержал, задержал!», не знали, чем только его накормить. А к вечеру чем-то таким накормили, что он тут же издох в корчах.

Так уж повелось, что служба для собаки всегда кончалась смертью от руки хозяина, и восемь лет, прожитых в зоне лагеря, Руслана не покидало ощущение, что это и ему когда-нибудь предстоит. Оно страшило его, навевало кошмарные сны, от которых он просыпался с жуткими завываниями, но понемногу он свыкся с ним, понял, что избежать ничего нельзя, но отдалить — можно, только нужно стараться, стараться изо всех сил. И предстоявшее стало ему казаться естественным завершением службы, таким же, как она сама, честным, правильным и почетным. Ведь ни одна собака все-таки не пожелала бы себе другого конца — чтобы ее, к примеру, выгнали за ворота и предоставили побираться вместе с шелудивыми дворнягами, откуда-то прибегавшими к мусорному отвалу подхарчиться гнильем с кухни. Не пожелал бы этого и Руслан.

Поэтому не ползал он, не скулил о пощаде, не пытался бежать. Если б увидел хозяин его глаза — желтые, подолгу не мигающие, с четкими, как вороненые дула, провалами зрачков, — то не прочел бы в них ни злобы, ни муки, ни мольбы, а лишь покорное ожидание. Но хозяин смотрел куда-то поверх его темени и ствол автомата отводил к небу. Что-то позади Руслана мешало ему стрелять. Руслан оглянулся и разглядел, что. Он это и раньше различал краем глаза, слышал вполуха тарахтенье и лязг, но заставил себя ничего не замечать, весь занятый поисками следа.

По белой дороге к лагерю двигался трактор. Он полз медленно, как будто сто лет уже как сжился с этим снежным полем и с этим белесым сводом небес, и их без него невозможно было себе представить. Поводя ощеренным глазастым рылом, весь в копоти и струящемся воздухе, он тащил сани-волокушу; на них, покачиваясь, сползая с дороги, плыло что-то еще огромней его, малиново-красное; когда приблизилось оно, стало видно, что это товарный вагон без колес, прикрученный ржавыми тросами.

Руслан заворчал и ушел с дороги подальше. Тракторы были ему не внове — они вывозили бревна с лесоповала, и ничего хорошего он из знакомства с ними не вынес. От черного выхлопа у него надолго пропадало чутье, и он делался самым беспомощным существом на свете. И к тому же на них работали вольняшки, народ ему чужой и очень странный; они всюду расхаживали без конвоя и к хозяевам относились без должного почтения. Но, впрочем, дорогу в рабочую зону они находили сами; колонна еще только втягивалась в лес, а уж они там вовсю тарахтели. Неприятный народ.

Трактор подполз и остановился, но не затих, что-то в нем возмущенно подвывало, и сквозь этот шум водитель прогаркал хозяину свое приветствие. Руслана оно поразило до крайности. Так, сколько помнилось ему, не обращался к хозяину ни один двуногий:

— Здорово, вологодский!

Возмущал уже самый вид водителя — этакая лоснящаяся багровая харя, с губастой огнедышащей пастью, с ухмылкою до ушей. Из-под шапки, которую он не снял перед хозяином, слетал на лоб слипшийся белобрысый чуб, вещь для лагерника немыслимая, как и обращение к хозяину сразу с несколькими вопросами:

— Ты не меня ли ждешь? Чо, не слышно, чо говорю? Бытовку вон те пригнал, куды ее, дуру, ставить прикажешь? Или ты чо — не за начальника? Пропуска проверяешь? Так я не захватил. Потом еще, гляди, не выпустишь, а?

И он возмутительно, противно заржал, навалясь на дверцу, поставив ногу в валенке на гусеницу. Хозяин на его ржанье и на вопросы не отвечал. И Руслан знал, что и не ответит. Эта привычка хозяев не переставала восхищать Руслана: на вопросы лагерника они отвечали очень не сразу или совсем не отвечали, а лишь глядели на него — холодно, светло и насмешливо. И не проходило много времени, прежде чем любитель спрашивать опускал глаза и втягивал голову в плечи, а у иного даже лицо покрывалось испариной. А ведь ничего плохого хозяева ему не причиняли, одно их молчание и этот взгляд производили такое же действие, как поднесенный к носу кулак или клацанье затвора. Поначалу Руслану казалось, что с этим своим волшебным уменьем хозяева так и родились на свет, но позднее он заметил, что друг другу они отвечали охотно, а если спрашивал Главный Хозяин, которого они звали «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца», так отвечали очень даже быстро и руки тянули вдоль штанов. Отсюда он и заподозрил, что хозяев тоже специально учат, как себя вести с лагерниками, — совсем как и собак!

— А ты чего невеселый? — спросил водитель. Он не опустил глаза, не втянул голову в плечи, лицо у него не покрылось испариной, а только приняло сочувственный вид. — Жалко, что служба кончилась? И вроде бы жизнь опять начинай, верно? Ничо, не тужи, пристроишься. Только в деревню не езжай, не советую. Слыхал насчет пленума? Особенно не полопаешь.

— Проезжай, — сказал хозяин. — Много разговариваешь.

Однако дороги трактору не уступил. И автомат держал крепко обеими руками у груди.

— Это есть, — согласился водитель, — это за мной числится. Люблю это... языком об зубы почесать. А что делать, ежели чешется?

— Я б те его смазал, — сказал хозяин. — Ружейной смазкой. Он бы не чесался.

Водитель опять заржал.

— Умрешь с тобой, вологодский! Ну, однако, красив же ты — с пушкой. Ты хоть на память-то снялся? А то не поверит маруха, не полюбит. Им же, стервям, чтоб пушка была, а человека-то — и не видют.

Хозяин не отвечал ему, и он спохватился:

— Так куда, ты говоришь, ее ставить, бытовку-то?

— Где хошь, там и ставь. Мне дело большое!

— Ну, все ж ты тут за начальство.

— На кой ты ее пер — в бараках не поживете?

— В бараках не! Лучше в палаточках.

Хозяин повел нетерпеливо плечом.

— Ваше дело.

Водитель кивнул и, все еще сияя харей, уселся, потянул дверцу, но вдруг его взгляд наткнулся на Руслана. Он как бы что-то вспомнил, на лбу отразилась работа мысли, проступила жалостная морщинка.

— А ты чего это — пса в расход пускаешь? Я-то думаю — тренировка у них. Еду, смотрю — чего это он его тренирует, когда уж на пенсию пора? А ты его, значит, к исполнению... А может, не надо? Нам оставишь? Песто дорогой. Чего-нибудь покараулит, а?

— Покараулит, — сказал хозяин. — Не обрадуешься.

Водитель поглядел на Руслана с уважением.

— А перевоспитать?

— Кого можно, тех уже всех перевоспитали.

— Н-да. — Водитель скорбно покачивал головой. — Самое тебе, вологодский, хреновое дело доверили — собак стрелять. Ну порядочки! За службу верную — выходное пособие девять грамм. А почему ж ему одному? Ты-то что — не служил?

— Ты проедешь? — спросил хозяин.

— Ага, — сказал водитель. — Проеду.

Взгляды их встретились в упор: неподвижный, ледяной — хозяина, и смурной, бешено-веселый — водителя. Трактор взревел, окутался черными клубами. Хозяин шагнул нехотя в сторону. Но трактор выбрал себе

другой путь,—дернувшись, отвернул свое рыло от ворот и пополз наискось целиною, взрыхляя траками Неприкосновенную полосу.

Злоба, мгновенно вспыхнувшая, выбросила Руслана одним прыжком на дорогу. Малиновая краснота вагона и визг полозьев, уминающих рваную грязную колею, привели его в неистовство, но видел он ясно лишь одно—толстый локоть водителя в проеме дверцы; в него жаждалось впиться, прокусить до кости. Руслан зарычал, взвыл, роняя слюну, косясь на хозяина моляще,—он ждал от него и выпрашивал «фас». Сейчас прозвучит оно, уже лицо хозяина побелело и зубы стиснулись, сейчас оно послышится—красно вспыхивающее и будто не изо рта вылетающее, а из брошенной вперед руки: «Фас, Руслан! Фас!»

Тогда-то и начинается настоящая Служба. Восторг повиновения, стремительный яростный разбег, обманные прыжки из стороны в сторону—и Враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться. И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним вместе падаешь, рычишь неистово над искаженным его лицом, но берешь только руку, только правую, где что-то зажато, и держишь ее, держишь, слыша, как он кричит и бьется, и густая теплая одуряющая влага тебе заливает пасть,—покуда хозяин силою не оттащит за ошейник. Тогда только и почувствуешь все удары и раны, которые сам получил... Давно прошли времена, когда ему за это давали кусочек мяса или сухарик, да он и тогда брал их скорее из вежливости, чем как награду, есть он в такие минуты все равно не мог. И не было наградою, когда потом, в лагере, перед угрюмым строем, его понукали немножко порвать пойманного,— ведь тот уже не противился, а только вскрикивал жалко, и Руслан ему терзал больше одежду, чем тело. Лучшей наградой за Службу была сама Служба—даже странно, при всем их уме хозяева этого недопонимали, считали должным еще чем-нибудь поощрить. Где-то на краешке его сознания, в желтом тумане, чернело, не стерлось и то, что хозяин задумал сделать с ним самим, но пусть же оно потом случится, а сначала пусть будет вот эта Служба-награда, пусть ему скажут напоследок «фас» — и хватит у него силы и бесстрашия вспрыгнуть на лязгающую гусеницу, выволочь Врага из кабины, стереть с его наглой хари эту ухмылку, которую не согнал и всевластный взгляд хозяина.

Нетерпение сводило ему челюсти, он мотал головою и скулил, а хозяин все медлил и не кричал «фас». А в это время делалось ужасное, постыдное, что никак делаться не могло. Сипло урчащее рыло ткнулось в опорный столб, точно понюхало его, и злобно взревело. Оно не двигалось с места, а гусеницы ползли и ползли, и столб скрежетал в ответ; он тужился выстоять, но уже понемногу кренился, натягивая звенящие струны, и вдруг лопнул — с пушечным грохотом. Ему теперь только проволока не давала завалиться совсем, но рыло упрямо лезло вперед, и проволока, струна за струною, касалась снега. Гусеницы подминали ее, собирали в жгуты, а потом по ним с визжанием проползли полозья. И когда опять показался столб, то лежал, как человек, упавший навзничь с раскинутыми руками.

Там, в зоне, трактор остановился, теперь уже довольно урча. Водитель вылез поглядеть на содеянное. Он тоже остался доволен и весело прогаркал хозяину:

— Что б ты без меня делал, вологодский! Учись, пока я жив. А ты все собак стреляешь.

Его грудь, в распахнутом ватнике, была так удобна, открыта для выстрела. Но хозяин уже повесил автомат на сгиб локтя, вытащил из-под шинели и раскрыл портсигар, постучал папиросою по крышке. Он посмотрел на рисунок на этой крышке, который сам же и выколол сапожным шилом, и усмехнулся. Он любил смотреть на свою работу и всегда при этом усмехался чему-то, а когда показывал ее другим хозяевам, те чуть не падали от рёгота. И, пряча портсигар, он с этой же усмешкой смотрел, как трактор прокладывает свой страшный путь ко второму ряду и там опять трудится у столба, который оказался покрепче, так что пришлось его несколько раз бодать с разбега.

Когда и он завалился, хозяин повернулся наконец к Руслану—и точно впервые увидел его.

— Ты тут еще, падло? Я ж те сказал—иди. Кому я сказал?—Он вытянул руку с дымящейся папиросой—опять вдоль дороги, к лесам.— И чтоб я тя не видел никогда, понял?

Понять его Руслан не то что не мог, но не согласился бы ни за что на свете. Впервые его не туда посылали, куда следовало немедля броситься, а совсем в другую сторону. Двуногий приблизился к проволоке, порвал ее и... был прощен, когда в других за это палили без окрика. И оттого еще лютее он возненавидел харю-водителя—который наглым своим озорством спас жизнь Руслану, а заодно и другим собакам, ожидавшим своей очереди в кабинах.

Однако он подчинился и пошел. Он прошел немного, услышал, что хозяин не идет за ним,— и оглянулся. Хозяин уходил обратно в зону, через проход, проделанный трактором, держа автомат за ремень, так что приклад едва не волочился по снегу. И, глядя на его ссутуленную спину, Руслан почувствовал вдруг, что и сам он, и автомат больше не нужны хозяину. От отчаяния, от стыда хотелось ему упасть задом в снег, задрать голову к изжелта-серому солнцу и излить ему свою тоску, которой предела не было. Еще худшим, чем он всегда страшился, оказался конец его службы: его затем вывели за проволоку, чтобы прогнать совсем, предоставить ему побираться с шелудивыми дворнягами, которых презирал он всей душою и едва ли за собак считал. Но почему же это? За что? Ведь не совершил он такого проступка, за который бы полагалась эта особенная, невиданная кара.

Но приказ хозяина был все же приказом, хоть и последним, поэтому Руслан побежал один по белой дороге к темному иззубренному горизонту.

Он знал, что будет бежать по этой дороге долго-долго,— может быть, целый день,— все через лес и лес, а в сумерках увидит с высокого холма, сквозь деревья, россыпь огней поселка. Там будут дощатые тротуары, смолисто пахнущие сквозь снег, и глухие заборы, высотою с барьер на учебной площадке, будет пахнуть дымом и вкуснотою от приземистых домишек, из которых сквозь толстые ставни едва пробивается в щелочки свет, а дальше запахнет другим дымом и поездами, и наконец он выбежит прямо к круглому скверику перед станцией.

А еще там будет широкая платформа, совсем крайняя, на которую можно вспрыгнуть с земли. Длинные ленты рельсов, изгибаясь, сплетаясь, текут мимо, днем иной раз голубые, а вечером—розовые. Но те рельсы, что подходят к платформе, всегда ржавые и сразу же за нею кончаются; загнутыми кверху концами они поддерживают черный брус с фонарем, всегда загорающимся красно, когда подходит тот самый поезд, которого ждали. Он может быть зеленый, с косыми решетками на окнах, а бывает и красный, совсем заколоченный, без единой щелочки. Здесь кончалась дорога Руслана—единственная, которую он знал.

Он бежал мерной, неспешной рысью, но вдруг, спохватившись, припустил вовсю. Он догадался, зачем посылали его. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарь и в знакомый тупик медленно втянется поезд с беглецами.

2

Утром другого дня путейцы на станции наблюдали картину, которая, верно, поразила бы их, не знай они ее настоящего смысла. Десятка два собак собрались на платформе тупика, расхаживали по ней или сидели, дружно облаивая проносившиеся поезда; в их голосах явственно слышался изрядной толщины металл. Были эти собаки почти одного окраса: с черным ремнем по спине, делящим широкий лоб надвое, отчего казался он угрюмым, короткость ушей и морды еще добавляла свирепости; стальной цвет боков постепенно менялся — от сизо-вороненого к ржавчине, к апельсинно-оранжевому калению, а на животе вислая шерсть отливала оттенком, который хотелось назвать «цвет зари». Светились зарею пушистый воротник на горле, тяжелое полукольцо хвоста и крупные мускулистые лапы. Звери были красивы, были достойны, чтоб ими любовались не издали, но взойти на платформу к ним никто не отважился, здешние люди знали—сойти с нее будет много сложнее.

Проходили часы, и проносились поезда — красные товарняки и зеленые экспрессы, голоса у собак скудели, металл заметно терял в толщине, а в сумерках сделался тоньше жести. Все меньше собаки расхаживали, все чаще присаживались и прилегали, тупо уставясь в розовеющие полоски рельсов. Пробыв на платформе до темноты и своего не дождавшись, они сгрудились в стаю, дружно сошли наземь и разбрелись по улицам поселка.

Повторялось это и в следующие дни, но внимательный наблюдатель мог заметить, что раз от разу собак приходило все меньше и уходили они быстрее, а в металле появилась надтреснутость. Вскоре он и совсем умолк, пятеро или шестеро собак, не изменивших своему расписанию, никого уже не облаивали и не обскуливали, лишь покорно отсиживали свои часы.

В самом поселке их появление вызвало поначалу тревогу. Слишком уж рьяно прочесывали они улицы, проносясь по ним аллюром с вываленными из разверстых пастей лиловыми дымящимися языками. Однако ни разу они никого не тронули. А вскоре увидели, как они собираются словно бы для каких-то своих совещаний, часто оглядываясь через плечо и не допуская в свой круг посторонних. Своя была у них жизнь, а в чужую они не вторгались. Не замечали детей и женщин, подчас ненароком задевая их на бегу — и удивляясь передвижению в пространстве странного предмета. Привлекали их внимание одни мужчины, и тут избрали они себе наконец определенное занятие — сопровождать мужчин в разнообразных хождениях: в гости, в магазин или на работу. Завидев прохожего и установив еще за квартал его принадлежность к сильному полу, та или иная отделялась от стаи и пристраивалась к нему — чуть поодаль и позади. Проводив до места, возвращалась, ничего себе не выпросив. Когда же ей что-нибудь бросали съестного, собака рычала и отворачивалась, глотая судорожно слюну. Никто не знал, чем они живы, в эту свою заботу они тоже никого не посвящали. Было от них, правда, единственное беспокойство: они не любили, когда собиралось вместе более трех мужчин. Но трое — как раз законная норма на Руси, а в морозную зиму и не частая. И понемногу к собакам привыкли. Привыкли, наверное, и они к поселку, по крайней мере не собирались отсюда уходить.

Не мог привыкнуть один Руслан, да у него и времени не было для этого. Каждое утро он отправлялся по белой дороге к лагерю и часами сидел у проволоки. Он много важного имел сообщить хозяину: что поезд еще не пришел, но когда придет, то не будет не встречен, кто-нибудь из собак обязательно там караулит, что, в общем, пока устроились на первое время и живут дружно, ну и еще кое-чего по мелочи. Как он это сообщит — Руслана не заботило, он просто о том не задумывался, всегда как-нибудь да сообщал, а хозяин как-нибудь да ухватывал. Заботило и грусть наводило другое — то, что теперь творилось в зоне. Уже повалены были многие столбы, а меж неповаленными зияли в проволоке огромные безобразные проходы и лазы, а возле бараков жгли костры какие-то непонятные пришельцы. Они здесь сбрасывали кирпичи с грузовиков и складывали в штабеля, но всем этим занимались между прочим, а больше любили побороться на снегу, перекурить часик-другой или попеть хором, сидючи рядком на бревнах, — поди-ка, на тех же священных столбах! С особенным же удовольствием обыскивали женщин, похлопывая их по штанам или по груди, а те при этом шмоне хохотали или визжали как резаные. Слишком все это не походило на прежнюю жизнь прежних лагерников, и к тем беглецам чувствовал Руслан всевозрастающую нежность. Пожалуй, он бы простил их глупый побег, только б они вернулись и снова стали в красивые стройные колонны с хозяевами и собаками по бокам.

Очень хотелось ему войти в зону и хорошенько облаять пришлых — пусть помнят, что лагерь не им принадлежит и нечего устанавливать свои порядки. Но заходить за проволоку ему запретил хозяин, и только он мог снять свой запрет. Однако сумерки наступали, а хозяин не появлялся. Ни разу Руслан не напал на его след, не почуял любимый мужественный запах — ружейной смазки и табака, сильной, хорошо промытой молодости. Так, впрочем, пахло от всех хозяев, но Русланов еще любил душиться одеколоном, который он покупал в офицерском ларьке, и, кроме того, целый букет принадлежал ему одному, его х а р а к т е р у, а Руслан знал хорошо, что люди точно так же отличаются друг от друга характерами,

как и собаки. Потому-то и пахнет от всех по-разному, внюхайся — и не останется никакой загадки. К примеру, его хозяин — судя по этому букету — может быть, и не слишком храбр, но зато он не знает жалости; он, может быть, не чересчур умен, но зато он никогда никому не доверяет; его, быть может, не так уж и любят его друзья, но зато он застрелит любого из них, если это понадобится для Службы. И, все это зная про хозяина, Руслан себе живо представлял, каково ему там, среди чужих, как он всех подозревает и ненавидит и весь занят мыслями, как ему вернуть беглецов и как наказать других хозяев, позволивших им бежать. А в это время единственный, кто ему во всем поможет, сидит совсем рядом и ждет только, чтоб его позвали! В представлении Руслана хозяин был велик, всемогущ, наделен редкостными достоинствами и лишь одной слабостью: он постоянно нуждался в помощи Руслана. Когда бы не так — стоило ли прибегать сюда каждый день, коченеть на морозе часами и терзаться голодом?

Ведь с того утра — покормленный в последний раз — он мало что раздобыл поесть. В брюхе у него горело, тошнота изнуряла до одури, и все труднее было одолевать эту дорогу — туда и обратно. И все же он ни разу не взял из чужих рук, не подобрал ничего с земли.

Тайный и ненавистный враг поставил на его пути булочную — здесь пробивался Руслан сквозь вязкое, тормозящее бег, пьянящее облако, изливающееся из дверей при каждом взмахе. Однажды из этих дверей вышла женщина и кинула ему довесок, и Руслан как будто напоролся грудью на преграду. Едва хватило у него сил отвернуться и зарычать.

— На спор: не возьмет, — сказал женщине вышедший с нею мужчина. — Это ж лагерная, они спецзанятия проходили.

— Что ж она — отравы боится? Но я же вот ем — ничего! — С выражением умильно-ласковым она откусила от теплого каравая и сжевала, чмокая. — Видишь, собаченька, жива-здорова. Какая ж ты глупая!

Руслан равнодушно смотрел в сторону. Эти штуки он тоже знал: сами откусывают и им ничего, знают, с какого краю, а у тебя потом пламя разгорается в пасти и все брюхо выворачивает.

— На спор, — сказал мужчина.

Подобравши довесок, он поднес его со злорадством к самому носу Руслана. Глупый мучитель, ему в голову не пришло, что если собака у женщины не взяла, существа безразличного, так у него и подавно. Он только вызвал подозрение. Руслан проводил его до дому и запомнил этот дом.

Помогло неожиданное, все годы дремавшее в Руслане, а теперь пробудившееся представление, что еда — для него безопасная — должна быть живой. Бегающая, прыгающая, летающая, не могла же она быть кем-то подброшенной ему нарочно и, наверное, отравленной быть не могла — иначе б ее саму измучила отрава. А с давних дней погонь осталось в нем воспоминание о каких-то посторонних следах в лесу, окровавленных перьях, клочках шкуры, костях — остатках чьей-то живой добычи. В первый же свой поход он проверил себя и не обманулся. Он свернул с дороги, углубился в лес и через минуту стал охотником. Как будто всю жизнь только тем и занимался, он сразу научился разнюхивать подснежные ходы лесных мышей и пробивать снег лапой как раз в том месте, где мышь пробегала или затаилась. Скудная охота не утолила голода, но успокоила, вселила надежды. И помогла вернуться к своим обязанностям.

В остальном же было прескверно. И как еще может быть собаке, привыкшей спать в тепле на чистой подстилке, привыкшей, чтоб ее мыли и вычесывали, подстригали когти, смазывали ранки и ссадины, — лишившись всего этого, она быстро доходит до того предела, до которого не опустится и бродяга, бездомный от рождения. Бродяга себе не позволит спать посреди улицы, а тем более под колесом стоящего грузовика — Руслан именно так спал, и чудом его не задавили. Бродяга избежит греться на кучах паровозного шлака — Руслан это делал сдуру, и в несколько дней свалялась, полезла его густая шерсть, надежнейшая защита от холода, лапы покрылись расчесами и порезами. Он с каждым днем обтрепывался, тощал, себе самому делался противен. Но глаза горели все ярче — неугасимым желтым огнем исступления. И каждое утро, проверивши караул на платформе, он убегал к лагерю.

За все время никто из собак не бегал с ним. Еще в первый день, выпущенные из кабин, они обшарили всю зону и лагерь и поняли, что хозяева давно отсюда ушли и что одна надежда их увидеть — отправиться по цепочке Руслановых следов, которая и привела к платформе. Руслан оказался счастливее, его хозяин еще оставался в зоне, и чувствовалось это не нюхом даже, а сверхчутьем, верою необъяснимой, но и не обманывающей — как и представление о живой добыче.

Что станется, если и он уедет, Руслан даже думать боялся. Тогда, наверное, незачем станет жить. Потому что все в общем-то складывалось скверно. Да, служба несется, голод еще не заставил собак забыть о ней, но с некоторых пор при встречах с ними замечает Руслан — они его сторонятся, воротят угрюмые морды, а когда он приближается к стае — тут же расходятся. К тому же иным удается и выглядеть не такими отощавшими, как он, — небось не побрезговали падалью или помойкой, а может быть, — но как ужасно это заподозрить! — уже кое-кем совершен величайший грех: напросились на другую службу, во дворы, и были приняты, и берут теперь спокойно — из чужих рук! Но разве забыли они, разве не учили их: сегодня не отравили — отравят завтра, но отравят непременно!

И подозрения его подтверждались. Как-то он встретил Альму, они столкнулись нос к носу на углу двух заборов, и оба растерялись от этой встречи. Он не ждал увидеть ее такой сытой, веселой, переполненной какими-то своими радостями. Ему вспомнилось, кстати, что она давно перестала являться на платформу. Альма тоже была поражена, но тут же сделала вид, что не знает такого. А следом выскочил из ворот кривоногий гладкий кобель, угольно-черный и с белыми надглазьями, и побежал с нею рядышком по улице. И Альма ему, уроду, позволяла покусывать ее в плечо. Должно быть, она что-то сообщила ему на бегу, потому что кобель обернулся к Руслану толстой отвратной мордой и нагло ощерился. Это он угрожал — находясь на приличном расстоянии и под защитой своей же подруги! Руслан отвернулся с презрением и побрел своим путем.

Альма его не признала! А не дальше как позапрошлой весной хозяева их сводили вместе в углу двора, освободив от всякой службы — ради той особой, которой они придавали большое значение. На это время даже клички у него с нею переменились: хозяева их звали Жених и Невеста. Что вышло из этой службы, он никогда не узнал и долго потом не видел Альму, но совместное задание сблизило их необычайно; встречаясь после этого на большой Службе, они тянулись друг к другу, сколько позволяли поводки, и всячески выказывали расположение и приязнь. Он надеялся, что скоро их опять сведут вместе, но хозяева решили иначе: привезли ей откуда-то другого пса. Кажется, впервые в жизни Руслану хотелось себе подобного загрызть до смерти, но с тем псом он не встретился, даже имени его не узнал.

А с этим шпаком белоглазым и связываться не хотелось, до того все жалко выглядело и противно.

В другой раз он напал на след Джульбарса, старейшего из собак. След привел в сырую вонючую подворотню и дальше во двор, завешанный бельем и заваленный дровами. Здесь Руслан просто оторопел, увидев Джульбарса, лежащего на грязном половике, возле поленницы дров, — с таким видом, будто он охранял ее! С точки зрения Руслана, охранять эту дурацкую поленницу было то же, что охранять воду в реке или небо над головою; она не представляла никакой ценности, ценность могли представлять только люди. И хоть бы он просто дрых у поленницы, но этот свирепейший из свирепых, этот пес-громила, с распаханной шрамами мордой, еще вилял хвостом, угодливо осклабясь. Кой там вилял! — просто лупил по дровам в припадке подхалимажа. И кому же предназначались его восторги? Какому-то заморышу в белой овчинке без рукавов, который там с чем-то возился около сарайчика, с машиненкой о двух колесах. От нее и машиной-то не пахло, гадостью какой-то — чуть-чуть бензина и масляная гарь. И скорее этого недокормыша со впалыми щеками можно было за лагерника признать, и то — хорошенько обвыкшегося в зоне, но уж никак — за хозяина!..

А знать бы и недокормышу, что за подарочек Джульбарс, ему бы не с машиненкой возиться, а побыстрее лом в руки. Он кусал кого ни попади, хоть своих же собак, хоть лагерников, он день считал пропащим, если кому-нибудь не пустил кровь. Стоило человеку не то что шагнуть из строя, а оступиться, шатнуться от усталости, — собака же различает, когда нарушение неумышленное, — Джульбарс его тут же хватал, даже не зарычав предупредительно. Заветная была у него мечта — покусать собственного хозяина, и он-таки ее осуществил — придравшись, что тот ему наступил на лапу. Момент был серьезный, все собаки ждали, что наконец-то эту сволочь отправят к Рексу, да и сам Джульбарс на лучшее не надеялся, но, надо признать, повел себя удивительно: когда хозяин наутро пришел к нему, весь перебинтованный, Джульбарс его поприветствовал как ни в чем не бывало и прошелся туда-сюда по кабине, показывая, как он ужасно хромает. И все ему сошло, даже заработал отдых на три дня. Должно быть, хозяева сочли его правым или уж таким ценным, что служба без него развалится. Ведь он всем собакам был пример: неизменный «отличник по злобе», «отличник по недоверию к посторонним». Кто б заподозрил, что он и повилять умеет постороннему!

Руслан подошел и лег напротив, глядя в глаза отступнику неистовым взглядом. Джульбарс, хоть и застигнутый врасплох, не слишком, однако, смутился. Разика два он еще лупанул по дровам и зевнул, показав бугристое черное нёбо — предмет гордости, знак неутомимого кусаки и бойца. Зевнул в такую сласть, что даже слезы выступили на его кабаньих глазках, из которых один по причине шрама открывался не полностью, а покуда смыкал челюсти да склеивал черно-лиловые губы, его перепаханная морда успела состроиться в гримасу сострадания. Удручало его состояние товарища, немощь тела, растерзанность души.

«И чего психовать-то? — спрашивал взгляд отступника. — Жить же надо, старик. Думаешь, неохота мне ляжку этому хиляку обработать? Так ведь жрать не даст, прогонит. Тут тебе не зона, где выдай, что положено, не повиляешь — не съешь».

«И это теперь твоя служба?» — спрашивал неистовый.

«Э-э, святого не трогай! На службу-то я, как штык, являюсь».

И его правда была, на платформу он приходил, и по два раза на дню. И как не прийти, когда клыки чешутся. Если бы поезд пришел, тото б им было работы!

«А ежели честно, — отступник уже наступал, — то где она, твоя служба? Кто нас на нее посылал? И почем знаешь — может, она вообще не вернется?»

И теперь отступал неистовый:

«Как это может быть? Она вернется! И тогда не простят таким, как ты».

«А вот уж не беспокойтесь! Первыми позовут. Потому что когда она будет, ты-то уже околеешь, а и выживешь — так сил не останется служить. А я, погляди-ка, псина в порядке, в мясе, в теле!»

Неистовый закрыл глаза. Не было у него сил далее препираться. И странно, он почувствовал правоту отступника — может быть, и спасительную для всех. Ведь помнилось, как этот же предатель всех однажды выручил, от смерти спас. Руслан встал и побрел со двора. А в подворотне оглянулся на новый стук: намозоливши себе хвост дровами, «отличник по злобе и недоверию» трудился теперь на мягком половике. Перешагнув высокий порог калитки, неистовый брезгливо отряхнул лапу. И не знал Руслан, — а мы, грамотные, знаем ли? — что наше первое движение к гибели всегда бывает брезгливо перешагивающим через какой-то порог.

В этот же день он многое еще узнал, чего бы лучше не знать. Да, попросились уже во дворы — почти все, и были приняты и накормлены, а до следующей кормежки успели показать, что умеют. Начали с курятников, это попроще, а кто и с живности покрупнее. Дик, успевший половину кабанчика сожрать, пока не застигли, теперь хранит отметину от железного шкворня — на морде, где ее и не залижешь как следует. Курок сам себя наказал: таща с плиты мясо, прямо из кипящей кастрюли, опрокинул ее на себя — полголовы и грудь остались без шерсти, таким его и прогнали за ворота. Затвору, правда, удалось бежать с гусем в зубах, но надолго ли ему гусь, а как вернуться теперь, когда новый хозяин ему издали показывает кочергу? В одном дворе, где всех собак привечают, кто ни попросится, взяли сразу двоих — Эру и Гильзу, так эти неразлучные с того

начали, что разодрались между собою из-за кобелька, равно притязавшего на обеих, а помирившись, дружно его загрызли, только что не до смерти — едва успели у них отнять. Тоже выгнаны. А кто не выгнан — потому что не приняли или не попросился? Гром, решивший своим путем идти в жизни, пришел к помойке у станционного буфета, нажрался тухлятины — и теперь, безгласный, смерзшийся, лежит в яме неподалеку, политый известкой. Глупая Аза придумала кошек промышлять, — грех невелик, Руслан бы ей и простил его, сам отведав мышатины, но никакого же опыта работы с кошками, не знала даже, что эту тварь ни в коем случае нельзя в угол загонять, — да никого нельзя! — и кошачья лапка вмиг ей съездила по глазам. Кошку она задавила, но глаз вытек, а другой гноится, еле она им видит, с ума сходит от боли. Скверно, все скверно! И не то особенно худо, что устали ждать. Устали — верить.

Оглушенный, раздавленный всеми этими несчастьями, он лежал, вытянувшись поперек тротуара, закрыв глаза. Прохожим он казался околевающим; в таких случаях человечество разделяется на два потока — одни тебя обходят с опасливым состраданием, другие же, сердцем покрепче, просто перешагивают. Он не замечал ни тех, ни других, прислушиваясь к боли, жегшей ему брюхо и десны, натертые снегом. В последнее время он часто ел снег — от жажды и от голодной тошноты. Вдруг он вспомнил, что сегодня не бегал к лагерю. И страшно ему стало, что он только сейчас это вспомнил, а перед этим надолго упустил, — страшно, как перед неведомым наказанием. Голод повредил его память. Он силился услышать запах того человека, что совал ему довесок, а слышал лишь запах хлеба. И видел только хлеб — сквозь сомкнутые веки. А когда захотел свой дом увидеть — всплыла сахарная косточка, оставшаяся в кормушке, и с нею рядом — размокший желтый окурок. Но это и подняло его с тротуара.

«Все-таки надо сбегать, — подумал Руслан. — Так много накопилось сообщить хозяину!» Ужас как не хотелось ему отправляться в далекий путь — уже близились сумерки, а возвращаться предстояло совсем в темноте или еще хуже — при луне. В темноте он почти ничего не видел, а лунный свет совсем его с ума сводил, пробуждая неясные скорбные предчувствия. В этом смысле Руслан был вполне обычным псом, законным сыном той первородной Собаки, которую этот страх перед темнотою и ненависть к луне пригнали к пещерному костру Человека и вынудили заменить свободу верностью. Чтобы взбодриться, Руслан стал думать о косточке, которую, наверное, не выбросил хозяин, а приберег для него, — но в это что-то слабо верилось, так не бывало еще, чтобы кусок, который ты сразу не спрятал, к тебе же опять вернулся. И он задумался о грехе, о том, что забыл свои обязанности, — вот пусть проклятая луна и будет ему наказанием! Ведь всякий грех наказывается, даже самая малость, это он хорошо усвоил за свой собачий век — и не видел исключений.

Кончилась главная улица поселка, глухие ее заборы и слепенькие окошки, для чего угодно прорубленные, только не затем, чтобы из них смотреть. Здесь остановило Руслана какое-то воспоминание — о чем-то недавнем, но уже успевшем расплыться в памяти. А между тем оно не пускало его дальше и наполняло неясным предчувствием, — не скорбным, а радостным. Он заскулил, завертелся на месте, как щенок, впервые увидевший собственный хвост, и вдруг замер, широко расставив лапы. Постояв так несколько мгновений, он опустил голову и медленно побрел обратно, веря себе и не веря.

Вот оно, это место, мимо которого так поспешно он пробежал, занятый своими мыслями. Это, правда, на другой стороне улицы, но хозяината можно было услышать! Его, оказывается, привезли на машине, — черт бы пожрал эту резину, черт бы выпил этот бензин! — но вот здесь он спрыгнул и потоптался, пока ему подали чемодан и мешок. Ну, что в чемодане, того не разнюхаешь, какой-то он дрянью оклеен, а в мешке стираное белье и мыло (сиреневое, из офицерского ларька), и еще вазелин, которым смазывают консервные банки. А здесь он закурил, спичка еще пахнет дымом и его руками, потом взял чемодан и вскинул мешок на плечо — все исчезло, остался только след хозяина, четко впечатанный в снег.

Тут уж не спутаешь. У него немножко кривые ноги и, пожалуй, коротковатые для его роста, зато ступает он твердо, всей подошвой сразу, как будто несет тяжелый груз. На нем сегодня праздничные кожаные сапоги — такие, правда, у всех хозяев есть, но ведь под сапоги наматываются портянки, а они (как мы уже выяснили) пахнут его характером. И важно, что след не петляет среди других, — хозяин вообще петлять не любит, — все прямо, ни одного отклонения в сторону.

Теперь прохожие шарахались от Руслана; они его, охваченного любовью, принимали за бешеного, с цепи сорвавшегося, и впрямь он был страшен — отощавший до ребер, с желтой пеленой в глазах, мчащийся с хрипом и со звяканьем болтающегося ошейника, — страшен был и его бег по прямой, к неведомой для них цели. У станции путь ему загородил медленно разворачивающийся грузовик; Руслан проскочил под ним, ударившись спиною, но след заставил забыть о боли и повлек его дальше, в тепло дверей, в шумную надышанную залу. И здесь, на слякотном полу, среди пропотевших валенок, гнилой мешковины, сыромяти ремней, плевательниц с вымокшими окурками, среди нечистых истомившихся тел — оборвалась ниточка, продетая в его ноздри, за которой он бежал, как бык за своим кольцом. Тщетно он пытался почувствовать ее спасительную резь, ее натяжение, — тут еще и едою пахло, от ее пряных паров он совсем ошалел. Но вдруг он услышал голос хозяина, неповторимый, божественный голос, который не звал его, но звучал где-то рядом, и кинулся туда — не обходами, а напрямик, через скамьи и чьи-то мешки, готовый любого порвать, кто б его не пустил к хозяину.

Но ему пришлось справиться со своей радостью. Ворвавшись в буфет, он только хотел пролаять: «Я здесь! Вот он я!», — как увидел, что хозяин сидит не один, а с кем-то еще беседует за столиком, и подойти не решился. Ставши робко у стенки, он разглядывал хозяина и его собеседника — суетливого человечка с розовой вспотевшей лысиной, в сильно потертом пальто и раскиданном по груди зеленом шарфе, который то ли рубашку грязную прикрывал, то ли ее отсутствие. Руслан разглядывал их обоих сравнительно, и сравнение вышло в пользу хозяина — молодого, сильного, статного, совершенно чудесного хозяина. Он бы еще чудеснее выглядел, если б не забыл надеть погоны и не сидел бы с расстегнутым воротом и закатанными рукавами. Но лицо его все равно было прекрасное, божественное, с прекрасными, божественными глазами-плошками, и он прекрасно, божественно держался. А его собеседник был просто отвратителен — с этими слезящимися глазками, с дурацкой манерой беспричинно хихикать и чесать при этом всей пятерней небритую щеку. От них, правда, от обоих попахивало не очень приятно, даже скорее омерзительно, и источник этой мерзости, как Руслан заподозрил, был графинчик с прозрачной, как вода, жидкостью, — но, сделав некоторое усилие, он нашел, что от хозяина пахнет гораздо меньше, совсем чуть-чуть, просто даже почти нисколько не пахнет, а уж от Потертого — разит невыносимо. Потертый уже за то не понравился Руслану, что при нем нельзя было кинуться к хозяину, но особенно за то, что он разговаривал с хозяином странно небрежно, не опуская глаз, даже с какой-то нескрытой усмешкой. Как тот водитель трактора.

— А ты, гляжу, попризадержался, сержант, — говорил Потертый. — Ваши-то когда подметки смазали!

Все время он называл хозяина Сержант, тогда как на самом деле его звали Ефрейтор, и странно, что хозяину новое имя как будто больше нравилось. Руслану оно не нравилось совершенно. Он любил имена, где слышалось «Р», он и свое любил за то, что оно с «Р» начиналось, так ведь в Ефрейторе их было целых два, и так они оба славно рычали, а в Сержанте и одно-то еле слышалось.

Хозяин отвечал не сразу, он два дела не любил делать одновременно, а прежде докончил разливать из графинчика в стопки — сначала себе, а потом Потертому.

— Значит, надо, ежели задержался.

— Ну, ты не говори, коли секрет.

— Зачем секрет? Теперь уж — не секрет. Архив охранял.

— Архи-ив? — тянул Потертый. — Наш-то? А как же теперь он, без охраны остался?

— Не остался, не бойсь. Опечатали да увезли.

— Понятное дело. А на кой это, сержант?

— Чего на кой?

— Да вот — охранять, опечатывать. Сожгли б его в печке — и вся любовь. Опять же и все секреты там, в печке. Зола — и только.

Хозяин смотрел на него с сожалением.

— Ты чо, маленький? Или так — из ума выжил? Не знаешь, что он — вечного хранения?

— Вечного ж ничего не бывает, сержант. Ты же умный человек.

Хозяин вздохнул и взялся за свою стопку. Тотчас же и Потертый схватился за свою, он только того и ждал.

— Ну, будем, — сказал хозяин.

Потертый к нему потянулся со стопкой, но хозяин его опередил, поднявши свою чуть выше, чем они могли бы столкнуться, и быстро опрокинул в рот. Медленно убрал руку и выпил Потертый. Затем они отхлебнули желтого из кружек и затыкали вилками в еду. Руслан глотал слюну и не мог себя заставить отвернуться.

— Все же ты мне не ответил, сержант, — напомнил Потертый.

Хозяин опять вздохнул.

— Чо те отвечать, с тобой же — как с умным, а ты детством занимаешься. Ну, какой те пример привести, чтоб те понятней? Видал ты — пионеры жучков собирают, бабочек там всяких? Поймают — и на иголочку, а на бумажке — записывают. Вот те пример: вечное хранение.

— Да какое ж оно вечное? Через год от этого жучка пыль останется. Ну, через десять.

— Не пы-ыль! — хозяин поднял палец. — На бумажке же все про него написано. Значит, он есть. Вроде его нету, а он — есть!

Руслан поглядел на Потертого с укоризной. Палец хозяина должен был, кажется, убедить его, а он все посмеивался и почесывал щеку.

— Это мы, значит, жучки?

— Те же самые, — сказал хозяин. Обхватив себя за локти, он налег на столик и смотрел на собеседника с ласковой улыбкой. — Вот вы разлетелись, размахались крылышками, кто куда, а все — там остались. В любой час можно вас поднять, полное мнение составить. У кого чего за душой и кто куда повернет, если что. Все заранее известно.

— Так мы ж вроде невиновные оказались...

— Так считаешь? Ну, считай. А я б те по-другому советовал считать. Что ты — временно освобожденный. Понял? Временно тебе свободу доверили. Между прочим, больше ценить будешь. Потому что — я ж вижу, на что ты свою свободу тратишь. По кабакам ошиваисси, пить полюбил. А там ты, как стеклышко, был — и печенка в порядке. Верно?

— Да вроде, — как будто согласился Потертый. — Ну, так тем более — чего про нас-то интересно знать? Из нас уж труха сыпется. А вот их возьми, — он кивнул через плечо на сидевших за другими двумя столиками, — что тебе про них известно?

— Не бойся, и их возьмут, если надо. Про них-то еще поболе написано.

Потертый тоже налег на столик, и они долго смотрели друг другу в глаза, добро посмеиваясь.

— Между прочим, — сказал Потертый, — заметил я, сержант: палец у тебя — дергается. Руки дергаются — поболе, чем у меня. Весь ты дерганый, брат. Тоже это — навечно, а?

Хозяин посуровел, убрал руки со столика и взялся за графинчик. Разлил из него поровну и подержал горлышко над стопкой Потертого, чтоб последние капли стекли ему. Потертый следил за его рукою. Хозяин это заметил и потряс графинчиком — хоть ничего уже и не вытряс.

Они опять выпили, отхлебнули желтого, после чего подобрели друг к другу, и Потертому, верно, было уже неловко за свой вопрос.

— Но ты ж не скажешь, что я живоглот был, — сказал хозяин. — Тебя, например, я хоть раз тронул?

— Меня — нет.

— Вот. Потому что ты главное осознал. Раз на тебя родина обиделась — значит, у ней повод был. Зря — не обижается! А раз ты это осознал — все, для меня закон, ты — человек, и я человек. Ну, прикажут тебя тронуть — другое дело, я присягу давал или не давал? Но без приказа... Ты меня понимаешь?

— Я тебя, брат, понимаю.

— И хорошо. А на этих мы клали, они этого никогда не осознают. И нас с тобой не поймут. А мы друг друга — поняли, верно? Вот я почему с тобой сел.

Потертый наконец-то не выдержал хозяева взгляда или устал с ним пререкаться, но опустил глаза.

Устал и Руслан ждать, когда на него обратят внимание в шуме и толчее буфета. Входившие и выходившие задевали его, он сиротливо прижимался к стене — пока не сообразил, чем себя занять и быть полезным хозяину: охранять его чемодан и мешок и брошенную на них шинель. Мягко упрекнув хозяина в душе — за неосмотрительность, он важно разлегся подле, занял ту позицию, которая внушает нам уважение к четверолапому часовому и не позволяет не то что задеть его, но подойти ближе, чем на шаг. И тем еще хороша была позиция, что позволяла спокойно любоваться лицом хозяина. Его чуть портили капельки, выступившие на лбу и на верхней губе, но все равно оно было прекрасное, божественное.

Руслан давно заметил, что лица хозяев, самые разные, чем-то, однако, схожи. Лицо могло быть широким или узким, могло быть бледным, а могло и смуглым, но непременно оно имело твердый и чуть раздвоенный подбородок, плотно сжатые губы, скулы — жестко обтянутые, а глаза — честные и пронзительные, про которые трудно понять, гневаются они или смеются, но умеющие подолгу смотреть в упор и повелевать без слов. Такие лица могли принадлежать только высшей породе двуногих, самой умной, бесценной, редчайшей породе, — но вот что хотелось знать: эти лица нарочно отбирает для себя Служба или же она сама их такими делает? С собаками было проще: черный Тобик с белым ушком, прижившийся около кухни, тоже как будто служил, иначе б его не держали, но за все время таинственной своей службы и на вершок не прибавил в росте, не изменил окраса, да и характера не изменил — все таким же оставался попрошайкой и пустобрехом; он даже на мух лаял, а лагерникам — через проволоку — посылал приветы хвостом. Собак, ясное дело, отбирают, всех ведь их не с улицы позвали, привезли из питомников, а как с хозяевами — оставалось загадкой. Но в одном Руслан не сомневался: с таким лицом хозяин мог бы и не тратить на Потертого столько слов, а тому давно уже следовало встать руки по швам и отправиться на работу.

— Куда путь держишь, сержант? — опять заговорил Потертый. — В город какой или ж к себе, в деревню?

— Домой, — отвечал хозяин как бы в раздумье. — В городе-то чо хорошего? И отдохнуть охота.

— Это понятно. Ну, а делом каким?.. Ты уж поди позабыл, как и вилы держат.

— На кой мне вилы? Я свои вилы подержал, семидесятидвухзарядные. Считай, полтора твоих срока оттрубил, так мне за это пенсия — как у полярного летчика. Который мильон километров налетал.

— Это хорошо. Да денежки-то не лечат. Я б на твоем месте только б сейчас и уродовался. Живо помогает.

Хозяин уставился на него неподвижным взглядом.

— Я думал, мы об этом договорились. И кончили. А ты, значит, так: сидишь со мной и подкалываешь? Это — неуважение называется.

— Тебя-то не уважать, сержа-ант! — засмеялся Потертый. — Да чему ж меня столько годов учили? Ну, не огорчайся, воскреснешь еще душой. Молодость — вся жизнь впереди!

И с этими словами он выкинул штуку, которая могла б ему стоить жизни: перегнулся через столик и хлопнул хозяина по плечу. Руслан вскочил и кинулся — стремительно, почти бесшумно, только шваркнув когтями об пол.

Мгновенно обернувшись, хозяин успел опередить его, выбросив навстречу кулак. Удар пришелся в челюсть и задел по носу, Руслан едва не покатился с воем, но устоял, не показал врагу, как ему больно, а грозно зарычал в его сторону, почти не видя его из-за слез.

— Бох ты мой, — удивился хозяин. — Это ты, падло? Что, по буфетам уже промышляешь?

Руслан, все еще ворча, потерся носом об его колено, стало полегче, а когда погладил хозяин, так и совсем прошло.

— Твой такой? — спросил Потертый. Он даже не успел испугаться.

— Какой «такой»? Обидчивый? Это точно, мы друг дружку в обиду не даем. Правда, Руслаша? Так бы мы этого ухайдакали — будь здоров!

Все в буфете смотрели на Руслана, как будто фокуса от него ждали. А может быть, он все еще был красив и просто любовались им, как в прежние дни, когда хозяин им гордился. Только буфетчице он чем-то не понравился:

— Гражданин, — заявила она хозяину из полутемного, плотно накуренного угла, — вы бы вашу собаку страшную увели куда-нибудь, тут все-таки вам не зона. А буфет все-таки. В общественных местах намордник полагается.

— Это зачем? — Хозяин улыбнулся ей. — Он его сроду не носил, так обходился. А ты — возьми его себе, хозяйка. Что плечми пожимаешь? Он те свой харч отработает, ревизора на порог не пустит.

— Мне ревизора бояться нечего. А вас я, учтите, на полном официале предупредила. Покусает — будете штраф платить. И за уколы.

— Слыхал, Руслаша? Учти. Ты ж без справки бегаешь.

Руслан слегка прядунл ушами, нагнал страдальческую морщинку на лоб и перемнулся с лапы на лапу. Если и ждали фокуса, то едва ли увидели его, когда пес так просто и так много этим сказал: что даже странно, как можно говорить о нем такие глупости, что ему, право, неловко за эту вздорную бабу, от которой хозяину пришлось из-за него выслушать неприятное, и что неплохо бы уйти отсюда поскорее, но он подождет, пока хозяин освободится.

Хозяин, развалясь на стуле, сыто рыгнул и вытащил свой портсигар. Он чувствовал недобрые взгляды и был слегка в себе неуверен; в таких случаях закуривание превращалось у него в целый ритуал: папироса долго выбиралась, потом ею стучали по крышечке с выколотым рисунком, дули в нее с трубным гудением и, хрустко разминая, ввертывали в рот по спирали; хозяин хищно закусывал ее своими ровными мелкими зубами и, поджигая, сводил глаза на кончике, а затянувшись, держал ее двумя вытянутыми пальцами на отлете и выпускал колечко дыма.

— Вот проблема, — сказал он Потертому, кивая на Руслана. — И приплатишь — никто не возьмет. А такие кадры бегают!

— Да жалко, что говорить, — ответил Потертый. — То думали: «Хоть бы они передохли, тварюги!», а теперь — жалко. Прикончили б сразу, чем так.

— Ага, именно! Все больно жалостные, гляжу, а пострелять — другой дядя пускай.

— Другому дяде, небось, и приказано?

— Мало мне чо приказано. Кто приказал — уже погоны засолил и пиджак меряет. А мне — руки марать? Когда можно и не марать. Только видишь, как она, жалость-то? Хуже всего выходит.

Руслан понял, что хозяин все переживает из-за вздорной бабы, и носом подтолкнул его руку, лежащую на колене. Рука нехотя поднялась, легла на его лоб. Не падкий на ласку, не привыкший к ней, он все же ценил эту единственную, к тому же очень редкую. Но в этот раз рука не понравилась Руслану, она была вялой, безвольной и отчего-то подрагивала, и пахло от нее этой мерзостью из графинчика.

— Ничо, Руслаша, обживесси, — сказал хозяин. — А то — позовут еще: обратно служить. Службу-то не забыл? По ночам, говоришь, снится? У, желтоглазина! Закрой зенки-то, глядеть страшно.

Рука медленно прошлась по закрытым глазам Руслана и, обхватив челюсти, вдруг сдавила их жесткой хваткой. Клыки, громко клацнув, защемили губу, от боли даже вспыхнуло под веками. Но еще сильнее ужалила обида. Что за привычка была у них, у таких умных хозяев, — непременно хватать рукою. Собаку — за морду, человека — за лицо. У них это длинно называлось: «Я те щас смазь сделаю, поговори у меня», но делалось коротко; ни собака, ни человек не успевали отшатнуться. А потом долго не могли опомниться. Вот так однажды хозяин сделал одному лагернику, который с ним пререкался и не спешил в строй, а потом — стоял оглушенный, с бледным, сразу вспотевшим лицом. С его носа упали стеклышки, которые этот лагерник очень любил, часто на них дышал и протирал платком, — теперь он за ними даже не нагнулся, хотя ему хозяин напомнил: «Подбери глаза!» и сам их ему подбросил носком сапога. Вот что он чувствовал тогда на своем лице, этот человек, когда шел в строю, спотыкаясь, как слепой, а потом с криком бежал по полю, упущенный несчастным Рексом.

— Не тискай, — сказал Потертый. — Вот черт какой, ведь тяпнет — ну, прав же будет!

— Много ты про него знаешь, — засмеялся хозяин. — Нас ведь с Руслашей служба спаяла, правду говорю?

Рука опять легла на лоб, гладила его, трепала за ухом, а Руслан едва сдерживался — так хотелось ему сбросить ее и истерзать. Не впервые он чувствовал это желание, при всей любви к хозяину, и сам же его страшился, и долго потом переживал, как могло ему такое прийти в голову. Но сейчас и другое ему пришло — озарение, догадка, отчего тогда Рекс упустил того лагерника: да ведь не мог он ничего предчувствовать заранее, потому что и сам человек не знал, что он через секунду сделает!

Высвобождаясь от ненавистной руки, он медленно — трудным поворотом головы, сумрачным из-под широкого крутого лба взглядом — обвел сидевших в буфете, поднял немигающие глаза к хозяину. У них на столе оставалась еда, они с нею не торопились, но смолоду Руслан был жестоко отучен просить — и не на еду он смотрел, ничего не просил этот тяжелый взгляд, в котором лишь дурак или незрячий не смогли бы прочесть: «Ты нехорош сейчас, хозяин. Ты плохо шутишь. А мы ведь среди чужих».

Потертый вдруг сморщился, схватил со стола кусок хлеба, положил на пол. Руслан этого никак не заметил, не покосился.

— Ага, взял! — ухмыльнулся хозяин, очень довольный. — Всю жизнь он мечтал твоим хлебушком попитаться. На чем тогда держава стоит!

— Ладно, держава. Сам ему дай.

Посетители буфета опять, верно, ждали фокуса, нехитрого, но обреченного на успех. Неизменно умиляются наши сердца, когда младший наш брат проявляет начатки разума, так самоотверженно насилуя свою природу: не принимая пищу от чужих и тут же хватая ее, давясь от жадности, с ладони хозяина. Но в этот раз фокус вышел еще занятнее, чем ожидался: хлеб так и не покинул дарящей руки, пес лишь взглянул на него и отодвинулся — осторожно, чтоб не повалить ненароком державу.

— Ага! — возликовал Потертый. — И ты ему нынче — никто, понял?

— Ты чо это? Брезгуешь? — спросил хозяин. Розовость медленно отливала с его лица. — Уже где-то обожраться успел? Быстренько ты! Нукась, — он положил кусок на пол, — подбери. Кому сказано?

— А вы, гражданин, там не разбрасывайте, — опять вмешалась буфетчица. — Еще мне дело: за вашими собаками подбирать!

— Зачем? Он — возьмет. Еще как возьмет.

Уже с побелевшими скулами, но все ухмыляясь, хозяин сам подобрал хлеб, зашарил веселыми глазами вилку. Макая ее в баночку и ляпая на хлеб, стал густо по всему куску намазывать горчицу.

— Не надо, — попросил Потертый.

Попросил кто-то и в очереди у буфета:

— Сержант, не дури.

— Нельзя, — объяснил хозяин. — Чтоб он моей команды не выполнил — это нельзя. Не бойсь, он уж сам знает, что допустил провинность: с первого разу не подчинился. Значит, отвечать надо. А он — службе верный; он те щас покажет, какая у него верность. С чем ее едят... Весь запас я у тя использовал, хозяйка!

Он разломил кусок пополам и сложил его — намазанным внутрь.

— Кушать, Руслан, кушать. Взять, говорю!

Мужчина в кожаном, сидевший спиною к хозяину, повернулся, блестя белками скосившихся глаз.

— Ты часом не сбесился?

— Я те щас поговорю — сбесился,— сказал хозяин.— Смотри, куда смотрел!

Кожаный, однако, не повернулся обратно. Сидевшая с ним женщина в сером платке, кормившая с ложечки ребенка, положила ложечку и прикрыла глаза ребенку ладонью.

— Толя, не связывайся,— попросила она.— Ты же знаешь, как с ними связываться. Мы на это смотреть не будем.

Но сама все-таки смотрела, морщась и кусая губы. И весь буфет смотрел и роптал:

— Не мучай собаку, конвойный!

— Живоглот, привыкли там издеваться...

— Бухой же, разве не видно?..

— Хоть бы отнял кто...

— У него отымешь! Тебя же еще и порвет...

Кусок в неверной руке хозяина качался перед Русланом.

— Ведь возьмешь же! Сам знаешь — возьмешь!

Что знал Руслан об этом запахе? То, что и полагается знать караульному псу, которого с этих-то угощений и начинают учить уму-разуму. Однажды утром его — еще не пса, а подпеска,— выводят перед кормежкой в прогулочный дворик, и куда-то на минутку отлучается хозяин, сказав: «Гулять, гулять»,— и тут-то как раз происходит удивительная встреча. Как из-под земли является Неизвестный, в телогрейке и сером балахоне поверх. В длинном рукаве у него что-то спрятано, он показывает — что, протягивает к самому твоему носу. Пахнет так дивно, что пасть переполняется слюною. Ах, все не так просто! От его одежды разит причудливой вонью барака, про который уже известно собаке, что там — «фуки!», там — «злые живут!», и уж высказано ею по этому поводу категорическое «ррр». Но — солнышко греет ей голову, утренняя истома в ее душе и сладостная уверенность, что все в ее жизни преотлично складывается. И так беден наш изобильный мир, что все живое ценит еду, борется за нее — еще в слепоте, у сосцов матери. Ценит, наверное, и человек, если не швыряет наземь, а на ладони протягивает с улыбкой — как дар, цены не имеющий. И, одарив его в ответ улыбкою глаз, взмахом хвоста, собака берет кусок в зубы. В зубах он еще приятнее пахнет, душистая пряность щекочет нёбо, чудесно пощипывает язык, не разжевать — нет возможности, и она жует, еще качая хвостом, еще не заслезившимися глазами благодарит Неизвестного, который так скромно удаляется. В следующий миг ей кажется, что в пасти у нее — пожар, ей туда натолкали горящей пакли, от которой не освободиться теперь никак, не выхаркнуть в мучительном кашле, все обожжено пламенем, и дым съел глаза. Она слышит смех убегающего и свирепеет от обиды; злоба пересиливает муки, бросает в погоню, а тот и не спешит удрать, он протягивает длинный толстый рукав, в котором вязнут клыки... Ничего не подозревающий хозяин приходит наконец; можно ему пожаловаться, он все поймет, пожалеет, даст попить вволю, накормит вкуснотою необыкновенной. И все забудется? Пожалуй, что и забылось бы, если б эти лагерники не предпринимали новых козней, всякий раз похитрее. Но никакая новая их каверза так не поразит, как первая, от которой уже сделала собака свой маленький шажок к истине: все, что не из рук хозяина,— мерзко, ядовито, греховно, даже если и хорошо пахнет.

А теперь и из этих рук ему предстояло взять отраву. И он знал, что придется взять. Он всяким видел лицо хозяина, но никогда не видел жалким. Шутка затянулась, хозяин уже и рад бы ее прекратить, но именно этого хотели чужие, а он их ни за что не мог послушаться. В другом месте и Руслан выказал бы неповиновение, он знал свои права и умел о них напомнить: тихим, но грозным ворчанием, не разжимая пасти и полузакрыв глаза, превратясь в глыбу, которую ни окриком, ни битьем не расшевелить. Перед чужими это нельзя — и, как ни глупа шутка, Руслан ее должен был поддержать. Нехотя разжав клыки, он принял этот кусок с ладони, скосив глаза — куда б отнести и положить.

Хозяин обеими руками взял его за челюсти и с силой сомкнул. Руслан дернулся, но руки держали крепко, и скоро он почувствовал жгучую боль в деснах, натертых снегом. Он попытался разжать челюсти, вытолкнуть отраву языком — все только хуже вышло, пламя охватило язык и нёбо, даже в уши проникло звенящим шумом. Весь сумрачный, завешенный табачной синевою буфет и розовое лицо хозяина расплылись и потекли обильными едкими слезами. Чтобы не длить пытку, он стал судорожно глотать, а пламя только пуще разгоралось в брюхе, и без того сжигаемом голодной тошнотою. До смерти испуганный, ставший сразу беспомощным, больным, он уже и не помышлял, вырвавшись, искусать эти руки, а только пятился от них, скользя когтями по полу, и одно держал в голове — то, что владело всеми его предками, измученными раной или болезнью: уйти, уползти куда-нибудь — в темное логово, в подворотню, в лесные заросли, в камыши или густую траву — и там перемучиться или издохнуть наедине со своей болью.

Чьи-то другие руки отняли его наконец у хозяина, рванув за ошейник, и Руслан тотчас двинулся наугад — туда, где свет, откуда тянуло морозным воздухом, жадно втянул его всей грудью вместе с огнем и задохнулся, задергался в изнуряющей икоте.

— Ладно, Руслаша, помиримся,— услышал он голос хозяина, непривычно ласковый и точно вязнущий в вате.— Куда пошел, ко мне!

Руслан оглянулся, вздрагивая, обвел слезящимся взглядом весь буфет. Лица расплывались, дрожали, двоились; среди них он едва различил хозяина — нет, сразу двух хозяев, одинаково улыбавшихся виновато, одинаково розовых, мутноглазых. Одним и тем же голосом оба скомандовали: «Ко мне, Руслан!» — и он силился понять, к которому же из двух подойти. Кто был прежний, любимый хозяин, а кто — предатель, на которого следовало зарычать и кинуться? Он так и не понял этого и решил оставить обоих.

Уже за порогом он услышал, как там опять начали роптать на хозяина, и кому-то он отвечал, срываясь на крик: «Знаю, чо делаю, не в свое дело суёсси! Его отучать пора. А то все жалостные, а чтоб убить — ни у кого жалости нету!» Руслан постоял в раздумье: они там могли напасть на хозяина, а ведь он, помнится, сидел без автомата. Но еще в первое снежное утро не зря заподозрилось, что не нужны ему больше ни его оружие, ни Руслан, теперь это лишь подтвердилось горько и унизительно,— ему, хозяину, лучше знать, как ему дальше жить. Да никто и не решился напасть.

С опущенной головою Руслан прошел опять всю залу, осторожно сошел с крыльца и двинулся вдоль заиндевевшей стены, стараясь держаться к ней вплотную. Завернув за угол, он взял в зубы немного снега — десны заныли от холода, но и огонь стал утихать. Он обронил льдистый комок с налипшим хлебом и сгустками горчицы и шумно выдохнул остатки пламени. Однако икота все мучила его, он чувствовал себя больным и искал, где укрыться. Тропинка привела к помойке, где нашел свой конец одуревший от голода Гром, за нею стояла дощатая, изжелта-белая уборная, и вот тут, между ними, в тесном закутке он и улегся, положив морду на лапы. Вонь ему не мешала, он ее и не слышал сейчас, зато дышало теплом от уборной и мусорного ящика, и скоро Руслан угрелся, перестал ворочаться, только чуть вздрагивали его брови, когда слышались чьи-нибудь голоса, скрежет шагов по снегу или паровозный гудок.

Хозяин не любил его — это открытие всегда потрясает собаку, наполняет горем все ее существо, отнимает волю к жизни. Потрясло оно и Руслана, хоть, казалось бы, мог он и раньше догадаться. Мог бы, и догадывался, да только легче бы, право, съесть всю банку этой горчицы, чем признаться себе в нелюбви хозяина. Что же тогда, если не любовь, позволяло сносить все тяготы службы? Что помогало им всем, хозяевам и собакам, держаться бесстрашной горсткой против тысячеглавого стада лагерников, на которых, только взбунтуйся они все разом, не хватило бы никаких пулеметов, никакой проволоки? Что бросало Руслана в пленительную погоню за убегающим, в опасную схватку с ним? Разве же не единственной наградой было — угодить хозяину? И разве только за корм прощал он Ефрейтору незаслуженные окрики, хлестание поводком? Все, что случалось порою, случалось *между своими*, чужим не дано было видеть унижения Службы. Так унизить его при всех только и могла нелюбящая рука, предавшая все, что их связывало, и саму Службу, которая не жила без любви. Из этой руки получил он то, что привык лишь от врагов получать, и значит, сам его бывший хозяин стал врагом. Пусть он живет, как знает. Но как дальше жить Руслану?

Вот что ему вспомнилось: хозяева иногда менялись. У того же Грома было их трое — и ничего, он дважды привыкал к новому и любил его, почти как первого, данного ему вместе с жизнью. Привыкали и другие, хотя, конечно, полного счастья не было. И все же оставалась Служба! Хозяева уходили и приходили, а она всегда была, сколько стоял этот мир, огражденный колючкой в два ряда и вышками по углам, залитый светом фонарей, музыкой и голосами из черных раструбов, точно с неба свисающих на невидимой проволоке. Начала этого мира не знал Руслан — и не мог себе представить его конца. Мог прийти конец лишь этому страшному бесприютному времени — и неважно, как он придет; через бездны мелких серых подробностей Руслан переносился мечтою и видел уже конечный блистающий результат: вот однажды распахивается дверь кабины, и «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца» приводит другого хозяина, — в новых скрипучих сапогах, с мискою в руках, полной пахучего варева и сахарных костей; он ставит свои дары на пол и говорит еще не слышанным, но божественным голосом: «Ну что, Руслан, давай знакомиться», — а Руслан, только хвостом качнув, подходит и принимается за еду: в знак полного доверия...

Чьи-то неуверенные, ищущие шаги помешали ему. Он увидел, что сумерки сгустились, и решил не уходить, а притаиться, даже глаза зажмурил, чтобы уж совсем стать невидимым. Но этот кто-то, должно быть, его почуял — остановился напротив, сделал к нему робкий шаг.

— Вот ты где, — удивился Потертый. — Что ж ты среди вонищи-то лежишь, совсем нюх отшибло? Или — помирать собрался, Руслан? — Он сделал еще шаг, осторожно присел на корточки. — Ах, тит твою мать, как собаку обидел, обормот! Ну, без креста же они, вертухаи! Без креста родились от невенчанных, и так же в землю уйдут, одни пирамидки стоять будут из поганой фанеры. Ну, вставай, друг, что ж тут лежать. Уже его нет давно, уехал твой ненаглядный. Уе-ехал, ту-ту, не вернется. Пойдемка со мной лучше, а?

Слова текли к Руслану, вливались в его чуткие уши и настораживали сердце, и из общего их течения он выловил, как щепку из журчащего потока, что хозяина больше не будет. Руслан это принял спокойно, даже равнодушно; спустившись с небес своей мечты на мерзлую вонючую землю, он с удивлением обнаружил, что теперь куда больше его интересует вот этот, сидящий перед ним на корточках. Хозяин успел уже умереть для Руслана, а этот, в драной ушанке с падающим на глаза лбом, был жив и позвал с собою. Для начала Руслан хотел бы обнюхать эту ушанку и бахромчатые рукава латаного пальто.

Но вот Потертый, точно бы повинуясь его желанию, потянулся к нему — медленно, всякую секунду готовый отдернуть руку. Он не знал, что не успел бы этого сделать. Не знал также, что Руслана можно погладить — лишь растопырив пальцы, показав ему всю безобидность руки, и для начала рука была отброшена ударом костистой морды. На вторую попытку Потертый не отважился. Но вдруг Руслан сам к нему потянулся. Привстав на передние лапы, не спеша обнюхал замершее колено, затем, поймав ускользающую кисть, легонько ее прихватив клыками, несколько долгих — и для Потертого мучительных — мгновений втягивал в себя тепло рукава. Все хотелось ему увериться, что он не ошибся тогда, в буфете, когда эта рука положила перед ним еду.

Нет, не ошибся. Могла бы истлеть одежда Потертого, и он бы ее сменил на другую, но ведь кожу-то он не мог бы сменить, и она будет, наверно, таить в своих порах этот нетленный, невыветриваемый запах, покуда сама не истлеет, — запах застиранного белья, прожаренного в вошебойке, стократ пропитанного обильным потом слабости, запах болезней и лекарств, ни одной болезни не исцеляющих, потому что все они одним называются именем — «бесполезное ожидание», запах костра, на который подолгу глядят расширенными зрачками, поддерживая вспыхнувшую надежду, и запах самих надежд, перегорающих в одрябших мускулах; запах жестких нар, дарящих, однако, глубокий, как смерть, сон — последнее прибежище загнанному сердцу; запах страха, тоски и опять надежд, и глухих рыданий в матрас, выдаваемых за кашель. Втянув в себя весь этот букет, Руслан поднялся и дал подняться Потертому, и они пошли рядом, куда хотел Потертый, — оба утешенные, что нашли друг друга. И, наверное, Потертый думал о том, как ему легко, по случаю, достался этот красавец пес, могучий и склонный к верности, которого и воспитывать не надо и который с этого дня будет ему спутником и защитой.

Что же до Руслана, то для него это новое знакомство имело иной смысл. Случилось не предвиденное уставом службы, однако и не противное главному ее закону: житель барака сам напросился, чтоб его конвоировали. Оказавшись на воле, он хотел вернуться под любимый кров, — и в том не было удивительного, возвращались же добровольно иные беглецы после целого лета блужданий в лесах, полумертвые от голода, едва державшиеся на ногах. Таких обычно не били хозяева и не натравливали собак, а лишь смотрели на них подолгу — холодно, светло и насмешливо, покуда иной бедняга не сваливался замертво к их сапогам.

Потертый был на пути к возвращению, и Руслан счел себя обязанным охранять его, пока не вернутся хозяева. А когда вернутся они и поставят поваленные столбы, и натянут проволоку, и зачернеют на вышках ребристые стволы, а над воротами во весь проем запылает в прожекторном свете красное полотнище с белыми таинственными начертаниями, — тогда Потертый пойдет, куда захочет Руслан.

3

В первый же час этой службы выяснилось, что подконвойный успел обзавестись хозяином. И у него (точнее — у нее, поскольку хозяин носил юбку и пуховый платок) еще надо было испрашивать разрешение для Руслана, едва они с Потертым ступили во двор:

— Эй, хозяйка! Тёть Стюра, ты жива ли?.. Погляди, какого я тебе охранника привел. Не прогонишь нас?

Тетя Стюра, статная и дородная, заслонившая почти весь свет в дверях, с крыльца оглядела Руслана и осталась недовольна.

— Еще неизвестно, кто кого привел. А кормить его, бугая, чем?

— А вот и интересно, что — ничем. Он так, без прокорму живет. Чудной мужик, ты еще с ним намаешься.

Последнее замечание успокоило тетю Стюру вполне.

— Пускай живет. Трезорку бы моего не съел.

Руслан не стал ждать, когда его пригласят в дом. Легко потеснив хозяйку, он прошел в комнаты и скоро вернулся. Тете Стюре принадлежала половина домика, он — убедился, что обе комнатушки и кухонька окнами выходят во двор и на улицу перед воротами, уйти незамеченным подконвойный никак бы не смог. Одно обстоятельство, правда, удивило Руслана: явное и не столь давнее присутствие Главного хозяина, «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца». Но знакомый запах в то же время и успокоил; а кроме того с Руслана как с подчиненного вроде бы снималась ответственность — поскольку начальство этот дом заприметило и осматривало самолично.

Тетя Стюра все-таки выставила новому жильцу угощение — полную миску теплого супа с костями. И было несколько мучительных, полуобморочных минут, отравивших этот маленький праздник новой службы. Миску пришлось убрать нетронутой — при этом Потертый разыгрывал торжество, а тетя Стюра не сдержала злости и пообещала Руслану, что завтра же отправит его на живодерню.

— Там, — сказала она, — из тебя мно-ого мыла получится! Вот увидишь.

Руслан уснул на крыльце, растравленный, зверски голодный, питаемый зыбкой надеждой. Несколько раз его будило сонное квохтанье в курятнике, и он еще и еще подходил удостовериться, что дверь плотно закрыта и засов не отодвинуть лапой. И всякий раз из-под дома слышалось тоненькое рычание невидимого Трезорки, так и не рискнувшего выйти познакомиться.

К рассвету Руслан почувствовал себя совсем скверно; его мышиная охота стала ему рисоваться в образах фантастических: мыши, размером с кошку, так и выпрыгивали из-под снега, а потом они построились в колонну по пять и с дружным писком двинулись к нему в пасть. Он зарычал и совсем проснулся.

Потертый еще и не пошевелился в доме, и Руслан все-таки решил

отлучиться ненадолго в лес. Возвращаясь, он обежал весь квартал — на тот случай, если Потертый имел где-нибудь лазейку или перелез через забор. Но оказалось, он и на крыльцо еще не выходил, хотя уже небо порозовело и все на дворе стало цветным. Тут Руслан вспомнил: вечером его подконвойный, с тетей Стюрой на пару, налакался этой прозрачной мерзости, от которой свалился замертво. А перед этим он слишком громко и с глупым лицом разговаривал, махал руками без толку, порывался петь — словом, перестал понимать, что к чему, — совсем, как собака. Правда, у собак это печальное состояние приходит само, с возрастом, люди же для его приближения совершают усилия. Это наблюдение показалось Руслану интересным и обнадеживающим: как ни презирал он эту мерзость, но ведь она-то ему и позволила нынче поохотиться. И еще он успел соснуть порядком, пока наконец подконвойный соизволил выйти — смутный лицом, собою недовольный, воняющий еще омерзительнее, чем накануне. Свет Божьего дня не понравился ему — он поглядел на небо и скривил рожу, затем сплюнул и направился неверным шагом к сарайчику.

Тот же час явился как из-под земли Трезорка. Размялся, сладко зевнул и в середине зевка, будто впервые увидев Руслана, сделал «здрасьте» коротким, как обрубок, хвостиком. Псом он оказался совсем ничтожным, даром что кличку носил с двумя рокочущими «р», — криволапый, низкорослый, с раздутым животом и неподнятыми ушами, к тому же и окрашенный как попало черными, белыми и рыжими пятнами. Руслан его едва удостоил взглядом. Явившись так поздно, когда новый жилец уже обследовал двор, Трезорка тем самым поступился своим правом на территорию, признал себя как бы младшим на ней. Но Руслан и не претендовал на нее, всем видом он показывал, что его интересует лишь этот человек, скрывшийся в сарайчике, — и Трезорка это прекрасно понял. Скосясь на дверь сарайчика, он состроил гримасу весьма сложного состава: одновременно и сострадательную к Руслану, и полную презрения к Потертому, и о своих неоцененных достоинствах сказавшую без ложной скромности, и содержащую горестный извечный вопрос: «Ах, сосед, за что нам такой удел!» За такое инакомыслие, пожалуй, досталось бы Трезорке, будь Потертый хозяином, а не подконвойным, — теперь же Руслан только отвернулся, не желая поддерживать общение.

Потертый там долго еще сопел, охал и даже рычал, не зная, видно, за что приняться, как начать день; наконец, показавшись в двери, исторг первые членораздельные слова:

— Тит твою мать, где ж это я рукавицу-то задевал, брезентовую? Одна здесь, а другую посеял где-то. Руслан, ты, часом, не видал?

Руслан лишь взглянул с холодным удивлением. Ему предлагали найти вещь, и он знал — какую и где лежит она, но никакое приказание, ни просьба не могли быть исполнены, если исходили от лагерника. И Руслан об этом напомнил подконвойному на своем языке: поднялся, но лишь для того, чтобы перелечь на другое место.

Трезорка, все это наблюдавший с живейшим интересом, опрометью кинулся под крыльцо и вытащил искомую рукавицу. Однако Потертому он ее не поднес, а положил неподалеку от Руслана, чтобы и тот имел возможность послужить. Руслан и головы не повернул. Потертому пришлось-таки подойти и кряхтя нагнуться за рукавицей.

— Пожалста, — сказал Потертый, — мы люди не гордые. А кой-кто у нас без понятия. Эх, казенный! Только и знаешь: «гав-гав, стройсь-разойдись», а Трезорка-то, он лучше соображает.

Этого Руслан уже совершенно не мог вынести. Он пошел со двора и, перемахнув через ворота, улегся на улице. Право, он лучшего мнения был о своем подконвойном. Упрекая Руслана в недостатке сообразительности, сам-то Потертый соображал ли, почему караульный пес его не послушался? И почему со всех лап кинулся Трезорка? Да сам же он ее и заиграл под крыльцо, эту рукавицу, кому же еще и бежать!

Вышел на чицу Потертый, опоясанный солдатским ремнем, с ящиком для инструментов в руке, сказал: «Пошли, казенный» — единственную команду, которую Руслан готов был исполнять и которую мог бы Потертый не говорить.

Так начались их походы на тот странный промысел, которым занимался подконвойный по утрам, если только их можно было назвать утрами.

Они отправлялись на станцию и там сворачивали, шли по шпалам в дальние тупики, на кладбище старых вагонов; здесь-то и находилась у них рабочая зона — так же, как стали жилой зоной квартал и двор тети Стюры. Они поднимались в эти вагоны — Руслан вспрыгивал в тамбур единым махом с разбега, а Потертый карабкался по ступенькам с отдышками — и переходили не спеша из одного купе в другое. Стекла здесь были выбиты или кто-то их утащил, и гулял сквозняк, а на полу и нижних полках лежал пластами снег, и пахло гнилью, трухой, ржавчиной, людским дерьмом, всеми дорогами и станциями, где побывали эти вагоны. Потертый поднимал и опускал скрипучие полки, протирал рукавом и мерил пядями и, вздохнув, говорил Руслану:

— Ну как, вот эту досточку — оприходуем? Узка вроде, но текстурка имеется. С игрой планка, верно же?

Руслан ничего не имел против, и Потертый начинал «приходовать». Руки у него тряслись, и отвертка долго не попадала в шлиц, и не хватало у него сил и рвения сразу вывернуть приржавевший шуруп, а среди дела он еще подолгу перекуривал, соображая, как бы приладить гвоздодер и отъять планку, не расщепив. Но и когда отдиралась она целая, то не всегда сохраняла для Потертого интерес: огладив ее ладонью и поглядев вдоль нее на свет, даже понюхав, он мог ее и выбросить в окошко, а потом долго сидеть, печально вздыхая, прежде чем приняться за другую. И все говорил, говорил:

— Вот, Руслаша, это почему в России хорошей доской не разживешься? А я тебе скажу: в лесу живем. Кругом леса навалом, вот и причина, что его нету. Было б его поменьше, так мы б его берегли, чужим не продавали — и себе бы хватало. Ну, однако, разговорчики безответственные — отставить! Ты, Руслаша, следи, чтоб я лишнего не болтал.

Иной раз лукавая мысль вползала в его отуманенную голову, водянистые глаза оживлялись, хитро сощуривались, впивались в желтые сумрачные глаза Руслана.

— А что, паря, не сходить нам на лесоповал? Дорожка нам знакомая, а там на пилораме какую-нибудь досточку подберем, твердо-ценной породы. Там-то они несчитанные, наши досточки. — И сам же отвечал на свой вопрос: — Не, лучше не ходить. Там я тебя забоюсь, на лесоповале. Это мы тут друзья — не разольешь, а там ты старое вспомнишь, покурить особо не дашь, а? И правильно, чего это я с тобой разболтался? Уж в рельсу бить пора, а мы еще ни хрена не наработали.

Никто здесь не ударял в рельсу, но каким-то чутьем он угадывал, — а со второго дня стал угадывать и Руслан, — что пора им домой. К этому времени насчитывалось три-четыре планки, о которых Потертый говорил: «Звали етого грузина — не Ахтидзе, но Годидзе», — хотя, по мнению Руслана, они особо не отличались от выброшенных, разве что послабее воняли плесенью. Потертый их перевязывал шпагатом и уносил под мышкой. К этому времени ослабевало действие прозрачной мерзости, уже не так ею разило из его рта, и подконвойный вышагивал по шпалам резво, как и положено идти с работы лагернику, вызывая неудовольствие конвоира только дурацким своим пением. Пел он всегда одно и то же, с ужасными нищенскими завываниями, от которых Руслану тоже хотелось завыть.

Вам, поди, това-арищи, хорошо живе-отся,
У вас, поди, двуно-огая жена,
А у моей жены-ы — одна нога мясна-ая,
Другая же, братишки, из бревна!..

Еще слава богу, он прекращал свои вопли на улицах: перед чужими Руслан, право, умер бы со стыда.

Планки уносились в сарайчик; там Потертый, мурлыкая себе под нос, пилил их, вжикал рубанком, выносил их одну за другою на свет и наконец тащил в дом — совсем тоненькие, но посветлевшие и даже приятно пахнущие. Руслан входил за ним по праву конвоира, растягивался у двери и лежал неслышно, так что о нем забывали. То, что сооружалось в тети-Стюриной комнате, занимавшее почти всю стену, походило, с точки зрения Руслана, попросту на огромный ящик — Потертый его называл «шкап-сервант трехстворчатый». Сидя на табурете, он прикладывал новые план-

ки к тем, что уже стояли на месте, менял их так и сяк, спрашивал тетю Стюру, нравится ли ей. Тетя Стюра стелила скатерть на стол и отвечала, коротко глянув или не глядя вовсе:

— Да хорошо, чего ж «как»?

— Все тебе хорошо,— возмущался Потертый.— Тебе лишь бы куда-нибудь барахло уместилось. А не видишь — доска кверху ногами стоит, разве это дело?

— Как это кверху ногами?

— А по текстуре не видно, что комель — вверху? Может дерево расти комлем кверху?

Тетя Стюра приглядывалась, супя белесые брови, как будто соглашалась и все-таки возражала:

— То дерево. А доске-то — не все равно, как стоять?

И этим давала повод для новых его возмущений:

— Тебе-то все равно, а ей — нет. Она же помнит, как она росла,— значит, с тоски усохнет, вся панель наперекосяк пойдет.

— Ну, надо же! — говорила тетя Стюра.

И он торжествовал, ставя планку, как полагалось, и доказывая тете Стюре, что вот теперь-то «совсем другой коленкор», и много еще слов должно было утечь, пока притесывалась планка к месту, мазалась клеем, прижималась струбцинами:

— Вот погоди, Стюра, как до лака дойдет — вот ты увидишь, краснодеревщик я или хрен собачий. Учти, я никакого тампона не признаю — только ладонью. Лак нужно своей кожей втирать, зато будет — мёртво! Что ты! Я же до войны на весь Первомайский район был один, кто мог шкап русской крепостной работы сделать. Или — бюро с секретом. Вот это закончу — и тебе сделаю, будет у тебя бюро с секретом. Я же славился, Стюра! Две мебельные фабрики из-за меня передрались, чтоб я к ним пошел опыт передавать молодежи. Я посмотрел — так мне ж там руками и делать-то не хрена. Они же что делают? Сплошняк экономят, а рейку бросовую гонят с-под циркулярки и клеят, и клеят, а стружку тоже прессуют. А я им только рисуночек дай, фанеровку подбери. Нет, не пошел. Моя работа — другая. Мою работу, если хочешь знать, на выставке показывали народного ремесла, на международную чуть не послали, но — передумали, политика помешала. Так этот мой шкап, знаешь, где поставили? В райсовете, под портретом — ровненько — отца родного. Что ты! Почет!

Вторая планка пригонялась еще дольше, он ее так и этак вертел и отставлял — для долгого перекура. Жадно затягиваясь, отчего ходил по небритой шее острый кадык, он сводил глаза на кончике потрескивающей папиросы, и лицо его вдруг теплело от улыбки.

— Одно жалею,— говорил он,— не я ему, живоглоту любимому, гроб делал.

— Да уж,— вздыхала тетя Стюра, нарезая хлеб,— ты б постарался.

— Уу! — гудел он с воодушевлением.— Ты представь себе: вот дали бы мне такое правительственное задание. Три полкаша у меня для снабжения или же — генерала. «Так и так,— говорю им,— чтоб к завтрему мне красного дерева выписали — в неограниченном количестве. Столько-то гондурасского кедра. Н-да... Тика не забыть — тесинок восемь, а также и палисандры». А на крышку изнутри самшит бы я пустил. Или бы — кизил. Нет, лучше сандал, он пахнет, сволочь, вечное время не выдыхается. Даже балдеешь от него — без бутылки. Спи только, родной, не просыпайся! Самое тебе милое дело — спать. И народ тебя в спящем состоянии больше полюбит.

Он смотрел куда-то в неведомую даль, будто видел что-то сквозь стены, и улыбка понемногу делалась маской, которая никак не отклеивалась с побелевшего от злости лица.

— Ведь ты, отец любимый, такое учудил, что двум Гитлерам не снилось. И какие же огни тебя на том свете достанут! Хорошо ты устроился, отец, ловко удрал...

В голосе человека слышалась тоска, и Руслан ее разделял по-своему: ведь он тоже скучал по прежней жизни, тоже в нее рвался. Но имел же он терпение ждать, не скулить так жалобно! Тете Стюре, и той не нравилось, как скулит Потертый:

— Вот, до чего тебя глупые мечты доводят! Сколько ж про это говорить? Пустое все, ничего не вернешь. Дальше нужно как-то жить!

— А вот шкап соберу — все забуду, как отрежу.

— Да ты жизнь свою как-нибудь собери, нужен мне твой шкап! Ходишь, шатаешься. Или нарочно себя жгешь? Столько лет в рот не брал, а тут — закеросинил.

— А это во мне, Стюра, дефициту накопилось.

— Уезжай-ка ты лучше отсюда, от дефициту этого. Думаешь, держусь я за тебя? Да я тебе денег достану, поезжай в свой Октябрьский район, там-то, может, скорей очнешься.

— Не Октябрьский, теть Стюра, Первомайский. Да как же я от работы своей уеду?

— Ну, подрядился — так уж доконч и, ладно.

— Да не в том дело, что подрядился. Мне надо хоть одну вещь, но сделать. Хоть почувствовать — не разучился. И вот ты говоришь: поезжай. А кто меня там ждет?

— Ты ж говорил — жена была, дети...

— Ну-ну, еще племяшей прибавь, кумовьев. А посчитай, сколько годков минуло. Меня-то еще на финскую призвали, да к шапочному разбору; то б демобилизировали, а так еще трубить оставили. Ну, теперь эта, Отечественная, да плен, да за него еще другой плен — вон меня сколько не было! А они под оккупацией находились, и кто там живой остался — поди узнай. И на кой я ему — с амнистией! Разбираться ему некогда, за что попал. Все по одному делу попадают — за глупость. Был бы умный — как-нибудь уберегся. Ну, а коли ты дурак, так и живи подалее, других не дергай. Их-то из-за меня почему тягать должны? Это одно дело, а другое — он меня за живого-то уже не считал. В душе-то он со мной простился. Помню я, с соседом мы в пересылке встретились, на одной улице когда-то жили. «Батюшки,— он мне говорит,— да ты живой! А я тебя который год в усопших числю». Ведь за всех за нас по домам, по церквам свечки ставили, как же это мы теперь вернемся? Кто нам, не подохшим, рад будет? Ведь они грех совершили — по живому свечка!

— Ну, а в другой какой район? — спрашивала тетя Стюра, стягивая плечи платком.— Не обязательно в Первомайский...

— Да в какой же еще другой, Стюра? А я где живу? Я же в другом и живу!

Покачав головою, она уходила в кухоньку. Он провожал ее загоревшимся взглядом, поворачиваясь с табуретом вместе. Там она гремела посудой, с грохотом лазила в подпол и возвращалась с тарелкой помидоров и грибов, переложенных смородиновыми листьями, а в середину стола ставила запотевшую бутылку. Потертый зябко вздрагивал, уводил в сторону масленно заблестевшие глаза, а бутылка все равно была центром притяжения, главной теперь вещью в комнате.

Эта мерзость, как уже знал Руслан, называлась ласково «водочкой», она же была «зараза проклятая, кто ее только выдумал»,— и понять он не мог, нравится ли ее пить Потертому. По вечерам он к ней устремлялся всем сердцем, утрами — страдал и ненавидел ее. Не в первый раз Руслан наблюдал, как эти двуногие делают то, что им не нравится, и вовсе не из-под палки,— чего ни один зверь не стал бы делать. И недаром же в иерархии Руслана вслед за хозяевами, всегда знавшими, что хорошо, а что плохо, сразу шли собаки, а лагерники — только потом. Хотя и двуногие, они все-таки не совсем были люди. Никто из них, например, не смел приказывать собаке, а в то же время собака отчасти руководила их действиями,— да и что путного могли они приказать? Ведь они совсем были не умны; все им казалось, что где-то за лесами, далеко от лагеря, есть какая-то лучшая жизнь,— уж этой-то глупости ни одна лагерная собака вообразить себе не могла! И чтоб убедиться в своей глупости, они месяцами где-то блуждали, подыхали с голоду, вместо того, чтобы есть свое любимое кушанье — баланду, из-за миски которой они готовы были глотки друг другу порвать, а возвратившись с повинными головами, все-таки замышляли новые побеги. Бедные, помраченные разумом! Нигде, нигде они себя не чувствовали хорошо.

Вот и здесь — разве нашел свою лучшую жизнь Потертый? Уж что там его держало около тети Стюры, об этом Руслан преотлично знал,— да

то же, что и у него самого бывало с «невестами». Право, это не самое скверное в жизни, но этим двоим не было друг от друга радости. Иначе зачем бы им тосковать, живя под одним кровом, зачем спорить столько, иной раз до крика? Потертый и здесь оставался истым лагерником — делал не то, что хотелось бы ему делать, делала то же и его «невеста», и Руслан твердо знал: когда придет время их разлучить и увести Потертого туда, где только и может он обрести покой, то он, Руслан, не испытает ни жалости, ни сомнений.

Сев за стол, тетя Стюра приглашала обоих своих «жильцов» — один отказывался, не взглянув на поставленную около него миску, другому хотелось еще поработать. Но вся его работа в том состояла, что он еще разок прикладывал оставшиеся планки и, отложив их, сидел, курил, намеренно оттягивая блаженное свидание с бутылкой. Что-то уже изменилось в нем причудливо: на лице сияла беспричинная ленивая доброта, а в душе чувствовалась нервозная готовность двигаться, говорить без конца.

— Так-то, Стюра, дорогая, с финской, значит, войны... Н-да. Ну, то, правда, не война была, а «кампания». Точно, «кампания с белофиннами». Ах, тит его мать, гениальный все ж был душегуб! Как он их побоевому назвал «белофинны». Кто их разберет, захватчики оии, не захватчики, а белофинны — это ясно: белые, значит, а белых еще не забыли, так винтовка легко в руку идет, знаешь, с кем воевать. А так-то финны они, финляндцы. Н-да, ну победили мы их... Ну, как победили? Сами рады были, что они нам мир предложили. А они-то все-таки умные, они ж понимали, что мы же все наши головы положим за правое дело и за отца любимого всех народов, — зачем это им? Лучше же миром людей сохранить, а территории все равно мало будет, всем ее мало. И в Отечественную они тоже умно поступили: свое оттяпали до бывшей границы, а дальше не пошли, сколько им Гитлер ни приказывал. Вот бывают же умные народы! Нам бы у них ума поднабраться, у белофиннов этих, — то есть я финны хотел сказать, финляндцы.

— Вишь ты, куда тебя уносит, — говорила строго тетя Стюра. — Тебя не сажать, тебе язык обрезать — и ходи лалакай.

— А я, Стюра, не за ла-ла сидел. Я — шпион, я руки перед ненавистным врагом поднял. Так руки и секи, а язык при чем?

— Как это ты за народ судишь — кто умный, кто нет?

— А так и сужу, милая. — И в его голосе вскипали раздражение и злоба. — Тот человек неумный, кто хочет, чтоб все жили, как он живет. И тот народ неумный. И счастья ему не видать никогда, хоть он с утра до вечера песни пой, как ему счастливо живется.

Тетя Стюра, прикусив губу, кидала искоса пугливый взгляд на Руслана. И он отводил в сторону мерцающие глаза или закрывал их, притворяясь спящим.

— Счастья злым не бывает, — говорила она. — А нам-то за что? Мы кто, по-твоему, злые?

— И этого хватает, Стюра. Мы ж недаром народ суровый считаемся. Но то еще полбеды. Есть и другие суровые, а хорошо живут. А ты вот себя возьми: и добрая вроде, но представь — какая-нибудь финтифля юбку задерет повыше твоего понимания или же грудь выкатит на огневую позицию, ведь ты ж мимо не пройдешь. Твоя бы сила — ты б ее со свету сжила.

— Господи, да пускай хоть голая ходит! А только я на это смотреть не обязана.

— А вот ей так нравится!

— Мало чего ей нравится. Еще другим должно нравиться. Люди ж не дураки, думали все-таки — как прилично.

— Вот! — Он торжествующе поднимал палец. — Хоть всю политику на вас изучай, на бабах. Эх, Стюра! Все же не зря я через это все прошел. Каких я людей повидал, ты не поверишь. Какого ума люди, образования, видели сколько! Я бы так серым валенком и остался, когда б не они. Вот, помню, два года у меня с немецким товарищем общая вагонка была. Он, значит, внизу, а я — наверху.

— Ну, знаю вагонку.

— Много он стран повидал и мне рассказывал. Он, конечно, коммунист-раскоммунист, но нацию-то не переделаешь, и вот что заметил я: обращает он внимание, что люди где-то не так живут, а по-особенному, что вот такие-то у них обычаи, так-то вот они дом украшают, так-то вот песни поют, свадьбы играют. А, поди-ка, наш заведет — где побывал да что видел, то главное у него выходит, что вот там-то комсомол организовали, а там-то вот революция без пяти минут на носу, а вот в другом месте — дела неважнец, марксистская учеба в самом зачатке, только лишь профсоюзная борьба ведется. И не то ему по душе, что революция и комсомол, а то дело, что все кругом по-нашему, ну как в родном Саратове. А спросишь, что же там еще интересного, — зыркнет на тебя с таким это удивлением: «Простите, если э т о вам не интересно, что же вам вообще тогда интересно?» Видишь, как!

Она слушала, подперев кулаком щеку, нахмурив белое большое лицо, и вдруг спохватывалась:

— Ну, ты сядешь? Или так все будешь ла-ла?

Он придвигался к столу и тянулся быстрой рукой к бутылке. Заставляя себя не спешить, наливал тете Стюре — до черты, которую она показывала ладонью, и почти полный стакан — себе.

— Много наливаешь, — говорила она, — для первого-то разу.

— А это смотря за что пить. За Большой Звонок первый глоточек. Я-то своего маленького звонка дождался, а Большой — он впереди еще. Это когда все ворота откроются и скажут всем: «Выходи, народ! Можно — без конвоя». Ну, прощай, Стюра.

Крупно вздрогнув, он опрокидывал весь стакан сразу, а потом дышал в потолок, моргая заслезившимися глазами, точно в темя ударенный. Отдышавшись, тыкал вилкой в тарелку, но тут же бросал вилку и торопился опять налить. Тетя Стюра накрывала свой стакан ладонью, но он говорил: «Пускай постоит», — и она убирала ладонь.

Нетерпение его проходило, он делался расслабленно весел и лукав, и в их разговор вплеталась какая-то игра.

— Стюра! А, Стюра? — спрашивал он. — Это что ж за имячко у тебя такое? Никогда не слыхал.

— А вот женись, — отвечала она, — в загс меня своди — в тот же час и узнаешь. Всю меня полностью к тебе впишут[1].

— Всю тебя полностью, Стюра, и в шкап не поместишь, такая ты у нас больша-ая!..

Она притворно обижалась, фыркала, но скоро оказывалась у него на коленях, и продолжалась их игра уже с участием рук.

— Стюра, а этот-то, наш-то, гражданин начальничек, он как — ничего был мужчина?

— Дался тебе начальничек! Обыкновенный, как все.

— У, как все! Ты всех, что ли, тут привечала? Так знала бы, что все по-разному. Это вы все одинаковые.

— Тебе, во всяком случае, не уступит.

— Врешь. Это ты врешь. Не уступит! Он выдающаяся личность, скала-человек, орел! Клещ, одним словом. Как вопьется, так либо его с мясом отдерешь, либо он тебе голову на память оставит. Я так думаю, хорошо он тебя пошабрил!

— Иди к чертям! Прямо уж, пошабрил... Одна видимость, что военный.

— А по сути — нестроевой? Ну, это ты приятное мне говоришь. За это еще полагается по глоточку.

Руслан поднимался и, лбом распахнув дверь, выходил на двор.

День только успевал догореть, но Руслан уже знал наверняка, что до позднего утра подконвойный никуда не денется, эта «зараза проклятая» удержит его в доме надежнее всякого караула. Привыкший ценить время, когда он бывал свободен и предоставлен себе, Руслан не мог нарадоваться его обилию. Покуда опять порозовеет небо и мир сделается цветным, можно и выспаться всласть, и поохотиться, и сбегать посмотреть, что делается на платформе, и навестить кое-кого из товарищей. Вот только б дожить до утра с пустым брюхом, в котором, казалось, гуляет ветер и плещется горячее озеро. Он знал, что в тепле его совсем развезет,

---

[1] Полностью впишут «Анастасия» либо «Настасья». Отсюда сибирская трансформация: Настя-Настюра-Стюра.

и нарочно охлаждал брюхо снегом, растягиваясь иа улице, перед воротами. Здесь был его всегдашний пост — и очень удобный. Отсюда он прозревал улицу в обе стороны, а сквозь проем калитки, никогда не закрывавшейся на ночь, мог видеть крыльцо. А в любимый час на покосившемся столбе загорался фонарь и бросал на весь пост и на Руслана конус желтого света. Этот свет согревал душу Руслана, он так живо ему напоминал зону, караульные бдения с хозяином, когда они вдвоем обходили контрольную полосу или стояли на часах у склада; им было холодно и одиноко, обставшая их стеною тьма чернела непроницаемо и зловеще, и по эту сторону были свет и правда, и взаимная любовь, а по ту — весь нехороший мир с его обманами, кознями и напастями.

Сюда, под конус, к нему выходил Трезорка и укладывался чуть поодаль, но с каждым днем все ближе. Своих приятелей он уже, разумеется, оповестил насчет Руслана, и на второй же вечер они явились знакомиться. Пришел худющий Полкан — с ошпаренным боком и печатью недоумения на морде, с сединою в козлиной бороде, постоянно кивающий, точно все время с кем-то соглашался. Пришел мучительно умный Дружок, с загадочным прищуром, будто знающий какую-то тайну, а на самом деле весьма недалекий и не помнящий родства, в других дворах отзывавшийся на Кабысдоха. Пришел элегантный и нервный Бутон, ужасно гордый своими шароварами и таким же вовсю распущенным, в колечко закрученным хвостом. Знакомство вышло одностороннее — Руслан их не удостоил ни одним движением, ни взглядом, высясь над ними равнодушной каменной глыбой, но и это Трезорка себе же обратил в пользу. Он лежал и помалкивал, приняв ту же позу, что и Руслан, и с таким же независимым выражением на морде. Приятели жестоко позавидовали и удалились в смятении.

А то прибегали совсем уже задрипаные сучонки — какие-то милки, чернухи, ремзочки, одна так и вовсе без имени, — располагались полукругом и смотрели на Руслана с обожанием. В их порочных глазах так откровенно читалось: «Ах, какой красивый! Какой большой, длинноногий. Ну, обрати же внимание, военный!..» Со своими страстями они обращались не по адресу, в их плоские головки не приходило, что он находится на службе, и то, чего бы им хотелось с ним, он привык исполнять, как долгие поколения его предков: будет команда, возьмут на поводок, укажут — с кем. Когда их присутствие надоедало ему, он лишь привздергивал черно-лиловые губы и обнажал клыки — всех их как ветром сдувало, а Трезорка тотчас же находил себе дело во дворе.

Никто из своих собак не приходил проведать Руслана, а новых знакомств он избегал, превыше всего ценя одиночество. В эти часы, глядя в надвигающуюся ночь, он по давней лагерной привычке переживал еще раз день прожитый и готовился к новому дню. Он тревожил и напрягал память — не перестал ли он помнить все, чему его учили, не растерял ли все уроки, что достались ему жестоким опытом и за которые, в случае потери, мог он слишком дорого заплатить.

...Вот он опять приближается, Неизвестный в сером балахоне, воняющий бараком. Он подходит со стороны солнца, его длинная утренняя тень вкрадчиво ползет к твоим лапам. Будь настороже и не тени бойся, а его руки, спрятанной в толстом рукаве. Рукав завернется — и на ладони покажется отрава. Но вот она, его ладонь, перед твоим носом, — она открыта и пуста. Он только хочет тебя погладить — нельзя же во всем подозревать одни каверзы! Теплая человеческая ладонь ложится тебе на лоб, прикосновения ласковы и бережны, и сладкая истома растекается по всему твоему существу, и все подозрения уходят прочь. Ты вскидываешь голову — ответить высшим доверием: подержать эту руку в клыках, чуть-чуть ее прихватив, совсем не больно. Но вдруг искажается смеющееся лицо, вспыхивает злобой, и от удивления ты не сразу чувствуешь боль, не понимаешь, откуда взялась она, — а рука убегает, вонзив в ухо иглу...

А ты и не видел ее, спрятанную между пальцами. Учись видеть.

Вот опять — стоило хозяину отлучиться на минутку, и ты сразу же наделал глупостей. Какой стыд! И — какая боль! А самое скверное, что придется признаться в своей глупости: вдруг выясняется, что от этой штуки тебе самому не избавиться — ни лапой стряхнуть, ни ухом потереться, что ни сделаешь, все только больнее. Ухо уже просто пылает, и меркнет день от этого жжения, такой безоблачный, синий, так начавшийся славно. Но вот и хозяин — ах, он всегда приходит вовремя и все-все понимает. Он тебя нисколечки не наказывает, хотя ты это несомненно заслужил. Он куда-то ведет тебя, плачущего, ты и дороги не различаешь, и там быстро выдергивается эта мерзкая штука, а к больному месту прикладывается мокрая ватка. Один твой последний взвизг — и все кончено. Хозяин уже и треплет тебя за это ушко, а ничуть не больно. Но будь же все-таки умником, подумай: неужели и в следующий раз не постараешься рассмотреть, с чем к тебе тянутся чужие руки? А может быть, и не стоит труда присматриваться? Не лучше ли, как Джульбарс: никому не верь — и никто тебя не обманет?

Он недаром первенствовал на занятиях по недоверию — Джульбарс, покусавший собственного хозяина. Он не то что выказывал отличную злобу к посторонним, он просто сожрать их хотел, вместе с их балахонами. Несколько раз бывало, что он переставал понимать, что к чему, — а ему одному все сходило. Ничего не соображая, он впятеро, вдесятеро форсировал злобу, на нем чуть не дымилась шкура, и на всю площадку разило псиной. Вот что он отлично усвоил: перестараешься — сойдет, хуже — недостараться.

— Всем вам учиться у него, учиться и еще раз учиться, — говорил инструктор, обнимая Джульбарса за шею, и молодые собаки, посаженные в полукруг, роняли слюну от зависти. — Этому псу еще б две извилины в башке — цены б ему не было!

Джульбарс, впрочем, считал, что ему и так нет цены. Но одна мысль ему не давала покоя: если он так и будет никого к себе не подпускать, то ведь он никого и не покусает! И однажды он усложнил номер, он сделал вид, что наконец-то его обманули, и позволил чужой руке лечь на его лоб. В следующий миг она оказалась в его пасти. Такого ужасного крика еще не слышали на площадке. Несчастный лагерник рухнул на землю и стал отбиваться ногами, и даже хозяева кинулись его выручать: они и гладили, и хлестали Джульбарса поводками, и грозились его убить, — ничто не помогало, Джульбарс, по-видимому, решил умереть, но отгрызть эту руку напрочь. И тут с чего-то померещилось Грому, привязанному в дальнем углу, что это вовсе не лагерник вопит, а его собственный хозяин; Гром, разволнованный не на шутку, пролаял оттуда Джульбарсу, чтоб тот немедленно оставил его хозяина в покое. Но с Джульбарсом случился приступ самой настоящей мертвой хватки, он уже при всем желании не мог разжать челюсти, он должен был сначала успокоиться. Так вот, пока он успокоился и отпустил наконец то, что раньше было рукою, лагерник уже и встать не мог, хозяевам пришлось его под руки утаскивать с площадки.

Свое подозрение Грому, к сожалению, не удалось проверить: с этого дня хозяин Грома навсегда исчез из его жизни. Ну, а Джульбарсу, конечно, и на этот раз все сошло, только славы еще прибавилось. И то правда — у кого б учиться молодежи! С ним в паре ставили доброватых и малозлобных, которые недопонимали, зачем бы им, к примеру, преследовать убегающего — ведь он уже не причинит им вреда — и какое тут, собственно, удовольствие. Джульбарс рассеивал все их сомнения; хрипло пролаяв: «Делай, как я!», он догонял бегущего, валил наземь и такую показывал вкусную трепку, что и самые бестолковые прозревали, в чем смысл жизни.

Руслан этого смысла долго не мог постичь, его пришлось дразнить помногу и терпеливо: дергать во время еды за хвост, наступать на лапу, утаскивать из-под носа кормушку, а то еще, посаженного на цепь, обливать водою и убегать после этого с диким хохотом. Особенно же неприятные были занятия по воспитанию «небоязни выстрелов и ударов». Рожденный ровным счетом ничего не бояться, он с трудом переносил, когда серые балахоны палили ему в морду из большого пистолета и колошматили по спине бамбуковой тростью. Он, правда, быстро усвоил, что ничего ужасного этот дурацкий пистолет не причинит ему, и к бамбучине тоже притерпелся, но как раз терпеть-то и не следовало, а нужно было уклоняться, перехватывать руку, догонять, терзать — все это он проделывал без охоты.

— Смел, но не агрессивен. Некоторая эмоциональная тупость, — говорил с сожалением инструктор, и его слова обидно пощипывали Руслана

в сердце.— А вы с ним чересчур понарошку. С ним надо серьезнее, он вам не верит.

Инструктор сам брал бамбучину и, страшно оскалясь, делал ужасающий замах.

— А ну, куси меня! Куси как следует!

Но хватать инструктора за голую кисть еще меньше хотелось Руслану, чем давиться ватой. Он старался взять легонько, чтоб даже не поцарапать. Инструктор ему нравился. Он на всех собак производил самое благоприятное впечатление,— одно его присутствие скрашивало все тяготы учений. Всем так нравилась его кожаная курточка, так дивно от нее пахло каким-то зверьем, что хотелось ее немедленно разорвать в клочки и унести на память. Нравились его худоба и ловкость, его рыжий чубчик и востренькое личико, которое можно было только в профиль смотреть,— и в этом профиле угадывалось что-то собачье. Быстрый и неутомимый, он носился по всей площадке и всюду поспевал, каждой собаке умел все так толково объяснить, что она его тут же понимала — лучше, чем своего хозяина. Увлекаясь, он рычал и лаял, и собаки находили, что у него это очень неплохо получается; еще немного — и они поймут, о чем он лает. И тогда они бы простили ему, что у него нет такой же пушистой шкуры, как у них, из-за чего он вынужден носить чужую лысую кожу, и что он не насовсем оставил человеческую речь, отвратительно грубую и ничего не выражающую, и предпочитает еще ходить на двух ногах, когда гораздо удобнее на четырех.

Но, впрочем, инструктор уже делал некоторые попытки и, признаться, не вовсе безуспешные. Один его фокус прямо-таки пленял собак — инструктор его применял не часто, но уж когда применял, то все занятие было — сплошной праздник.

— Внимание! — командовал инструктор, и все собаки заранее умирали от восторга.— Показываю!

И, опустившись на четвереньки, он показывал, как уклониться от палки или от пистолета и перехватить руку с оружием. Правда, иной раз инструктору все же попадало палкой по голове или по зубам, но он не выходил из игры. Он только на секундочку отрывал одну лапу от земли и проверял, нет ли каких повреждений, а затем командовал: «Не считается, показываю еще раз!» и с коротким лаем снова кидался в атаку — до тех пор, пока упражнение не удавалось ему вполне.

Иногда собаки даже шли на хитрость: кто-нибудь притворялся непонимающим,— только б еще разик насладиться работой инструктора, услышать его — «Внимание, показываю!». А как резво бегал он по бревну,— куда лучше, чем на двоих! — каким делался при этом изящным, поджарым, как ходили под курточкой острые лопатки и топорщился рыженький загривок, как ловко он перемахивал через канаву или барьер или взбегал единым духом по лестнице, а будучи в ударе, так и всю полосу препятствий преодолевал без задержки, только легкая испарина выступала на лбу. В конце полосы кто-нибудь из хозяев уже держал наготове поощрение — инструктор брал вкуску зубами, не вставая с четырех, и так смачно ее съедал! Собаки сглатывали слюну и рвались повторить хоть весь комплекс упражнений сразу.

Они бы на край света за ним пошли, только позови он. Ему даже Джульбарс позволял то, чего бы и своему хозяину не позволил — сделать легкую смазь или разъять пасть и пощупать прикус. Инструктор даже сам просил его, вставляя палец между страшными Джульбарсовыми зубами:

— Ну-ка, милый, кусни. Так, сильнее...

Хозяева не могли в это поверить, им казалось, что инструктор останется без пальцев.

— Никогда! — отвечал он им.— Никогда собака не укусит того, кто ее безумно любит. Поверьте мне, я старый собаковод, я потомственный, с вашего разрешения, кинолог, на такое извращение способен только человек.

А про Джульбарса он сказал:

— Он не зверюга. Он просто травмирован службой.

Инструктор любил собак всем сердцем — и, конечно, в каждой немножечко ошибался. Они ему все казались травмированными, раз им до-

сталась такая тяжелая служба. Но насчет Джульбарса собаки были другого мнения. Ему небось и инструктора хотелось покусать, да он боялся, что его тут же порвут на мелкие клочочки.

А вот что инструктор сказал однажды Руслану — с глазу на глаз и тихо, с печалью в голосе:

— Этот случай мне знаком. В чем несчастье этой собаки, я знаю. Она считает, что служба всегда права. Это нельзя, Руслан, пойми — если хочешь выжить. Ты слишком серьезен. Смотри на все, как на игру.

Руслана инструктор тоже ценил высоко — хоть тот и не проявлял нужной агрессивности, но кое-что умел получше Джульбарса, а одна вещь была такая, что и сам инструктор не мог бы показать, как она делается. И это коронный номер был у Руслана, в котором не имел он себе равных,— «выборка из толпы».

Эту работу — нелегкую, но чистую, вдумчивую и не очень шумную,— Руслан больше всего полюбил. И надо же, чтоб так случилось, что не мог он теперь вспоминать о ней без чувства своей виноватости и греха, неясных для него — как неясным остался тот человек, с которого началось самое печальное. Этого человека Руслан по виду не выделил бы из толпы лагерников, а между тем хозяева чем-то его отличали — и, может быть, тем, что как бы не обращали на него внимания. Уж слишком не обращали — это только собака и могла бы заметить, которую незаметно придерживают, когда тот или иной лагерник случайно вышагнет из колонны. Одного или двух натяжений поводка уже достаточно было Руслану, чтоб он привыкал таких людей уважать. А однажды морозным днем, когда они с хозяином намерзлись на лесоповале и забежали погреться в передвижную караулку, Руслан с удивлением увидел этого человека. Он сидел здесь, где обычный лагерник только стоять мог у порога, снявши шапку, он курил и беседовал — да с кем еще! — с самим Главным хозяином. «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца» был чем-то недоволен и выговаривал ему резко, а тот лишь твердил:

— Гражданин капитан, но вы же и в мое положение войдите. Понимаете? Вы войдите в мое положение.

Он сказал это несколько раз, прижав руку к груди, и Руслан решил, что так и зовут этого человека. «Войдите-В-Мое-Положение» ушел тогда очень расстроенный, тревожно озираясь, а день или два спустя собак привели поглядеть на него — лежащего неподалеку от караулки с железным тросом на шее. Живой он отчего-то не запомнился Руслану, а врезался в память таким, как лежал: глядя в облака тусклыми выпученными глазами, с багрово-синим раздутым лицом, завернув одну руку за спину, а другую — откинув и вцепившись скрюченными пальцами в снег. Эта рука, и лицо, и снег вокруг головы были посыпаны махоркой.

Собаки одна за другой подходили и воротили морды, виновато помаргивая и скуля. Когда подвели Руслана, он уже понял, почему у них ничего не выходило. Они начинали с головы убитого, нюхали его страшную лиловую шею с витыми бороздками от троса и клочьями содранной кожи, нюхали усы троса, раскиданные в стороны, как разметавшийся шарф,— и нанюхивались одной махорки, после нее вся работа была уже бесполезна. Он начал — с рук. Осторожно приблизился к откинутой и вовремя отшатнулся, а затем поддел мордой окаменевшее тело, прося, чтоб убитого перевернули, и тогда спокойно обнюхал другую руку, сжатую так сильно, что ногти впились в ладонь. Но он увидел не только синюю кровь от ногтей, он увидел капельки смертного пота, выступившего по всей кисти. Они смерзлись и стали мутными, как брызги известки, но если их чуть отогреть дыханием...

Закрыв глаза, он весь напрягся в неимоверном усилии. Хозяева в это время строили предположения, кто б это мог сделать; у каждого были свои счеты с лагерниками и свои догадки, близко сходившиеся со счетами, а главное, что занимало их,— сколько же было участников? Трое? Четверо? И этим они сами себя путали, потому что начинать нужно всегда с одного. Они имели глаза, чтобы видеть, и разглядели махорку, которую для того и насыпали, чтоб ее сразу увидели и почуяли, а не заметили, например, возле троса мелких чешуинок коры — Руслан их прежде всего увидел. Они вообще слишком много размышляли, он же не размышлял вовсе, не имел ни счетов, ни догадок, а просто увидел, как все происхо-

дило— как видится галлюцинация или связный цветной сон,—и услышал скрип снега под сапогами жертвы и неровное дыхание притаившегося убийцы.

«Войдите-В-Мое-Положение» шел в синих сумерках из караулки,— да, именно оттуда, и там ему дали покурить хозяйских папирос, и, проходя вот этой тропинкой, меж двух сосен, он не заметил троса, привязанного чуть повыше его головы. Другой конец этого силка убийца держал в руках. Он быстро опустил тяжелый виток, расхоженный и смазанный тавотом, на плечи «Войдите-В-Мое-Положение» и повернулся—конец троса лег на плечо убийце, он его держал обеими руками и, навалившись всем телом, сделал всего полшага. И петля затянулась; убийца почувствовал, как дергается трос,—это руки жертвы пытались разжать петлю, со всей силой, вспыхнувшей в них от смертельного страха, от жажды глотнуть воздуха,—тогда, собрав все свои силы, весь свой страх и смертельную злобу к жертве, которая так долго не умирает, он лягнул ее наугад под ноги и вышиб из-под них земную твердь. И еще целую вечность он стоял, изнемогая, будучи один и палачом, и виселицей, а «Войдите-В-Мое-Положение» хрипел и дергался у него за спиной, все хватаясь безнадежно за трос. Но раз или два он схватился ненароком за одежду убийцы, за полу его бушлата—слабая, беспомощная хватка уже вспотевшей руки, убийца этого и не почувствовал. Но когда потом он отвязывал трос и тащил удавленника подальше от дерева, когда он сыпал махорку и считал, что все сделано на редкость удачно и тихо, он не знал, что весь он со своим бушлатом остался в этом стиснутом кулаке, в смерзшихся капельках: и тысячу раз утертые этой полою лицо и руки, и ею же прикрываемые ноги, стынущие ночами под жиденьким одеялом,— и какая удача, что руку завернуло судорогой за спину, и она оказалась внизу, под телом. Что ж, можно считать—концы найдены. Руслан быстро отошел и ткнулся лбом в колени хозяину—это значило: «Я не обещаю, но я попробую. Веди меня скорей».

А выборка оказалась на удивление легкой. Любой, кто сдался в самом начале, выполнил бы ее без напряжения—наберись он только нахальства попробовать. Руслан даже не успел приблизиться к толпе, согнанной на пустыре перед воротами. Завидев медленно подходивших хозяев и рвущую поводок собаку, вся толпа с гудением подалась назад—и оставила одного в черном бушлате. Весь скорчась, спрятав руки под мышками, он сам упал вниз лицом, крича, как в истерике:

— Собаку не надо! И так все скажу. Ну не пускайте же зверя!..

И Руслан его не стал терзать, а лишь прихватил легонько полу бушлата — там, где хваталась рука убитого,— и качнул хвостом, показывая, что выборка им исполнена. За это получил он невиданное поощрение — из рук самого Главного—и с этого дня стал признанным отличником по выборке из толпы.

Отсюда, от этого дня его торжества, пролегла в памяти Руслана широкая прямая просека, по которой вели они с хозяином человека в бушлате. Ветер шумел в кронах огромных сосен и, сталкиваясь, они роняли охапки снега, разлетавшиеся радужной осыпью. Была великая тишина, покой, и всю дорогу человек шел спокойно и не спеша, нес лопату на плече или волочил за собою, чертя по снегу зигзаги, временами насвистывал. Сам завороженный этим покоем, он и у Руслана не вызывал предчувствий, что может вдруг прыгнуть в сторону и кинуться в побег, и так же молча они свернули с просеки и прошли тропинкой к черной, выжженной костром поляне. В середине ее зияла яма—неглубокая, с рыжими стенками, хранившими полукруглые гладкие следы ломов и острые треугольнички от кайла. Вот тут он впервые заговорил, повернувшись к хозяину белым злым лицом, с крохотными шрамчиками на щеке и на лбу. Ему не понравилась яма, он ступил в нее ногою, и там ему оказалось по колено, он даже сплюнул в нее от злости.

— Я один за всех на это дело пошел,—сказал он хозяину,—могли бы и все одного уважить.

— Чем тебя не уважили?—спросил хозяин.

— Понимаешь, черви—они всем полагаются, ты тоже с ними в свой час познакомишься, но чтоб меня волки выкопали себе на харч, этого ж я не заслужил. Об этом и в приговоре не было—насчет волков.

Хозяину очень хотелось курить, он доставал портсигар и снова его

прятал в карман белого своего полушубка—еще больше ему хотелось, чтоб все побыстрее кончилось.

— Значит, к своей же бригаде у тя претензии?—сказал хозяин.— Приговор-то чо обсуждать?

Человек опять сплюнул и вылез из ямы, воткнув лопату в комья насыпи.

— На! Потом хоть притопчешь как следует. Ни к кому у меня претензий нет, ради жмурика [1] и я б не уродовался. Бушлат мой—может, снесешь им? Пускай разыграют. Снять—чтоб тебе не трудиться?

Хозяин, не отвечая ему, потянул автомат с плеча.

— Что же не отвечаешь?—спросил человек.—Или совсем уже я безгласный?

Все длилось мучительно долго. Руслан весь дрожал и стискивал челюсти, готовый завыть. И что-то еще случилось у хозяина с автоматом, он никак не мог дослать затвор, и человек этот так надеялся, что у него сегодня и не получится. Но хозяин сказал: «Ща исправим, не бойся».— И вправду исправил. Он выбросил смятый патрон, затвор закрылся с лязгом, и случайно вылетела короткая очередь в небо. Тогда-то этот человек и приник к сапогам хозяина. Он добрался до них на четвереньках и прижался так сильно, что когда оторвал лицо, на его лбу и на губах остались черные пятнышки. Он улыбался бледной заискивающей улыбкой и говорил совсем не так, как до этой минуты, когда прогрохотала страшная очередь и едко-приторно запахло пороховой синью. Он говорил, что выстрелы уже прозвучали и услышаны в зоне и теперь хозяин может его отпустить; он уползет в леса и станет там жить, как змея или крыса, ни с кем из людей не видясь до конца дней своих, которых, наверное, немного уже и осталось, и только одного человека в мире—хозяина—он будет считать братом своим, молиться за него всегда и вспоминать благодарно, будет любить его сильнее, чем мать и отца, чем жену и своих неродившихся детей. Не различая слов, Руслан слышал большее, чем слова,—страстное обещание любви, ее последнюю истину, ее слезы и толчки крови в висках,—и чувствовал с ужасом, как его самого переполняет ответная любовь к этому человеку; он верил его лицу с запавшими горящими глазами; ничуть не помраченный разум горел в них, не жаждал этот человек другой, лучшей жизни, которой нигде не было, а только той участи, которой довольно всему живому на свете.

— Ну, ты чо, маленький? Не слышишь, чо лепечешь? — уговаривал его хозяин. Он стоял спокойно, не боясь, что тот рванет его за ноги или выхватит автомат, он знал, как слаб против него любой из лагерников и как быстро кидается Руслан на помощь. Если б знал он сейчас, что Руслан как будто окаменел и не смог бы даже пошевелиться!—Ты походишь и объявисси, а мне тогда с тобой на пару—стенка. Потому что куда тебе деться? Листиками будешь питаться, ящериц жрать, а после за людей примешься. Чо, не правду я говорю? Не ты ж первый... Так что считай—дело кончено. И давай вставай, себя же не мучай мечтами. Не бойсь, я тебе больно не сделаю, как другой кто-нибудь. Ну, вставай, не бойся, договорились же—больно не сделаю.

Он встал, этот человек, и крепко отер лицо рукавом.

— Делай, как умеешь. Шакальей жизни — и то ты мне пожалел. Вспомнишь еще не раз...

— Знаю,— сказал хозяин.— Все, что ты скажешь, уже знаю. Не наговорился еще?

Они не сделали больно тому человеку, но всю обратную дорогу Руслан не мог унять дрожи, скулил и рвался из ошейника, все хотелось ему вернуться и разгрести лапой мерзлые комья, задавившие белое успокоенное лицо. Никогда не вел он себя так плохо, и хозяин был вынужден жестоко отхлестать его поводком. Может быть, с этого дня хозяин и невзлюбил его.

Те мерзлые комья остались в душе Руслана, отягчив ее страхом и чувством вины,—будто он предал хозяина, обманул его надежды, будто и себя выдал, что не истинно служит в конвое, а лишь притворяется,— а такую собаку можно без промедлений отвести за проволоку, потому что

[1] Жмурик — покойник (блатной жаргон).

она в любую минуту может подвести, сделает что-нибудь не так или откажется сделать. И сколько они потом ни водили других людей в лес, хозяин уже не верил до конца Руслану, за которого сам когда-то поручился. В молодости Руслан прошел все науки, для которых и рождается собака; он прошел общую дрессировку — всю эту нехитрую премудрость: «Сидеть», «Лежать», «Ко мне», — блестяще себя показал в розыске и в караульной службе, но когда подвинулся к высшей ступени — конвоированию, инструктор засомневался, выдержит ли Руслан этот последний экзамен. И не на площадке его надлежало выдержать, где всегда тебя поправят, а в настоящем конвое, где на все одна команда: «Охраняй!», — а там как знаешь, сам шевели мозгами. И предмет охраны не склад, который никуда не убежит и особых чувств у тебя не вызывает, а ценность высшая и труднейшая — люди. За них всегда бойся и не чувствуй к ним жалости, а лучше даже и злобы, только здоровое недоверие. «Ничо, — сказал тогда хозяин. — Обвыкнется. Не сорвется». А сколькие срывались! Скольких отбраковывали и увозили куда-то на грузовике, и то если собака была молода и могла пригодиться для другой службы. Познавшим службу конвоя один был путь: за проволоку.

Всех обманул Ингус. Он казался таким способным, все схватывал на лету. Он покорил инструктора в первое же свое появление на площадке. Инструктор только успел сказать:

— Так. Будем отрабатывать команду «Ко мне».

Ингус тотчас же встал и подошел к нему. Инструктор пришел в восторг, но попросил повторить все сначала. Ингус вернулся на место и по команде опять подошел.

— Чудненько! — сказал инструктор. — А как насчет «Сидеть»?

Ингус сел, хотя ему даже не надавливали на спину.

— Встанем.

Ингус встал. А инструктор присел перед ним на корточки.

— Дай лапу.

Ингус ее тотчас подал.

— Не ту, кто же левую подает?

Ингус извинился хвостом и переменил лапу. С тех пор он подавал только правую.

— Не может быть, — сказал инструктор. — Таких собак не бывает.

Он взял учетную карточку Ингуса, чтоб убедиться, что тот еще не проходил дрессировки и знает только свою кличку и команду «Место!».

— Так я и думал, — сказал инструктор. — У него, конечно, исключительная анкета. На редкость удачная вязка! Какие производители! Я же помню Рема — редчайшего ума кобель. И матушка — Найда, ну как же, четырежды медалистка. Ее воспитывал сам Акрам Юсупов, большой знаток, кого с кем повязать. А сынишку он, видно, для Карацупы готовил, отсюда и кличка [1]. И все-таки я говорю: «Не может быть».

Он созвал хозяев подивиться необыкновенным способностям Ингуса. Он спросил у них, видели ли они что-нибудь подобное. Хозяева ничего подобного не видели. Он спросил, не кажется ли им, что под собачьей шкурой скрывается человек. Хозяевам этого не показалось. Человек в любой шкуре от них бы не укрылся.

— Что я хочу сказать? — сказал инструктор. — Если б такая собака была на самом деле, я бы здесь уже не работал. Я бы с нею объездил весь мир. И все поразились бы, каких успехов достигло наше советское собаководство, наши гуманные, прогрессивные методы. Потому что такие собаки могут быть только в нашей стране!

Ингус внимательно слушал, склонив голову набок, как ему и полагалось по возрасту, но глаза были недетски серьезны. И уже тогда, в первый день, заметили в этих янтарных глазах тоску.

Он рос, и росла его слава. С легкостью необычайной переходил он от одной ступени к другой — да не переходил, а перепрыгивал. Сухощавый, изящный и грациозный, он стрелою мчался по буму, играючи одолевал барьеры и лестницу, с первого раза прыгнул в «горящее окно» — стальную раму, политую бензином и подожженную, в розыске показал отличное верхнее и нижнее чутье. Оправдал себя и в карауле, хотя хорошей злобы не выказал, а скорее какую-то неловкость и смущение за дураков в серых балахонах, пытавшихся стащить у него мешок с тряпками, порученный ему для охраны. В гробу он видел и этот мешок, и эти тряпки, но ни разу не отвлекли его, не смогли подойти незаметно или проползти на животе за кустами, чтобы напасть со спины. Он показывал, что видит все их проделки, и самим балахонам делалось неловко, когда с такой грустью смотрели на них эти янтарные глаза.

[1] Всех собак знаменитого Карацупы, задержавшего около пятисот нарушителей границы, звали Ингус.

Джульбарс тогда обеспокоился не на шутку. Законный отличник по своим предметам — злобе и недоверию, он, однако, лез быть первым во всем, хотя чутьецо имел средненькое, а по части выборки был совершенная бестолочь: когда его подводили к задержанным, он до того переполнялся злобой, что запахов уже не различал, а хватал того, кто поближе. Но он считал, что если собака не постоит за себя в драке, то все ее способности ничего не стоят, и всем новичкам, входившим в моду, предлагал погрызться. Не избежал его вызова и Руслан и испытал натиск этой широкой груди и бьющей, как бревно, башки. Дважды он побывал на земле, но покусать себя все же не дал, а зато у Джульбарса еще прибавилось отметин на морде, к чему он, впрочем, отнесся добродушно, даже покачал хвостом, поощряя молодого бойца. С Ингусом все вышло иначе: он просто отвернулся, подставив для укуса тонкую шею, и при этом еще улыбался насмешливо, показывая, что не видит смысла в этих солдатских забавах. Старый бандит, конечно, впился в него сглупа и уж было пустил кровь, да вовремя сообразил, что нарушает правило хорошей грызни: «Кусай, но не до смерти», — и отступил, не дожидаясь трепки от всех собак сразу.

Джульбарс, однако, скоро утешился. Он увидел — а другие собаки это и раньше видели, — что первенствовать Ингусу не дано. Не рожден он был отличником — во всем, что так легко делал. Не чувствовалось в нем настоящего рвения, жажды выдвинуться, зато видна была скука, неизъяснимая печаль в глазах, а голову что-то совсем постороннее занимало, ему одному ведомое. И скоро еще одно заметили: он мог десять раз выполнить команду без заминки, и все же хозяин Ингуса никогда не мог быть уверен, что он ее выполнит в одиннадцатый. Он отказывался начисто, сколько ни кричали на него, сколько ни били, и, отчего это с ним происходило и когда следовало ждать, никто понять не мог. Вдруг точно столбняк на него нападал: он ничего не видел и не слышал, и только инструктору удавалось вывести его из этого состояния.

Инструктор подходил и садился перед ним на корточки.

— Что с тобой, милый?

Ингус закрывал глаза и отчего-то мелко дрожал и поскуливал.

— Не переутомляйте его, — говорил инструктор хозяевам. — Это редкий случай, но это бывает. Он все это знал еще до рождения, у мамаши в животе. Теперь ему просто скучно, он может даже умереть от тоски. Пусть отдохнет. Гуляй, Ингус, гуляй.

И один Ингус разгуливал по площадке, когда все собаки тренировались до одури. К чему это приведет, заранее можно было догадаться. Однажды он просто удрал с площадки. Удрал вовсе из зоны.

Он должен был пройти полосу препятствий вместе с хозяином, но без поводка. И вот они вдвоем пробежали по буму, перемахнули канаву и барьер, прорвались в «горящее окно», а напоследок им надо было проползти под рядами колючки, натянутой на колышки, но туда полез только хозяин Ингуса, а сам Ингус помчался дальше, перепрыгнул каменный забор и понесся широкими прыжками по пустынному плацу. Его не остановила даже проволока, — ну, под проволокой собаке нетрудно пролезть, но как преодолел он невидимое «Фу!», стоящее перед нею в десяти шагах и плотное, как стекло, о которое бьется залетевшая в помещение птица? И куда смотрел пулеметчик на вышке, обязанный во все живое стрелять, нарушающее Закон проволоки!

Когда сообразили погнаться за Ингусом, он уже пересек поле и скрылся в лесу. Он мог бы и совсем уйти — бегал он быстрее всех и ему не надо было тащить на поводке хозяина, но проклятая мечтательность и тут его подвела. Что же он делал там, в лесу, когда его настигли? Устроил, видите ли, «повалясики» в траве, нюхал цветы, разглядывал какую-то козявку, ползущую вверх по стеблю, и, как завороженный, то-

скующими глазами провожал ее полет... Он даже не заметил, как его окружили с криками и лаем, как защелкнули карабин на ошейнике, и только когда хозяин начал его хлестать, очнулся наконец и поглядел на него с удивлением и жалостью.

Когда пришло время допустить Ингуса к колонне, тут были большие сомнения. Инструктор не хотел отпускать его от себя, он говорил, что у Ингуса еще не окрепли клыки и что лучше бы его оставить на площадке показывать работу новичкам. Но Главный-то видел, что с ватным «Иван Иванычем» Ингус расправляется других не хуже, а насчет показа, сказал Главный, так это инструктор и сам умеет, за это ему и жалованье идет, а кормить внештатную единицу — на это фонды не отпущены. И сам Главный решил проэкзаменовать Ингуса. Все волновались, и больше всех инструктор, он очень гордился своим любимцем и все же хотел, чтоб тот себя показал в полном блеске. И что-то с Ингусом сделалось — может быть, не хотелось ему огорчать инструктора, а может быть, снизошло великое вдохновение, оттого что все только на него и смотрели, но был он в тот день неповторим и прекрасен. Он конвоировал сразу троих задержанных; двое пытались бежать в разные стороны, и всех их он положил на землю, не дал даже головы поднять и не успокоился, пока не подоспела помощь и на всех троих защелкнулись наручники. Целых пять минут он был хозяином положения. Главный сам следил по часам и сказал после этого инструктору:

— Вы ще в меня сомневаетесь! Работать ему пора, а не цветочки, понимаешь, нюхать.

Но когда допустили Ингуса к колонне, выяснилось, что работать он не хочет. Другим собакам приходилось работать за него. Колонна шла сама по себе, а он гарцевал себе поодаль, как на прогулке, не обращая внимания на явные нарушения. Лагерник мог на полшага высунуться из строя, мог убрать руки из-за спины и перекинуться парой слов с соседом из другого ряда — как раз в эту минуту Ингуса что-нибудь отвлекало и он отворачивался. Но ведь помнился хозяевам тот экзамен, похвала Главного! Оттого, наверно, и прощалось Ингусу такое, за что другой бы отведал хорошего поводка. И только собаки предчувствовали, что ему просто везет отчаянно, а случись настоящее дело, настоящий побег — это последний день будет для Ингуса.

Так он и жил с непонятной своей мечтой, или, как инструктор говорил, «поэзией безотчетных поступков», всякий день готовый отправиться к Рексу, а умер не за проволокой, а в лагере, у дверей барака, умер зачинщиком собачьего бунта.

В цепкой памяти Руслана был, однако, свой порядок событий, свое прихотливое течение, иногда и попятное. Все лучшее отодвигалось подальше, к детству; там, в хранилище его души, в прохладном сумраке, складывались впрок сладкие мозговые косточки, к которым он мог вернуться в тягостные минуты. Все же обиды и огорчения, все скверное — он тащил на себе, как приставшие репьи, которые нет-нет да и стрекнут еще свежим ядом. И вот выходило по хронологии Руслана, что та счастливая выборка, тот день его отличия, торжества — остались чуть не на заре его жизни, и там же лежал «Войдите-В-Мое-Положение», удавленный тросом, — к несчастному собачьему бунту, как будто вчера случившемуся, он уж поэтому не мог иметь отношения. Но когда потекли воспоминания о бунте, когда наполнились запахами, звуками, цветом, «Войдите-В-Мое-Положение» вошел в них еще живой, он вошел в теплую караулку, дыша себе на руки, и сообщил хозяевам что-то тревожное, от чего они тотчас побросали окурки и поднялись, разбирая автоматы и поводки.

Вскочили и собаки, разомлевшие в тепле, одуревшие от вони овчинных полушубков, и уже рвались с хрипом на двор, позабывши начисто, почему их в этот день не гоняли на службу. Боже, какой мороз схватил их за морды когтистой лапой! Он калеными иглами пронзил ноздри и вытек из глаз слепящей влагой; даже во лбу от него заломило, точно они в прорубь окунулись. И уж тут не помнилось, куда же он делся, «Войдите-В-Мое-Положение», тут хронология прощалась с ним навсегда, — то ли остался в караулке, то ли это он, весь нахохленный, плечом отодвигал воротину и потом спрятался в будке у вахтера, а может быть, он исчез возле самого барака, рассеялся в тумане, осыпался льдистыми искрами, и их

замело поземкой. Завидев барак, собаки опять стали рваться — там уж какая ни будет работа, а все же тепло! — но Главный хозяин, который шел впереди и время от времени оборачивался и тер себе рукавицей багровое лицо, всех остановил у дверей. А сам, подкравшись, отворил их без скрипа и стал слушать, вздев одно ухо на ушанке.

Из тамбура потянуло теплом и привычным смрадом и послышался неясный гул — вот так собачник гудит, возмущенно и неразборчиво, когда запаздывает кормежка. За тонкими вторыми дверьми что-то громадное ворочалось, стукалось глухо об пол или об стенки, исходило криками и причитаниями, быстрым запальчивым бормотанием. Похоже, происходила одна из тех свар, которые у людей невесть с чего начинаются, с полуслова, раздраженного спора, и неумолимо, бешено разрастаются в грызню, а потом так же быстро остывают, и все расходятся, но кто-нибудь, бывает, и остается лежать с прижатыми к животу руками, корчась в судороге, а то и вовсе не шевелясь.

Главный хозяин открыл и эти двери — пошире, точно в них должен был грузовик пройти, — и стал на пороге, по пояс в морозном облаке.

— Сука, закрой, а то ушибу! — И вслед за этим хриплым воплем, долетевшим из темной глубины, что-то еще прилетело тяжелое и шмякнулось о косяк рядом с его ушанкой.

Главный хозяин спокойно выждал, когда утихнет.

— Так, — сказал он, покачиваясь, заложив руки за спину. — Так. Значит, судьбы родины обсуждаем?

Барак совсем замолк. Но тотчас же кто-то, поближе к дверям, отозвался с готовностью:

— Что вы, гражданин капитан. И думать себе не позволим! Мы только о том, что не возбраняется в свободное время.

— Ага... А то я иду мимо — шо-то, смотрю, в их жарко сегодня. Может, думаю, поработать надо дать людям. А то ж стомятся.

Барак опять отозвался — тем же голосом, с легким быстрым смешком:

— Работать — это мы всегда, с большой радостью. Только градусник, сука, ниже нормы упал.

— Вы вже поглядели? А я нет. Так мне сдается, шо вроде потеплело.

— Гражданин капитан! — он был неистощим, этот голос, и столько в нем было приветливости, вкрадчивого умиления. — За что мы вас так уважаем? За хороший, здоровый юмор. Зайдите, будьте добреньки, а я дверь закрою.

И неясная тень приблизилась к облаку, вошла в него. Но Главный ее отстранил рукою.

— Так я ж разве против шуток? Я и дебаты, если хотите, признаю, когда культурно, выдержанно. Но только ж работа страдает, это ж нехорошо.

В темном нутре барака опять возникло гудение. И другой голос — хриплый, таящий в себе надреманное тепло и тоску расставания с ним, — спросил с унылой безнадежностью:

— Стрелять будешь?

— Как это «стрелять»? — удивился Главный. — Шо в меня — восстание в зоне, шоб я стрелял? Нету ж восстания?

— Нету, — облегченно, радостно выдохнул барак. — Нету!

— Видите? Так шо — зачем я буду стрелять? Лучше я каток вам тут залью.

— Какой каток?

— Обыкновенный. Вы шо, катка не видели? В кого коньки есть, тот покатается.

Робкая тень опять приблизилась, попыталась проскользнуть в двери и была отодвинута рукою Главного.

— Нет, это мне толку мало, шоб один вышел или десять. Мне — шоб все, дружно.

Барак только на миг затих, только чтоб успело прозвучать тоскливое, молящее:

— Братцы! Ну, выйдем. Сами ж виноваты.

И тотчас опять заворочалось громадное, забилось в корчах, разразилось воплями:

— Ложись ты, сука, убью!..
— Закон есть!..
— Ниже нормы градусник!.. Не выгонишь!
— Ложись все!..
— Закон!..

Они не видели, что катушка с пожарным рукавом уже покатилась от водокачки. Двое хозяев толкали ее, наваливаясь на лом, продетый в середину, и, не докатив немного до дверей, повалили ее на снег. К ним еще двое кинулись сбрасывать оставшиеся витки, а те ни секунды не ждали, схватили желтый сияющий наконечник и с ним побежали к дверям. Главный хозяин отошел со скорбным лицом, грустно выдохнул пар изо рта и кому-то вдаль махнул рукавицей. И оттуда, куда махнул он, потек еле слышный шорох; сплющенный рукав стал оживать, круглиться, из желтого наконечника выплюнулось влажно-свистящее шипение, и те двое попятнулись в тамбуре. Толстая голубая струя ударила под потолок барака, опустилась ниже, снесла лежащего на верхних нарах вместе с его пожитками, несколько робких теней, ринувшихся навстречу, отшибла вглубь. Двое хозяев, упираясь сапогами в скользкий порог, с трудом удерживали тяжелый наконечник, струя металась у них из стороны в сторону и раздавала удары, гулкие, как удары дубинки. Над их головами потекло из барака белое облако, и вместе с надышанным теплом вылился не крик, не вопль, а протяжный прерывистый вздох, какой издает человек, перед тем как надолго погрузиться в воду.

Этим вздохом забило уши Руслану, и он уже почти не слышал, как брызнули стекла в окошках и затрещали рамы, не понял, что за серая дымящаяся пена поползла из окон на снег, понял лишь, когда она стала распадаться на отдельных людей, пытавшихся подняться, в то время как сверху на них валились другие. Главный хозяин вытащил руку из-за спины и показал в их сторону, — струя, потрескивая, опустилась на них плавно изгибавшейся дугою, задержалась надолго и возвратилась в барак. Но те, выпавшие из окон, уже не пытались подняться, а только слабо шевелились на снегу, сами делаясь белыми прямо на глазах.

Руслан, не в силах устоять на месте, вертелся и взвизгивал, поджимая то одну, то другую лапу. Эти белые блестки, покрывавшие их одежду кольчугой, он словно бы ощутил на своей шкуре, плотной и пушистой и все же продуваемой ледяным ветром. И понемногу блестки стали желтеть, что случалось с ним в минуты наивысшей злобы, и сквозь желтую пелену он только и видел отчетливо толстый, шевелящийся на снегу рукав. Эта гадина подползала к его лапам, брызгаясь из своих мельчайших прорех, а в одном месте, переламываясь складкой, которую хозяева не успевали расправлять сапогами, приподнималась и зависала прямо перед носом у него, угрожая броситься, но сразу же опадая, как только Руслан подавался навстречу.

На его счастье, кто-то был моложе, нетерпеливее и не выдержал первым. Руслан услышал его звенящее рычание, и по краю желтой пелены промелькнул он сам — темно-серый и тонкий, вытянутый в прыжке. Угрозу, предназначавшуюся Руслану, Ингус перехватил на лету, упал с закушенным рукавом и придавил лапами. Тот сразу же стал вырываться, и это еще придало Ингусу злости; он рвал своего врага с остервенелым урчанием, мотая головою, и из-под клыков его брызгало радужными искрами. Те двое хозяев, что держали наконечник, закричали и потащили рукав к себе, но вместе с Ингусом. А поводок тащил его назад, сдавливая тонкую шею, и у Ингуса помутились глаза, налились кровью, но он не отпустил взятое.

— Шо то с им? — спросил Главный хозяин. Он уже подходил не спеша, он надвигался — божество с голубыми страшными глазами, с гневным лицом, подпирая своей ушанкой голубой купол небес. А Ингус лишь покосился в его сторону, Ингусу было не до него. — Шо с им, я спрашиваю? Сбесился?

— Холера его знает, тарщ ктан, — сказал хозяин Ингуса. Он был в отчаянии. Он пнул Ингуса в бок сапогом, Ингус жутко всхрипнул, но не разжал клыков. — Что с ним всегда? Вы ж знаете...

— А ну, дайте сюда. — Главный хозяин протянул руку, и один из

хозяев кинулся подать ему лом. Главный досадливо поморщился. — Та не, я ж вам не то показываю.

Он протягивал руку к автомату. Хозяин Ингуса торопливо, суетясь, стащил через голову ремень. И с болью, угнездившейся навсегда в душе Руслана, он увидел наконец, как же это бывает, когда собаку уводят за проволоку. Дырчатый вороненый кожух опустился, закачался над головой Ингуса, как бы примериваясь вонзиться между буграми крутого лба и оттянутыми в ярости ушами, но не вонзился, а в нем самом, в кожухе, что-то быстро задвигалось, и вокруг скошенного черного рыльца вспыхнул яркий, красно-оранжевый ореол, а из головы Ингуса... из черной рваной дыры плеснуло горячим, розовым, с белыми осколками. И содрогнувшись, Ингус стал вытягиваться — головою к ногам Главного хозяина, точно тянулся еще напоследок положить закушенный рукав на его сапоги.

Хозяин Ингуса хотел выдернуть рукав — и голова Ингуса запрокинулась; он еще жил, еще шевелился, но лишь челюстями, сжимавшимися в последней хватке. Хозяин Ингуса бросил рукав и выпрямился. Он смотрел, и смотрел Главный, и другие хозяева, как толстая серая гадина мечется и возит по снегу окровавленную голову Ингуса. Но зверь на это смотреть не может, и Руслан не стал смотреть, он упал рядом с Ингусом. Еще и теперь, вспоминая, как все случилось, он ощутил фанерную твердость рукава и льдистый холод, пронзивший его клыки. И всю безнадежность перегрызть брезентовое горло он почувствовал сжавшимся сердцем, — только прокусить он мог, наделать еще прорех, из которых били с шипением колючие струйки, а загривок, беззащитный загривок дыбом встал от жгучей близости черного рыльца, из которого должна была, не могла же не грянуть расплата! Но, переживая не раз свой несчастный проступок, он все же не мог до конца почувствовать себя виноватым. Ведь и хозяева делали то, чего никак не могли одни двуногие делать с другими двуногими, и разве только он, Руслан, пошел за мертвым Ингусом? Его единоличный грех длился только миг, и тотчас же его разделили другие. Что-то большое, сильное, серое перемахнуло через Руслана и, круто повернув, рухнуло всей тушей. Скосясь, он увидел Байкала, всегда такого спокойного и послушного, еще через мгновение бросилась хитрая Альма, совсем близко от челюстей Руслана приладил мохнатые челюсти Дик — отличник по охране задержанных! — и вот уже вся стая полезла грызть ненавистный рукав. Они все, все вышли из повиновения, презрели долг и приказ, забыли о вечном страхе перед черным рыльцем, и хозяевам пришлось узнать, что своих зверей они тогда только могут подчинять себе, когда те особенно не возражают. А сейчас они были глухи и к бешеным рывкам поводка, от которых чуть не ломалось горло, и к ударам сапогом под брюхо, и к тому, что сам Главный хозяин в гневе размахивал автоматом и кричал, чтоб все отошли и не мешали ему перестрелять этих тварей одной очередью: все равно они порченые и нужно набрать новых! А такие вещи понимает собака, как ни груб и ничтожен человеческий язык. Но кто же из них сумел опомниться, кто отступил благоразумно? Иногда то один, то другой поднимал морду к бездонному холодному небу и выл, жалуясь не на боль, а на свой же собственный грех, на свой бедный разум, который не в силах справиться с безумием. Если бы кто-нибудь разгадал собачьи молитвы, он бы узнал, что это одна и та же извечная жалоба на свою немощь проникнуть в таинственную душу двуногого и постичь его бессмертные замыслы. Да, всякий зверь понимает, насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается одинаково далеко и в сторону Добра, и в сторону Зла, но не всюду его сможет сопровождать зверь, даже готовый умереть за него, не до любой вершины с ним дойдет, не до любого порога, но где-нибудь остановится и поднимет бунт.

И кто бы подумал, что всех выручит Джульбарс? Единственный, кто сохранил спокойствие, всеми забытый, он вдруг сошел с места, потягиваясь со сладостью, как будто на драку выходил за свое первенство, когда уже все противники свели счеты. Никто не заметил, когда он успел перегрызть поводок — а он их постоянно грыз, когда нечего было грызть и некого кусать, — но все увидели, как он идет не спеша, с волочащимся по снегу обрывком. Он подошел вплотную к Главному и стал против черного зрачка, загораживая остальных собак, а своими полутора глазками зорко

следил, чтоб Главный не положил палец на спуск: маленькое незаметное движение, но отлично известное Джульбарсу, — столько раз его показывал на площадке инструктор, — и оно могло стать последним в жизни Главного хозяина. И Главный не решился положить палец, он-то знал, что за деятель этот Джульбарс, которого он подпустил так близко. Он немножко растерялся, а Джульбарс и это отлично понял, поэтому и позволил себе небольшую вольность — поддел своей раздвоенной медвежьей башкою черный ствол и чуть подбросил кверху. Главный от этой наглости оторопел, но все же она ему понравилась, лицо у него смягчилось, и он сказал, утирая лоб варежкой:

— Ничо, пусть погрызут собачки. Воды хватит.

Тогда Джульбарс все так же спокойно поворотился к нему задом и пошел на место.

Их безумие скоро прошло, и все они поняли, с каким врагом схватились. Он наказал их, как они и не ждали, — Руслан об этом вспомнить не мог без дрожи. Так живо опять почувствовалось ему, как он захлебывается упругой и обжигающей, бьющей из прорех водою, а шерсть на его животе, где она так нежна, так длинна и пушиста, примерзает к ледяному намытому бугру и рвется с болью, и ему уже самому не встать. Во что превратились они все, укрытые всегда своими роскошными шубами, а теперь промокшие до последней шерстинки и враз отощавшие, жалкие, слезно молящие о пощаде!..

Этой же струею хозяева потом вымывали их, примерзших к наледи, и бегом утаскивали в караулку, а некоторых, кто даже стоять не мог, волоком тащили на полушубках. Там они все сползлись в один угол, вылизываясь и жалуясь друг другу на случившееся. Их растаскивали, а они сползались опять — их низкий закон повелевал им в несчастье ободрять друг друга, а в мороз греть и сушить.

А потом была полная ужасов ночь, когда их развели по кабинам и оставили каждого наедине со своим грехом. Конечно, они могли перелаиваться сквозь стенки, но это уже никого не грело, и больше им нечего было передать друг другу, кроме взаимных упреков и смертных предчувствий. Многим тогда приснился Рекс, они слышали его голос, хриплый от стужи и ветра, — Рекс плакался, как ему одиноко за проволокой, и звал всех к себе. А кто постарше, вспоминали какого-то Байрама, которого Руслан не застал, но который, оказывается, еще до Рекса торил эту тропу, а для совсем старичков первой была знаменитая Леди, которую хозяева называли еще «Леди Гамильтон» — она-то и открывала всю злосчастную плеяду, а до нее история лагеря тонула во мраке.

Утром хозяева пришли в обычный час, принесли еду, но к собакам не прикасались. Они чистили кабины, трясли в коридоре подстилки и переговаривались злыми голосами, неодобрительно отзываясь о Главном хозяине, и одни говорили, что он «конечно, справедливый, но зверь», а другие им возражали, что он «все ж таки зверь, хотя справедливый». Потом пришел сам Главный и велел пощупать у собак носы:

— В кого горячий, нехай отдыхають, а других — выводить. Та следить мне, шоб никаких таких эксцессов не було!

Зачем в такую же стужу вывели их на службу? Зачем заставили сидеть полукругом в оцеплении перед тем же бараком, теперь безмолвным, не вызывающим у собак ничего, кроме смутной тягости от вчерашнего? Неужели же охранять огромный этот ящик на колесах, стоявший под окнами, эту дощатую фуру, которую они всегда видели, когда в лагере бывали смерти? Две заплаканные лошаденки, помахивая головами, похожими на молотки, уныло вкатывали ее в лагерные ворота и тащили от барака к бараку, а потом, нагруженную иной раз доверху, трясли по колдобинам к лесу, и собакам в головы не приходило, чтоб кто-нибудь посягнул на то, что в ней везли. Да эта фура себя охраняла сама лучше любого конвоя: зимой она жуть наводила шуршанием и костяным стуком об ее высокие щелястые борта, а в летний зной, когда над нею густо роились мухи, бежать хотелось куда глаза глядят от ее тошнотного смрада. Когда бы Руслан мог давать названия запахам, он сказал бы, что от этой фуры пахнет адом. Как все его собратья, не принимал он смерти-небытия, где вовсе ничего нет и пахнуть ничем не может, — и что такое собачий ад, он все же смутно представлял себе: это, наверно, большой полутемный подвал, где всех их, байрамов и рексов, прикованных цепью к стене и схваченных громадной рукою за морды, день-деньской хлещут поводками и колют уши иглой, а есть дают одну сплошную горчицу. Картина человечьего ада представлялась ему загадочной, но, верно, и там веселого было мало, уже и того довольно, что люди отправлялись туда совершенно голыми. Их одежду делили между собою живые, и Руслан долго путал их с ушедшими или подозревал, что те где-то прячутся поблизости и вот-вот объявятся. На его памяти никто, однако, не объявился; в свой подвал они тоже уходили на долгий срок, и столько же было надежды их дождаться, как встретиться с живым Рексом. Но что объединяло эти два ада — непонятный, неутишимый страх и глухая тоска, с которыми не совладать, от которых не деться никуда, стоит тебе лишь коснуться этой жуткой тайны.

В тишине безветрия был слышен мороз: шелестел пар из лошадиных ноздрей, с треском лопались комья навоза, потрескивало, постанывало все дерево фуры. Лошаденки, с заиндевевшими гривами и хвостами, стояли не шелохнувшись, и понуро сутулился возница на козлах, никак не откликаясь на громкий стук за спиною, будто кидали ему из окон большие белые свежерасколотые поленья. Лишь раз он обернулся поглядеть, не перегрузят ли его сегодня, и опять укутался до бровей в свой черный тулуп.

Главный хозяин, который один похаживал внутри оцепления, нервничал напрасно. Он мог быть доволен, как все спокойно происходило и как терпеливо несли свою службу собаки, хоть очень уж пристуживало зады на снегу и клыки плясали от судороги. Они чувствовали спинами, как из других бараков смотрят в продышанные зрачки окон чьи-то горящие глаза, иногда и сами не выдерживали и оборачивались, — да в такой мороз, когда все запахи глохнут, по их понятиям, ничего произойти не могло. Ничего и не произошло, только вдруг один из двоих, нагружавших фуру, высунулся и крикнул, грозя кулаком Главному: «Вы за это ответите!» — но другой ему тут же зажал рот рукавицей и оттащил подальше в сумрак. Главный в это время стоял спиной к окну и не обернулся.

Эту скорбную службу они высидели до конца, как хотелось Главному, и за то, наверно, и были все прощены. Пожалуй, останься с ними Ингус, и он бы ее высидел, и тоже б его простили. Ужасно всех придавило, как все нелепо вышло с Ингусом; даже Джульбарс, который к нему всегда ревновал, и тот в себя не мог прийти, считал, что это его недосмотр. Но больше всех поразило то, что случилось, инструктора. После собачьего бунта он ходил как оглушенный. Он стал путаться в собачьих кличках, говорил, например, Байкалу или Грому: «Ко мне, Ингус!» — и удивлялся, что они его не слушаются. Ему всюду мерещился Ингус, постоянно он его высматривал в стае, хотя собаки давно уж сообщили инструктору, что Ингус лежит за проволокой с куском брезента в пасти, который пришлось вырезать, потому что он так и не отдал его своими «неокрепшими» клыками, а хозяевам лень было дробить ему челюсти ломом.

Так и не дождавшись своего любимца, инструктор вот что придумал: стал сам изображать Ингуса. В самом деле, в нем появилось что-то ингусовское: та же мечтательность, задумчивость, безотчетность поступков, он даже и бегал теперь на четырех, пританцовывая, как Ингус. И все больше эта игра захватывала инструктора, все чаще он говорил: «Внимание, показываю!», и все лучше у него получалось, — а однажды он взял да и проделал это в караулке: о чем-то заспорив с хозяевами, вдруг опустился на четвереньки и залаял на Главного. Так, с лаем, он и вышел в дверь, открывши ее лбом. Хозяев он рассмешил до слез, но когда они отреготались и решили все-таки поискать инструктора — где же они его нашли? Он забрался в Ингусову кабину и вызверился на них с порога, рыча и скаля зубы.

— Я Ингус, поняли! Ингус! — выкрикивал он свои последние человеческие слова. — Я не собаковед, не кинолог, я больше не человек. Я теперь — Ингус! Гав, гав!

И тут-то собаки впервые поняли — о ч е м о н л а е т. В него переселилась душа Ингуса, вечно куда-то рвавшаяся, а теперь поманившая их за собою.

— Уйдемте отсюда! — лаял инструктор-Ингус. — Уйдемте все! Нам здесь не жизнь!..

Хозяева связали его поводками и оставили на ночь в той же кабине,

и во всю ночь не мог он успокоиться и будоражил собак своим неистовым зовом, всю ночь надрывал им души великой блазнью густых лесов, пронизанных брызжущим сквозь ветви солнцем, напоенных сладостной прохладой, обещал такие уголки, где трава им повыше темени и кончиков вздернутых ушей, и такие реки, где чиста вода, как слеза, и такой воздух, который не вдыхается, а пьется, и самый громкий звук в этом воздухе — дремотное гудение шмеля; там, в заповедном этом краю, они будут жить как вольные звери, одной неразлучной стаей, по закону братства, и больше никогда, никогда, никогда не служить человеку! Собаки засыпали и просыпались в жгучем томлении, предчувствуя дальнее путешествие, в которое отправятся утром же под руководством инструктора, — уж тут само собою решилось, что он у них будет вожаком, и даже Джульбарс не возражал, согласившись быть вторым.

А утром в прогулочном дворике в последний раз они видели инструктора. Хозяева вынесли его, связанного, и посадили в легковой «газик», крепко прикрутив к сиденью. И так как он лаял беспрерывно, рот ему заткнули старой пилоткой. Собаки посидели перед ним, ожидая, что он им что-нибудь покажет — может быть, вытолкнет кляп или освободится от веревок, но он ничего не показал, а только смотрел на них, и по его лицу катились слезы. Да впору было и собакам забиться в рыданиях — не так переживали они, когда мутноглазыми несмышленышами их отрывали от матерей, как теперь, когда только-только поманила их новая жизнь и заново открыли они и полюбили инструктора, — и все это обрывалось, и возвращалась к ним прежняя, унылая и беспросветная череда будней.

И впрямь осиротели они, опустела площадка. Она перестала быть местом праздника, она стала местом истязаний и тягостных склок. Приехавший вскоре другой инструктор уже ничего не показывал, а больше орудовал плеткой...

Ах, лучше не вспоминать! Шумно вздыхая, Руслан уходил из-под фонаря на темное крыльцо, долго устраивался там, кряхтя и скрипя половицами, и замирал наконец, чутко вслушиваясь в замирающий мир. Ночь густела, наливаясь чернотою и холодом, и вызревали все новые и новые звезды, мерцающие, как глаза неведомых чудищ. Впрочем, живые эти светильники были ему все-таки ближе, чем ненавистная луна, от которой даже и пахло покойником; он мог их наблюдать подолгу и знал за ними одно хорошее свойство — если задремлешь и опять откроешь глаза, то застанешь их уже переместившимися. Так судил он о течении времени — и все отслуженное им не просто уходило зря, а отмерялось на этих небесных часах.

Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь, в леденеющие дали, на острия этих звезд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерег. Где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников — и самих себя — от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы. Покорный этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан — бессменный часовой на своем добровольном посту.

Он спал вполуха, вполглаза, не давая себе провалиться в бесчувствие. Голова его упадала на лапы, он встряхивался в испуге — и еще прибавлялась морщинка на крутом его лбу. Только отпускали его воспоминания — как надвигались завтрашние заботы.

4

Иногда привычный их маршрут слегка нарушался. Дойдя до станции и перед тем как свернуть к своим дурацким вагонам, Потертый вдруг останавливался, чесал себе щеку вынутой из варежки пятернею и нерешительно говорил Руслану:

— А сходим, проведаем — может, не забыли про нас?

Руслан нехотя соглашался, и они заворачивали к станции — только не к главному ее крыльцу, а к боковому, с двумя синими ящиками по обе-

им сторонам двери. У этого крыльца Потертый старательно оттопывал снег с ботинок и косился — чисты ли у Руслана лапы. В первые разы он еще норовил оставить своего конвоира на улице и поручить ему ящик с инструментами, — Руслан эти попытки пресек. Он поднимался за Потертым, входил и строго ждал его в помещении, брезгуя присесть на слякотный пол. Здесь стоял густой размаривающий зной — от круглой голубой печи, занимавшей весь угол и подпиравшей потолок, — а крохотная форточка забранного решеткой окна была закрыта наглухо, а две головы за барьером еще и кутались в толстые серые платки. Эти удивительные головы стрекотали друг с другом беспрерывно и совершали зеркально-симметричные движения, подхватывая на лету семечки из подбрасываемых с пулеметной скоростью кулачков и в них же сбрасывая ползущую изо ртов лузгу.

Потертый бочком подвигался к барьеру, доставал глубоко из-за пазухи мятую бумажку, разглаживал ее, робким покашливанием прочищал горло для вопроса. Долго его не замечали, но наконец симметрия мучительно разрушалась — и одна голова, замерев на подхвате семечек, уставлялась на него неподвижным, неморгающим взглядом, другая же — застигнутая на сбросе лузги — утирала губы тылом ладошки и хмуро склонялась куда-то под барьер, почти сразу же начиная отрицающие движения из стороны в сторону.

— Пишут, — сам отвечал Потертый извинительно и прятал свою бумажку опять глубоко за пазуху.

Впрочем, со временем они усвоили это слово и уже иной раз прямо на пороге пригвождали Потертого, не давая повода шагнуть внутрь:

— Пишут вам, пишут!

Затем, собственно, он и приходил сюда, чтобы это услышать, и больше у него никаких тут не было дел, но он еще долго проминался, разглядывал стены, читал, заложа руки за спину, все, что попадалось глазу.

— Перевод телеграфный — слышь, казенный? — семь рублей стоит сотню, а по почте — только два. Ну, чо ж, правильно, время — оно деньги стоит. С Москвой поговорить — два шисят минута. Жаль, у меня нету в Москве, с кем поговорить. У тебя тоже нету, Руслаша? А то б чего-нибудь на пять копеек нагавкали.

Особенно подолгу стоял он перед плакатом, с которого глядел мордастый румяный молодой человек с язвительной улыбкой на губах, держа в одной руке серую книжицу, а другой рукой, большим ее пальцем, указывая себе за спину на груду каких-то предметов; из них Руслан смутно узнавал только два — легковой автомобиль и кровать.

— Я рубль к рублю, — читал Потертый, — в сберкассе коплю. Вон как! И мне, и стране — доходно. Сумею скопить и смогу купить — все, что душе угодно. Во как складно. А мы и не додумались. Мы чего копили? Мы дни копили, сколько там «не нашего» набежало, а для души-то надо — рубли-и! И годовых пять процентов, тоже не баран чихал...

Руслан, уже головою к двери, остервенело скалился и крутил хвостом — время, время! Но выйти отсюда еще не значило — на работу. После таких отклонений подконвойный заворачивал в буфет, вытягивал пару кружек желтопенной мерзости в добавление к накануншней, отчего несло из его рта совсем уж ураганно, и лишь если собеседника себе не находил, шел наконец в рабочую зону. А иногда и не шел. Иногда еще и третью вытягивал и возвращался восвояси, а тете Стюре объяснял с виноватым удивлением:

— Вот, едрёна вошь, день какой недобычливый. Ничо сегодня не оприходовали, вот и Руслаша подтвердит. Ну, дак задел-то есть, пара досточек со вчерашнего осталась вроде.

— И хорошо, — соглашалась тетя Стюра, сама не большая любительница шевелиться. — Лучше дома посидеть, чем незнамо где шакалить.

Эти вольности просто бесили Руслана. Он не терпел безответственности. Сам-то он был — весь забота, весь движение! Отхватить толику сна, раздобыть себе еды — хоть раз на дню, отконвоировать туда и обратно, да сбегать на платформу, понюхать — кто был, что произошло за истекшие сутки, да собак по дворам проведать, узнать новости, разобраться — у кого какие предчувствия. Эти же двое дрыхли, сколько хотели, еду себе

устроились добывать из подпола да из курятника, а остальное их не трогало: и что поезда все нет и нет, и что работа не движется, и что так нелепо, впустую катятся его, Руслановы, дни. Но что было делать — гнать, понукать Потертого? Сказать по совести, это не входило в собачьи обязанности, темп задавали хозяева — и когда бежать колонне рысью, и когда посидеть на снегу; тут он боялся переступить дозволенное. И оставалось одно — самому шевелиться и ждать. Ждать, не теряя веры, не отчаиваясь, сохраняя силы для грядущих перемен.

А между тем снег уже грязнел понемногу и делался ноздреватым, и от него потягивало чем-то неизъяснимо чудесным, вселяющим надежду и беспокойство. Все больше влажнел воздух, и солнечными днями все бойчее капало с крыш. Потом и ночами стало капать, перебивая Руслану сон, и посреди улицы явились проталины, вылезли на свет измочаленные доски тротуаров. Лишь в канавах, в глубокой тени заборов, снег еще сохранялся грудами, но день ото дня слеживался, тощал, истекая лужицами, даже и нехолодный на вид.

И пришла девятая весна жизни Руслана — не похожая ни на одну из его весен.

Ему предстояло узнать, что, когда сходят снега и лес наполняется клейкой молодой зеленью и делается непроглядным, в нем прибавляется живой еды. Мыши Руслану уже не попадались — кое-чему их научил трагический зимний опыт, а может быть, у него самого недостало опыта, как этих мерзавок нашаривать в палой листве, пружинившей под его лапами. Зато привлекли его внимание птицы, дуреющие от своих же песен, и чем крупнее была птица, тем неосторожней. Позже, когда у них с песнями пошло на спад, стали попадаться — низко в кустах или вовсе на земле — их гнезда с продолговатыми, округлыми камушками, белыми или бледно-розовыми, или голубоватыми в крапинку. В них что-то теплилось живое, и он сообразил, что это тоже можно есть, хотя оно не бегает и не прыгает. Он забирал их в пасть все сразу и, хрумкая скорлупою, всасывал клейкую теплую влагу. Хозяйка этих камушков обычно старалась ему досадить, порхая над самым его носом, но ее возмущенные крики не производили на него впечатления — насчет отвлекающих маневров он кое-что знал. И все же простой грабеж ему претил; жестокий боец, он жаждал борьбы, состязания, не исключая и обоюдной крови. Вот даже и с барсуком можно было померяться хитростью — тут сразу понял Руслан, что этого увальня нахрапом не возьмешь, тут надобно шевелить мозгами, а главное — не спешить, когда он вылезает в первый раз, и даже во второй — это он разведывает и может вернуться в нору мгновенно, а нужно дать ему насладиться тишиной и безопасностью, тем сильнее его отчаяние и растерянность, когда ты закроешь ему пути к отступлению. Никто никогда не учил этому Руслана, и многого он не знал о себе, а вот теперь открывал — к своему удивлению и радости: во-первых, сколь прельстительно добывать себе пищу клыком, не дожидаясь, что тебе ее принесут в кормушке, а во-вторых, что он, оказывается, все это умеет — подкрадываться, пластаться в траве и в папоротниках, долгими часами таиться и нападать молниеносно, без промаха.

Ошалев от своих удач, он однажды и лосенка рискнул завалить, еще и за секунду на это не решаясь, — и не в том был риск, чтоб перегрызть ему слабые шейные хрящики, не получив самому копыта в бок, а в том, что мать-лосиха шла впереди по тропе, в двух каких-нибудь шагах, и застигла его на месте преступления. Сгоряча он и на лосиху кинулся — и был на волосок от того, чтоб нам здесь и закончить жизнеописание Руслана, — но спасительный голос свыше внушил ему, что он встретился с такой силой, перед которой благоразумнее отступить. Он бежал в преувеличенной панике, не забывая, однако, делать круги и не слишком отдаляясь от добычи. Ждать ему пришлось долго, и он знал, что безбожно опаздывает на службу, но тут что-то было сильнее него, сильнее долга и раскаяния. И все-таки он дождался, когда лосиха покинула свое бездыханное дитя — не затем дождался, чтобы сожрать, — на это уже не хватало времени, — а чтобы удостовериться, что он оказался терпеливее безутешной матери.

Виделся он и с хозяевами леса, о существовании которых смутно подозревал, они оказались похожими на него, но до чего же убогими! Он

был куда крупнее и сразу прикинул, что с одним или даже двумя волками справится вполне, а от стаи сумеет удрать. Да и волки с ним поладили по-хорошему — сделали вид, что не заметили.

Однако мысль они заронили в нем: он мог бы стать таким же вольным зверем, как они, и — добычливым зверем. Но не знал Руслан — и мы, грамотные, не всегда ведь знаем, — что лучше всего хранит нас от погибели наше собственное дело, для которого оказались мы приспособленными и которому хорошо научились. И то ведь шла уже вторая половина его жизни, а всю первую привык он не обходиться без людей, им подчиняться, служить им и любить. Вот главное — любить, ведь не живет без любви никто в этом мире: ни те же волки, ни коршун в небе, ни даже болотная змея. Он был навсегда отравлен своей любовью, своим согласием с миром людей — тем сладчайшим ядом, который и убивает алкоголика больше, чем самый алкоголь, — и никакое блаженство охоты уже не заменило б ему другого блаженства: повиновения любимому, счастья от самой малой его похвалы. И на свой промысел, на который ведь никто не посылал его и не хвалил за удачу, он и смотрел как на промысел, помогающий выжить и сохранить силы. Бил часовой механизм, спрятанный в его мозгу, — а вернее, по наклону солнечного луча, пробившегося сквозь кроны, необъяснимо чувствовал Руслан, что как раз его подконвойный уже продирает очи, — и возвращался, покорный долгу, прервавши охоту на самом интересном.

А только доставив Потертого до дому и давши ему с тетей Стюрою добраться до бутылки, он уже и минуты не ждал, убегал на станцию. Только он один еще продолжал сюда являться, его одного видели путейцы сидящим на пустой платформе или обегающим подъездные пути. Мог он дотемна сидеть у дальнего семафора, прислушиваясь к пению рельсов, встречая товарняки и экспрессы, пахнущие дымом и пылью далеких городов. Поезда проносились мимо или причаливали к другим платформам, — он проникался к ним неприязнью и отворачивался, недовольно жмурясь, потом бежал через всю станцию к другому семафору и там еще подолгу сидел, встречая другие поезда, приносившие с собою едва уловимый, но такой возбуждающий запах океана.

Иногда, в полудремоте, эти запахи — неведомых городов и никогда не виденного океана — начинали его томить, он мучился искушением отправиться наугад вдоль рельсов, за тот или за другой семафор, и бежать, сколько сил хватит, покуда он не увидит, что же его манило. Но он не знал, сколько придется бежать — целый день или целое лето, а в это время мог прийти тот единственный поезд, которого он ждет.

С высокой платформы он видел крыши поселка, громоздившиеся пестрой коростой, и колокольню с крестом, на который всякий раз напарывалось закатное солнце. В эти часы, необъяснимо тревожные и печальные, Руслана охватывало беспокойство, он принимался без причины скулить, к чему-то судорожно принюхиваться, а стоило ему закрыть глаза и положить голову на лапы, как его обступали видения. Странные это были видения. Во все его лагерные годы они являлись к нему в темную его кабину — и вовсе не были сном, сны не так часто повторяются и не так хорошо помнятся.

Иногда он видел себя посреди широкой горной долины, по брюхо в густой траве, обегающим овечье стадо. Розово-синие горы понемногу уплывают во тьму, от них веет влажным ветром и какой-то напастью, и овцы жмутся друг к другу, а он успокаивает их — низким и хриплым лаем. Обежав огромный круг, он подходит к костру, садится рядом с пастухами, как равный, и подолгу смотрит в огонь, не в силах оторваться от его изменчивой таинственной игры. И пастухи обращаются к нему, как они говорят друг с другом: «А вот и Руслан...», «отдохни, Руслан, набегался...», «поешь, Руслан, там осталось на твою долю...». И он принимает их уважение как должное, потому что они ведь не обойдутся без него. Он первым почует волка и встретит его, как подобает овчарке, — не лаем, только бы показать свою старательность, а клыками и грудью, чувствуя за собою тепло костра и людей, которые всегда придут на помощь...

...В знойный полдень он сбегáл к реке вместе с босоногими ребятишками; они бросили в воду палку, и он плывет за нею, разбрызгивая вязкую неподвижную воду, а потом лежит, вытянувшись, как мертвый, сме-

жив глаза от солнца, и они ложатся рядом с ним мокрыми животами на песок, треплют ему шерсть, вычесывают клеща, впившегося в горячее набрякшее ухо. Накупавшись до синевы, они поднимаются лениво по косогору, и он идет поодаль, довольный и гордый тем, что пока он с ними, их не коснется никакое зло — ни змея, ни бодливая корова, ни бешеный пес.

...Синим морозным утром в тайге, утопая в сугробе, он бросался на помощь хозяину, которому пришлось туго, вцеплялся в зад медведю и держал насмерть, а когда ему самому приходилось туго, хозяин выручал его, добивая зверя ножом и прикладом. И первый кусок, сочащийся теплой кровью, доставался ему, и они возвращались с тяжелой добычей, кое-где пораненные, кое-как залеченные и полные взаимной любви...

Во всем непременно была любовь — то к пастухам в черных косматых шапках, то к ребятишкам, то к этому узкоглазому плосколицему охотнику.

Но где же он видел их, откуда брались эти видения? Во всей его жизни, вот до этой весны, никогда не было ни гор, ни овец, ни реки, затененной плакучими березами, ни зверей крупнее кошки. Все, что он знал отроду, — ровные ряды бараков, колючая проволока в два кола, пулеметы на вышках, левый сапог хозяина. Может быть, эти видения, невесть откуда взявшиеся в глухих тайниках его памяти, достались ему от предков — степных волкодавов, зверовых лаек, лохматых овчарок горных долин, которые в конце концов породили его и вместе с ростом, силою и отвагой передали и то, что каждому из них пришлось изведать? Но зачем это ему — чтоб мучился он и искушался непрожитыми жизнями? Или он был всего лишь звеном в бесконечной цепи, и эти мучительно сладостные видения вовсе не ему предназначались, а тем щенкам, что родились от него или еще родятся?

Но в этих видениях и ему была радость, он бережно их покоил в душе, боясь потревожить их течение, среди трудного своего дня предвкушал минуту, когда останется наедине со своими живыми картинками. И порою ему казалось: все это происходило с ним когда-то, еще до лагеря, до питомника, до того, как он стал себя помнить, — и он об этом мечтал как о прошлом, которым стоит гордиться. Но часто и как о будущем мечтал, которое непременно когда-нибудь наступит, — и нехитрые эти мечтания озаряли его жизнь, наполняя ее высоким смыслом. Из-за них не сбесился он, не зачах с тоски, не уморил себя голодом и только однажды сунулся под пули хозяев, — а ведь это сто раз могло случиться с ним, внуком и сыном овчарки, которому выпало на роду пасти двуногих овец.

Хозяин, который хорошо знал Руслана, знал его нрав и способности, все же не разгадал его главной загадки, не проник никогда в тайное тайных, которое Руслан ни за что б ему не высказал, если бы и сумел высказать. Инструктор, сказавший, что служба не всегда права и надо на все смотреть как на игру, стоял хоть и поближе к истине, но только на полдороге. А вся истина и вся отгадка Руслана была не в том, что служба для него хоть в чем-нибудь могла быть неправой, а в том, что не считал он своих овец виноватыми, как считали Ефрейтор и другие хозяева.

Да, говорила ему наука, что люди, отделенные от него проволокой, — злые, чужие, нехорошие; а еще он слышал, что они «суки», «сволочи», «курвы» и «фашисты», — от одного свиста, шипения и рыка этих слов загривок у него дыбился и в горле вскипало рычание. Да, помнил он хорошо, как они ему, подпеску, давали отведать горчицы и кололи ухо иглой, и палили в морду из большого дурацкого пистолета, и колотили по спине бамбучиной. Детство они ему крепко попортили, он только и ждал, когда вырастет и ужо до них доберется. Но когда взрос он и мог бы свалить любого из них, он как-то не обнаружил своих обидчиков среди всей оравы, — а хотелось именно тех найти, кого он запомнил. Похожие на них вызывали злобу все-таки меньшую, да и к тем кретинам она понемногу начала остывать; как ни горячил он себя воспоминаниями, а чувствовал все большее удивление — до чего же глупыми, жалкими казались теперь их пакости, просто недостойными двуногих. Один тебя дергает за хвост, а другой из-под носа тащит еду — зачем, спрашивается? Чтоб самому ее съесть? Если б так, он бы их понял... Но он уже начал догадываться, что не все у них ладно в том месте, которым они думают, даром ли хозяева не считали их за людей. И право, чего же еще было ждать от них — бедных, помраченных разумом! И можно ли таких ненавидеть? Скорее он мог

презирать их — за вечные их дрязги и друг перед другом страх, за то, что никогда ничем они не были довольны и, однако, стерпливали нестерпимое, за то, что и на краю могилы не впивались они в горло своему палачу. Но хоть жалел он их в такие минуты, когда так покорно давали они себя мучить или убивать? Об этом спросите овчарку, которой случается видеть, как режут столь ею бережно охраняемых овец. Зрелище это, верно, тоскливо для нее, но не перестанет же она из-за этого любить хозяина. Да ведь и овцы против этого не возражают — так мудро-обреченно, так изнеможенно-нежно, со светлой печалью в глазах откидывают они голову, подставляя горло под нож...

И что же — все собаки были тут заодно с Русланом? Этого не знал он; когда вся стая служит рьяно общему делу, особенной откровенности не бывает. Но по крайней мере Джульбарс — он-то, свирепейший, дай только волю, наверняка бы загрыз какого-нибудь лагерника насмерть? И это — как знать... После собачьего бунта его ото всех выделили, стали водить на цепи — и большей славою не могли наградить Джульбарса! Теперь по всякому поводу этот кандальник тряс башкою и устраивал переливчатый звон, напоминая об особой своей участи. Но странно — то ли подобрел он вдруг, достигши наконец неоспоримого отличия, то ли обалдел от зазнайства, а только уж как-то не выказывал своей знаменитой злобы. И верно, к чему выматываться, когда за тебя говорят вериги!

А все же бывали минуты, когда они яро ненавидели свое стадо и страшились его панически, до обморока. Это когда распахивались по утрам главные ворота, и лагерная вахта передавала колонну в руки конвоя. Собак уже заранее била дрожь, они впадали в истерику, захлебывались лаем. Ведь крохотная горстка против огромной толпы, которой что стоило разбежаться — в открытом поле, на лесной просеке. «Бежать, бежать!» — так и слышалось в их дробной поступи, разило от их штанов и подмышек, грозовым облаком реяло над головами; и каждая шерстинка на Руслане насыщалась электричеством, готовая растрещаться искрами. Вот сейчас это случится, сейчас они кинутся врассыпную — и он оплошает, сделает что-нибудь не так. Но понемногу передавалось ему спокойствие хозяев — оните, высшие существа, хоть и обделенные нюхом, знали все наперед: ничего не случится, ничего такого уж страшного. И точно, запах бегства выветривался скоро, а сквозь него уже пробивался другой, все густеющий, набирающий едкости, чесночный запах страха. Им тянуло откуда-то снизу, от ног, которые уже спотыкались, отказывались бежать, отказывались нести ослабшее, повязанное нерешительностью тело. И у него отлегало от сердца, и вот уже собаки весело переглядывались, развесив длиннющие языки, не скрывая жаркой одышки, — пронесло!.. Просто этим больным опять что-нибудь померещилось, все та же ими придуманная лучшая жизнь; скоро это пройдет у них — вот даже вечером, после работы, о бегстве и мысли не будет, только бы до тепла добраться. Но сколько же с ними муки, сколько хлопот они доставляли своим терпеливым санитарам с автоматами и их четвероногим помощникам!

Только редкие выздоравливали, — и Руслану случалось видеть, какими их выпускали из этого санатория: тихими, излучавшими ровный свет. Свою злобу они оставляли у ворот и говорили вахтерам со слабой улыбкой, всегда одинаково, как пароль:

— Дай Бог, не встретимся.

— Бывай! — звучал отзыв, отрывистый и четкий, как команда. В нем слышалась уверенность, что болезнь не повторится. — Поправляйсь, доходяга!

Но вот, когда уже несколько случаев накопилось исцелений и когда явились надежды, что эти люди забудут и свое буйство, и драки, и свои глупые мечты и станут все сплошь тихими и просветленными, они вдруг взяли и убежали разом. Об их вероломстве он думал теперь беззлобно, жалел, что они так неразумно поступили, не поняли, где им по-настоящему хорошо. Сам он о лагере вспоминал только хорошее — и разве не было его там? Поживши на воле, он мог уже кое-что и сравнить. Там не были люди равнодушны друг к другу, там следили за каждым в оба глаза, и считался человек величайшей ценностью, какою и сам себе не казался. И эту его ценность от него же приходилось оберегать, его же самого наказывать, ранить и бить, когда он ее пытался растратить в побегах. Все-

таки есть она, есть — жестокость спасения! Ведь рубят же мачты у корабля, когда хотят его спасти. Ведь кромсает наше тело хирург, когда надеется вылечить. Жестокая служба любви — подчас и кровавая — досталась Руслану, и нес он ее долгие годы изо дня в день без отдыха, — но тем слаще она теперь казалась.

А поезда всё обманывали его — и самая сильная вера когда-нибудь же перегорает! Соотнесем наши бледные, размытые годы с кратким собачьим веком, куда плотнее набитым событиями, и выйдет, что не одну зиму и весну прождал Руслан возвращения Службы, а может быть, четыре или пять наших зим и весен. И все больше вживался он в свою охоту — со страстью, с яростью, доходившей до безумия. В сумрачном лесу, с его голосами и запахами, он становился другим, сам себя не узнавал, — и кто знает, догадайся Потертый однажды взять ружье и пойди он тропою Руслана, может быть, все и повернулось бы по-другому меж конвоиром и подконвойным: там, где такою нелепой кажется наша неумелая суета, называемая жизнью, сбросили бы они эти обличья и стали бы просто Человеком и Собакой, в чем-то ведь и равными друг другу. Но Потертый не догадывался или не имел ружья, он все строил свой нескончаемый шкап и отношений с конвоиром менять не собирался. В эти же дни тоска по иному, по своему существу охватила Руслана с неожиданной, давно не испытываемой силой, — он разыскал Альму и поманил ее на свой промысел. Альма с ним добежала до опушки леса, а там постояла и вернулась — у нее свои были заботы, щенки от белоглазого. А не окажись у нее никаких привязанностей в этом чужом для них поселке — может быть, поглотили бы их обоих леса и уже бы не выпустили?

Обо всем этом мы можем только гадать. Но, встретив Руслана возвращающимся из лесу, бегущим по середине улицы мерной размашистой рысью, мы б его увидели поистине преображенным, во всем его матером совершенстве, в зверином великолепии. И чувствовалось по желтому мерцанию его глаз, что он сам понимает, как он хорош, сам с гордостью ощущает и налитую тяжесть своих лап, и свой лоснящийся, пушистый панцирь, и как плотно теперь сидит на нем ошейник. Вбегая во двор — вкрадчиво-пружинистый, пахнущий лесом, землею, кровью живой добычи, — он своим жарким дыханием нагонял страх на Трезорку, и тот опрометью кидался под крыльцо, всерьез опасаясь, что охота будет продолжена во дворе. Он зря опасался: при всех различиях Руслан все же принимал Трезорку за подобного себе, и от природы было ему запретно заниматься охотою на себе подобных — этим любимейшим занятием двуногих, гордых тем, что покорили природу. Сказать же еще точнее, так в поле зрения Руслана, в мире его ответственного служения и гордой независимости, просто не было места Трезорке с его никчемными заботами. Руслан себе и не представлял, что хоть чем-нибудь осложняет Трезоркину жизнь, покуда сам Трезорка об этом не напомнил.

Тетя Стюра задала корм своим курам и ушла в дом, оставив дверцу курятника открытой. Руслан услышал квохтанье, теплый, разнеженный ропот и двинулся туда не спеша. Никакие соображения греха его душу не омрачали, а добыча была отменно хороша, уж это он проверил на опыте с глухарями и тетерками. Неожиданно, неслышно что-то оказалось на его пути, он споткнулся и поглядел с удивлением на странное, нелепое существо, которое ему сказало «ррр» и оскалило мелкие зубки, — а одновременно виляло ему хвостиком и крупно дрожало, сотрясалось в смертельном страхе. Трезорка и плакал, и уговаривал его не двигаться дальше, и угрожал — чем же? Что придется сперва его сожрать на этом пороге? Ну, это, впрочем, было необязательно, Руслан бы его попросту отшвырнул лапой, однако он помедлил, склонив в раздумье тяжелую голову, и — вернулся на место. Может быть, он задумался о существе долга, ведь он когда-то сам был часовым и мог понять другого на таком же посту, хоть был этот другой ничтожен с виду.

Трезорка едва перенес такое переживание, он пал на брюхо, закрыв глаза, и долго отдышивался, как после изнурительного бега. А Руслан с этой минуты только и пригляделся к нему, и был поражен — каких же адских трудов стоила Трезорке жизнь, сколько же хитрости, сноровки да

и мужества она от него требовала. Трезорка жил в краю, где любовь к существу выражается иной раз с помощью камня или палки, или пинка ногою и где он имел столько же шансов выжить несломленным, сколько насчитывал сантиметров роста. А все же не стал он ничтожеством, торопящимся лизнуть побившую руку, ни разу не встретил брошенный в него предмет качанием хвоста, но с яростным лаем «прогонял» обидчика до угла, хоть и не смея приблизиться и напасть. А подумать, так по иным статьям он бы не сильно и проиграл прежним товарищам Руслана, а может статься, и превзошел бы их.

Руслан все реже с ними встречался, но чтобы знать — и необязательно встречаться, собачья газета пишется в воздухе, она печатается на заборах и столбиках — и сколько же заурядной чепухи, сучьих сплетен он мог из нее вычитать! Дик опять попался на воровстве, бит шкворнем от навозной тачки, ослепшая Аза уже не стыдясь побирается у булочной, Байкал недурно устроился — в гастрономе, при мясном отделе, но попробуй сунься — своего порвет и т. д. и т. п. Поначалу их дрязги бесили Руслана, повергали в отчаяние, но потом он перестал на них и откликаться. Все было естественно, все по-собачьи понятно. Сколько б они ни кичились, сколько бы ни хвастались новыми заслугами, а ведь служили-то они скверно. Не такие же они дураки, чтоб не понимать этого. Нынешние хозяева держали их за грозный вид, за металл в голосе, за кристальную ясность взгляда и готовность напасть, на кого прикажут, — да только на все-то им нужен был приказ, а хриплоголосый никудышный Трезорка сам разбирался, что к чему. Они, например, признавали одного хозяина — мужчину, чада же его и домочадцы уже не могли к ним приблизиться, Трезорка же за хозяина держал тетю Стюру, но и Потертому был не прочь послужить, пока тот имел здесь влияние. Имевших влияние прежде, еще до Потертого, деликатно не замечал; лучше, чем сама тетя Стюра, различал верных ее приятельниц и тайных врагинь — каждой свое полагалось приветствие или не полагалось вовсе; видел разницу между уклончивыми должниками и настырными кредиторами — первых следовало шутливо облаять и заманить во двор, вторым — не показываться на глаза. А ведь никто этого не объяснял Трезорке, просто он был на своем месте. Все «казенные» давили цыплят без совести, а после битья уразумели, что это грех, и уж на курятник не глядели. А Трезорка приглядывал и сам не давал цыпленка в обиду, потому что знал: в первую голову подумают на него. Он понимал, как выгодно быть честным, но и как мало одной твоей честности, — нужно еще исключить возможность подозрений. Он понимал, что если тебя нежданно пустили в комнаты, так же нежданно и погонят, а потому не залеживайся и не чешись при гостях, а если невтерпеж — залейся лаем и беги на двор, как будто учуял подозрительное. И не нужно делать вид, что тебе нипочем, если щелкают по носу, наоборот — рычи и кидайся, безобидных любят, но пуще любят их щелкать. Трезорку учила жизнь, она его колошматила и ошпаривала, до обмороков пугала консервными банками, привязанными к хвосту, опыт был суров и порою ужасен, но зато — собственный опыт, зато Трезорка ни у кого не занимал ума, не заморочил себя наукою, которую преподают двуногие к своей только выгоде, а потому сохранил и уважение к себе, и здравый смысл, и незлобивый нрав, и неподдельное сочувствие к таким же трезоркам, полканам и кабысдохам. Сплетник он был и хвастун — каких поискать, но не допустил бы никогда — знать, что где-то можно подхарчиться, и никому о том не сообщить. А вот ведь Руслан никого, кроме Альмы, не позвал на свою охоту. Они привыкли, что еды было вдоволь, и никогда не приходилось им есть вдвоем из одной миски — это нервирует, но и приучает к солидарности.

Неисповедимы пути наших братьев, и не исключается, что, поживи здесь Руслан еще лето, узнал бы он много такого, о чем и не подозревал в своей служебной гордыне, и, проснувшись однажды, почувствовал бы себя совсем своим — и этому двору, и поселку, и Потертому с тетей Стюрою. А она, продолжи свои попытки накормить его теплым супом с костями, могла бы, наверное, добиться успеха. Не вечно же ему было выказывать свою боязнь, и мог бы он заметить, что вот ведь Трезорке ее варево нисколько не повреждает.

Да неисповедимы и наши пути. Однажды те две стрекотухи, что говорили Потертому: «Пишут вам, пишут», вдруг этого не сказали, а выбро-

сили ему на барьер грязно-белый захватанный треугольничек. Подконвойный взял его обеими руками осторожно, с опаскою, будто в нем что-то могло взорваться и хорошенько фукнуть в глаза, — о, с этими штуками Руслан имел дела на занятиях по недоверию к несъедобным предметам. На улице треугольничек развернулся в лоскут, страшного в нем не оказалось, но поражающее действие он возымел на Потертого — тот как-то странно обмяк и опустился на крыльцо.

— Вот эт-то номер! — сказал он Руслану. И Руслан мог увидеть, что глаза ему все же слегка обожгло. — Такой, брат, номер, ты не представляешь...

Пойми-ка их, помраченных, отчего они вдруг преображаются? Сколько на них ни ори и ни лай — ведь не расшевелятся, но может быть, надо каждому раздать по бумажонке с лилово-серыми закорючками — и они будут смеяться и всхлипывать, кусать губы и ударять себя по коленкам, а потом ощутят прилив невиданной энергии. По всем правилам — а для Руслана все становилось правилом, что повторялось хоть дважды, — от этого крылечка полагалось бы подконвойному устремиться в буфет и там до икоты налакаться желтого, а он пошагал в рабочую зону, да как еще резво. И какие там показывал чудеса сознательности — планки так и вспархивали под его руками, все перекуры — на ходу, а домой он просто скакал по шпалам с изрядной связкой на плече и пел уже что-то новенькое, бодрое, с выдохом на прыжке:

Я рубль
к
рублю
в сберкассе
коплю!
И мне!
И стране!
Доходно!

О таком подконвойном только мечтать было, с таким подконвойным — жить да радоваться! Но, к сожалению, их походам уже наступал конец. Еще раза два они сходили и притащили немалые охапки, а потом Потертый накрепко засел в доме и занялся там неизвестно чем, сунуться не стало возможности: такая оттуда потекла вонища — приторно-пьяная, выедающая глаза и горло. Тетя Стюра открыла настежь все окна, и вонь растеклась по двору. Трезорка чихал и плакал, убегал отдышиваться в чужие дворы, а Руслан предпочел отнести свой пост на другую сторону улицы. Тут были, конечно, непросматриваемые зоны, и под завесою своей вони подконвойный вполне мог уйти через забор, но, к счастью, он себя непрестанно выдавал голосом. С утра, оставшись в доме один, он там блеял, кряхтел и рычал, сам себе задавал грозные вопросы: «Это кто делал? Я спрашиваю — вот это кто грунтовал? Не сознаёсси, падло? Руки б тебе пообрывать!» — а то, напротив, очень довольный, пел дребезжащим, на редкость противным тенорком: «У ва-ас, поди, двуно-огая жена-а!..» Когда же возвращалась тетя Стюра — из какой-то своей рабочей зоны, — немедленно у них начинался ор:

— Сколько ты ложишь? Ты уж десятый, не то пятнадцатый слой ложишь! Кончай это дело, ну тя в болото, продыхнуть нечем!..

— Зато ты увидишь, Стюра! — кричал он торжествующе. — Ты увидишь: от нас с тобой и следа не останется, сгнием вчистую, но за такую вот политурку — косточкам моим не будет стыдно!

По вечерам же у них наступала необычная тишина, они полюбили подолгу стоять на крыльце рядом, облокотясь на перила, изредка перекидываясь словами, отрывистыми и утопающими в шепоте, точно у заговорщиков. Эти двое что-то замыслили — и Руслан терялся в догадках.

Но вот явилась возможность подступиться к ним. Великая деятельность подконвойного прошла обвалом, и сам он сидел живым обломком этого обвала — расслабленно-добрый, с бледным осунувшимся лицом, медленно разминая папиросу склеивающимися пальцами; в растерзанном вороте белой рубахи, заляпанной чем-то красно-коричневым, виднелись потные выпуклые ключицы. Тетя Стюра, утвердив руку на его плече, высилась над ним — величественная, но несколько грустная, с влажным

таинственным блеском в глазах. На ней было нарядное голубое платье, которого Руслан еще не видел, с короткими рукавчиками и кружевом на груди. Платье ей жало, то и дело она его оттягивала книзу и поводила плечом. От тети Стюры терпко, убойно пахло цветами.

— Руслаша, жив еще? — спросил Потертый. Будто Руслан никак не должен был выжить от его едкой гадости. — Расставаться нам с тобой пора, хочешь не хочешь. На поезде завтра — ту-ту!.. А то, может, вместе? Поди-ка, на тебя и билета не спросят. А дорожка — тебе незнакомая, долгая, за трое суток насмотришься, сколько за всю жизнь не повидал. Как ты на это дело?

Но сам-то Потертый, говоря это, не видел сейчас ни этого поезда, ни дороги, и поэтому не увидел их Руслан, для него речи подконвойного остались пустым набором невнятных звуков.

— Еще выдумал! — сказала тетя Стюра. — Пса с собой везти. Неизвестно — какого.

— Почему ж неизвестно? Казенного. Вроде трофея. Другие с войны шмотье везли, аккордеоны, надо ж и зэку[1] трофей какой ни то привезти. Так соглашайся, а? — Какая-то лукавая мысль вползала в его голову, еще, впрочем, не отуманенную. — Приедем — народ повеселим. Покажем, как мы с тобой ходили, с чем их, наши срокá, лопали. Там этакого отродясь не видели, расскажешь в бане — шайками закидают, не поверят. Только ты меня по всей строгости веди: шаг вправо, шаг влево — рычи, не давай поблажки. А то так — за ногу, это мы стерпим.

А вот эту их прогулку Потертый себе представил ясно, и представил ее Руслан, понявший наконец, чем же так тяготится его подконвойный. И тетя Стюра увидела картину, которую и не чаяла когда-нибудь увидеть, — Руслан, склонив голову, качнув хвостом, приблизился к Потертому и ткнулся лбом в его колено. Он приник к этой истрепанной штанине, как приникал к шинели хозяина, когда хотел напомнить, что вот он рядом и всегда готов прийти на помощь, но тут еще были признание и просьба, с которыми как будто и немыслимо караульному псу обратиться к кому бы то ни было, кроме хозяина: «Я тоже устал этого ждать, но — потерпи. Потерпи!»

— Смотри, привыкать начал! — сказала, изумясь, тетя Стюра.

— Что же он — не живой? Ему, думаешь, так просто расставаться? А ведь тоже, поди, чего-то соображает! Башка-то здоровая, что-то ж в ней есть. Ты не гони его, он песик с мечтой, еще перекуется. А я приеду — увидишь, как он меня встретит.

Рука его легла на прижмуренные глаза Руслана. Приторной гадостью так от нее разило, что голова кружилась. Ну, и была это уже вольность, непозволимая даже примерному лагернику. Высвободясь, Руслан ушел за ворота и там лег. Все же он думал о подконвойном растроганно и язвясь упреком себе — за нелепые свои подозрения. Так долго стерег он эту отбившуюся овцу, а она-то спала и видела, как бы ей возвратиться в стадо!

И на весь следующий день был снят бессменный караул. Ревностный конвоир дал, наконец, и себе полную свободу. Он вдосталь наохотился, набегался по лесам, всласть належался на солнышке — изредка лениво, с чувством собственника, поглядывая с вершины холма на раскинувшийся поселок: где-то там, в одном из этих симпатичных домиков, сама себя стерегла его главная добыча, бесценное его сокровище. Но часовой механизм, скрытый в его мозгу, лишь казался выключенным; он отсчитывал время свободы, но с прежней неумолимостью, и в предзакатный тревожный час подал Руслану слабый сигнал, чуть слышный толчок в сердце. Что-то было не так. Слишком все хорошо. Так хорошо, как просто быть не могло.

Спускаясь с холма, он пытался вспомнить, что же его могло насторожить. Невиданной голубизны платье тети Стюры? Грустный прощальный

[1] Обидно думать, что слово «зэк» может войти в мировой словарь необъясненным. Между тем объяснение есть. Вдохновенный созидатель Беломорканала именовался официально — «заключенный каналоармеец», сокращенно — з/к, множественно — з/к з/к... отсюда зэки дружно понесли свое прозвище на другие работы н стройки, где и каналов никаких не было, и тупая машина десятилетиями так их нменовала во всех документах, — должно быть, и сама позабыв, при каких обстоятельствах из нее выкатилось это зубчатое «зэ-ка». Истинно, бессмертен тыияновский подпоручик Киже!

блеск в ее глазах? Пожалуй, вот этот блеск, но не прощальный он, а обманный. Всегда отчего-то грустят двуногие накануне своего предательства. Если вспомнить получше — по-особенному печальны глаза лагерника, за которым завтра помчишься по тревоге в погоню. Грустные ласковые предатели, они усыпили его!

Ему не пришлось сворачивать с главной улицы — их следы выходили из переулка и удалялись к станции. И совсем недавно они здесь прошли — еще не развеялись его приторная дрянь и ее цветочная терпкость. Запах своего бегства они заглушили этим букетом — и неплохо придумали, это покрепче махорки! Но одну ошибку они все же совершили, и она не даст им далеко уйти: тетя Стюра надела новые туфли — и тоже тесные, шла она в них весьма тяжело, а Потертый, как ни нервничал, но приноравливал к ней свой шаг.

Он разыскал их на самом краю перрона — и пыл погони слегка поугас. Он ждал их застать в смятении, пугливо озирающимися, они же сидели на скамье согбенные и почти недвижные. Его, примчавшегося с жарким дыханием, они вовсе не заметили. Скрытый фонарным столбом, он прошел вдоль сетчатой оградки, окрашенной в серебрянку, и лег позади скамьи. Отсюда видны были только их ноги — Потертый сжимал ими солдатский мешок, туго набитый, тетя Стюра высвободилась из тесных своих туфель и шевелила пальцами. Зато слышал он каждый их вздох и легкую хрипотцу в голосе, — и вот что уловил скоро: они не собирались бежать вместе.

— На телеграммы не траться, — говорила она. — Ну их в болото, я эти телеграммы на дух не переношу. А напиши поподробнее. Ну, уж заставь себя.

— Сразу, как приеду, — напишу.

— Да сразу-то — зачем? Обсмотрись сперва, найди их. Еще, может, и не найдешь — всякое могло быть. А найдешь — тем более не до меня будет. Но хоть через месяц вспомни, а то ж я буду думать — под трамвай попал.

— Я напишу, напишу, — говорил он тупо. — Ты не скучай, ладно?

— Да постараюсь. Особо и некогда будет скучать. Я тебе говорила иль нет? — уже объявили нам: всю контору туда переводят, где ваш лагерь был. Большие дела намечаются. Со следующего месяца обещают автобус пустить. Туда да обратно, да во дворе немножко управиться — смотришь, время и заполнено. Так что, если вернешься, меня случаем не застанешь — знай, где искать.

Он слушал, чертя по асфальту ботинком, на который, наверно, смотрел.

— Стюра, — перебил он ее, — знаешь, я набрехал тогда, что сон видел.

— Ну? Какой сон?

— Будто приснилось мне, что все мои живы и ждут меня. Ничего не сон. А я письмо получил.

Она застыла, перестала шевелить пальцами.

— Я тебе про соседа, помнишь, рассказывал? С которым в пересылке встретились. Вместе и сюда ехали, в одном вагоне. И тут вместе, почти до звонка, он на шесть месяцев раньше освободился, по инвалидности сактировали. Ну, тут не знаю, кому больше повезло. Специальность у него хреновая — формовщик по фасонному литью, а где его тут возьмешь, литье, да еще тебе — фасонное! Так всю дорогу — на общих, из леса не вылезал, килу[1] оттуда принес. А я все же — по хорошему дереву, иногда мебелишку начальству сообразишь, я же и драпировщиком тоже могу, — ну, так и вытянул, не загнулся. Но настоящей работы никому не делал. Хрена вот вам, паскуды!

— Ты не вспоминай. Тебе жить надо, а не вспоминать. Так что — сосед?

— Так вот, от него я ответ получил.

— Какой ты! — сказала она с обидой. — Разве я враг тебе? Ну, и сказал бы сразу, что письмо. Это же лучше — что письмо. Зато ж ты теперь точно знаешь, что не зря вся поездка.

— Этого не знаю. Я не просил его говорить, что я живой. А просто,

[1] Грыжа. Так говорят о тяжелой ее форме.

чтоб намекнул — мол, всякие случаи бывают, иногда и возвращаются. Н-да. Заохали. Забеспокоились.

— Ну, естественно! Обрадовались.

— Нет, этого не пишет, что обрадовались. А пишет — учти, твоя старшая в институте учится.

— Такая уже большая?.. Ну, поздравить можно. Чего ж тут плохого?

— А вот про анкету, чего она там написала, это ему не удалось узнать. Не говорят.

— Да теперь не так их и спрашивают. С нами беседу даже проводили в конторе. Смотрят, но не строго. Ты не волнуйся. Ты скажи — его-то как встретили?

— Про себя-то он больше всего и пишет. Да все — по-лагерному, при дамах даже не повторишь.

— Сволочи! Ну какие ж сволочи!

Он вздохнул протяжно.

— Тоже я их понимаю. Сами неизвестно как с жизнью справляются, а тут он еще прикатил — с килой своей да с освобождением, не знаешь, чего хуже. Вот я что думаю — не покажусь я им сразу. Издаля, по-тихому присмотрюсь. Опять же соседа позову, посовещаемся.

— Много он тебе насоветует! Я же все-таки умная, я же не зря спросила — его как встретили. Нарочно он тебя стращает, за компанию. А у него — свое, ты к себе не примеряй.

— Не-ет, это раньше так было: каждому свое. А сейчас у нас с ним одно, а у них у всех — другое.

Из того, что говорилось, Руслан выловил, что Потертый уже раскаивается в своем бегстве, уже бы и вернулся, пожалуй, когда б она его не подначивала, — и как же он сам был прав, не соблазняясь ее супами! Но ей что-то плохо удавались ее подначки, или она не слишком хотела, чтоб удались, — с каждой минутой Потертый все больше чувствовал привычный ослабляющий страх, этот беспокойный ботинок выдавал его всего.

— Если бы раньше, Стюра! Если бы раньше... Вот не поверишь: получил — обрадовался, а потом все силы куда-то делись. На шкап этот?

— Да причем шкап? Да пропади он...

— Не то говорю. Еще бы раньше.

— Раньше — когда освободился? Ну, это уже я виновата. Было б мне, только ты явился: «Хозяюшка, нет ли какой работки?» — сразу тебе и врезать: «Иди отваливай! На тебе на билет, сколько не хватает; пропьешь — не заявляйся, убью кочергой!»

— Драпануть надо было с полсрока, вот когда «раньше». Неужели же обязательно — чтоб догнали?

— Ты-то бы наверняка попался.

— Да не то страшно — попасться, а что — не дойдешь. Сгинешь напрасно, как тварь лесная, ползучая. Ведь до дому не дошлепаешь, чтоб где-то не пересидеть, а мне только домой и хотелось, больше никуда. Своих бы только увидеть глазами. Письма посылаю — нет ответа. Вишь ты, тит его мать, улицу переименовали, то была Овражная, теперь она — маршала Чойбалсана. И номер другой, там половина домов сгорела в оккупацию. Так я и говорю — своих увидеть, больше мне не надо, а там — берите, мотайте ваши срока, да хоть вышку! Но знать бы, где пересидеть, кто бы пожрать дал, на дорожку бы ссудил малость, я б ему отработал. Не ко всякому же постучишься — и чтоб живая душа оказалась! Знал бы я, что ты тут рядом, под боком, можно сказать, жила!..

— Ты опять не то говоришь, — сказала она уже с тем вскипающим раздражением, с которого начинались их ссоры, доходившие до крика. — Теперь уж совсем не то. Хочешь, я скажу? Жила — только с кем? Нет, это не сомневайся — пустить бы пустила. И пожрать бы дала. И выпить. Спал бы ты в тепле. А сама — к оперу, сообщить, вот тут они, на станции, день и ночь дежурили.

— Так бы и побежала?

— А как думаешь! Люди все свои, советские, какие ж могут быть секреты? Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо.

— Да кто ж понаделал, Стюра? Кто это смог?

— Не спрашивай меня. Я тебе не отвечу. Сказала — и хватит. Ска-

зала, чтоб ты знал — ничего б у тебя тут раньше не вышло. Успокоила тебя? Ну вот, теперь езжай смело.

Поезд уже показался в вечереющей дали. Немногие отъезжающие потянулись к краю платформы, на станции ударил колокол.

Тетя Стюра поднялась первая и крепко потопала своими туфлями. Потертый вставал медленно, как бы отклеиваясь от скамьи, с той неохотой в ногах, с какой поднимается от костра угревшийся лагерник на работу в мороз. Да он точно бы и вправду мерз — в зимней своей шапке и пальто, наглухо замотанный шарфом. Она ему помогла с мешком и торопливо обцеловала лицо. Он ее обнял судорожно, уронив мешок с плеча на локоть. И едва он влез на подножку, как вдоль состава загрохотала сцепка и дернуло вагон. Потертый обернулся — испуганный до бледности, до пота на висках, до безумных глаз.

— Стюра!..

— Ничего, ничего. — Она пошла рядом с вагоном. — Я Стюра. Держись давай покрепче.

Руслан, вывалив от духоты язык, скосился им вслед. В своей венценосной спеси, мы, если и зовем их братьями, так только меньшими, младшими, — но любой из нас, из больших, из старших, что бы сделал, окажись он в Руслановой шкуре и на его посту? Он бы кинулся следом? Он бы догнал и стащил подконвойного за полу? Распластал бы его на асфальте, свирепо рыча? Уже та подножка, где стоял Потертый, поравнялась со станцией, уже тетя Стюра устала идти за вагоном и повернула обратно, — черная и плоская, как мишень, неся на плече багровый закатный шар, — а Руслан все лежал и ждал чего-то, не чувствуя Потертого отъехавшим, потерянным для себя. Когда полетел и шлепнулся мешок, он уже мог и отвернуться, мог дальше не смотреть, как она подошла к Потертому и, чертыхаясь, помогла ему подняться, и как они опять обнялись на опустевшем перроне, точно бы встретясь после разлуки.

Она подвела его к скамье и усадила, а сама стояла перед ним, качая головой и досадливо хмурясь. Потом сняла с него шапку и расстегнула пальто.

— Ну, посиди, посиди. Вот бестолковый — сдали бы раньше билет. Ладно, будем считать — съездил, вернулся. Теперь отдохни.

— Нет, — сказал он, дыша прерывисто, как загнанный. — Будем считать — и не собирался. Куда? На кой? Ты ж пойми меня...

— Я понимаю, — сказала она.

Домой они возвращались долго, присаживаясь чуть не на каждой лавочке у чьих-нибудь ворот. Потертый нес свою шапку в руке, она несла туфли. Руслан шел далеко позади, все еще не замеченный ими, не так уж и радуясь этому возвращению. Знали б они, сколько прибавили ему заботы! Что-то же надо было делать с Потертым, он извелся, устал верить и ждать, вот и уйти пытался — да понял, что это бесполезно. А там, куда Руслан хотел бы его поселить, где только и мог подконвойный обрести покой, там неизвестно что делалось. Ведь с того дня, как он почуял след хозяина в конце главной улицы, он не переступал этой черты, даже и не задумался, что же там делается, в старой зоне. Карауля одного лагерника, он упустил что-то более важное — и таинственными путями, тончайшими нитями это важное почему-то привязывалось к тете Стюре, к ее речам на перроне. Почему-то же он вспомнил о лагере именно тогда, лежа позади скамьи.

До поздней ночи, слушая, как они шумят около своей бутылки и как Потертый все что-то доказывает слезно и не может успокоиться, он продолжал вспоминать и разбираться. Сколько раз он видел, как закатывались в тупик нагруженные платформы, кран поднимал поддоны с кирпичами, длинные серые балки и панели, огромные ящики с черными надписями; все это грузилось на машины и куда-то везлось по знакомой ему дороге. Он для порядка облаивал эти грузовики, — никто ему не командовал: «Голос!», но ведь он служил сам по себе и, значит, сам себе временно мог командовать, — иногда провожал их до того места, о котором так не хотелось теперь вспоминать, и ни разу не догадался промчаться за ними до самого конца! Если б мог он покраснеть, так сделался бы пунцовым от носа до кончика хвоста. Он задымился бы от стыда!

Утро застало его в дороге. С той поры она сильно изменилась, она

расширилась и от самого поселка была покрыта мелким светлым щебнем. И где раньше изгибалась по краю оврага, там теперь этот изгиб был выровнен высоченной насыпью, на склоне которой урчал накренившийся бульдозер. В лесу она текла рекою, широко раздвинувшей зеленые берега, — одно бы удовольствие по ней бежать, если б не так было колко лапам. Но в сторонке, среди деревьев, ветвились чудесные тропинки, временами то убегавшие в чащу, а то опять сходившиеся к дороге, так что она ненадолго терялась из виду. Да он бы и не потерял ее, от нее так шибко разило известкой и машинным угаром.

Но лагерь его совсем ошеломил, заставил тут же сесть и вывалить язык от страшного волнения. Ничего подобного он не предполагал увидеть. По всему полю, выйдя далеко за старую зону, раскинулись одноэтажные серые корпуса — одни уже с застекленными высокими окнами, другие еще с пустыми проемами, только лишь подведенные под кровлю, третьи — едва поднимавшиеся над землей неровными зубцами. Он принялся считать — насчитал шесть, а дальше сбился. Руслан только до шести умел считать, потому что в колонну по пять строили — если подзатесывался шестой, говорили: «много», и прогоняли его в следующий ряд. Да, пожалуй, лучше было считать, что корпусов много. Но странно: бараков почти не осталось — ну, разве два или три, и те с выбитыми стеклами. Осталась хозяйская казарма, склады и гараж, а вот собачника он не увидел.

Он кинулся искать — ни следа, ни запаха. Люди, которые здесь похаживали и весело его окликали, так все испакостили своими кострами, пролитым цементным раствором, кислой окалиной, что и приблизительно не скажешь, где была кухня, где прогулочный дворик, а где площадка для занятий. Ему даже показалось, что это вовсе не лагерь, а нечто другое, а лагерь куда-то перенесли. Ведь такое дважды случалось на его веку. Леса постепенно редели, и все дальше приходилось гонять колонны, а жилая зона переполнялась новыми партиями, прибывающими на лечение, и в конце концов происходило великое переселение. Все начиналось на новом месте буквально с одного забитого кола, но когда все утрясалось, приходило в порядок, то получалось, что новый лагерь куда просторнее и, например, собакам в нем гораздо лучше живется — в чистых кабинах, с хорошей теплой караульной, даже с грелками в каждой постовой будке, — да и лагерники не могли б пожаловаться на крепкие бетонные карцеры, в которых гораздо больше их помещалось, чем в какой-нибудь бревенчатой загородке без крыши. Но в последнее лето всем опять жилось ужасно тесно. Все из-за этого изнервничались, а у лагерников прорезались громкие злобные голоса; они все чаще собирались толпами и подолгу не желали расходиться. Да даже собаки понимали: переселение — просто назревшая необходимость, иначе что-то да произойдет. Вот и произошло — до сих пор никого найти не могут.

Нет, это был все-таки лагерь, а не что-то другое. Ведь всегда на том месте, откуда уходили, ничего не оставалось, одни погасшие головешки да заровненные смердящие ямы. Признаться, Руслану больше понравилось, что на этот раз решили не переселяться, а здесь же и устроиться попросторнее. Ему только показалось, что корпуса подступили к лесу опасно близко, а некоторые даже углубились в него, — пулеметчик на вышке, если и заметит беглеца, не успеет прицелиться, как тот уже скрылся в чаще. Да, впрочем, и вышек не было! И не было нигде проволоки — проволоки, с которой и начиналось-то все, для нее-то и забивался первый же кол!

Он решил, что ее потом натянут, когда все будет закончено, все разместится как следует. Может быть, еще много придется вырубить леса, чтоб был хороший обзор. Но где ж она все-таки пройдет, двойная колючая изгородь? — у него что-то с нею никак не ладилось. Лагерь, в его воображении, пошел разрастаться во все стороны, и проволоку приходилось отодвигать все дальше, обносить вокруг леса, и вокруг поселка и станции, и вокруг всего, что довелось Руслану увидеть. Прямо дух захватывало — ведь тогда и луна проклятая окажется в огнестрельной зоне, и хозяева смогут ее сшибить или упрятать в карцер! Это было бы славно, вполне хватит фонарей. От них меньше беспокойства и темных углов.

Что ж еще не устраивало его, не укладывалось в мозгу? Он знал, что мир велик — в какую сторону ни побеги, а он все будет вставать тебе навстречу. Помнилось, как из питомника вез его хозяин в кабине грузовика

и давал смотреть в окошко — как же долго они ехали и как много было всего! Так если мир такой большой, сколько же это кольев надо забить, сколько размотать тяжеленных бухт? А может быть... может быть, настало время жить вовсе без проволоки — одной всеобщей счастливой зоной?

Нет уж, решил он не без грусти, так не получится. Это каждый пойдет, куда ему вздумается, и ни за кем не уследишь. Невозможно же к каждому приставить по собаке. Людей много, а собака все-таки редкость. Он, конечно, не имел в виду дворняжек — этих-то более чем достаточно, — а настоящих собак, служебных, которых нужно отобрать, вырастить, обучить всем наукам. Только после этого собака сможет чему-то научить людей, которые растут безо всякого отбора и ничему не учатся. А кроме того, как это ни печально, некоторых собак, переставших понимать, что к чему, и совсем безнадежных лагерников нужно же куда-то уводить, в жилой зоне стрелять не полагается, а куда же их выведешь, если всюду зона? Так и так выходило — без проволоки не обойдешься. А где ж она будет? А где надо, там и будет!

И все отлично устроилось. Он возвращался, довольный всем увиденным, хоть и слишком припозднился — и поохотиться не успел, и где-то на середине пути ждала его луна, которую пока еще никто не подстрелил. Да видно, она не пожелала сегодня выползти, а между тем что-то светило ему, он хорошо различал и тропинку, и кусты, и деревья. Задержавшись по небольшому делу, он поднял глаза к небу и увидел звезды. Вон что, решили они ему сегодня светить — ну, прекрасно, пусть светят. Он побежал дальше — и они побежали вместе с ним. Он остановился — и они остановились тоже, терпеливо ждали его. Этот фокус он и раньше знал, но всегда приходил от него в восторг. Он поглядел на звезды благодарно, хотел что-то дружеское им пролаять и вдруг отчетливо понял, что поезд, которого так ждут они с Потертым, скоро уже должен прийти.

Яркая вспышка озарила его мозг и высветила видение — самое сладостное из его видений. Никогда не видел он моря, но соль праматери нашей была же растворена и в его крови, и хорошо помнил он, как грозно ревел океан, накатывая бесконечные валы на серую галечную отмель, и взлетали фонтанами всклокоченные дымящиеся гребни, а в темном небе носились белые птицы, накликая беду. Посох и белый плащ хозяина лежали на берегу, лежали его веревочные сандалии и котомка с хлебом, а сам он плавал за полосой прибоя. Он выбился из сил, не мог одолеть ревущий откат волны, он звал на помощь, и Руслан, пролаяв ему: «Я сейчас, продержись немножко!», — бросался в толщу воды, вставшую перед ним стеною. Он пробивал ее мордой, ослепший, полуоглохший, слыша только стеклянный скрежет камней, и когда уже воздух рвался из пасти, выныривал и отфыркивался, — а потом плыл к хозяину, полный счастья и гордости, высоко подлетая на гребнях и скатываясь вниз по склону, все ближе к хозяину, то теряя из виду, а то вновь отыскивая его голову среди осатаневшей стихии.

Очнувшись, он побежал дальше. Его жгли, подгоняли новые заботы — надо усилить наблюдение за платформой, надо оповестить всех собак. И грызло сомнение — поверят ли они ему, уже давно вызывающему у иих одно раздражение? Сами погрязнув в грехе, они рады и за ним заподозрить греховное: уже поймал он слушок, пущенный ими, будто он с л у ж и т П о т е р т о м у. Гнусней не могли придумать! Но если взглянуть спокойно, так он действительно подраспустился: подконвойному ткнулся в колено лбом — какой позор! И он уже спохватывался в испуге: перед Службою, накануне ее возвращения, не может ли и он себя кое в чем уличить? Служил ли кому-нибудь, кроме нее? Нет, нет и нет. Ни от кого подачки не взял, ничьей команды не выполнил, никому не повилял. С чужаками — не знался, связей, порочащих служебную собаку, не имел. Минуточку, а что такое было у него с Альмой? Вот именно, с Альмой — без команды, без поводка, без хозяев, которые должны при этом присутствовать. Господи правый, да ничего же у него не было с Альмой! Был трепетный порыв, безотчетное движение души, она с ним бежала рядом, как пристегнутая, они касались друг друга плечами, — но в голове-то она все время держала своих щенков, а щенки — это уже ее грех, неизвестно, как она из него выкрутится. Право, он очень жалел Альму, но сам-то он чист.

Господа! Хозяева жизни! Мы можем быть довольны, наши усилия не

пропали даром. Сильный и зрелый, полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу, чувствовал на себе жесткие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают. Когда бы кто-нибудь взялся заполнить Русланову анкету, — а раньше, поди, и была такая, но канула вместе с архивом в подвалы «вечного хранения», — она бы оказалась радужно сияющим листом, с одними лишь прочерками, сплошными, душе нашей любезными «не». Он — не был. Не имел. Не состоял. Не участвовал. Не привлекался. Не подвергался. Не колебался. По всей справедливости небес, великая Служба должна бы это учесть и первым из первых позвать его, мчащегося к ней под звездами, страшась опоздать.

И Служба еще раз позвала Руслана.

5

Он ждал — и дождался. Кто так неистово ждет, всегда дождется. И не какой-то счастливец принес ему эту весть — он сам оказался в то утро на платформе, когда загорелся красный фонарь и чумазый охрипший паровозик, тендером наперед, закатил в тупик серо-зеленые пассажирские вагоны.

Еще стучало на стыках, еще только засипело внизу, под вагонами, а с подножек уже сыпалось, рушилось нечто невиданное, неслыханное — с криками, гомоном, смехом, топотом сапог и бутсов, шлепаньем тапочек, стуком чемоданов, баулов, рюкзаков. Его оглушило, ослепило, хлынуло ему в ноздри волною одуряющих запахов; он вскочил и помчался, захлебываясь лаем, в другой конец состава — чего не случалось с ним никогда. Ну, да никогда и не приходилось ему встречать такую огромную партию, и такую странную, голосистую, безалаберную, да еще наполовину из женщин, — этих-то зачем столько привезли!

Но Служба пришла — и он был готов к ней; уже через минуту он преобразился, сделался упругим, подобранным, пронзительно-желтоглазым; шерсть на загривке вздулась воротником, а уши и живот и кончик вытянутого хвоста вздрагивали от низкого металлического рыка. И тут же опять он повел себя неприлично, но уже от радости: схватил и потащил чей-то рюкзак, который у него с веселым реготом вырвали за лямки, чуть не с клыками вместе, а он не обиделся и стал кидаться на грудь парням, лизать их соленые лица, пока ему не сунули в пасть угол колючего солдатского одеяла, — и на это он не обиделся, хоть долго не мог отфыркаться. Ведь они все вернулись! И притом — вернулись добровольно! Они убедились, что нет никакой лучшей жизни там, за лесами, вдали от лагеря, — то, что и было известно всем хозяевам и собакам, — и сами радовались своему прозрению.

Однако и про свои обязанности он не забывал — проследить, чтоб все вышли из вагонов, остались бы только проводники в фуражках, и чтоб отошли на два шага и ждали, не сходя с платформы, пока не прибудут хозяева.

Ах, как безбожно они запаздывали, а то ведь обычно уже заранее стояли цепочкой — каждый со своей собакой против своей двери. Здесь, на этой бетонной плите, поездной конвой передавал новую партию лагерному; вновь прибывших сажали друг другу в затылок, и руки они держали на затылках, а между рядами ходили хозяева — выкликали, пересчитывали, ощупывали вещи; лишнее — отбиралось и складывалось на грузовик; если кому-нибудь это не нравилось, в дело без команды вмешивались собаки.

Нынче ж все как-то складывалось не по правилам: никто не сел, вещи не положил рядышком, а с ними вместе все куда-то повалили гурьбой, — этим они ему рвали сердце. Но он успокоился, когда увидел, что они и не думают разбегаться, с платформы не спрыгивают, а пошли знакомым путем — по ступеням к скверику. Ему только надо было побеспокоиться, чтоб не больно растягивались, а кого и подтолкнуть лапами и мордой. Эта привычка — подталкивать отстающих — откуда у него взялась? кто первый придумал? Ингус, наверное, в чью бы еще башку пришла этакая несуразица? Потому что тем, кого он подталкивал, это вовсе не нравилось; он-то их толкал — побыстрей в тепло, а они шарахались и вскрикивали в испуге — будто другой радости нет у собаки, как только покусать, ей бы самой по-

скорей до тепла добраться. Ну, потом это перенял Джульбарс — и, конечно, все испортил по своему сволочному обыкновению. Но ведь то — Джульбарс!

На площади, у ограды скверика, все опять сгрудились в толпу, вещи положили на землю и повернулись лицом к станции. Там на крыльце стояли уже два невысоких человечка в одинаковых серых костюмах, с чем-то малиновым под горлом, один потолще, другой похудее. Толстенький лишь улыбался, заложив руки за спину, тощий же водрузил очки на нос, развернул бумажку и стал ей говорить что-то длинное-длинное, иногда выбрасывая руку в воздух, как будто кидал апорт, и повторял после пауз — разика два или три: «И вот вы, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината...» Потом он сложил бумажку, и как раз в это время толстенький достал руки из-за спины и похлопал в ладоши. Тогда и все стали хлопать и кричать «Рра-а», а самые задние кричали «Вау!» и были этим очень довольны. Потом на крыльцо взошел кто-то из приезжих, поставил чемодан у ног и тоже достал бумажку. Своей бумажке он говорил уже чуть покороче и повторял немножко по-другому: «И вот м ы, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината...» Диковинные слова щекотали слух Руслану — как те, что любил выкрикивать Потертый, набравшись из своей бутылки: «сандал», «палисандра», «белофинны»... «А кстати, — подумал Руслан, — хорошо бы и его сюда. Может, сбегать?»

Но сбегать-то у него уже не было времени — вот они наговорились, намахались, накурились, подобрали вещи с земли — которых так никто и не проверил! — и начали выстраиваться в колонну. Вот это уже была новость — и из приятных: они сами построились в колонну! Уже сколько правил было нарушено, но самое главное из них — идти не вразброд, а колонною, — они помнили и соблюли. И очень довольный, гордый безмерно, что один конвоирует такую большую партию и знает, куда вести ее, он так же привычно, как они, занял и свое место — с правой стороны, ближе к голове строя.

Колонна вышла на главную улицу. Она неторопливо текла по ее отверделым колдобинам, топча подорожник, пыля тысячью ног, и светлая глинистая пыль оседала на редких тополях и остроколых заборах палисадников. Где-то в глубине рядов тренькнула гитара, скрежетнули гармошки, и тотчас с готовностью выбежала вперед девица в мужских штанах, коротко стриженная, как мальчишка, пошла лицом к строю, мелко-мелко выплясывая в пыли и выпевая крикливым надорванным голосом:

Эх, дорожка торна, торна,
Ты дорожка торная!
Милый ждал мово покору,
А я — нн-па-корная!..

Это было неслыханное нарушение, но его совершила женщина, и Руслан потерялся — как с нею поступить. В его колоннах эти существа были диковинной редкостью, и с ними никаких морок не бывало, разве что они чаще отставали, и приходилось их подталкивать, но зато о побегах они и не помышляли — и в конце концов он к ним проникся безразличием. Он и эту решил не трогать, тем более, что от ее выбега строй не разрушился. Гармошки меж тем заскрежетали во всю мочь; девица перевернулась вокруг своей оси и опять пошла спиною вперед, улыбаясь во все скуластое, обожженное загаром лицо. Она еще что-то пропела, но уже совсем беззвучно, потому что мужские голоса густо заревели свое: «Рупь за сено, два за воз, д'полтора за перевоз, ах, чечевика с викою, д'вика с чечевикою», а в других рядах — про «дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону», а еще подалее — про кота, который сидит на заборе и поглощает кислород, «оттого-то у народа не хватает кислорода».

А в домах приоткрывались слепенькие окошки, и из них выглядывали — кто обалдело, а кто с приклеившейся удивленной улыбкой; в палисадниках и на огородах женщины с подоткнутыми юбками разгибали спины и вглядывались, прикрывая глаза ладонью от солнца. Белоголовый старик в солдатской залатанной гимнастерке подошел к низкому штакетнику и молча, бесстрастно смотрел голубыми выцветшими глазами. Руки его, сжимавшие черенок лопаты, были в крупных венах и так же темны, как этот черенок, и таким же темным, в глубоких морщинах, было его лицо, а локти и открытая шея — тонкие и белые, с голубыми прожилками. Старик долго шевелил губами, потом погладил себя по голове и спросил:

— Вы, такие, откуда сгреблись-то? Московские либо? Ай не московские?

— Всякие, папаша! — отвечали ему. — И московские, и брянские, и смоленские. Не видал таких?

— Видал, — сказал старик. — Тут всякие проходили. И брянские, и смоленские. Не пели, однако.

Он улыбнулся щербатым ртом и побрел к своим грядам.

Так она шла, эта колонна, — горланя, смеясь, перекрикиваясь с посторонними, и от этого счастье Руслана было неполно. Ему не нравились эти новые правила, нарушавшие молчаливое торжество Службы. Но он знал, что должен набраться терпения, эти их крикливость, нервозность, дурашливость пройдут очень скоро, как и излишняя мордастость, и станут они тихими, большелобыми и большеглазыми, как бы изнутри светящимися. И жалел он только, что не может им сообщить, о чем они даже не подозревают, — какой там для их просветления приготовлен просторный лагерь, какие большие, просто чудесные бараки, где они, пожалуй, все-все поместятся, ну разве что некоторых придется втолкнуть, а что нет еще проволоки, — то не беда, они же ее и натянут. Свою проволоку, которую не пройдут они потом, даже подойти не посмеют, они всегда натягивали сами.

Вдруг он увидел — отовсюду к колонне сбегаются собаки. Они бегут из переулков, из дворов, перемахивают через заборы, все так похожие друг на друга — с черными гладкими спинами и желтыми пушистыми животами, с одинаковым — бестолково-радостным — оскалом; даже и языки у них, кажется, на одну сторону вывалены; все ему некогда свои — Джульбарс, Енисей, Байкал, неразлучницы Эра и Гильза, Курок и Затвор, Дик и Цезарь, Серый, Смелый, Седой, Альма со своим белоглазым, — ну, этому-то шпаку что тут за интерес? Да, впрочем, шпак не один прибежал, выкатилась целая орава дворняжек, все эти трезорки, бутоны, кабысдохи, милки и ремзочки, и та, что вовсе без имени. Последним явился Люкс, которого, впрочем, хозяева иначе как Люксиком не называли, — существо Руслану крайне неприятное, сукоподобное по виду, а душой растленное. В драках этот Люксик сразу валился на спину или жаловался Джульбарсу, который ему покровительствовал. А заслужил Люксик это покровительство тем, что выкусывал у него блох, которых у Джульбарса и не было, но Люксик это так изображал, что все их как будто видели. Вот он чем и держался в стае — подхалимствовал и потешал. Теперь он повалялся в пыли, а потом подпрыгнул и клацнул зубами, как бы ловя улетающую блоху, — для этого-то номера он и припозднился. И собаки его приветствовали за это улыбками и хвостами, тогда как Руслана они как будто и не заметили. Ну, да не он первый сталкивался с этим странным обыкновением толпы, которая обожает шута и тайно ненавидит героя.

Пробегая к своему месту, Джульбарс куснул его дружески в плечо. Руслан отвернулся и заворчал, он не забыл той поленницы и хиляка в безрукавке. Он не был завистлив, но сейчас остро и злобно позавидовал Джульбарсу — всегда эта сволочь ходила первой в колонне, а он, Руслан, только вторым, и теперь ему тоже приходилось попятиться. И вышло ему идти у бедра какого-то малого в новых ботинках на толстой резине — вот еще и резину эту нюхать! И все же не мог он не почувствовать влажной теплоты у глаз, не мог не признать, что бывшие его товарищи, несмотря на свое отступничество, явились по первому зову Службы. Приплелась даже ослепшая Аза и безошибочно заняла свое место — она ходила четвертой слева. Все было сделано, как надо, без суеты, молча. Лаяли одни дворняжки, но те-то свой лай вели издалека, а как выкатились, то сразу и поостыли — зрелище было им привычное, хоть и слегка позабытое.

Оттого, что все вышло так просто, спокойно, никто из приезжих не напугался, не стал шарахаться от собак, пристроившихся по обеим сторонам колонны. Кое-кто отважился их погладить — не сказать, чтобы это нравилось собакам, но сносили, чуть только ворча. То ли обленились они, то ли подобрели.

— Мишка, а Мишк! — вдруг заорал этот, на резине, тонкий и с пухлым еще ртом, совсем мальчишка. — Ты чувствуешь, какой сервис? Какой эскорт!

— От поселкома прислали,— откликался Мишка.— Или непосредственно от дирекции комбината.

— Я и говорю — забота о живом человеке. Интересное кино! Слушай, а может, они и шмотки понесут?

— Это мысль!

Мальчишка и впрямь положил на спину Руслану свой рюкзак. И Руслан, опять потерявшись, тащил этот рюкзак, к общему их веселью, пока мальчишке это не наскучило.

— Мерси,— сказал он, приподняв кепку.— Будем по очереди.

Его соседка потянулась трепать Руслану загривок. Он отворачивался, сдерживая рычание, и думал о том, как мало они поумнели, эти помраченные, за свое долгое отсутствие. Если так хочется им доставить радость собаке, и непременно руками, то лучше бы убрали их за спину.

Те, кто видел колонну со стороны, кто наблюдал это странное шествие людей и собак, стоя на дощатых тротуарах, или из окон, или поверх заборов, те почему-то уже не улыбались, а смотрели молча и угрюмо. Понемногу и в колонне перестали смеяться и раздражать собак прикосновениями и кричать без толку, и наступила наконец тишина, в которой слышались только дробная поступь людей и жаркое собачье дыхание. В первый миг тишина показалась Руслану зловещей, пробудила недоброе предчувствие — они о чем-то догадались! Но о чем же, когда и так всё знали наперед? Может быть, пожалели, что вернулись, раздумали идти, куда их ведут, и сейчас кинутся в побег? Он оглянулся, увидел плутоватую морду Дика, с не зажившей еще после битья ссадиной, за ним, держа интервал, шел вперевалку спокойный рослый Байкал, дальше, мелко подергивая лопатками, трусила Эра; все были заняты делом, для которого родились и выучились, никто не терзался предчувствиями, и он тоже успокоился и посмотрел вперед — туда, где кончалась улица и взбегала на холм пустынная дорога к лагерю. Он понял — они вернулись! Они по-настоящему вернулись! И то была величайшая минута жизни Руслана, звездная его минута. Ради нее, этой минуты, жил он голодным и бездомным, грелся на кучах шлака и вымокал под весенними дождями, и ничего не принял из чужих рук — ни еды, ни даже крова, ради нее сторожил Потертого и презрел хозяина, оказавшегося предателем. В эту минуту был он счастлив и полон любви к людям, которых сопровождал. Он их провожал в светлую обитель добра и покоя, где стройный порядок излечит их от всяческих недугов,— так брат милосердия провожает в палату больного, чей разум пошатнулся от чрезмерной заботы ближних. И эта любовь, и гордость так ясно читались в широкой, от уха до уха, ослепительной улыбке Руслана.

Еще с этой улыбкой он оборачивался, пораженный мгновенной слабостью, услышав глухое рычание и жуткий, точно предсмертный, человеческий вопль. Еще он улыбался, когда уже чувствовал себя самым несчастным из псов, все поняв сразу. Случилось то, чего не могло не случиться, потому что на главной улице поселка находились все его магазины, торговые палатки и ларьки, и никто не напомнил вернувшимся, что им ни в коем случае нельзя выходить из строя. С самого начала не было хозяев, чтобы прочесть им такую понятную инструкцию — не долдоня в бумажку: «Комбинат... Целлюлоза... И вот вы... И вот мы...», а коротко и вразумительно: «Шаг вправо, шаг влево... Конвой стреляет без...» А ведь ее приходилось читать этим помраченным каждый день, при каждом построении, потому что к следующему построению они могли и забыть.

Мимо него, прочищая глотку, не спеша протрусил Джульбарс. Он взял с собою Дика. Руслана они оставляли стеречь еще не потревоженные ряды. А там уже все смешалось: злобный лай, вопли укушенных и только еще от страха, глухие удары — с хрипом, с натужным придыханием,— так бывает, когда бьют под брюхо. В каком-то оцепенении наблюдал он свалку в пыли, мельканье оскаленных пастей, падающих тел, кулаков и ног, и вещей, которыми люди пытались отбиться от разъяренных собак. На миг и он ощутил прилив азарта, радостно-злобного, все окрашивающего в желтый цвет, но тут же прилив отхлынул, осталась сосущая тоска — от того, что все получилось так нелепо. Он вспомнил по рычанию, кто все начал: ретивая Гильза, любительница крайних мер: она сразу валит и — к горлу. Ну, и тут же, конечно, кидается Эра. Не предусмотрят, не затолкают обратно в строй — плечом или лбом, не возьмут хоть за коленку, для начала... Ох, да мало ли способов заставить человека подчиниться, не беря его за горло!

Он следил за свалкой почти безучастно, озабоченный лишь тем, чтоб никто не вышел из его рядов. Никто поначалу не выходил, а затем с криком выскочила девица — соседка того мальчишки на резиновом ходу. Руслан не успел ее задержать — да, впрочем, и не увидел в том опасности. Но она вернулась, схватила за локоть своего спутника, совсем как будто остолбеневшего. Руслан кинулся между ними и прихватил ей коленку. Она отскочила с визгом, немало его удивившим. Даже и молниеносно, когда церемониться некогда, он умел так сомкнуть челюсти, чтобы и кожи не поцарапать. Зато ее спутнику, высунувшемуся на полшага, не понадобилось и таких внушений. Руслан лишь привздернул дрожащие губы, и мальчик уже стоял, где надо, обиженный донельзя, но и напуганный до той же меры. Руслан к нему проникся чувством, чуть большим, чем доверие,— хороший мальчик, сразу усвоил, что к чему.

Но тут же он увидел нечто поразившее его: Джульбарса, выбегающего из схватки,— с кровавой пастью, с розовостью в кабаньих глазках, но — уходящего, когда там еще никакого порядка не было. Поодаль прихрамывал всплакивающий Люксик. Пожалуй, он преувеличивал свои страдания, боевых следов на нем не замечалось, зато на Джульбарсе их было не счесть, и он на них не то что не обращал внимания, он хрипел от восторга!

Мотнув башкою, он позвал Руслана за собой. Они все вместе добежали до угла переулка, но здесь Руслан остановился. Остановился и Джульбарс. Теперь стало видно, что не от одного восторга он хрипит, но скорее от усталости, что его тушу едва держат дрожащие лапы и ему так хочется прилечь. Теперь, не при хозяевах, он мог это показать. Руслан его понимал и все же требовал вернуться. Он знал: собаки будут биться, пока бьется Джульбарс; пусть он устал, остарел, обленивел, но пусть хоть слышится его командный рык — никто не посмеет уйти. Джульбарс едва выдерживал его взгляд — не выдержал Люксик: забыв свою хромоту, подскочил к Руслану и с ярой злостью укусил в шею. Джульбарс, освирепев, двинулся покарать Люксика, а тот уже отскакивал, жалуясь, что и так наказан, прихватил невзначай колечко на ошейнике.

Еще раз они встретились глазами, Джульбарс — даже с какой-то жалостью. Не любил он этого неистового, но тут уже они перестали и понимать друг друга. Ну, накусались вволю — и по домам, а дальше — не собачье дело, когда хозяева давно отступились. Да наконец, по праву старейшины он освобождал Руслана с его поста. Все напрасно — неистовый уже возвращался. Джульбарс глядел ему вслед и горестно тряс башкою. Потом, рыкнув на Люксика, чтоб сгинул, пошел по переулку. Он уходил в свою старость царственной, львиной побежкой, роняя каплями свою и чужую кровь, радуясь и тоскуя, что это — в последний раз.

Руслану же предстояло еще удивиться: он застал свои ряды такими же, как и покинул. Непостижимо и нам, грамотным, но давняя, древняя наша привычка к строю оставила голову колонны почти не нарушенной. Ведь никто ж не приказал разойтись! Он побежал вдоль рядов, предупредительно рыча, выравнивая, заглаживая строй.

Все побоище разыгралось у пивного ларька, но теперь оно перекинулось на другую сторону улицы: там теперь почти всей сворой бились собаки, нападая и увертываясь, иногда отскакивая на дощатый тротуар дух перевести, а хвост колонны все наползал, топча и давя упавших. Здесь, на его стороне, был как будто порядок. В спокойных позах, облокотясь на прилавок, стояли трое, держа каждый в руке по кружке с желтеньким, а в другой по рыбке с завернутой шкуркой. Они были из местных и для Руслана интереса не представляли; к тому же они вежливо убрали ноги, давая ему пройти.

Странно, он не увидел ни Эры, ни Гильзы,— хотя где ж им еще надлежало быть? Закон простой — пока одни бьются, другие держат все остальное стадо. Но он их не слышал и среди бившихся сейчас в смертельной злобе. Зато увидел пролом в штакетнике, куда уходил их след. Когда отсюда выдирали жердинки — побить неразлучниц, так этим лишь облегчили их бегство; какими жердинками их побьешь,— оглобли нужны, бревна! Но вот, значит, как — самые ретивые, которые все и начали, первыми и ушли.

А чуть подальше пролома он мог увидеть их работу. Сам ли сюда приполз этот человек, одолев канаву, или притащили его и посадили к штакетнику, но обработан он был на совесть. Обеими руками он держался за горло, сквозь пальцы на белую разодранную рубаху сочилась кровь, глаза были мутны, голубая бледность проступала даже сквозь загар. Это они еще поспешили, а то бы он не сидел.

Зверь и человек встретились глазами. Человек сначала силился понять, не в бреду ли он видит клыкастое чудовище, от которого его отделяла всего лишь канава, потом в глазах появились отчаяние и мольба, по лицу поползли крупные капли пота. Зверь же смотрел с угрюмым укором: ты все забыл, какой лагерный пес кинется на лежачего без команды? Он пряднул ушами, что было признаком мира, и отвернулся. И тотчас проскочила женщина — в чем-то цветастом, с белым в руках. Она торопилась к раненому и не заметила Руслана. Но памятью бокового зрения, чуть запоздало, вспомнила его и оглянулась. Появившийся так неслышно и такой спокойный, он испугал ее сильнее, чем если бы рычал и кидался. Медленно попятясь, с расширенными ужасом глазами, что-то шепча, она прислонилась спиной к боковой стенке ларька, а руками машинально сворачивала свою белую тряпку в жгут. Этим-то жгутиком она надеялась отбиться!

Он уже хотел пройти, когда жестокий, дыхание отбивающий удар сшиб его с лап, отбрасывая к той же стенке. Он удержался лишь тем, что привалился боком к коленям цветастой. Дико взвизжав, она принялась хлестать его своим жгутиком — от этого он только уверился мгновенно, что уж ее-то ему опасаться нечего.

Кто же из этих троих, надвигавшихся с искаженными лицами, с увесистыми своими пожитками в руках, ударил его под брюхо? Да, впрочем, это было и неважно. Просто пришло его время вступить. Всех их он оценил одним коротким взглядом. Один был раненый, с прокушенной рукою, только что он лежал, заваленный Байкалом, теперь бредет, ничего еще толком не соображая. Другой — невысокий, коренастый, с непроницаемым круглым лицом, на котором почти не видно запухших глазок, — был опасен по-настоящему, таких нелегко завалить, и думают они медленно, поэтому отступать не торопятся. А третий — был его мальчик, его обиженный пухлогубый мальчик с рюкзаком, на резиновых подошвах. Один раз ему простили нарушение, зачем же он снова ввязался? Зачем нападали они втроем, если только один чего-то стоил?

Вот зачем! Они переговаривались со своей цветастой, ободряли ее, они шли ее выручать. Самое нелепое, что он ей никакого зла не желал, она ему была безразлична. Просто она оказалась между ним и канавой, которую не догадывалась перепрыгнуть или не решалась — ей бы тогда пришлось повернуться к нему спиной. Как все глупо сложилось!

Он пошел на них, оскалясь, слегка припадая на задние лапы. Они отступили, — вот уж нападения они не ждали, — но отступили не все. Коренастый остался. Но так ведь Руслан и рассчитывал и для того припадал, чтоб прыгнуть.

Он все же повалил коренастого, но тот успел выставить круглое плечо, твердое, как дерево. Было ошибкой терзать это плечо, но он уже начал стервенеть, — если б тот хоть закричал! Коренастый же молча, не торопясь, высвободил две руки и взял его за шею. Вот отчего мир делается тусклым и все внутри обжигает холодом. Бессильно царапая грудь коренастого когтями, он рвался и что было сил напруживал шею, даже не слыша ударов по спине, точно она одеревенела. Услышал лишь, когда обрушилось на голову тяжелое и плотное и острым рассекло надглазье. Но, верно, тем же добрым станковым рюкзаком досталось по пальцам и коренастому, хватка его ослабла, и Руслан, рванувшись, высвободился, глотнул воздуха, отскочил обратно к стене ларька. Цветастой там уже не было.

Колонна разваливалась, она превращалась в сущее безобразие, в кошмарную горланящую толпу, которая вся собиралась на той стороне улицы. Оттуда еще слышались голоса трех или четырех собак. Да, всего лишь трех-четырех, во главе с Байкалом. Он хороший боец, Байкал, спокойный, храбрый и сильный, он не суетится и долго не устает, и умеет других заразить своим спокойствием, — но если б то был Джульбарс! Да все бы они легли, но укротили стадо.

Однако ж те трое, с которыми он вовсе не выиграл схватку, опять под-

ступали. Коренастый встал спокойно и молча, даже не держась за свое плечо, — Руслан понял, что дело серьезно.

Их всех опередил четвертый, появившийся откуда-то сбоку. Он был в солдатской гимнастерке и галифе, в солдатских же сапогах, с короткой, соломенного цвета, челкой. И по тому, как он подходил, широко расставляя руки, чтоб схватить за ошейник, как говорил, подсвистывая, властно и ласково: «Ко мне, мой хороший, поди ко мне», Руслан догадался, что ему приходилось обращаться с собаками. Прежний Руслан, пожалуй, и послушался бы солдата, но не нынешний, принявший отраву из рук предателя. Солдат из породы хозяев, который был с помраченными заодно, был враг еще хуже, чем они, много хуже!

И вот что видел он краем зрения — Дика, вылезшего из-за чьих-то ног, ковыляющего через всю улицу к подворотне. Переднюю лапу, окровавленную, он держал на весу. А сзади шли двое лагерников и колотили его по спине жердинами. Разъярясь, он оборачивался и кидался, но всякий раз забывая про свою лапу, и с воем валился наземь. Колотили слепую Азу, беспомощно тыкавшуюся в забор, — неужели и она сражалась? И все это видел солдат — и после этого: «Поди, мой хороший»?!

Солдат лишь в последний миг бросил свои попытки, заслонился локтем, и Руслан, впившись в него, вместе с солдатом повалился в пыль. Солдат извивался под ним и стонал, слабо отпихиваясь другой рукой; пожалуй, он сдался, но вокруг собирались его сообщники, они били носками под ребро, хватали за хвост и за уши. Руслан выдержал и не отпустил локоть. Да все это было ни к чему, он понял, что не устрашит их, даже если перегрызет солдату кость, следующего нужно брать за горло. И едва они замешкались, отскочил рывком — отдышаться, оглядеться.

В совершенном отчаянии увидел он Альму, уходившую в пролом, — право, ее белоглазый уходил достойнее, сумел даже тяпнуть хорошенько лагерника, наседавшего с палкой; ему б еще выучку, белоглазому, кто ж за ногу берет, когда палка в руке! — увидел сквозь проредь толпы Байкала, загнанного уже в переулок, нападавшего оттуда — на две жердины, которые ему с реготом совали в пасть... Это было все, он, Руслан, оставался один. Один — чтобы согнать все разбредшееся, оручее, вышедшее из повиновения стадо! — и хоть не до лагеря довести, на это он уже не надеялся, но удержать здесь до подхода хозяев — должны ж они были когда-нибудь появиться!

Сзади его прикрывала стена ларька. Тех троих у прилавка можно было не опасаться — за все время они, кажется, не переменили поз и глядели на происходящее с похмельным изумлением; не опасаться и той женщины, что стоит за забором, опершись на лопату и скорбно сморщив лицо, коричневое от солнца. Опасней всех был солдат, уже севший в пыли, прижав к животу прокушенный локоть, — этот кое-что знал о Службе и мог их всех, подлый предатель, подговорить, научить, — но, кажется, он слишком занят своей раной. И еще оставался низкий забор, через который можно махнуть при случае, обхитрить погоню, забежать с другой стороны. Вот вся была его опора. А толпа надвигалась уже на него одного, сходилась полукругом, со злобными лицами, с палками и тяжелыми своими пожитками в руках.

Он зарычал — грозно, яростно, исступленно, показывая, что не шутки он будет шутить, но убивать, и сам готов умереть, — и пошел на них, оскаливая дрожащие клыки. Они остановились, но не отпрянули. Нет, он не устрашил их. Напрасно он кидался — то на одного, то на другого, — они увертывались или выставляли рюкзаки, заходили со стороны и пыряли жердинами в бока, или нарочно открывались, дразня своей досягаемостью, чтоб сунуть брезентовую куртку или плащ. Он понял — они его нарочно выматывают, пока другие, за их спинами, разбегаются кто куда.

Хоть одного из них нужно было взять по-настоящему. Так его учили хозяева, учил инструктор и серые балахоны: лучше взять одного по-настоящему, чем кое-как пятерых. Но он видел мир уже сильно желтым — желтыми траву и пыль, желтым синее небо полудня, желтыми их лица и свою же кровь, сочащуюся из рассеченного надглазья, — а в таком состоянии не было ему врага опаснее, чем он сам. Он выбрал мальчика, который отчего-то сильнее всех его злил, хотя держался поодаль и только смотрел, — но, может быть, потому и выбрал, что это бы всех поразило сильнее и

удержало б надольше. И когда двое к нему сунулись, он их обхитрил, проскочил между, кинулся к своей жертве.

Длинное тело Руслана вытянулось в прыжке, неся впереди оскаленную, окровавленную морду с прижатыми ушами. Но еще в прыжке он почувствовал, что промахнется. Он видел теперь одним глазом, другой ему залила кровь, и он не рассчитал расстояние, прыгнул слишком рано. Мальчик вскрикнул дико, совсем по-звериному, и звериный, мгновенно в нем проснувшийся инстинкт согнул его тело почти вдвое. Руслан, проехав по нему животом, перевернулся через голову и покатился в пыли. Тотчас же, не давая встать, упали ему на голову две жердины, и кто-то, невесть откуда подоспевший, с размаху, со всею силой обрушил на спину тяжелый, окованный по углам баул.

После такого удара какая же сила поднимет зверя с земли? Страх перед новым ударом? Но больше они его не били, и он почувствовал — останься он лежать, его уже не тронут. Страх за детенышей — поднимет, но их не было в жизни Руслана, и не знал он этого чувства. Зато другое он знал, нами подсунутое, — долг, который мы в него вложили, сами-то едва ли зная, что это такое, — и этот-то долг его понуждал подняться.

В пасть ему набилось пыли — задыхаясь ею, откашливаясь, он неимоверным усилием выпрямил передние лапы и сел. Но большего не смог — и не этим ужаснулся, а что они сейчас догадаются. Они сошлись совсем близко, он мог бы их достать, но не делал этого, а только вертел головою, скалясь и хрипло рыча.

— Хрен с ним, ребята, не надо дразнить, — сказал солдат. Он все сидел в пыли, раздирая рукав и заматывая локоть. — Он служит.

— Никто не дразнит, — сказал мальчик. И возмутился: — Так это он, оказывается, служит? Какая сволочь!

— Да никакая, — сказал солдат. — Учили его, вот он и служит. Дай бог каждому. Нам бы с тобой так научиться. — Он усмехнулся, кривясь от боли. — А я, между прочим, себе бы такого взял.

— Так он же и вас как будто...

— Вот за это бы и взял. Не суйся! Не хозяин!

Солдат стал затягивать зубами узелок на рукаве. Мальчик подошел к нему.

— Вам помочь? Там уже машину вызвали. Человек двадцать раненых!

— Ну, раз машину, — сказал солдат, — значит, без тебя и помогут. А о потерях, друг мой, всем так громко не сообщают. Просто, говорят: «Есть потери».

Руслан сидел, изо всех сил упираясь лапами и опустив голову. Изредка он еще рычал — напомнить, что он не сдался, — но не понимал, почему они медлят. Или не догадываются, что встать он не может?

Таким его и увидел Потертый — сидящим в крови, жалким и страшным. Бока его вздымались и опадали, дымясь. А задние лапы были откинуты в сторону так нелепо, с такой странной гибкостью в спине, которая заставляла думать, что в позвоночнике появился сустав. Но то была ошибка Потертого, роковая для Руслана.

— Хребтину-то зачем было ломать? — спросил Потертый. — Это ж не обязательно. Эх, молодость! Любите вы драться, ребята. И — насмерть! И — насмерть!

— Да, погорячились, — сказал солдат.

— Вы еще говорите! — опять возмутился мальчик. — Тут такое было! Вы ж не знаете.

— Какое тут было, — сказал Потертый, — это уж я знаю, тебе не пришлось.

— Оба знаем, — сказал солдат.

Потертый подошел к Руслану, хотел его погладить. И страшная эта голова поднялась, привздернулись дрожащие губы и обнажились клыки. Обычно бывало достаточно такого предупреждения, чтоб человек все понял и стал на место. Потертому, впрочем, чуть больше можно было отпустить времени — свыкнуться с мыслью, что никогда, ни одной минуты, не был он хозяином Руслану.

Потертому этого времени не понадобилось. Он отшагнул в строй быстро, как только мог, — или на то место, которое прежде было строем.

— А ты ее не забыл, — сказал солдат, усмехаясь, — службу-то помнишь! Только еще — руки назад!

Потертый ему не ответил.

Должно быть, и мальчик что-то понял, он стоял грустный и задумчивый.

— Да, но что же с ним делать? — спросил он, глядя на всех растерянно. — Так же нельзя. Надо к ветеринару...

— Ты смеешься, — сказал Потертый, — какой ветеринар ему хребет свинтит!

— А это мы сейчас штангиста попросим, — сказал солдат. — Ты, штангист! — это он окликал коренастого. — У тебя зуб на него еще не прошел? Бери лопату и шуруй. Надо, понимаешь? Родина велит.

Коренастый лишь коротко взглянул на Руслана запухшими глазками и пошел к забору. Женщина сразу послушно отдала ему лопату и отошла. Но ей все было видно сквозь большие щели в штакетнике.

Коренастый повертел лопату так и этак. Она казалась совсем игрушечной в его могучих вздутых руках. Но, должно быть, ему никогда не приходилось убивать, и он не знал, как это делается, да и не хотел этого.

— Зачем же так? — спросил мальчик. — Неужели тут ружья ни у кого не найдется?

— Нету, — сказал Потертый. — Тут ружья никто не держал. Не разрешали.

Все расступились перед коренастым. Руслан перестал рычать и опустил опять голову. Он увидел, как ноги в пыльных сапогах расставились пошире, мелькнула тень от вознесенной лопаты, и внезапно его охватила ярость — уже своя, нами не внушенная. Уже он понял, что никого ему не удержать, они его победили, — но за свою жизнь зверь сражается до конца, зверь не лижет сапоги убийцам, — и, вскинув голову, он рванулся навстречу лопате и охватил клыками железо.

Как ни было это больно, но зато он увидел побледневшее лицо коренастого, растерянность в его запухших глазках.

— Ну, силен! — сказал коренастый, вырвав лопату и усмехаясь виновато, как усмехался, наверное, когда его упражнения не давались ему с первой попытки. — Ну, чего с ним делать?..

— А чего делаешь, то и делай, — сказал Потертый. — Надо ж добить. Не жилец он. Некуда ему жить.

Коренастый, быстро багровея, снова занес лопату. Он зашел сбоку где Руслан не мог его видеть, и опустил ее с хриплым выдохом, наискось. Руслан, обернувшийся на этот выхрип, еще успел увидеть, как она блеснула — тускло и холодно, как вылизанное донце алюминиевой миски...

Потом они вдвоем, коренастый и мальчик, взяли его за передние лапы и поволокли к канаве, оставляя прерывистую красную дорожку, спекавшуюся пыльными шариками. Но поскольку владельцы домов активно возражали, чтобы против их окон оставляли падаль, им пришлось тащить его далеко за крайний дом и там сбросить с насыпи, нарытой бульдозером.

Туда же швырнули лопату, испачканную слюной и кровью.

6

Слепая Аза вылизала ему раны на боках и спине и страшную глубокую рану около уха, повыла над ним, судорожно вздымая к солнцу безглазую морду, и ушла — не надеясь, что Руслан вернется из своего забытья.

Однако он вернулся. Покажется невероятным, что с контуженой спиной, опираясь на передние лапы, а задними лишь едва подгребая, он одолел и щебеночную насыпь, и весь обратный путь до станции. Но так покажется, если не знать, как упорно, устремленно и безошибочно уползает любая тварь, застигнутая несчастьем, туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Пожалуй, будь Руслан в сознании, он не стал бы этого делать. Но сознание его померкло, и лишь одно в нем держалось — тот закуток у каменной оградки, между уборной и мусорным ящиком, где перемог он тогда отраву.

Послеполуденный зной загнал людей под сень ставень, в прохладу комнат с обрызганными водой полами, на улице ни души не было. Опо-

лоумевшие от жары дворняги дремали в будках и под крылечками и не подавали голоса, когда Руслан проползал мимо их дворов по деревянным мосткам. Но ближе к сумеркам, выдрыхнувшись, они проявили к нему интерес. Они-то его и привели в чувство. Ко всему случившемуся, ему предстояло подвергнуться еще и этому страданию, самому унизительному,— его еще должны были потрепать эти милки и чернухи, эти бутоны и кабысдохи, которыми некогда он пренебрег. Не знал он, как уязвил их самолюбие. Не учел и подлейшего собачьего свойства,— да, впрочем, наверно, и объяснимого для этих маленьких существ, не способных себя защитить и часто унижаемых человеком,— нападать скопом на поверженного, обессилевшего, и чем крупнее он, тем с большим азартом и наслаждением.

Но странно, зачастую атаки их кончались ничем или оказывались слабее, чем он страшился, слыша их клокочущие яростью голоса. Что-то не давало им разделаться с ним. Кто-то могучий, шедший рядом со стороны его ослепшего глаза,— может быть, Альма или Байкал, он не мог теперь узнать по голосу,— всякий раз отбивал их атаки или же частью принимал на себя, а остальной пар эти шавки стравливали, кусая друг друга. Потом их отогнал сердобольный прохожий. Они удалились охотно и очень довольные; в конце концов им и надо-то было куснуть по разику — потом ведь можно похвастаться, что и не по разику!

Немного позднее, одолевая площадь, он увидел своего защитника — и тогда подумал, что, наверно, лучше б было остаться под насыпью. От оравы разъяренных шавок его защищал Трезорка — тот Трезорка, низкорослый и с раздутым животом, от которого помощь принять считал бы он еще вчера за унижение.

Трезорка с ним был до конца этого пути. И когда не заворачивались в закуток задние лапы Руслана, Трезорка же оказал ему и эту услугу. Теперь с трех сторон Руслан был огражден, с четвертой — надеялся защититься. Трезорка мог уйти. Но он еще сидел, отдыхая, изредка крупно вздрагивая и всхлыкивая — от непрошедших испугов и многих покусов. Что-то хотелось ему узнать напоследок, о чем-то он спрашивал грустными и укоряющими глазами,— пожалуй, вот о чем: «Зачем ты это сделал, брат?»

Руслан попрощался с ним, взмахнув головою — страшной для Трезорки головою, с залитым кровью глазом,— и тот понял, что спрашивать не к чему, нет ответа и самому Руслану. И понял, что надо уйти немедля — то, что будет сейчас происходить с Русланом, всего страшнее и важнее всего, о чем хотелось бы узнать, и этого не должен видеть никто. Он ушел, пятясь, взъерошенный от страха, а завернув за ящик, побежал с воем, которого сдержать не мог.

Иногда видишь, как бежит в надвигающейся темноте по середине улицы собачонка, подвывая судорожно и глухо, будто сквозь сомкнутые челюсти, и будто от кого-то спасаясь, хотя никто за ней не гонится. И покажется, что спасается она от себя самой — за край такой бездны она заглянула неосторожно или по любопытству, куда не надо заглядывать живому, и такой тайны коснулась, от которой зазнобит ее в самом теплом логове. Трезорка унес с собой лишь начало тайны и уже был приговорен — не согреться, не притронуться к еде, не откликнуться на зов хозяйки, а забиться в самую темную и глухую щель, носом уткнувшись в угол и зажмурясь. Но и там не порвется нить, связавшая его с Русланом, и там не схоронится он и будет коченеть от страха, слыша свое разросшееся, громко стучащее сердце и не зная, что его удары совпадают с ударами другого сердца,— и так будет, покуда то, другое, не остановится; тогда лишь оборвется связь и даст ему, обессилевшему, измученному, забыться сном.

Трезоркин затихающий вопль был не последним звуком, обеспокоившим Руслана. Еще долго он слышал приближающиеся шаги и голоса, грохала над самым ухом крышка ящика, шуршало и брякало опорожниваемое ведро,— всякий раз он замирал, затаивал дыхание, но, милостью судьбы, его не замечали. Да и заметив, приняли б за серую груду тряпья или мусора.

Он ждал ночи, а с нею тишины и безлюдья,— что-то ему необходимо было вспомнить, поймать ускользающее. Обреченный не знать, что с ним произойдет еще до утра, он, однако, к чему-то готовился, куда-то ему предстояло вернуться — не туда ли, в черное небытие, из которого он явился однажды? И время Руслана потихоньку тронулось вспять.

Замелькали его дни — почти одинаковые, как опорные колья проволоки, как барачные ряды,— его караулы, его колонны, погони и схватки; они так и помнились ему — окрашенные злобной желтизною, и всюду был он узник — на поводке ли, без поводка,— всегда не свободен, не волен. А ему хотелось сейчас вернуться к первой отраде зверя — к воле, которую никогда он не забывает и с потерею никогда не примирится; он спешил дальше, дальше и наконец достиг, пробился к ней, увидел себя в просторной вольере питомника, увидел розовые с коричневыми крапинами сосцы матери, заслуженной суки-медалистки, и пятерых своих братьев и сестер, борющихся, валяющих друг друга на мягкой подстилке. Сквозь сетку, занимавшую целиком стену, видны были яркая зелень, желтый песок и пронзительная синева,— а саму сетку они не замечали, не задумывались, зачем она. Но вот к ней подошли с той стороны, отворили сетчатую же дверь, и вошел он — хозяин. Он вошел с другим человеком, уже знакомым, который до этого часто приходил с кормушкой для матери и подметал в вольере своей нестрашной метлой. Это впервые Руслан увидел хозяина — молодого, сильного, статного, в красивой одежде хозяев и с прекрасным, божественным его лицом, с грозно пылающими глазами, налитыми, как плошки, мутной голубой водой,— и впервые почувствовал безотчетный страх, от которого не спасала и близость матери.

— Выбирай,— сказал человек с метлой.

Хозяин, присев на корточки, долго смотрел, а потом протянул руку. И вдруг пятеро братьев и сестер Руслана поползли к этой простертой руке, покорные, жалобно скулящие, дрожа от страха и нетерпения. Мать, повеселевшая, гордая за них, подталкивала их носом. И только он, Руслан, взъерошился и зарычал, отползая в темный угол вольеры. Это он впервые в жизни зарычал — убоявшись руки хозяина, ее коротких пальцев, поросших редкими рыжими волосками. А рука миновала всех, потянулась к нему одному и, взяв за загривок, вынесла к свету. Грозное лицо приблизилось — то лицо, которое будет он обожать, а потом возненавидит,— оно ухмылялось, а он рычал и выворачивался, вздергивая всеми лапками и хвостиком, полный злобы и страха.

В этом положении ему предстояло узнать свое имя — не то, каким его звала мать, отличая от других своих детей,— для нее он был чем-то вроде «Ырм».

— Как ты его записал? — спросил хозяин.

Человек с метлой подошел поближе, вгляделся.

— Руслан.

— Что это — Руслан? Так охотничьих кличут. Я б его Джериком назвал. Хотя есть уже один Джерри. Хрен с ним, пущай Руслан. Слыхал — хто ты есть? Чо крутисси — не доверяешь дяде?

Двумя пальцами раздвинул он щенку пасть и посмотрел нёбо.

— Трусоват вроде,— заметил человек с метлой.

— Много ты понимаешь! — сказал хозяин.— Недоверчивый, падло. Вот кто будет служить. У, злой какой! Аж обоссался.— И, засмеявшись, щелкнув больно по голому еще пузику, положил Руслана в тот же угол, отдельно от всех.— Вот этого пусть покормит еще маленько. А этих — топи. Лизуны, говно.

И мать, уже не глядя на них, подгребла к себе одного Руслана. Пятерых, отвергнутых ею, положили в ведро и унесли, принесли чужих — оголтело жадных, которые должны были ее измучить уже прорезавшимися зубами,— всех она приняла и облизала, преданно глядя в лицо хозяину.

Отчего не кинулась, не загрызла? Увидев себя прежним, беспомощным, он опять не мог понять ее ясности, ненаморщенного ее чела. Опять, объятый ужасом, рвался спасти своих добрых братьев и сестер — и падал, придавленный ее тяжелой лапой. Какой же сговор был между нею и хозяином, какую же зловещую правду она знала, что так покорно отдавала смерти своих детей? — ведь для звериной матери все отнятые у нее детеныши уходят в смерть, и никуда больше!

Та зловещая правда сегодня ему открылась, когда, сбитый ударом, увидел он троих, надвигавшихся с искаженными лицами, и когда обрушился рюкзак, и когда взлетела лопата, и Потертый сказал: «Добей». Никог-

да, никогда в этих помраченных не смирялась ненависть, они только часа ждут обрушить ее на тебя — за то лишь, что ты исполняешь свой долг. Правы были хозяева — в каждом, кто не из их числа, таится враг. Но и в их числе разве были ему друзья? Один лишь инструктор, ставший потом собакою, и был по-настоящему другом, но что же он лаял тогда, в морозную ночь, под вой метели? «Уйдемте от них. Они не братья нам. Они нам враги. Все до одного враги!» Так все, что случилось сегодня, провидела она, мудрая сука, обреченная за свою похлебку рожать и вскармливать для Службы злобных и недоверчивых? Так потому и не терзалась, что знала — те пятеро, уплывавшие от нее в жестяном ведре, удостаивались не худшей участи?

...Всякая тварь, застигнутая несчастьем, уползает туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Но Руслан приполз сюда не за этим, и его не могли бы спасти ни целительная слюна Азы, ни горькие травы и цветы, запах которых он всегда слышал, когда ему случалось приболеть или пораниться. Раненый зверь живет, пока он хочет жить, — но вот он почувствовал, что там, куда он уже проваливается временами, не будет никакого подвала, не будет ни битья поводком, ни уколов иглою, ни горчицы, ничего не будет, ни звука, ни запаха, никаких тревог, а только покой и тьма, — и впервые он захотел этого. Возвращаться ему было не к чему. Убогая, уродливая его любовь к человеку умерла, а другой любви он не знал, к другой жизни не прибился. Лежа в своем зловонном углу и всхлипывая от боли, он слышал далекие гудки, стуки приближающихся составов, но больше ничего от них не ждал. И прежние, еще вспыхивавшие в нем видения — некогда сладостные, озарявшие жизнь, — теперь только мучили его, как дурной, постыдный при пробуждении сон. Достаточно он узнал наяву о мире двуногих, пропахшем жестокостью и предательством.

Нам время оставить Руслана, да это теперь и его единственное желание — чтоб все мы, виновные перед ним, оставили его наконец и никогда бы не возвращались. Все остальное, что мог бы еще породить его разрубленный и начавший воспаляться мозг, едва ли доступно нашему пониманию — и не нужно нам ждать просвета.

Но так суждено было Руслану, что и в последний свой час не мог он быть оставлен Службою. Она и отсюда его позвала, уже с переправы к другому берегу, — чтоб он хотя бы откликнулся. В этот час, когда ее предавали вернейшие из верных, клявшиеся жизнь ей отдать без остатка, когда отрекались и отшатывались министры и генералы, судьи и палачи, осведомители платные и бескорыстные, и сами знаменосцы швыряли в грязь ее оплеванные знамена, в этот час искала она опоры, взывала хоть к чьей-нибудь неиссякшей верности, — и умирающий солдат услышал призыв боевой трубы.

Ему почудилось, что вернулся хозяин — нет, не прежний его Ефрейтор, кто-то другой, совсем без запаха и в новых сапогах, к которым еще придется привыкать. Но рука его, легшая на лоб Руслана, была твердой и властной.

...Звякнул карабин, отпуская ошейник. Хозяин, протягивая руку вдаль, указывал, где враг. И Руслан, сорвавшись, помчался туда — длинными прыжками, земли не касаясь, — могучий, не знающий ни боли, ни страха, ни к кому любви. А следом летело Русланово слово, единственная ему награда за все муки его и верность:

— Фас, Руслан!.. Фас!

1963—1965, 1974

Москва

Александр Банников

ИЗ АФГАНСКОЙ ТЕТРАДИ



Мы встретимся и обхохочемся —
мы вспомним все байки походные.
Как мы курили «Охотничьи»,
хоть не были вовсе охотниками.
Но не были мы и добычею,
мы были обычными — «нашими».
В нас было одно необычно —
какая-то злость рукопашная.
Мы вспомним, быть может, поплачем, —
что кончилось все. И не кончилось.
Как в жизни походно-палаточной
вселялось в нас мужество с корчами.
И как по минному полю
мы шли ожидая — вот-вот...
Но мины — мимо...
Мы помним —
где смерть в человеке живет.
Мы так наглотались песку,
что стали часами песочными —
шуршит
песочек
секунд:
до дома осталось
вот столечко...

★

Глаза мои, отдохните. Я вами камень крошил,
станьте мягче.
Вы настолько остры, что можно карандаши
вами затачивать.
Но вами можно порезать щеку младенца,
подснежника раннего...
Я порою боюсь, боюсь оглядеться,
чтоб не поранить.
Руки мои, отдохните. Без курка, мой палец,
стань слабее...
Во сне я увидел деревья. Они ломались
от прикосновенья.
Я мыл себя в роднике, как чужого,
от грязи и соли.
А на ладонях вздувались, как от ожога,
цветы, как мозоли.
И плакала горько вода, боль мою выпив
до дна.
И родник пересох, до капельки вытек —
кровь потекла.
Кровь — это к родным. Кровь — хорошо...
А утром я понял:
в меня кто-то тихо вошел. Вошел —
и успокоил.

с. Караидель

Сергей Есин

СОГЛЯДАТАЙ, или Бег в обратную сторону

РОМАН*

Глава седьмая

Сначала он даже не понял, кто с ним говорит! Разве мало ненормальных и полуненормальных почитателей таланта режиссера: день, ночь, они звонят, ломая сон, личную жизнь, сосредоточенную работу своего кумира. У Сумаедова выработалась особая манера для начала телефонных разговоров, некая рекогносцировка, когда можно свернуть в ту или иную сторону, когда можно строить разговор как отчужденный, официальный, с единственным подтекстом: не беспокоить! не мешать!

Все это телефонно-разведочное маневрирование было проведено Сумаедовым и на этот раз.

Да, действительно, двадцать с лишним лет назад он снимал картину «Город в тайге на берегу океана», один из фильмов юбилейного сериала. Он, естественно, не собирается возвращаться к опыту боевой юности. Больше документальных фильмов он не снимает. Да, город он знает, помнит, да, действительно, с городом у него связаны личные воспоминания. Но на каком основании вы вторгаетесь в личный мир режиссера? И кто с ним в конце концов говорит?

Память — довольно беспорядочно набитый склад, но престарелый кладовщик хотя бы смутно помнит, где и что у него лежит. Надо лишь отыскать ниточку и потянуть. Тогда возникнет бледное воспоминание о том, как в тридцать седьмом (или пятьдесят третьем) завезли на машине и свалили в угол склада при свете электрического фонарика какой-то тючок. От малого к большому. Напрягись, Сумаедов! Вспомни! И вот постепенно, через резкие, похожие на треск разрываемого батиста, шумы, через помехи и шорохи спутниковой связи, сквозь собственное недоумение встал образ старенькой пигалицы, нелепой интеллектуалки — хранительницы фондов городского краеведческого музея. Бабушка-комиссарша. Живой реликт. Крошечный росточек, белая блузка на перламутровых пуговичках, кожаный пиджачок и близорукие, чуть выпуклые глаза. Он еще вспомнил то чувство несоответствия, возникшее в нем тогда, этого маленького, беззащитного росточка и упорства и воли; силовое напряжение, которое исходило от этой неприкаянной в жизни женщины. И фамилию он вспомнил, и имя-отчество: Лия Исааковна Тац. Но ведь это было двадцать пять лет назад! Неужели?.. И когда образ этой старушки в живых подробностях встал перед глазами, то он, Сумаедов, чуть ли не закричал: «Да, я узнал вас, Лия Исааковна, но неужели вы еще живы?»

Она, оказывается, жива, и ее жизнь в сцеплении обстоятельств и судеб немыслимым образом соприкоснулась с его судьбой. И даже более того, когда она через холодный треск космической связи, где голос в ледяных пространствах, не имеющих тяготения, выцветает, когда она начала говорить, то его, Сумаедова, сердце вдруг неистово забилось.

Как? Каким образом? Его папочке, лагернику, страдальцу и предателю друга на берегу великого океана ставят памятник! Настоящий памятник! Скульптуру! Из звонко-гремящей бронзы на настоящем пьедестале. Памятник отцу. И его сына, в детстве топтавшего ту же землю, знаменитого ныне сына, эту московскую рафинированную штучку, просят, видите ли, прибыть на открытие. Обком хочет придать этому открытию

---

* Окончание. Начало см. «Знамя» № 1 за 1989 год.

смысл политического явления. Никто не забыт, ничто не забыто, и каждому, значит, воздается по его труду и страданиям!

Первые мысли, которые в этот момент возникают у него, у Сумаедова, касаются не самого этого поразительного факта. Первые мысли оказались чрезвычайно эгоистичными. Как сегодня это удивительное событие может отразиться на его, Сумаедова-младшего, полузатоптанной судьбе. А может быть, воздастся за страдания! Компенсация за обиды и унижения от наседающей молодежи. Интересная возникает ситуация! Ого-го! На кого руку поднимаете! На сына национального героя! Он, Сумаедов, уже представил себе торжественное открытие памятника. Набережная, полная народа, телевизионщики, областная сановная публика, закутанная в полотно и мешковину бронзовая фигура — материя, как парус в шторм, стремится оторваться и улететь. Он и себя не позабыл, вписал свой портрет в мысленную монументальчую фреску: он, Сумаедов, с величественно-скорбным, приличествующим случаю ликом. Он даже услышал собственную на открытии речь. И представил себе реакцию своих столичных знакомых, их вытянутые кислые физиономии после нескольких картинок в программе «Время». Он не только знаменитый режиссер, но и сын пострадавшего крупного общественного деятеля. Как такой конъюнктуры не жаждать! Тут же в мстительную кантилену вплелись более трезвые и реальные представления, предстоящее открытие — это еще не открытие. Ведь больше двух десятилетий назад, когда у него состоялся случайный, но памятный разговор с этой пигалицей-комиссаршей, в городе уже поговаривали о памятнике. Правда, о памятнике тому, второму, вернее третьему строителю, ревнителю и зодчему края, оказавшемуся потом первым, чистым, безгрешным перед лицом закона. О, это целая история! Так что же, за двадцать пять лет памятник так и не воздвигли? Эпоха не обессмертила себя и своих героев в доверчивом сознании масс? А ведь были, кажется, архитектор, проект, место для памятника и мемориального сквера. Нужны были и очень крупные силы, чтобы деньги, отпущенные на эту идеологическую акцию, оказались невостребованными. Он знал это по себе. Художники, архитекторы, скульпторы согласились ждать, согласилась ждать семья этого третьего, ставшего первым, героя, и очередной местный начальник края не поторапливал лакомое мероприятие: известно — ничто так не бессмертит власть предержащих, как приобщенность к монументальным художественным проектам! Так в чем же причина такой перемены фортуны? Как, однако, сладко занемело сердце. И он, Сумаедов, кидает в телефонную трубку: «Но ведь в городе, как мне кажется, уже был один памятник?» С другого конца страны, через восемь часовых поясов, доносится ехидный голосок комиссарши: «Действительно, памятник был отлит, но он не был водружен на пьедестал». «Как же так?» — недоумевает знаменитый кинорежиссер. «А вы приезжайте на открытие, и я вам все расскажу».

Сумаедов вешает трубку. Господи, как же все-таки велика сопротивляемость человеческой психики! В любом электроприборе давно бы сгорели все предохранители! А он — ничего, перегреваясь, живет себе в трех временных измерениях. Прошедшее, давно прошедшее и, как говорят лингвисты, преждепрошедшее, то есть которому предшествовало другое прошедшее. По пути из кабинета на кухню, где сидит Зойка, кое-что можно припомнить.

И он, Сумаедов, погружается в глубину, в давно прошедшее...

— Кто там, Денис?

Единственный шанс, который был оставлен для решения собственной судьбы, как сказал бы философ, для проявления свободы волеизъявления.

— Кто пришел? — раздался сочный теткин голос из глубины жилища, и она уже выплывала в своем ситцевом, в оборочках, халате до пят. По его тогдашним меркам — старуха. По сегодняшним прикидкам — женщина средних лет, еще полная чувственности и желаний.

А может быть, у них раньше с отцом был роман, который ускользнул от его, Сумаедова, детского видения? Тайные свидания и незаметные для всех прикосновения, когда подают пальто, протягивают через стол соль или сахарницу? Как кинулись они друг другу в объятия! Это тоже пошло в его режиссерскую копилку. Тогда, правда, ему казалось, что «качественные» объятия, прикосновения и страсти — это привилегия его цветуще-

го возраста, широкого разворота плеч и тренированных, накачанных ног. Красивые лица, стройные шеи и сильные чресла. Как в кино! В том кино! Но в литературе разные Филемоны и Бавкиды, разные «старосветские помещики» доживали со своими курниками и вареничками, послеобеденным сном и пресной любовью до глубокой старости. Значит, все это, видимо, есть и в жизни. Да и кино снимается не только про юношей. Следовательно, надо тщательно наблюдать, как говорит прославленный их мастер в институте, тем более что материал сам плывет в руки. Искусство — это всего-навсего нанесение легкого слоя жизнеподобия на подручные сюжеты.

В его сознании было подозрение в кровосмесительной страсти? Испорченный мальчик! Но в соединении двух близких ему людей — пропыленного на третьих багажных полках зэка, тайно пробравшегося в столицу через границу паспортной зоны — сотый километр! — и тетки, которую он с детства помнил в добывании и приготовлении пищи, в мытье посуды, в стирке; в этом соединении, которое дальше приводило к возникающим в воображении неприличным картинам — любовь кита и сардинки, — виделись тогда и угрозы его спокойствию и жизни, лишние заботы. Порывы, желания кинуться на шею, обласкать, приголубить — этого всего не было. Но было зато предвкушение некоего уникального знания о жизни. Некоей сакраментальной тайны, которая в дальнейшем, развернутая в кинематографические метафоры, принесет ему свои жирные дары. Он жрец и должен терпеть! Более того, как солист в опере, должен вести свою партию. И хоть минута выхода на авансцену была пропущена, и хоть его расчетливые глаза уже многое сказали растерянным глазам стоящего перед ним человека, он все же крикнул, выдавил почти со слезами:

— Папа! Папочка!

А потом сквозь эти выдавленные слезы увидел прислоненную к ситцевому халатику, залоснившемуся и истончившемуся на обширной и девственной груди, седую пятидесятилетнюю папочкину голову. Может быть, так, невинно касаясь друг друга, любят и ласкаются лошади? Что это, обычная родственная встреча? В тетке, в младшей сестренке, папочка увидел старшую, которую так просто отдал всепожирающему молоху, старшую, числившуюся его женой? Или все проще: первые вольные объятия, и к родственным чувствам примешались другие? Что здесь известно из классической литературы? Она пишет о запахе пота, о волглом тепле очнувшегося ото сна женского тела, о проснувшихся прежде задушенных желаниях? Все это в его искусстве станет «точностью психологических обоснований». Сформулировать, прочувствовать, не забыть. Но уж коли произошло обретение блудного отца, хорошо бы огородить себя и свое будущее от любопытства соседей, от возможных вопросов участкового, от всего, что несет опасность. Не надо торопиться с выводами и решениями. В конце концов, может быть, все обойдется, и неудобства в квартире — явления лишь временные. О т т у д а, по слухам, не бегут, и значит, все законно и лояльно.

Но тем не менее он, Сумаедов, и тогда твердо знал: у столицы есть спасительная санитарная стокилометровая зона. Следовательно, в худшем случае по закону этот зэка навсегда возвращается на эту жилплощадь, в лучшем — на время. Скорее всего на время. Перетерпим. Но дверь от греха прикроем. Он, Сумаедов, высовывает голову в коридор, длинный и светлый, во весь этаж бывшей дореволюционной гостиницы, превращенный в коммунальный курятник. Ни одной души, тихо. И он, Сумаедов, прикрывает дверь, превращая патетическую сцену в камерную.

Когда у него, Сумаедова, проснулось чувство к отцу? Когда скрытая внутренняя неприязнь сменилась хотя бы более нейтральным чувством? В день его отъезда из Москвы, которую покинул не солоно хлебавши? Здесь и к постороннему человеку возникла бы жалость! Тогда, после возвращения, ни один из его старых друзей и соратников не откликнулся на его телефонные звонки. Время, конечно, тронулось, но не поменялось. Не откликнулись — и все, не захотели вспомнить, восстановить дружбу, признать. Он для них был выходец с того света. И все же одно приобретение в Москве Сумаедов-старший сделал. Анисья, Онька, тридцатилетняя дворничиха, жившая на том же третьем, где и они с теткой, этаже.

А может быть, сыновнее чувство возникло, когда у Оньки с отцом

родилась Зойка? С Клавдией они к этому времени уже объяснились. Ну, а как мог кончиться брак по расчету? Павлик уехал к тестю и теще. Главное, что их высокоталантливая дочь родила им внука, а папа этого внука новой Сумаедовой родне был совершенно не нужен — не вписывался. Он подумал: не с умыслом ли теща подсылала к молодым свою сдобную домработницу, эдакую миленькую деревенскую Венеру, подсылала помочь молодым по хозяйству первое время. Допомогались. А уж застать, застукать, устроить скандал — это было дело техники. Теща на все это была большая искусница. Ну а когда его сразу лишили сына и жены, он себя успокаивал: живу для искусства. Но тут папочка произвел на свет чадо. Может быть, у него, Сумаедова, скомпенсировалась нереализованная любовь к сыну, к которому его не допускали? Сестра-дочка. Через сестричку достал его папочка. И все же не на светлых Зойкиных родинах, не во время застолий вызревало это чувство к отцу. В один прекрасный день он, Сумаедов-младший, обнаружил в себе самоуверенность, нахрапистость, стремление резко, с хрустом сломать шею конкуренту. Откуда это? Да от папочки! Разве его, Сумаедова-младшего, хвастливые саморекляции в прессе и изустно с международных кинофестивалей не похожи на красочные рассказы Сумаедова-старшего из времен гражданской войны? Папочка, старый со вставными зубами Харон — это зеркало, в которое ему, Сумаедову, надо почаще смотреться, чтобы не быть смешным.

Это к истории сыновних чувств.

Но тогда утренняя камерная сцена привела к камерной жизни. Недаром, когда еще только увидел на пороге смутно знакомого зэка, он подумал, что его жизнь может круто измениться. С этими бесконечными коридорами бывшей гостиницы, с единственным на все сорок комнат туалетом и единственной на пять газовых плит кухней, на которой толокся целый этаж, а значит, все живое шныряло с кастрюльками и сковородками, он действительно хлебнул горя.

Вождь только что умер, но дело его еще было живо. Декретом не ликвидируешь боязнь, которая въелась в кожу. Он вот, Сумаедов, только недавно перестал бояться громко разговаривать: а кто там за перегородкой, не сидит ли, опрокинув на стенку, как звукоулавливатель, глубокую тарелку и, примкнув к ней ухом, не цедит ли шумы соседей? Крепко въелись привычки юности. Он до сих пор на всякий случай, чтобы не распространялась досужая информация, не разгоралась холуйская фантазия, старается быть в лучших отношениях с дворничихой, почтальоншей и даже мусорщиком — не совали бы носа, не следили бы, кто пришел к нему, кто ушел. Встречаясь, подобострастно здоровается, сует рубли и трехи. А кто, собственно, приходил, что особенное говорил, кто ушел? Сегодня не всем понятно, что от доверительной информации дворничихи участковому зависела география места жительства: поближе к тайге, поближе к стройке коммунизма или возле распределителя на улице Грановского.

И поэтому, пока седая голова человека еще покоилась на застиранном халате тетки, он, Сумаедов-младший, уже решал про себя несколько вопросов: надолго ли? видел ли кто-нибудь? И вопросы сугубо технические: как о н будет ходить в туалет по этим коридорам, похожим на беговые дорожки? Как е г о мыть, как сводить в баню? Разве мог лагерный инфицированный человек существовать рядом с нормальными людьми, которые каждый день ходят на работу и в институт? А если с него переползет вошь, и студент на лекциях или на актерских этюдах начнет чесаться, как шелудивый поросенок? Студент тогда еще не знал, что в наших добротных лагерях был образцовый гигиенический порядок. Все пропаривалось, проваривалось, стерилизовалось. Не только заключенный, но вошь из сталинского лагеря сбежать не могла.

Тогда он, Сумаедов, не мог понять сладости возвращения в прошлые годы. Это пришло к нему позже. Но тогда его раздражали вечерние чаепития тетки и отца, тихое бряцание былого в их разговорах. Он старался не вслушиваться в их ветхие беседы, и только потом, по прошествии многих лет, в его памяти всплывали отдельные фразы, слова, несущие в себе знаки далекой эпохи. У него тогда была своя жизнь. Ему уже официально пообещали роль Великого Русского Революционера, он читал материалы к этой роли, воспоминания очевидцев, собирал ощущения от продуманного и прочитанного и боялся расплескать в себе накопленное. Эта роль могла

быть трамплином в карьере. Он видел этого героя, физически ощущал, что дистанция, которая существовала между ним, живым, успешным студентом, и тем петербургским студентом, так и не окончившим курса, но рано окончившим жизнь на эшафоте, эта дистанция с каждым днем сокращается, зазор становится все меньше, и это наполняло его предвкушением жизненной и актерской удачи. Лишь бы не помешали! Лишь бы не задавил быт!

Онька, дворничиха, появилась позже. Его, Сумаедова, много лет интересовало, как она, эта дворничиха, высчитала, вызнала, проникла в дом, когда тетка была на работе, он сам в институте, познакомилась с отцом, а потом вошла в доверие к тетке. Как отец открыл ей дверь? Ведь он получил твердое указание: ни-ко-му! Ни слесарю, ни Мосгазу, ни Мосэнерго, ни домоуправу, ни участковому. И он, стреляный воробей, опытный лагерник, все же единожды открыл. Может быть, когда Онька, пронюхав о существовании существа мужского пола в их с теткой квартире, по-лисьи стучала в дверь, а он, отец, с другой стороны услышал волнующий запах и таинственный шелест женских одежд? Тайна проникновения Оньки в квартиру — это Онькина тайна, которую она унесла в могилу. Путь не известен, зато известен результат. Когда вечером тетка вернулась с работы — сам он, Сумаедов, обычно возвращался много позднее, почти ночью, — Онька и папочка сидели за обеденным столом, люстра ярко горела, а эта скоропалительная парочка пила чай с принесенным Онькой — успела, шельма, плутовка! — пирогом с курагой. Демонстрировала свою хозяйственность. Но как все же она в ы ч и с л и л а? Что послужило ей материалом для этих вычислений? Скорее всего увидела их вдвоем, Сумаедовых, когда однажды, уже месяца через полтора, он, сын, повел отца в Центральные бани. Может быть, узнала того, довоенного, которого арестовывали на ее глазах, на глазах девчонки из дворницкой? А может быть, тогда этот выхоленный, в кожаном пальто, временно скрывающийся у свояченицы враг народа, при аресте которого ее мать была понятой, и поразил ее воображение. Значит, дождалась?..

Так вот, в тот день, как отец возник на пороге, тетка сказала: «Отца надо помыть». Она сказала это племяннику тихо, и он понял, что́ она имеет в виду, потому что телогрейка, котомка и тяжелые, как у ремесленника, бутсы уже лежали на полу возле двери брезгливой кучкой и ждали своей дезинфекции. А может быть, все надо было выбросить или сжечь во дворе, как жгут иногда на костре старую мебель?

Помыть отца можно было только двумя способами. Как изменилось за считанные годы представление о комфорте! В этой бывшей гостинице, расположенной в самом центре первопрестольной, не было ванной, не было горячей воды, функционировал лишь один туалет, и по утрам стыдливые процессии с одинаковыми ведерками или еще дореволюционными ночными вазами из фаянса дефилировали в сторону мест общего пользования. Ночью по длинному холодному коридору могла погнать человека только серьезная нужда, а вся мелочевка шла, так сказать, при содействии подручных средств в домашних условиях. В конце концов даже в Версале в эпоху абсолютизма не было нормальных ватерклозетов. А может быть, их дом был специфическим домом, размышлял тогда Сумаедов, принимающим постояльцев на час или два? Но зачем тогда такие огромные номера, такие величественные, по сорок метров комнаты?

Однако почему он, Сумаедов, все время ходит вокруг этого сюжета, вокруг этого послевоенного гостиничного интерьера? Ответа здесь два: зудит в тебе, голубчик, раненая совесть — это с одной стороны. А с другой — как зверь, чувствующий приваду, бродит он вокруг собственной биографии, собирая с нее дань. А чем же еще подпитывать искусство, как не собственной кровушкой? Он, Сумаедов, все более и более убеждается в том, что его личные истории могут оказаться нужны не только ему одному. А значит? Да, да, ему начинает казаться, что какая-то часть его опыта помещается в рамку с соотношением 2 к 3-м, с исходными данными 24 × 36 мм.

Что же видится ему в этой рамочке? А видится дом на центральной улице, почти напротив горсовета, бывших генерал-губернаторских хором. Видится площадь и эта самая улица, всегда на майские и октябрьские праздники забитая готовыми к демонстрации толпами. Еще тогда, в давние годы, даже маленького Сумаедова всегда удивляло: как он, обыкновенный человек, живет в таком месте, откуда и без пропуска, как с кремлевской трибуны, может наблюдать все самое сокровенное государственных праздников? Даже такое, что людям обеспеченным и сановным не всегда дано видеть. Наблюдать? Видеть и наблюдать — разное. Еще мальчишкой он видел, как на площади, напротив бывшего генерал-губернаторского дома, копали огромный котлован под памятник князю — основателю города. Его тогда потрясло удивительное ощущение святости тайны, когда ковш экскаватора «Ковровец» начал выскребать землю из двух- или трехметровой глубины. А потом на его памяти этот вырытый котлован забили бетоном. И опять мысль: «Теперь уже это место навсегда скрыто от людского взора». Навсегда. Навеки. Тогда он еще не догадывался, что самое недолговечное на земле — памятники. И пара танков с тросом делает с любым памятником чудеса.

В этой рамочке — дом, в котором жил он с теткой, — бывшая гостиница, слитая воедино с новостроем под одним фасадом. В нем, в этом новострое, тогда были уже вполне современные жилые квартиры. Некий филиал «дома на набережной». А двор для тех детишек, двери квартир которых выходили в бесконечный коридор, и для тех, кого, несмотря на карточки и послевоенный голод, учили музыке, английскому или французскому домашние учителя, вот двор для всех детей был общий. Занятные видики из области сравнительной социологии в начальной стадии социализма с детства открывались для мальчика. Но это уже углубление в сюжет. По квартирам и кухням «филиала» мы свой киносюжет не поведем.

Подробнее всего в этой рамочке видится коридор с выходящими в него высокими, почти дворцовыми дверьми. Этот коридор, его прошлая гостиничная жизнь очень интересовали мальчика. Во-первых, из него, из окон, выходящих во внутренний двор, были видны машины, на которых к подъездам подвозили днем обедать сановных жильцов или аккуратно завернутые и завязанные пакеты с неким дополнительным питанием, таинственно называемым «спецпаек». Какие же содержались в них спецпродукты, спецрадости и спецудовольствия? Какие деликатесы и какие запахи? Во-вторых, мальчика интересовала и сама прошлая жизнь этого коридора. Кто останавливался в этих огромных комнатах? Купцы? Князья? А потом? Как возникли перегородочки в этих комнатах, сотворенные без дневного света, темные каморки для старушек, маленькие прихожие, совсем крошечные подсобочки, в которых стояли старинные умывальники — воду надо было наливать из ведра сверху, держали кухонную посуду, электрочайники и плитки. Удивительный мир, в котором, чтобы съесть жареной картошки сковородку, надо было пронести ее, как бегун эстафету, сто метров по коридору. В прошлом гостиничного коридора виделось и другое: красные дорожки, шторы и ламбрекены на окнах, бесшумно скользящие вкрадчивые коридорные, половые, везущие свои тележки с судками, тарелками и графинчиками, смазливые, в кокетливых фартучках горничные и кастелянши, дамы и господа. Господа в котелках и белых гамашах, дамы в платьях с турнюрами! Куда это подевалось? И вообще, где хранятся и тлеют останки этой жизни? Куда подевались эти роскошные занавески, бархатные дорожки, серебряные судки? Кто посрывал тяжелые мраморные подоконники, кто отвинтил дверные медные ручки и фигурные шпингалеты? Куда исчезли матовые, в виде цветка ландыша, плафоны? Куда исчезло все это и вернется ли когда? Об этом тоже размышлял мальчик, и, может быть, с этих размышлений что-то началось, сдвинулось в его душе? Обострило внимание к повседневной жизни человека? А разве не это внимание делает созерцателя художником?

Коридор служил клубом, местом встреч, спортивной площадкой, танцевальным залом. Расшалившиеся дошкольники устраивали здесь гонки на трехколесных велосипедах. А одна девочка, учившаяся в хореографическом училище, организовывала целые представления. Но Сумаедову этот коридор был памятен из-за одной его домашней обязанности. Было заведено, что воду для умывальника, стоящего в самодельной прихожей теткиной квартиры, носит племянник. Сам этот умывальник тоже просится в кадр. Интересно, сохранит ли какой-нибудь музей этнографии и быта эту роскошную и комфортную вещицу начала века, или она, как и множе-

ство других подобных предметов, навсегда канет, растворится в небытии, из которого и вышла. Занятная, с завитком наверху мраморная доска, в которую врезаны овальное зеркало и изящнейший медный краник. Все это укреплено на резной деревянной тумбе. Там же укреплена и расписная фаянсовая раковина. Такой умывальничек мог украшать будуар какой-нибудь французской маркизы или русской купчихи-миллионщицы. Так вот, воду в этот умывальник носил он, маленький Сумаедов, в легоньком, литров на пять, эмалированном кувшине. Он ставил кувшин на плечо и важно шествовал через весь коридор от общей кухни до теткиной квартиры. Эдакая девушка с кувшином. Вносил в комнату свой голубой кувшин, пододвигал к умывальнику табурет, снимал крышку с установленного за мраморной доской резервуара и выливал туда воду. И каждый раз поражался удивительному контрасту: стильная мраморная доска с тяжелым, дорогого стекла, зеркалом и осклизлый, из оцинкованной жести бачок. Фасад и изнанка. Декорация и подлинность. Кстати, и под расписной фаянсовой раковиной в резном, под старину, шкафчике стояло грязное помойное ведро.

Свои «университеты» он, Сумаедов, заканчивал в этом бесконечном коридоре и его филиалах: на кухне и на лестничной клетке. А мальчик, которому судьба почти с рождения подарила кличку «сын врага народа», честолюбивый мальчик, которого пытались сначала сдать в детский дом — о, покойница тетя, слава тебе, родная! — а потом в ремесленное училище, умел наблюдать. Но самое главное, он умел еще удивляться.

В самом конце коридора, противоположном от лестницы, туалета и кухни, жила тихая еврейская семья: двое супругов — очень, как ему тогда казалось, старых людей, и дочка, его, Сумаедова, ровесница. Этой девочке не разрешали играть с коридорной шпаной, так что источник семейной информации для общественности был закрыт, но все знали, что «старуха» — мать девочки, работает корректором в «Правде», а отец — личность настолько бесцветная, что никого не интересовал. Когда «старуха» пробиралась поздно вечером в свою комнату по коридору, неся авоську с тщательно завернутыми в серую бумагу свертками, соседи, видевшие ее, судачили о роскоши редакционных буфетов. Потом судьба пересдала карты этой скрытной семье: исчезла «бесцветная личность» — отец девочки и муж «старухи» — он оказался врачом. Очень скоро комната эта опустела. «Старуха» с дочкой, видимо, не держались за московскую прописку, и тогда, сделав ремонт за счет домоуправления, в ней поселилась Онька, дворничиха.

Так Онька и стала их с теткой ближайшей соседкой. Так была ли тайна? Просто Онька, как, наверное, и любая московская дворничиха той поры, по шагам за стеной в дневное рабочее время, по щелчкам выключателя, по звукам радио, то возникающим, то глохнущим у соседей, могла догадаться о появлении третьего жильца.

С другой стороны теткиных хором жил квадратный крепыш — летчик-испытатель. От этого человека он, Сумаедов, тоже многое взял. Только осознал это, когда стал окончательно взрослым. Летчик распространял вокруг себя абсолютное моральное здоровье. Как солнце распространяет свет и тепло. Он был естествен и поэтому не стыдлив. Ходил умываться на общую кухню с обнаженным торсом, в одних трусах делал зарядку в коридоре. У него были две дочки, похожие на подсолнухи — рыженькие, крепконогонькие и, в папу, естественные. И жена Люсия, бывшая официантка, заарканившая, по слухам, своего мужа первым броском лассо. У каждой, как известно, семьи есть своя тайна, а про эту семью знал весь дом, кроме, естественно, испытателя-крепыша, — едва он уезжал на свои испытания, к Люсии сразу являлись знакомые: какие-то молодцы в узких галстучках и в туфлях по моде тех времен на рифленых подошвах — официанты, парикмахеры, портные-закройщики? Судя по всему, Люсия любила высший свет.

И еще один ракурс камеры, высветляющий его, Сумаедова, раннюю биографию. В будущем фильме камера на тележке-штативе по рельсам пройдет вдоль дверей коридора. Каждая дверь — портрет с «говорящими» дверными ручками, почтовыми ящиками, дерматином, которым для тепла обивали роскошные дубовые двери, с торчащим из дыр войлоком или клочьями ваты. Потом в конце панорамы объектив упрется в ничем не

примечательную, такую же, как и все здесь — ящик, медные гвоздики, суровые нитки, стягивающие бритвенные на дерматине порезы, — объектив упирается в дверь. И тут же монтаж «по звуку»: звон стаканов, фортепианный пассаж, высокие, аффектированные голоса — это актерская квартира. Красавицы Лены Валетовой.

Под старость человек с пристальностью перебирает свои воспоминания и в ворохе случайностей пытается отыскать закономерность своего жизненного пути. Ибо все предопределено. Но так ли? Значит ли — веление богов? И что, предположим, толкнуло его, Сумаедова, на стезю лицедейства и искусства — тасовать черно-белые и цветные картинки на прозрачной целлюлозной или пластмассовой основе?

И все же предопределенность была: эта квартира притягивала его, как шинок веселого выпивоху. Привлекала сначала слухами — о, коридор, о, общая кухня, источники космических пересудов и исчерпывающих вселенских знаний! Он, еще маленький Сумаедов, в валенках, надетых на голые ноги, в теплой ночной рубашке, заправленной в трусишки, бежит ночью — луна, как осколок ресторанной бутылки, лузгает в окно — коридором в туалет, а из-за таинственной развратной двери плывет тоскливая мелодия и витийствуют громкие ненатуральные голоса. Что там? Какие блаженства?

Иногда маленький Сумаедов возвращался из школы и встречал в коридоре Лену Валетову. В халате, позевывая, брела она с зубной щеткой в руке и зубным в коробочке порошком в кухню. Сумаедов выпаливал: «Здравствуйте, Елена Семеновна». И Лена Валетова отвечала глубоким, небрежным голосом: «Здравствуй, Дениска».

Случалось, вечером, пока Лена Валетова шла на кухню ставить чайник, дверь оставалась приоткрытой, и тогда в узеньком секторе обзора виделся оранжевый абажур, кусочек пианино со старинным подсвечником, тусклый отблеск багета, окружающего сумрачные провалы картин. Но бывало — все было освещено: тяжелый стол в середине комнаты, какая-то снедь на бумажках, недопитые стаканы, стеклянная ваза с яблоками. Руки, лица. Из приоткрытой двери валил, как из котельной, папиросный дым.

Самое же обычное, связанное с этой дверью, — гудение за закрытыми створками виолончельного голоса Лены. Туда, в сторону говорящей двери, было направлено, как локатор, ухо маленького Сумаедова. Здесь, может быть, состоялось первое серьезное его знакомство с русской и мировой классикой, и, хочешь не хочешь, кое-какие формулы навсегда вошли в сознание: «Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам».

Классика — обильна, а Лена старательна и любопытна. И уже нет Лены — студентки театрального института, а есть Лена-актриса; уже случился знаменитый ее дебют в роли Медеи, о котором написала газета «Правда». Господи, как, оказывается, коротка дистанция от зачуханного коридора до славы знаменитой актрисы!

Время идет, и вот уже Лена, как-то встретив мальчонку в коридоре, говорит: «Денис, зайди ко мне, подчитай». О, эти искрометные, коротенькие реплики в классических пьесах! О, это пересыпание бисера! А может быть, Лене нужен был слушатель, зритель? Он же ведь тоже, когда стал студентом, любил читать тетке — та была прекрасным слушателем, понимала. Но ведь еще чаще слушала Онька, которая охала и причмокивала, хотя душа-то ее была занята другими проблемами: где дают, что дают, когда дают? Но с Леночкой, с Еленой Семеновной Валетовой, было другое. Как наборщик — первый читатель у писателя, так и добровольный суфлер оказывался у актрисы первым зрителем. И не у такого уж маленького, уже понаслушавшегося, с тренированным ухом, много раз побывавшего в театре, Елена Семеновна могла спросить:

— Ну как, Денис, я играла?

В то время он, Сумаедов, оперировал такими всеобщими дефинициями, как «ндра» и «не ндра». Ну, мог он еще сказать: «Орете, дорогая Елена Семеновна, многовато» или «Пережимаете, тянете одеяло на себя». Или даже так: «Очень реально, игры совсем незаметно». Актерскому мастерству он, Сумаедов, обучался ‹ голоса, по принципу «делай как я», и наступил один прекрасный день, когда Елена Семеновна сказа-

ла своему юному соседу, еще не окончившему тогда десятилетку: «Ну-ка, Денис, попробуй теперь ты почитать».

И Денис начал: «На них основано от века, По воле Бога самого Самостоянье человека, Залог величия его...»

— Нет, маленький, ты читай не то, что читаю я, не хватайся за чужой репертуар, что-нибудь попроще. Скажем, что-нибудь из твоего школьного минимума, из дедушки Крылова. Например, басню «Кот и повар». Или из внеклассного чтения — «Маугли» или сказки братьев Гримм.

И уже потом, много позже, Елена Семеновна на вопрос Сумаедова, почему она взялась готовить его в театральный институт, ответила: «В вас, Денис, тогда было столько искрометного лукавства, столько здоровья и доброты, что вы мне показались врожденным актером». О том, что она в нем ошиблась, Елена Семеновна скажет позднее, когда Денис уже институт оканчивал, а сама Елена Семеновна внезапно, после ослепительно начавшейся актерской карьеры, оставила Москву и поступила работать в Одесский театр. Так уж и «вдруг»?

Вот войдут ли в будущую картину кадры этой истории, объясняющие причину переезда восходящей московской звезды в провинциальный театр, он, Сумаедов, пока не знает. Где искусство, а где стриптиз? И так ли нужно во имя прощения покаяние? Может быть, душа выдюжит и выдаст подходящий вариант и без покаяния?

Значит, каемся и одновременно собираем материал?.. Так это что, репетиция перед выступлением где-нибудь на общем собрании? Я уже чистенький, свеженький, снова выбирайте, а я готов командовать и управлять? Но ведь тебе, старый дурак Сумаедов, ясно, что только по-настоящему крепко и честно сделанное в искусстве может быть цитаделью. Иногда и несокрушимой. Самое прочное — это не бронзовый монумент, а воздушный замок, построенный фантазией художника. Из такого замка не выгонят, как из начальства. А строительный материал? Правда, а не полуправда, искренность, а не полуисповедь. Так, может быть, в силу этих теоретических предпосылок есть смысл вспомнить, как на общем институтском собрании ты наивно сообщил аудитории — какой же год это был? Собственную биографию приходится сверять с газетной информацией! — сообщил студенческо-преподавательской аудитории о страсти соседки — знаменитой артистки, к мрачным, упадочным сторонам лирики и нездоровых симпатиях к зарубежной литературе. Так что, возможно, не такой это был глупый или загадочный шаг — поменять московскую квартиру и сцену на провинциальную.

Итак, общий план ясен, и в нем, как ядрышко в орехе, история некой карьеры. А что ее составляет? Воспоминания, размышления. В конечном счете разве художник всю жизнь не эксплуатирует лишь несколько излюбленных мотивов? Излюбленных ли? Поищем у истоков.

Мусульмане правы: счастлив сын, не видевший своего отца обнаженным.

В день, когда пришел отец, он, Сумаедов-младший, крутился в институте, как сомнамбула. Вот что значит хорошо отрепетированная роль! Только автоматизм позволяет доиграть ее в любом состоянии духа. И он в тот день, сидел ли на лекциях, находился ли на практических занятиях, шутил ли с милыми девушками в столовой, в его сознании, как неразорвавшийся фугас, стояло одно: а если узнает милиция? если отца вышлют за нарушение паспортного режима? если об этом станет известно в институте? Да-да, все кричат о новых веяниях, но жизнь-то пока идет по-старому. Как их соединить, эти две жизни, новую и старую? К тому же еще не разобрался, какая из этих жизней ему милее: новая или старая? Одну он всей душой недолюбливал, она оскорбляла его, делала человеком второго сорта, но он уже к ней приспособился, а другой не знал, страшился, не потребует ли она от него чего-то такого, чего нет в его молодой, разъятой на части душе. Как проскользнуть ему, одинокому пловцу, между двумя этими махинами плотов, стремящимися по узкому фарватеру? Извечный мотив! Как в этой ситуации, если не чувствуешь любви к отцу, которого уже давно вытеснил из своего внутреннего мира, не показать, ради великодушной тетки, что нет этой любви, нет зова крови?

В то утро голова зэка не долго пролежала на ее, не знавшей материнства, просторной, как русское поле, груди. Видимо, еще во время этих

первых и сладостных до слез объятий она уже определила дальнейшую диспозицию — в ней сказывалась не только семейная пассивность, но и семейная воля.

Сладкая минута полуслов, полуобъятий, и уже этот полководец домашних арьергардных боев дает первое указание: надо вымыть отца.

— Может быть, я свожу его в баню? — говорит Сумаедов-младший.

Отец и тетка переглядываются. Может быть, она, тетка, уже промыслила Оньку и ее въедливое, как соляная кислота, любопытство, но тетка говорит:

— Нет, Денис, в баню утром идти не следует, обойдемся по-домашнему. Сейчас обойдемся по-домашнему, а вечером посмотрим...

Технология была отработана. Это «по-домашнему» преследовало его до тринадцати лет, до слез, пока первые завитки не показались у него под мышками. Он уже с девяти или с десяти лет канючил: «Я в баню с ребятами или с дядей Толей (с летчиком-испытателем) лучше пойду». Но тетка с ее боязнью инфекции, ее помешанностью на санитарии и гигиене собственноручно мыла его сначала в детской жестяной ванночке, а потом в оцинкованном корыте. Итак, одно ведро нагретой на общей кухне горячей и одно ведро холодной.

Тогда еще Онька спросила:

— Ты что, Денис, с утра решил полы мыть?

Ассоциация, как говаривал Сергей Эйзенштейн, первого круга.

Так же тетка мыла его, Сумаедова-младшего, когда впервые привезла в Москву. Молодая тетка очень маленького Дениса. Ему все казалось каким-то приключением. Он еще только предчувствовал тягостное давление происшедшего на его судьбу. Мамины поцелуи на перроне в Хабаровске, лишенные на этот раз обычной сдержанности, слезы тетки, похожий на бегство отъезд в Москву. Вареная курица в дорогу, крутые яйца, на станциях — горячая картошка, сметана и творог, сажа и черная пыль от не сгоревшего в топке каменного угля в раскрытое окно. Москва — извозчики, такси, коридор, корзины и чемоданы у дверей, теткин ридикюль на цепочке, большие, как от купеческой лавки, ключи, пыль в квартире, занавешенные окна, огонек керосинки в темной комнате, на которой стоит ведро с водой, и перед тем как уложить племянника спать на диван, на чистую, пахнущую лавандой простыню, тетка моет его в корыте. Неумело моет, поливая спину и голову теплой водой из голубого кувшина. Сколько же этому кувшину лет?

Корыто поставили прямо на пол в темной выгородке, подстелив под него клеенку. Отец сидел в корыте, подняв колени и согнув спину. Он, Сумаедов, тогда еще отметил, что спина эта и согнутые плечи совсем не изможденные и не старые. И руки, и согнутые в коленях ноги — это скорее руки и ноги борца, тренированного раба-гладиатора, нежели узника, похожего на блеклый картофельный росток из подземелья.

Он, Сумаедов, все тогда делал молча. Было объявлено перемирие, в котором каждый играл роль: роль пострадавшего отца, радующегося встрече с сыном, и почтительного, милого отпрыска, отвыкшего от родителя и не знающего, как поделикатнее выразить свою любовь и преданность. И выразил: не пошел на первую пару лекций, натаскал и нагрел воды, постелил клеенку, снял корыто.

— Я постелила возле двери газетку, — сказала через перегородку тетка, — все вещи надо завернуть и выбросить в мусорку. Только не на этаже.

— Я понял, тетя. Снесу все во двор, на помойку.

— Да, чтобы не раздумывали, чьи это вещи и из какой квартиры.

Потом он, Сумаедов-младший, подавал мочалку, с которой сам ходил в баню, поливал из кувшина.

Из-за занавески, заменявшей дверь, просунулась полная теткина рука.

— Вот возьмите, — сказала она Денису, — мыло для головы.

На ладони лежал запакованный в глянцевую бумагу кусок мыла, судя по этикетке, еще довоенного. Личные запасы, хранившиеся, как знал Сумаедов, в правой тумбе трельяжа. Кроме двух-трех кусков мыла, там еще лежал и какой-то отрез шелка на платье, флаконы, коробка с нит-

ками мулине, бальные лайковые перчатки, завернутые в целлофан, всякая мура, старые фотокарточки.

— Спасибо, Антонина,— сказал отец. Он вскрыл обертку, даже не взглянув на нее.

Во время этой самодеятельной бани раздражение против отца не утихало, оно только приняло другой характер, ушло вовнутрь. И еще Сумаедов поймал себя на одном чувстве: глядя на сильное, задубевшее от работы тело своего родителя, он подумал: не такая уж у него плохая наследственность, кое-что ему, Сумаедову-младшему, впереди еще отпущено!

И еще одно наблюдение сделал он во время купания: как быстро этот жалкий, подобострастный зэк распрямлялся, будто с вагонной и лагерной грязью уходили и волчья осторожность, и опущенный взгляд, и поднятые кверху плечи. Он обдавал из кувшина уже не раба, стоящего по щиколотку в обмылках, а вольного гражданина. В корыто садился один человек, похожий на старую собаку, а перешагнул бортик и ступил на клеенку, молча протянув руку за полотенцем, другой. Что же это за Иван-царевич купался в трех водах?

Не торопясь, этот новый человек стал надевать чистое белье — теткина рука с аккуратной стопочкой одежды беззвучно появилась из-за занавески — тут Сумаедов заметил, что вся одежда, предназначавшаяся папочке — шелковое, сиреневого цвета белье, фильдекосовые носки, кремовая со стоячим воротником косоворотка,— все это было из старинных запасов и действительно когда-то принадлежало отцу. Значит, тетка все это втайне хранила, перекладывала, проветривала, не распродала в самые тяжелые и голодные годы. А продать, оказывается, было что: на спинке стула висел бостоновый пиджак, а на нем с серебряным набором кавказский поясок. Даже почти новые сапоги с лениво свисавшими мягкими голенищами стояли возле стула.

Многое помнится ему, Сумаедову, из этого дня, но главное, это впервые появившееся у него чувство раба. Схемка обычная: вынужденная порядочность, вынужденное чувство долга и — уже во власти чужой судьбы. А может быть, смысл рабства ие в этом захвате, а в готовности к нему? Во внутренней предопределенности рабства? Рабство у отца, рабство у деда, рабство у жены, рабство у сестры?

Да, он помиит и поздний, даже до некоторой степени чиный завтрак: отец сидел в своей косоворотке, тетка вытащила из стенного шкафа — бывший проем между двумя гостиничными номерами — парадный сервиз, и они ели горячую картошку с постным маслом и любительской колбасой — карточки уже несколько лет как отменили. И ужин он, Сумаедов, помнит. Мизансцена: он, Сумаедов-младший, тетка, отец и еще томная, как довоенная жизнь, бутылочка армянского «Саперави». Онька в таких случаях начинала с водки. За этим ужином он, Сумаедов, и узнал н а м е р е н и я.

Это, наверное, было самое важное, что предстояло Сумаедову узнать о человеке, которого все называют его отцом. Мысль о намерениях родственника беспокоила его с утра. Ему надо было точно знать, сможет ли он, Сумаедов-младший, сообразовать свои действия, планы с желаниями и планами отца. Но вот что интересно. В той вечерней трапезе отец, Сумаедов-старший, совершенно не интересовался перспективами сына. Будто этот сын и не существовал для него. Здоровенький, с обветренным лицом, одетый в кремовую шелковую косоворотку, человек этот за столом рассказывал о пайках, о лесоповале, о казармах и об умении приспособиться к среде и строительству. Он не вспоминал о прошлом, не сожалел, не проявлял ни к кому интереса. Пожалуй, существовала только сегодняшняя конъюнктура. У сына с институтом все, кажется, хорошо — это ему приятно. Он будет хорошим артистом? Г его время больше ценился инженер. Но коли артистов показывают в кино и дают ордена, как Григорию Александрову и Любови Орловой, то и ладно. Умер Сталин — тиран, бог с ним, но этот подлец Берия тоже орешек будь здоров. Мы люди маленькие, лишь бы дожить, додержаться, мы в политику не суемся. Нас один раз потрясли, это запомнилось на всю жизнь. И из-за всех этих недомолвок, восклицаний, мелких замечаний, сделанных во время этого, за чистой скатертью, необильного, но праздничного ужина, вырисовывалась линия поведения: папочку освободили — о, фантастический случай и везуха! — как ударника лагерного труда, спринтом, с зачетами отшагавшего свой обильный срок, сумевшего выжить. И теперь пора оставить иллюзии и пожить для себя. Ему сейчас самое главное тихонько отсидеться в щели, отдохнуть и отбыть за свой сто первый километр. Ему надо устроиться так, чтобы одному держать круговую оборону. Он позвонит по телефону, поищет друзей, напишет пяточек писем, конечно, с должной мерой конспирации, но чтобы и комар носу не подточил, переписочка пойдет на имя тетки или на имя сына, а уж потом, заручившись дружеской поддержкой, поедет он куда-нибудь в провинцию и будет устраиваться.

Во время этих рассуждений ему, Сумаедову, все время хотелось воскликнуть: «А как же я?! Ведь по закону не тетка тебя скрывает, а я, твой сын! Не к сестре своей покойной сгинувшей жены ты приехал, чтобы взглянуть на нее через столько лет, а к сыну! А если в институте узнают об этом отце, который по анкетам исчез в гуще боев, как солдат и герой?» — хотелось Сумаедову закричать. Да и вообще он не представлял себе, как же т е х н и ч е с к и они устроят свою жизнь?

Дело в том, что сразу после купания, после превращения в корыте жалкого цыпленка в воина, способного нести оружие, после того, как обе ступни его прочно встали на клеенку, и отец ие без удовольствия крепко растер полотенцем свои плечи и грудь, он, взглянув на сына, подмигнул: дескать, подойди, что-то я тебе скажу. В этот момент он, Сумаедов, мог ожидать всего: признания о зарытом кладе или о золотых десятках, закопанных в Парке культуры под постаментом скульптуры «Девушка с веслом», но все оказалось проще. Шепотом отец сказал: «Я хочу оправиться».

Да разве что-нибудь есть неприличное в естественных потребностях человеческого тела? Неприличны, греховны и смрадны лишь наши помыслы и тайные желания. Так что же поразило Сумаедова-младшего?

В его лексиконе не было слова «оправиться». Из всех эвфемизмов, которыми человеческая ложная деликатность окутала акты самоочищения организма, этого, с привкусом казармы и тюремной вежливости Сумаедов не ведал, и поэтому он, покраснев от своего невежества, впрочем, уже догадываясь, что означает это необычное слово, шепотом спросил: «Чего ты хочешь?» «Оправиться. Ну, по-маленькому...» «А...» — сказал Сумаедов-младший, и тут же во всей грандиозности этой проблемы встал перед ним коридор, в который выходили комнаты всех дверей, огромная общая кухня, мимо которой обязательно надо было проходить и в которой в любое время суток кто-нибудь бывал. Это целая история — попасть в туалет, чтобы никто не видел. И хотя конкретный ответ на конкретный вопрос был уже готов и его оставалось только произнести, в сознании у него, Сумаедова-младшего, свербило: а как же еще и то, что обычно происходит раз в сутки? Но он не дал почувствовать своей озабоченности, которую отец мог истолковать как трусость, будущее оставим будущему. И он предложил, будто своему сверстнику, с той степенью раскованности, которая подразумевает плевость всего происходящего: «Может быть, помочишься в корыто? А я сейчас воду из него солью в ведро да вынесу».

Бедный, несчастный и униженный Харон. Пассажирам твоей ладьи было дано увидеть тебя без хитона, нагим, словно жалкого раба, который вылез из зловонной норы. Унижение было для взрослого человека тем сильнее, что приходилось на корточках торопливо мочиться в старый горшок, журчать неслышно, чтобы никто за фанерной перегородкой, за занавеской, заменяющей дверь, не понял и, упаси бог, не догадался о сути происходящего. О, жалкая человеческая плоть, хранящая в своем греховном чреве еще и бессмертную душу! Божественные откровения вызревают на навозе. Недаром в таком ходу у человечества роскошные декорации. Золотые папские тиары, украшенные диамантами, жреческие хламиды, цепи, амулеты, перстни, ожерелья, браслеты, накидки, плащи, ризы — все это скрывает хрупкое, способное довольно быстро разлагаться тело, делает недопустимой мысль, что под платьем все люди голы и работа кишечника происходит у короля или первосвященника, как у свинопаса и углежога.

Для него, для Сумаедова-младшего, ужасным представлялось сунуть ноги в валеики и в трусишках, в байковом детском лифчике, не снимаемом на ночь для тепла, бежать через весь холодный, как улица, коридор. Тогда

он поступал по-другому: на цыпочках, вроде попить, он пробирался в маленькую темную комнатку, и там, согнувшись в три погибели, начинал... чтобы не журчало, не струилось, не гремело жестяное ведро.

Старый Харон, как сегодняшний школьник, со всеми не забытыми приемами звукомаскировки проделал все необходимое, и плоть его, освободившись, вновь обрела уверенность.

А тетка уже хлопотала за перегородкой: скорее, скорее, картошка уже готова, чайник «под бабой». Но у него, у Сумаедова-младшего, все время билась в сознании одна и та же мысль, бессовестная в своей наготе: как поступить, когда отцу понадобится выйти в коридор?

Глава восьмая

В наш век пренебрежения историей мы подчас и страницы собственной биографии узнаем случайно. Ах, если бы он, Сумаедов, не спустился в музейный подвал! Но ведь нас ведет рука божья, хорошо, назовем ее случаем. Но только безумец считает, что случай случаен. Может быть, и подвал этот был выстроен домовладельцем-купцом, чтобы не только хранить товары, но и быть в свое время реквизированным, чтобы в этом доме попеременно хозяйничали белые, красные, ревсовет, уполномоченный ЧК, уполномоченный НКВД, ветлаборатория, комбинат бытового обслуживания, музей. А может быть, эта старая пигалица с серыми навыкат глазами пребывала здесь в ветлаборатории, комбинате, НКВД и в лавке купца? Что находилось в подвале во времена ветлечебницы? Клетки, в которых коты и собаки? А комбинат бытового обслуживания, наверное, хранил здесь обрезки кожи и штуки дерматина для обивки дверей?

Он, Сумаедов, в музей мог и не зайти. Доблестный Коробков так сконструировал сценарий, что режиссеру не было особой необходимости снимать на месте третьестепенный объект, штришок к славной биографии большой страны. Набережную, трубы завода-гиганта — что-то промышленно-оборонное, — от этого следовало держаться подальше; неоновые буквы «Гастроном», «Кинотеатр», пара контрастов нового и старого — все это можно было отыскать и в киноархиве и перекрыть густым, как сироп, текстом Коробкова: «Когда-то в центр города заходили медведи...» Но ведь он-то, Сумаедов, помнил, как сам топтал землю этого третьестепенного объекта. О, мое закондовье!..

В картинных галереях посетители с особым, пристальным вниманием обычно разглядывают живопись, которая подревнее. А может быть, картина полируется не только годами, но и взглядами смотрящих на нее людей. Так и тогда дистанция между городом его детства и сегодняшним, когда он стал молодым мастером, была еще слишком мала. Город был недошлифован. Однако «Мне все здесь на память приводит былое». Довольно лениво Сумаедов проехал по набережной, с налета отсняли несколько планов, второй режиссер с оператором умчались снимать типажи, а Сумаедов решил пройтись. Смутно узнавались кирпичные одноэтажные домики, заборы, деревья. Нашелся и «отчий дом», в нем была теперь музыкальная школа. Он думал, что сердце у него воспарит, душа расправит крылья, но ничего этого не случилось, может быть, виновата была рюмка коньяку, которую он пропустил утром для бодрости. Он зашел в дом. Гремели ученические гаммы на фортепиано. Припомнилось: так разогревала пальцы мать — обеими руками через всю клавиатуру слева направо и с высоких нот к низким справа налево. Садистски подумалось: об этом он расскажет отцу, как, интересно, папочка отреагирует? Но дальше воображение не пошло, и Сумаедов не стал его насиловать.

Выйдя из отчего дома на предвесенний морозец, он, Сумаедов, словно сварщик газовой горелкой, провел взглядом по низким старинным постройкам со свешивающимися с крыш снежными пластами, похожими на гребни французских булок, зацепился за высокую подклеть, крыльцо и металлические, крашенные зеленой краской ставни кирпичного строения и уж потом вбуравился в вывеску — «Краеведческий музей».

Каждый человек рассчитывает в своей жизни на чудо. Но немного этнографии: шаманский бубен, макет туземного становища, парочка идолов, штоф, царские ассигнации, винтовка, нагайка — оружие царской колонизации, через кумач — веер пожелтевших газет, станковый пулемет «Максим». Экскурсия движется к радостной современной жизни: фотографии паиельных коробок, именуемых жилыми домами, фотографии судов, сошедших со стапелей на местной верфи, сноп кукурузы, волею судеб продвинувшейся сюда, и — тпрр, лошадка. Сколько же таких музеев видел и еще увидит Сумаедов за свою жизнь! Чудо же заключалось в том, что, несмотря на стойкое отвращение к мертвым, окаменевшим формам музейной жизни, он, Сумаедов, все же преодолел себя, поднялся по ступеням на высокое крыльцо, отворил дверь и...

Стоит ли особо вспоминать теплую, без кассирши, прихожую с совсем домашней круглой «венской» вешалкой, открытую дверь в безлюдный зал экспозиции, а в углу — с кованой баллюстрадкой лестницу вниз? Над этой лестницей тушью на белом картоне выведена надпись: «Фонды». Какие же ф о н д ы могут быть у этой заброшенности, у этой музейной нищеты?

Дальше он пробрасывает кадры путешествия вниз: коридор с низким потолком, плавно подавшуюся под рукой дверь с надписью «Хранитель», душную комнату-камеру с письменным столом и тусклым светом, падающим из небольшого зарешеченного окошка почти под потолком. Но вдруг все очень резко: крупный план-портрет, батистовая белая блузка, кожаная комиссарская куртка. Состоялось!

Женщина улыбается, смотрит на режиссера и говорит:

— Я жду вас уже с утра...

— Вы знаете меня?

— Конечно.

— А откуда вы знаете, что я должен был приехать?

— Мы читаем центральные и местные газеты.

Потом эта удивительная экскурсия по крошечному краеведческому музею. Давно жизнь перекроила административную карту этих далеких мест. Когда-то огромный административный округ распался, раздробился на несколько районов, и Петровск-на-Амуре стал заштатностью. Но отблеск прежнего административного величия остался на выцветших диаграммах и пыльных плакатах. И вот сюда, мимо этнографии, мимо жалкой местной палеонтологии, мимо пожелтевшей резьбы на мамонтовой кости, мимо туесов и пестерей из бересты, вышитых и сшитых костяной иглой шкур — продукция местных народных промыслов, — мимо всего этого вела хранительница Сумаедова.

— Так вы знаете, кто я? — спросил Сумаедов.

— Конечно. Я знала ваших родителей.

А в промежутках между фразами из методички о музее, о городе, о жителях, банальными расспросами о столице, всем этим словесным антуражем впроброс шла иная информация. Так у геологов голубые глины кимберлитовых трубок предуказывают гнезда алмазов. Она тут же назвалась, хотя и называться не было нужды: на дверях комнаты висела табличка с именем: Тац Лия Исааковна. Всю жизнь она живет в этом городе. Не то чтобы всю жизнь, но с юности, и никогда отсюда не выезжала дальше областного центра. Бывали еще путешествия, но они имели специфический характер. Ей неловко признаться, но существовало понятие «партийный долг», слова, которые прежде не стеснялись произносить вслух, и вот совсем еще молоденькой девушкой, повинуясь этому долгу, она попала в эти места. Да, она может признаться, что приехала вслед за любимым человеком. Безответная любовь — очень серьезный стимул в жизни. Она не рассказывает своей истории, потому что внешне эта история напоминает сюжет фильма 30-х годов. Три друга делали революцию, прошли гражданскую, оказались в одном городе, надо было строить новую жизнь. Три друга были влюблены в одну женщину. Но была еще одна женщина. Которая любила безответно одного. И не смогла его спасти. Весь этот рассказ напоминал кружение птицы, отводящей охотника от сокровенного места и тем не менее наводящей его на свое гнездо. В этом кружении становилось ясно, какое значение придает его, Сумаедова, визиту эта маленькая комиссарша.

И вот первая фотография. Боже мой, да это же дядя Вася Кромкин! Какой вид, какая стать! По периферии памяти все время маячило,

что дядя Вася стал большим человеком. Да, да, он, Сумаедов, помнит, надо просто отфокусировать в созиании это сомнительное местечко. Тетка вроде посылала еще во время войны этому дяде Васе какое-то письмо, которое осталось без ответа, а может, был ответ, правильно, был, что он, дескать, дядя Вася, не хотел бы, даже памятуя о безгрешном прошлом, вступать в переписку с семьей врага народа и просил тетю Тосю больше не писать. И отец по возвращении никогда о дяде Васе, своем друге юности, не вспоминал, хотя имя дяди Васи изредка и мелькало в газетах. Что же сделало время с лицом дяди Васи, как налились, отяжелели и отвисли щеки и что за жирные валики вместо морщин лежат на лбу. И только взгляд по-прежнему милый и приторно-любезный. Но на этом фотографическом портрете было видно, что годы Василия Даниловича прошли не зря: так сказать, пьедестал под монументом весь был усыпан свидетельствами дядивасиных заслуг. Сколько орденов, медалей, значков и памятных жетонов! Оказывается, всю жизнь дядя Вася был на передовой линии огня — завершал эту небедную коллекцию скромный, как сыроежка, значок депутата, украшавший лацкан массивного, подбитого ватой пиджака.

Пока он, Сумаедов, рассматривал портрет Героя, он все время чувствовал на себе буравящий взгляд: маленькая хранительница, приблизив свое лицо почти вплотную к лицу гостя, изучала, какое впечатление произвела работа добросовестного фотографа на московскую знаменитость. Но он, Сумаедов, не так прост, чтобы не уметь держать себя в руках. Он понял, что эта маленькая особа испытывает к нему жгучий и неслучайный интерес. Он стоял, раскачиваясь на каблуках, разглядывал портрет, похожий на икону местного святого, и помалкивал: мэтр созерцает. А сердце билось, как у взломщика, уже отомкнувшего дверь и входящего в темную, пахнущую жильем квартиру. Что там за порогом? Пан или пропал?

— Это Василий Данилович Кромкин, — первой не выдержала хранительница, — наш первый секретарь крайкома. Он царствует у нас уже более двадцати лет.

Его, Сумаедова, уже насторожила некоторая фамильярность, прозвучавшая в слове ц а р с т в о в а т ь. Его определенно вызывали на разговор. Готов ли он был к нему тогда? Нет, значит, по возможности надо уклониться.

— Этот ваш фотограф, который снимал портрет секретаря, — осторожно славировал Сумаедов, — человек довольно безжалостный.

Ожидал ли он, Сумаедов, переходя от стенда к стенду, сюрприза, предчувствовал ли чудо? Пожалуй, судьба вела его уже с того момента, когда он решился приехать в этот городок. Тогда о чем здесь говорить? Конечно, ожидал, и все же случившееся было для него неожиданным. Мама! Забыл ли он ее? Можно ли забыть мать? Хотя инстинкт самосохранения, добрый приятель спокойствия и достатка, ему давно нашептывал, убеждал, заставлял поверить, что ничего и не произошло — мама заболела и умерла. Вроде вызвали ее для дачи каких-то показаний или уточнений, а она, кажется, в дороге простудилась, у нее образовалась скоротечная болезнь, и она умерла. Похожа ли эта молодая и красивая женщина с сильным и значительным лицом на человека, который так легко сдается судьбе, а тем более простуде? Председатель впервые созданного в городе женсовета Зинаида Никаноровна Трубачевская, поясняет Лия Исааковна. Ах, эти простые души музейщиков! Лично он, Сумаедов, полагает, что московские кадровики лучше знают новейшую историю. Для них, этих изысканных лингвистов, эта не очень примечательная фамилия с полуеврейской, полупольско-белорусской огласовкой всегда была сопряжена с вопросом: а не существовало ли с похожей, а может, и с подобной фамилией деятеля среди левых эсеров, то ли адвоката, а то ли врача откудато из Харькова или Одессы? Она, мама, тогда еще предвидела, что мальчику лучше иметь другую родню и другую фамилию. Что ты смотришь, мама, на своего единственного сына! Все он помнит, ничего он не забыл! Кроме того, что следовало забыть. И твое благоуханное дыхание, и обволакивающее, дарующее мир и защиту тепло твоего тела; по утрам сын забирался к тебе в постель. И тот последний раз, когда тетка увозила его, маленького Сумаедова, в Москву, он тоже хорошо помнит! Отчего-то все тогда решили, что малышу необходимо переменить климат? Жил он поживал в этом прекрасном, похожем на большое село, городе Петровске-на-

Амуре, зимой грелся у печки, а летом гулял с няней на берегу Амура, а потом и мама, и врач решили, что ему полезней другой климат. Мама вызвала из Москвы в Хабаровск свою двоюродную сестру, тогда такую же молодую, как и она сама, еще не страдавшую одышкой и диабетом, сама паковала в чемоданы белье, одежду зимнюю и летнюю, и даже, помнится, отправили малой скоростью вместе с сестрой мебель. Часть мебели тогда ушла в Москву, и трюмо красного дерева с двумя высокими тумбочками и медными на ножках «башмачками», и грушевый трельяж, за которым мама часто писала письма, — все это так и осело сначала у тети Тоси, а потом уж у него, у Сумаедова, в квартире. И много других вещей — из «бисквита» вазы, тарелки, настенные часы фирмы «Мозер» и другие, каретные часы-будильник. И разговоры: «В Москву, в Москву, нас переводят, только попозже...» Предвидела ли она свою судьбу и делала попытку скрыться от Недреманного Ока или только хотела сына вытолкнуть из медленно закручивающегося водоворота? Но ведь и вытолкнула! Тогда, на вокзале, целуя сына, наказывала своей двоюродной сестре: «Если случится, ты заменишь ему мать». Непорочная дева и маленький мальчик, который, если бы не она, попал бы в детприемник!

Голос хранительницы врезался в его размышления лишь на миг, произвел этакую рябь на пруду. Так иногда стриж или береговая ласточка в стремительном полете косится воды и взмоет ввысь, пустив по глади круги.

— Эту милую молодую женщину вы, конечно, Денис Павлович, знаете? Она вам знакома?

Конечно, она ему знакома. Но только зачем втравливают его в эти расследования? Ведь не исключено, что мама не случайно так быстро, до суда и следствия, до вынесения приговора умерла в тюрьме от воспаления легких. Наверное, она представила, как чудовищно прозвучала бы эта формула в его биографии: «Мать — враг народа». Значит, она к тому же прикинула и судьбу папочки! А как, собственно, иначе эта судьба могла развиваться?! Итак, оба родителя — «враги народа», не многовато ли для хрупких мальчишеских плеч, особенно, когда народ так горячо поддерживает любое новое разоблачение, когда с таким злорадством наблюдает за попранием своих вчерашних вождей. Мама догадалась, что и всей его родни ему не надо, именно поэтому и была стремительно вызвана тетка. А сама мама скоропостижно скончалась. Будто страхуя биографию сына. Зато осталась формально незапятнанной. Ее лишь успели исключить из партийной ячейки.

На этой фотографии мама снята еще года за два до своей смерти, улыбаясь, она еще не ведала своей судьбы.

И все же как сильно в его, Сумаедова, отношение к матери, в его исступленные воспоминания о ней вмешивается отец. Как здесь не вспомнить венского психиатра с его тезисом о вечной ревности сына к отцу. Но она разрастается до ненависти, когда боязнь за собственную шкуру душит эту любовь и воспоминания. Что же случилось раньше — он сказал отцу: «Да умер твой герой, Недреманное Око, я был на его похоронах!», или возник разговор о матери? И все же, наверное, этот разговор с отцом случился уже после эпизода с «вазой». Значит, сам разговор был маленьким садистским уколом, который после полученного унижения сын решил нанести отцу.

Отец лежал в маленькой темной комнате на его, Сумаедова, постели, а сын — на ветхой, довоенной раскладушке — брезент, натянутый на две палки. В клетушку не проникал свет, дверь в большую комнату, где тяжело спала тетка, как всегда, была прикрыта. Раскатистое теткино дыхание слышалось из-за фанерной перегородки, значит, говорить они могли только шепотом, почти не слыша собственных слов и ответов.

Он, Сумаедов, тогда спросил: «Папа, ты говоришь, что будешь подавать документы на реабилитацию, а как же мама?..»

Полная темнота, тягучая, как вар, темнота, в которой зреет ответ, это не передаваемо никаким искусством. Она ощущается кожей, давлением воздуха на барабанные перепонки и широко раскрытыми глазами.

Он многое бы отдал, молодой Сумаедов, чтобы видеть в ту минуту выражение отцовского лица, когда, отталкиваясь от губ, слова обретают свою самостоятельность. И еще тогда отметил он, как же темнота растя-

гивает, удлиняет время. Может быть, как ошибочно утверждает Эйнштейн, увязаны не время и пространство, а время и цвет? Время напоминало начавший остывать битум, который ошметьями сваливается с ковша варщика.

«Твоя мать умерла. Ее арестовали, она заболела там и умерла. Но она умерла до суда, который единственный определяет виновность. Для того, чтобы подать на восстановление в партии, необходимо найти человека, который бы это сделал и к которому придет ответ. Она ушла в другой мир, а смерть покрывает все. Если ты подымешь бумаги матери, вместе с нею ты получишь еще и своего деда, левого эсера Никанора Трубачевского. А ты думаешь, время когда-нибудь продвинется так далеко, чтобы реабилитировать твоего деда? Потянешь ли ты, сынок, такую историю? Выдюжишь ли отца, мать и деда? Скажи мне...»

Темнота тем и хороша, что умеет скрывать цвет. Если бы кто-нибудь видел выражение лица его, младшего Сумаедова! Он-то думал ущучить своего тертого по лагерям отца, но этот сфинкс ГУЛАГа приоткрыл ему такие перспективы, о которых он даже и не подозревал. Так, значит, все проверки, значит, вся эта хваленая кадровая политика — художественная литература? Значит, эти дотошные «литераторы» скребут только по верхнему слою, коли он, Сумаедов, заканчивает престижный околоправительственный институт и собирается во всем сладостном объеме побаловаться мировой славой? Значит, они, эти «литераторы от особой канцелярии», обычные люди и часто свою недреманно-государственную работу производят с ленцой, а если вдруг сосредоточатся, то капут?.. Значит, тропиночка к тому, чтобы его, Сумаедова, лишить всего сущего, лежит через казенные бумаги его матери? Угасший костер лучше не ворошить, бумаги постепенно сгниют в недрах архивов, не горят — как написал классик — рукописи, но тлеют доносы и справки...

В тревожной темноте, когда слух дьявольски восприимчив, глаза широко раскрыты и нервы обострены, он, Сумаедов, внезапно услышал привычный и печальный скрип койки, на которой лежал отец. Повернулся на другой бок, сел? Если бы отвернулся к стене, то голос звучал бы глуше. А ему, Сумаедову, так было важно знать наверняка, чего ж в этом голосе звучало больше: отцовской искренности или лукавства, игры: «И скажи мне еще, сын, ты уверен, что со смертью Недреманного Ока все это больше никогда не повторится?..»

В риторическом вопросе был такой соблазн подумать, прежде чем быстро, по-пионерски, ответить, столько седого опыта, противоборствующего романтизму, столько трезвости лагерника, проверившего на собственной хребтине все свободолюбивые и догматические формулы, что на мгновение его, Сумаедова, собственные догадки на этот счет вдруг осветились безжизненным, высвечивающим закоулки памяти магниевым светом. Так, может быть, стоит порассуждать? И сразу же скомканные, как кусочек фольги, возникли последние воспоминания.

Ночью рокочущий, оглушительный гром на улице Горького. Он, Сумаедов, в трусах вышел на балкон над кафе «Лето» — шло несколько, как ночами перед парадами, танков.

Плотный, солнечный день с длинным светлым вечером. В институте все бурлило от передаваемых друг другу на ухо слухов: Берию арестовали. Никакого счастья, удовлетворения, даже мстительного злорадства у него тогда не было. Наследнички еще несколько месяцев назад делили власть, и вот один из них, участвовавших в том дележе, оказался, как принято и любо было в те годы говорить, «сволочью». А каковы остальные, не мазаны ли все, прикоснувшиеся к кормилу, одним миром? Эта лишенная романтизма мысль лениво мелькнула в сознании. Но ведь он, Сумаедов, от рождения уже был человек особый, подпольный, он уже отплакал свое, когда его принимали в комсомол. Теперь потянем, попробуем распрямить, разгладить кусочек фольги. В тот же день, под вечер, он шел из института пешком по Тверскому бульвару. А рядом с ним шагал его сокурсник, один из тех рано созревших мальчиков-правдоискателей, которые всегда будоражат окружающих. (Из него при всем его внешнем блеске так в будущем ничего и не получилось.) Доверительно, но уже распрямляясь, воспаряя в словах, этот сокурсник говорил о том, что уж теперь-то начнется новая и чистая жизнь, теперь многое вскроется из прошлого. Он говорил, говорил, называл шепотом опасные фамилии, и, хотя у Сумаедова не было сил его прервать, а слушание это было затягивающее, он тогда же подумал: «Надо помалкивать».

Так вот, в ту ночь, когда состоялся с отцом разговор о матери, он так и не спросил его: «А почему и как при его положении была арестована мать, и где он сам был в это время?» А может быть, тогда этот вопрос у него не возник? Нравоучительные письма из патронного ящика были осознаны лишь после смерти отца? Какая досада звучала в письме, адресованном четверокласснику: «К сожалению, я не смог проститься с твоей матерью, потому что в этот день по делам уезжал из города». Но по-настоящему прочел эту фразу уже немолодой человек. Как же могло случиться, что арестовывают жену человека, пользующегося в округе почти неограниченной властью, а он об этом вроде и не знает? В день ареста его не оказывается дома? А кто же ставил на бумаги визы? Кто утверждал исключение из партии, без которого был невозможен арест?

Тогда, ночью, он, Сумаедов, тоже не ответил отцу на его вопросы. Возможно, он боялся жизни еще больше, чем этот лагерник. Впереди неясно, но все же светила кинороль знаменитого революционера-просветителя. Выгорит? Не выгорит? Болтать не следовало, он уже привык говорить тихим голосом. «Давай, папа, лучше спать».

Вот такая дуга прочертилась после вопроса хранительницы. Но на вопрос пора и отвечать.

Ответим так, чтобы не последовало нового вопроса. Итак, знакома ли ему, Сумаедову, эта милая молодая женщина?

— Я знаю. эту женщину.

Но, похоже, хранительница приготовила ему новый подарок. Она почти и не отреагировала на его лапидарный ответ. Ее скукоженное от старости личико с нарисованными бровями не дрогнуло. Не считает ли она, что соберет урожай в конце «сезона показа»? Третья групповая фотография. Довольно бесстрашна эта провинциальная интеллигентка! А может быть, она коллекционирует опасности? Не многовато ли на один зал в бывшем купеческом гнезде двух изображений, двух портретов людей, обвиняемых по пятьдесят восьмой статье — о, знаменитая статья, свидетельствующая ныне скорее о революционном аристократизме! — и третий портрет осужденного — точнее, режиссер, точнее формулируйте — приговоренного! — по этой аристократической статье, но уже реабилитированного. Фотография знаменательна в стенах этого музея. Бесстрашный человеческий характер скрывался за выщипанным фасадом. Коллекция статистически полная. Три жертвы и палач. Ну, не палач, для этого лихого дела есть молодые, озабоченные своей карьерой лейтенанты, в конце концов ведь у каждого лейтенанта, если не в ранце, то в пистолетной кобуре из буйволиной кожи хранится жезл маршала! Итак, если не палач, то гнусный доносчик. На новой фотографии, к которой подводят Сумаедова, волейбольная площадка на берегу могучей реки. Прелестная характеристика здорового оптимистичного времени. Он, Сумаедов, приблизив лицо к музейной витрине, рассматривает фотографию с таким же интересом, как, скажем, рассматривал бы гравюры из времен Французской революции. Лица, моды, камзолы! Фотография в краеведческом музее предлагала ему насладиться совершенно иным историческим зрелищем. Длинные трусы, обнаженные фасонистые торсы, носки, закатанные трубочкой над брезентовыми тапочками, чищенными зубным порошком. Жанр эпохи. Турнирные ристалища конца 30-х годов. Ничто не дает таких знаний об эпохе, как повседневная жизнь, работа и отдых. Но какие лица здесь, на этой картинке прошлого быта. Да, да, это все были лица с их воскресных обедов. Отец — еще совсем молодой, не намного старше, чем сам он, Сумаедов, в ночь первого, памятного разговора, — отец, раскорячившийся, готовый принять волейбольную подачу, дядя Гриша, повиснувший навсегда над сеткой с поднятыми кверху руками, «в блоке», мама, в смешных спортивных, с резинками на бедрах трусах, похожих на средневековые кюлоты, в светлой футболке со шнуровкой на груди, напружинилась, присела почти за дядей Гришей на второй линии — пропустит мяч дядя Гриша, возьмет она, и на краю размеченной по траве известкой волейбольной площадки, далеко оттянув назад для замаха и удара не знающую жалости длань, сбитый,

плотный, как молодой сытый мясник, дядя Вася Кромкин. «Первые городские физкультурники». Браво!

Судя по всему, хранительница, эта амазонка прошлых времен, уже закончила свой трагический аттракцион. Вряд ли сделала она это только из любви к исторической точности. Ну, а ему, преуспевающему деятелю самого молодого искусства, так ли были необходимы ему эти исторические частности? Да пока терпеливо, как белка кедровую шишку, он, Сумаедов, вышелушивал для своих фильмов бестемпераментную и показательную, проходимую, со счастливым концом правдешку, сердце у него уже закостенело. Сколько же случаев мог он привести, когда птенцы были вытолкнуты из гнезда кукушкой!

Ну, а ему-то до всего этого какое дело?! У него свое предназначение в этой жизни. Жизнь давно мудро придумала разделение труда. Священник, солдат, повар, ткач. Так зачем же священнику становиться наездником? Он, Сумаедов, слишком дорогой ценой заплатил за свое право после этой, пусть иллюстративной конформистской многосерийной картины, делать то, что хочется. Это элементарная истина, художник всегда связан с власть предержащими. А как иначе? Он делает нужную властям работу и, естественно, получает — уж какую-нибудь государственную премишку дадут, да и братские страны не подкачают, тоже чем-нибудь наградят, отметят, подкинут. А тут, глядишь, можно объявлять пророка и в своем отечестве. Премия одна, вторая, звание — и ты уже неуязвим. Почти неуязвим. А когда неуязвим, тогда уж можно себе позволить, можно и о шедевре подумать. Ради этого он и написал в свое время в анкете: «отец — погиб в сорок первом году на фронте; мать — умерла в 1937 году». Будь же благословенна бюрократия, у которой вечно не хватает терпения и желания выполнить до конца свой бюрократический долг! Да, здравствует ее лавинообразное делопроизводство, творящее неразбериху в бумагах! Слава тебе, чиновник, не проверивший даты, справки и похоронки. Виват тебе, почтовое ведомство, творящее свои маленькие, но веселые каверзы. Может быть, именно почтарь не донес до какой-нибудь канцелярии справку-приговор на будущего творца и кумира.

Разве есть время и возможности у него, у Сумаедова, мстить? Кому? Даже отец, настрадавшийся по лагерям, простил! Он знал, с какой неуязвимой машиной имеет дело. Ему было только до себя. Он прекрасно сознавал, что на одного, как он, выжившего в лагерях и вернувшегося, есть десяток прямо или косвенно причастных к его неправой судьбе.

Разве уже с 53-го года милый и сановный дядя Вася Кромкин не был готов к тому, что у него кое о чем могут спросить? А чья там, Кромкин, лежала невинная и трогательная бумажка в одном судебном деле? А что ты там, Кромкин, сочинял о троцкистской и правооппортунистической деятельности своих друзей, приятелей и начальников? Или не ты, Кромкин, сообщал о них, как о вредителях, шпионах, саботажниках и наймитах мирового капитализма? А не вытянуть ли нам за ушко да на красное солнышко, на всенародный суд этого дядю Васю Кромкина? И разве дядя Вася не понимал, что столько он за свою жизнь, конструируя счастливое будущее, гадкого натворил, столько написал и наподписывал смердящих бумаг, что при любой власти за ними не уследишь, всех их не уничтожишь, и даже не вспомнишь, и вот теперь единственный у дяди Васи шанс для спасения — это лезть и лезть по лестнице, по которой начал карабкаться в юности, все выше и выше. Стремить свой полет к вершине, к верховной власти, ибо только там не смогут ущучить, только там у этих народных мстителей руки могут оказаться короткими. Вот и отгородился пропускной системой, секретаршами, мальчиками в форме и без, канцелярией, аппаратом, референтами, помощниками, почетом, званиями, авторитетом не принадлежащего тебе дела, которому ты недобросовестно служишь, и, наконец, парламентской неприкосновенностью. Так кому мстить? С кем он, Сумаедов, только что вышедший на свою собственную дорогу, должен сражаться? Мышь должна победить гору? Конечно, вода точит камень. Но человеческой жизни не хватит, чтобы на этой каменной глыбе оставить едва заметный след. Нет, он, Сумаедов, не боец. У него свое предназначение, свой дар, который надо хранить и лелеять. Вот так и ответим этой старенькой комсомольской богине.

Сначала поблагодарим за счастливый случай, который привел его,

Сумаедова, сюда. Экскурсия, кажется, окончилась. Случай величествен уже тем, что познакомил его — легкий полупоклон, улыбка — с Лией Исааковной. Прекрасный, ухоженный музей, если бы везде так старательно собирали и хранили документы! Сумаедов рубит финал: к сожалению, для его нового фильма он уже ничего из увиденного взять не сможет. Кино, как и все в наше время, — планово, и даже неожиданности в нем плановы. Завершил он с несколько смущенной улыбкой. Бал закончен. Баста. Персонажи разбегаются со своими глубокими больными впечатлениями.

Но ох уж это поколение, идущее напролом к своей цели. Мишуру досужей вежливости им заменяет инстинкт, словесно выраженный во фразе: «Так считаю необходимым». Он, Сумаедов, по лицу Лии Исааковны видит, что коли она все высчитала и ждала его в музее, коли она провела эту многозначительную экскурсию, то, значит, считает необходимым что-то ему сообщить. Он догадывается, что любое избыточное знание, предоставленное ему Лией Исааковной, не будет для него благом, во всяком случае, оно его взвинтит. А так ли нужен дополнительный нервный фон при работе художника над новым произведением?

— Так, значит, вы ничего не хотите узнать о своих родителях? И меня вы совсем не узнаете? Или не желаете узнавать? А ведь, может быть, я, как никто, — размеренно, не волнуясь, произносит Лия Исааковна, — воздействовала на нынешнюю вашу жизнь. Ну, вспомните, Денис... Вспомните. Пароход, река, на вас синяя матроска с отложным воротником, штанишки с манжетами на пуговице под коленом. Было ветрено, ваша мама все время пыталась надеть на вас картузик, а вы говорили, что картузики матросы не носят, а носят бескозырки...

Может быть, эта удивительная женщина владела даром внушения, какой-то формой гипноза? Почему в его сознании вдруг вспыхнули картины, разожженные ее воспоминаниями? Но было ли все это на самом деле?

Они говорили в маленьком зале возле фотографий, потом в крошечном кабинете хранительницы. Они пили густой, настоянный на семи травах из семи оврагов чай, заваренный в маленьком фарфоровом чайнике, и в какой-то момент он, Сумаедов, понял, что ему придется уйти от своего сиюминутного торопливого прагматизма, не торопиться во имя маленьких дел или отдыха. К его сегодняшнему, заказному парадному фильму эти воспоминания отношения не имеют, но здесь — сокровенные, кроветворные знания о жизни, мудрость избыточная, грусть безграничная — все это называется подлинность, без которой не бывает настоящего искусства.

Он вспомнил: «В Москву, в Москву!» Какой-то шумок, шелестение по всему их Петровскому дому. Какие-то холодные рогожи на кухне, — в них потом будут паковать вещи, почтальоны с телеграммами, вечно грязнящие полы в передней. Большой казенный тарантас, прибывший, чтобы везти их на пристань, и телега с громоздящимися на ней сундуками и ящиками. Он просился сесть на козлы, к кучеру. Бородатый дядя Сережа, обращаясь к матери, говорил: «Пусть садится мальчонка, отпустите его, Зинаида Никаноровна, дорога не длинная». Для дяди Сережи было не новость возить сынишку окружного начальника на верхотуре, они вроде «дружили», старый и малый. Но на этот раз мама проявила твердость. Она только усадила его в тарантас как-то непривычно, не с краю, чтобы мальчик мог глазеть по сторонам, а посередине — между собой и отцом. Разделились? Или, наоборот, его маленькое, теплое тельце должно было, по ее замыслу, дать почувствовать обоим, или только «ему», живую душу, объединяющую их?

Потом, уже на пристани — под щелястым покрытием, совсем близко ходила и билась о сваи вода, белые чайки, огромный, белый первый в эту навигацию пароход, — он помнит отчужденные, холодные объятия отца, чуть колкий на его нежной, как розовый лепесток, щеке, отцовский подбородок, его шершавую шевиотовую гимнастерку: «Не забывай, сын». Ах, эта докука родительских прощаний! О чем только они могут говорить, стоя вот так друг напротив друга? Говорят, говорят. Мама крепко и больно держит его за руку. Дядя Сережа носит наверх, на пароход, вещи. Какие-то люди уже ухватили их тяжелые сундуки и ящики. Последние слова прощания, медный рупор, через который кто-то командует отплытие. Отец стоит на пристани один — вокруг него почтительная пустота, — поднял руку: то

ли машет, то ли отдает честь... В Москву, в Москву, но сначала — в Хабаровск!

Память, если ее подворошить, держит, оказывается, немало. Все для маленького Сумаедова первый раз в жизни — пароход, большой город, гостиница, железнодорожный вокзал. Встреча в гостинице с теткой, приехавшей из Москвы специально за ним, и снова проводы. Как ему нравится путешествовать, если бы путешествовать всю жизнь!

Они стоят втроем на перроне и ждут, когда подадут поезд. Тетя и мама в шляпах, с ридикюлями. Мама прикладывает платок к глазам. Такой ее и запомнил. На платье с крошечными пуговичками от горла до низа накинутое легкое, из серой шерсти пальто, почти казакин, расшитое черными шелковыми стрелками на полах и по талии. От мамы головокружительно сладко пахнет ее парадными французскими духами — тот самый запах, который до сих пор витает в тумбе грушевого трельяжа.

Значит, эта революционная старушка все-таки спровоцировала его на воспоминания!

— Да, да, в это самое время я подошла и сказала ей, вашей маме... Она меня сразу узнала: «Лиечка, как вы оказались здесь? Вы куда-нибудь едете?»

Маленький мальчик ничего, естественно, не видел и не помнит. Носильщик поднес очередной груз. Белый фартук, медная бляха, усы, фуражка с кокардой и лакированным козырьком. Все так удивительно интересно! Носильщик снял с плеча — в те достопамятные провинциальные времена носильщики носили чемоданы через плечо, связывая их широким ремнем, — большой, прочный, как сундук, и тяжелый, словно полковой сейф, чемодан из нерпичьей пятнистой кожи. Любимая вещь? Знак перемены в судьбе? Некое напоминание о том, как живое, прыгающее, любящее и пищащее переходит в мертвое и неподвижное. Только легонько поводишь ладошкой по щетине — шерсть у чемодана, как у кошки, как у собаки. И вот в то время, пока носильщик снимал с плеча нелегкий груз, вытирал платком лицо, пока шел не спеша, вразвалочку к их спальному вагону прямого сообщения, пока мальчик любовался медными, начищенными толченым кирпичом поручнями вагона, из-за чугунной колонки, поддерживающей крышу дебаркадера, щуря близорукие глаза, наблюдала за всей этой сценой молоденькая девушка, девочка в накинутой на плечи тяжелой кожаной куртке. Она долго ждала необходимого момента и, честно говоря, выбрала его не очень удачно. Тетка — она тоже тогда была в шляпе с нежными фазаньими перышками — отошла взять квитанцию и оплатить багаж, но ведь возле чемоданов еще терся носильщик.

Маленькая комиссарша, этот регистратор, референт, секретарь, помощник начальника конторы по надзору за всеми и каждым, курьер, фельдъегерь их родного Петровского-на-Амуре ЧК, тайно любовалась мальчиком в матроске и дышащей духами молодой дамой. Маленькая комиссарша, ехавшая по этой широкой, полноводной реке вместе с ними на пароходе, почти не появляющаяся из своей тесной на второй палубе каюты, почти не отходящая от своего чемодана и сумки с казенными бумагами, перебирающая в уме обрывки сведений, к которым ее допустили, и обрывки сведений, которые она сама добыла, сопоставляя одно, другое, третье, сталкивая, события. Маленькая комиссарша, так и не рискнувшая выполнить своего созревшего к концу путешествия смелого плана, уже несколько дней, сдав в контору свой опечатанный чемодан или опечатанную сумку, болтавшаяся в ожидании обратного рейса по городу, все же решилась на поступок. Выбрав подходящий момент, вызнав час и минуту отправления поезда, загодя приехав на вокзал и отсидев в зале ожидания перед окном, выходящим на площадь, прокралась потом вслед за этой странной, будто бы из других времен, кавалькадой — мальчик в матроске, две дамы в шляпах, багаж, носильщики, — на перрон и долго выжидала момента, когда можно было к ним подойти. Мальчик не в счет, мальчик был маленький и, наверное, по-детски глуп, а комиссарша уже, к сожалению, забыла, как рано ее собственная память начала цепко схватывать детали, поступки и разговоры взрослых. Тетка? Она, наконец, отошла в сторону, на ходу копаясь в своем ридикюле. И комиссарша ринулась. Она не рассчитала, что рядом, переставляя баулы и чемоданы, все время крутился носильщик.

В маленьком городе невозможно было кого-нибудь не знать. Мама, конечно, встречала крошечную делопроизводительницу из ведомства Васи Кромкина то на улице, то где-нибудь в учреждении, то в музыкальных классах, в драматическом кружке или на спортивной площадке возле набережной. Она видела ее, здоровалась с ней на пароходе. Та была почтительна, робка, глядела на нее влюбленными глазами. Милая девочка, что-то закончившая, т я н е т с я.

— Лиечка, как вы оказались здесь? Мы отправляем с тетей в Москву Дениса. Ему необходима перемена климата. Вы ведь не уезжаете, правда?

— Я завтра возвращаюсь в Петровск-на-Амуре. Будет рейс. А вы?

— А я, — светски говорила мама, глазами пересчитывая сумки, коробки, чемоданы, проверяя, не расстегнулись ли на Денисе штанишки, сандалики и не спустился ли чулочек, — еще несколько дней поживу здесь, подышу городским воздухом — и следующим рейсом. А может быть, останетесь и вы, Лиечка, поплывем вместе?

Все складывалось удачно для фразы, которую приготовилась произнести маленькая девушка. Она давно продумала текст, просчитала все, словно слова в телеграмме, прорепетировала вслух этот текст перед зеркалом в туалете своего ведомственного общежития. Перед мутноватым, заляпанным брызгами от зубного порошка зеркалом все у нее получалось ладно, подтексты оказывались формально спрятанными, но сверкали, паузы зияли, как пропасти, так что понять истинный смысл фразы, которую она собиралась произнести, мог бы и ребенок. Ей важна была только первая реплика, за которую должен был зацепиться подготовленный текст. И реплика прозвучала. Девушка, чуть подделываясь под легкую светскость партнерши, сказала:

— А может быть, — и голос дрогнул; мама сразу же чуть напряглась, по крайней мере глаза ее, сверкающие сквозь тень, отбрасываемую на лицо шляпой, сосредоточились, — вам, — продолжала доброжелательная девушка, работающая в ведомстве Васи Кромкина, — может быть, есть смысл не разлучаться с таким маленьким сыном? — Голос молоденькой делопроизводительницы прозвучал естественно. Светское предложение: — Плюньте на все, берите билет и прямо сейчас... в Москву, в Москву. — Дальше должен был быть послан взгляд. Во что бы то ни стало эта девушка должна была поймать взгляд, упакованный в тень, встретиться с ним и глазами сказать: не возвращайтесь! Все плохо. Трус Вася Кромкин затащил вас в историю вместе с Гришей, председателем горсовета, в которого, говорят, вы влюблены, другом вашего мужа. Кромкин не смог устоять перед лакомым желанием выслужиться и ревнивой неприязнью к сопернику. Она, Лия, везет бумаги, в которые случайно смогла заглянуть. Ту неприятную историю после того, как у Кромкина взыграло желание выслужиться, теперь не удастся локализовать, фраза о грузинском кинто требует подробной расшифровки, и ее обаятельный начальник — это понадобилось центру — сейчас начнет все раскручивать, даже не желая предавать всех, и в том числе своего друга, свою любимую женщину.

Мама, по мысли Лии Исааковны, должна была все это прочесть во взгляде своей юной городской знакомой. Она, видимо, догадалась, что эта встреча на перроне перед отправкой поезда и этот пристальный до невежливости взгляд не случайны, но что? о чем? — мелькнуло в ее взоре? Тут подошла тетка, и ощущение тревоги и важности происходящего исчезло, сменилось обычной бытовой суетой, при которой слова теряют свой главный смысл.

Определенно ему, Сумаедову, теперь, после рассказов Лии Исааковны, мерещится, кажется, будто он помнит всю сцену дома, во время ужина, которая повлекла за собой то, что происходило сейчас на вокзале. В тех бумагах, в которые Лия Исааковна заглянула, сцена эта, видимо, была подробно описана. Хотя что значит описана? Всего две строки канцелярского текста, отпечатанного на машинке: «Мы еще дождемся, когда этого грузинского кинто вывалят на свалку. В стране должна возникнуть здоровая оппозиция». Вот эта фраза, которую будто бы произнес дядя Гриша, и небольшое канцелярское послесловие: «при сем присутствовала Зинаида Никаноровна Трубачевская». Но здесь была, со слов Лии Исааковны, еще одна деталь. Собственно говоря, этих писем, донесений было

два: одно, в котором сообщалось, что фраза сказана была дядей Гришей в некое безвоздушное пространство, и другое — ответ на запрос из Москвы, при ком все-таки дядя Гриша эту фразу произнес? Лия Исааковна как секретарь и машинистка уже видела черновик первой бумаги, в котором из небольшого списочка лиц, присутствовавших при этом неосторожном дядигришином спиче, имели место два имени — Павел Сумаедов и Зинаида Трубачевская — жестким карандашом начальника были вычеркнуты. А слышало все это, оказывается, только приезжавшее на ревизию к ним в город большое лицо из центра. Исходная же эта бумага, черновик, была составлена в день, когда по радио сообщили, что посетившее их руководящее лицо арестовано как враг народа.

Привычка ли это художника — все время, постоянно переводить мир словесных формул в образный, неустанный жизненный тренинг, дающий возможность в критических ситуациях на съемочной площадке, за листом бумаги быстро находить необходимое решение, или это действительно явь, которую вдруг подняло со дна памяти лишь одно внезапно произнесенное слово — «кинто»?

Итак, коробочка распахнулась. На макете маленькой сцены отдернули ситцевый занавес, и открылся знакомый интерьер.

Ах, как хорошо придумана и построена эта декорация! Печка сложена из крошечных, покрытых крошечными же изразцами кирпичиков так хорошо и натурально, что, кажется, излучает постоянный и тугой жар. Какой-то мужчина в деревенских чесанках, синих, широких галифе еще довоенной моды и зеленой гимнастерке, перепоясанной широким офицерским ремнем, стоит спиной к печке. Да это же дядя Гриша! Он, Сумаедов, узнает его по манере закладывать большие пальцы рук за пояс. Лица дяди Гриши почти не видно. Низкий абажур освещает стол, заставленный бутылками, квасными кувшинами, жирной, тяжелой снедью. Последний солнечный луч бьет в край незашторенного венецианского окна, сплошь затянутого наледью, — значит, глубокая зима? — и в белую высокую дверь в гостиную. Отблеск от двери слепит. За столом женщина: тяжелые, в два кольца косы вокруг головы, старинный черепаховый гребень; он, Сумаедов, даже чувствует густой незабываемый запах духов фирмы Коти — мама! Отец ходит по комнате в своих мягких сапожках и бренчит серебряным набором на кавказском пояске. Он носит гимнастерку, не как у дяди Гриши, со стоечкой, а с отложным воротничком, как на портрете Ворошилова, висящем над диваном. Два вопроса сейчас, с сегодняшней дистанции, волнуют режиссера Сумаедова: почему он не видит того значительного и важного лица, решившего инспектирующим бережливым оком взглянуть на дальние рубежи великой Родины, ведь ради него крутится весь этот сытый балаган, и второе — почему, собственно, его, маленького Сумаедова, родители до сих пор не отправили спать, а? Так, может быть, и не было никакого инспектирующего лица с шевронами на рукаве, а был обыкновенный обед? Значит?.. Значит, вначале дядя Вася все-таки двух людей вывел из-под обстрела.

Вокруг лампы, как пояса вокруг Сатурна, несколько колец густого дыма. И вся атмосфера тягучая, вязкая. О чем же в этой теплой комнате говорили двое мужчин и женщина? И что в это время на кухне делал дядя Вася Кромкин? Ухаживал за домработницей? Или наливал в графин крепкое? О чем говорили? В этой комнате всегда о чем-нибудь говорили, и он, маленький Сумаедов, воспринимал эти разговоры как тишину, как сбалансированную среду для своих игр и мечтаний. Сколько же слов прельстительной революционной и партийной тематики, бытовых разговоров тех юных лет были услышаны и восприняты им как слова первого, самого важного ряда. Но вот посреди сытых запахов, хмельных разговоров возникли вдруг слова неожиданные. Они влепились с размаху, как раствор у опытного штукатура в нужное, приготовленное для него место. Итак, лампа, кольца Сатурна, вензеля ложкой по каше в тарелке, журчание привычных, переводимых им на свой детский язык фраз, и вдруг...

Это слишком серьезное место, и здесь нельзя снасильничать над памятью, слишком, как и воображение, хорошо разработан у него этот инструмент — чуть нажмешь, и возникнет не то звучание или не та «картинка». Так иногда в телестудии оператор нажимает не ту кнопку, и диктор на экране говорит не то, что запланировано. Значит? Значит, надо настроить себя на самые глубокие пласты воспоминаний, надо еще раз медленно промотать эту видеопленку.

...папиросный дым, разноцветными переливающимися струями бродящий под столом, замедленное между сном и явью состояние мальчика, которого вовремя не уложили спать, туда и обратно по половице шагающий отец, корона маминых волос, поворачивающаяся в сторону говорящих, и вдруг сквозь клубы дыма горячий голос дяди Гриши: «Этому грузинскому кинто...»

Именно здесь и пробудился детский мозг, трудившийся до этого над ленивыми вензелями на манной каше.

— Мама, а что такое «кинто»?

— Тебе, Денис, пора спать, и незачем прислушиваться ко взрослым разговорам.

Санки уже оторвались и, набирая скорость, летели с горы.

«...грузинскому кинто в стране должна возникнуть здоровая партийная оппозиция».

И вдруг по глазам хлестнул отблеск лампы, отразившейся от белой входной двери. Милое, добродушное лицо дяди Васи Кромкина просунулось в дверь, чтобы не пропустить ни слова из диалога.

— Этому грузинскому кинто должна в стране возникнуть здоровая партийная оппозиция.

— Мама, а что такое «кинто», это «кино»?

— Тебе, Денис, незачем прислушиваться к разговорам взрослых.

— Мама, а что такое «оппозиция»?

Мефистофель произнес очень ласково:

— Кто здесь говорит непонятные иностранные слова?..

Недаром молва всегда соединяла старого и малого. Память того, маленького, носившего матросский костюмчик, и этой «старой» комиссарши, объединившись, творит чудеса по штопке утраченного времени. Как положено в сыске, полученные разным путем знания сошлись. Воистину сначала было слово. И вот лишь фразы оказалось достаточно, чтобы одна за другой, как фишки домино, попадали человеческие судьбы. Он тоже не последний, его сестренка Зойка с ее торопливостью и жаждой сменить ауру — разве и она не жертва этой сумасшедшей игры?

Чай удивительно прочищает сознание. В контурах памяти пожилой комиссарши оказались тоже занятные эпизоды. Сцена на вокзале не закончилась лишь проникновенным взглядом. Взгляд, конечно, бывает красноречив, но не слишком ли много ходило бы по земле совершенно порядочных людей, если бы, не совершая поступков, они могли ссылаться на один лишь взгляд. Мир вступал в эру звукового кино, тогда на вокзале были еще произнесены и слова. Грузинское слово «кинто» ударило и по милой делопроизводительнице. Широко известно, что женщины более живучи и выносливы, чем мужчины. Они терпеливее к страданиям и неудобствам. Но для этого терпения нужна все же какая-то не птичья масса. А если многие годы лагерей и лесоповала, надзирательницы и уголовницы, если молнии все время бьют в этот крошечный пятачок, в этот комочек плоти с серыми глазами навыкат, да как этот колышек не ушел весь в землю, не оплавился, не сгорел и не оказался развеянным по ветру? Сколько же раз в своем сознании вызывала она, наверное, в памяти этот поставленный ей в вину поступок, взвешивала свои слова, вспоминала оттенки значений и подтексты. Определенно, для его матери она сделала куда больше, чем он, кинорежиссер, для своей сестрички. Иные времена, иные нравы, иная закалка.

Как, наверное, билось сердце у делопроизводительницы на вокзале! Но ведь трудно преодолеть себя и подняться во весь рост в атаку. А там уже не храбрость, а ноги несут тебя, не идеи, а разомкнутый в крике рот.

«Ой, кольцо!» — внезапно озаренная этим невинно-традиционным женским предлогом, вскрикнула юная делопроизводительница. И тут же присела, пытаясь с близкого расстояния углядеть женскую бирюльку. Какое кольцо у этой случайной дщери бедного еврейского портного, и булавка-то вряд ли была когда-то вдета в ее батистовые блузки. Все ее личное богатство состояло в лучшем случае из двух десятков марксистских

книжонок и профессионального таланта машинистки. Но расчет был инстинктивно-верный, рассчитанный и на женскую солидарность. Кольцо — дело святое. И вот уже две женщины шарят, сидя на корточках, по пахнущему сапогами асфальту. «Уезжайте, Зинаида Никаноровна, берите билет и уезжайте. Он написал, что при этом разговоре находились и вы». «Это еще надо доказать. Григорий Сергеевич никогда не подтвердит. Зимой, на очной ставке, он сказал, что я этого слышать не могла; это чей-то оговор. Дело закрыто и закончено». «Нет, дело снова продолжается, пришла директива из Москвы, уже вызывали вашу кухарку, она подписала показания. Он арестует Павла Николаевича — и тогда вы пропали». Они продолжали шарить несуществующее колечко, их руки касались, и они, эти две молодые женщины, шепотом старались переубедить одна другую. «А Григорий Сергеевич жив?» — «О нем ничего не известно». — «Арестовать Павла Николаевича он не может. У него для этого руки коротки. Василию Егоровичу арестовывать Павла Николаевича никак нельзя, ведь Павел Николаевич может кое-что опасное вспомнить».

Но ведь она же знала, эта маленькая, смертельно рисковавшая делопроизводительница, что не сможет уговорить. Но она надеялась. Ей было известно, что иногда внезапно сменившие местожительство люди оказывались невостребованными. Их жаркое делопроизводство было еще несовершенным. Да и куда молодая, красивая женщина, жена городского начальника, могла уехать от своего красивого мужа? Как все перепуталось. Ведь без визы этого мужа не могли арестовать и человека, который, как говорил весь город, был влюблен в эту женщину, а может быть, и она была в него влюблена! Но арестовали. И все же, рискуя, повинуясь какому-то более могучему внутреннему инстинкту, чем инстинкт самосохранения, упреждая, как будто судьбу и злой рок можно упредить, она надеялась, что пронесет. Ей показалось, что благодаря природной сметливости и знанию технологии и делопроизводства ремесла, которым она кормилась, ей удастся ускользнуть незамеченной. Молодость, она всегда, конечно, самонадеянна. Но кто бы мог подумать, что таким острым, просто кошачьим слухом обладал неприметный вокзальный носильщик!

Глава девятая

Через прошедшее, через давно прошедшее вплываем в тревожное настоящее. Что там поделывает на кухне наша любезная сестричка? Допила ли свой кофе? Сколько минуло времени с того момента, как внезапно зазвонил телефон в кабинете? В какую сторону по часовому циферблату движется он сам? Впрочем, кино как искусство тем и велико, что свободно обращается со временем, возвращая его, удлиняя, укорачивая и даже вспоминая будущее. Разве исследование прошедшего не есть забота о будущем? И разве все случилось не вчера? Откуда тогда такая плотность изображения? Говорят, так творят булат, складывают раскаленные пласты металла и бьют по ним молотом, потом еще раз складывают, плющат, сжимают структуры. Может быть, время — это кузнец в прожженном фартуке? Сбивая события, время выдувает постепенно все лишнее, ничтожное, оставляя, как узкие полоски на спектрограмме, следы жизней и царств. Но разве музейные ценности, скажем, откуда-нибудь из древнего Египта не следы «житейского материала»: ураганы, наводнения, набеги кочевников и налеты саранчи, любовные объятия в полутьме хижин, крытых тростником. Какая плотная, неоднородная масса, в которой остается наконечник стрелы, или обломок окаменевшего весла, или алебастровый флакон для благовоний. Время — не воронка ли, в которую Харон сыплет мусор жизни, чтобы на дне сосуда получить ее субстанцию.

Умненькая, хорошо усвоившая главную добродетель нашего народа — терпение, сестренка-дочка моет обеденную посуду на кухне у брата. Существует особая грация, с которой молодые женщины намыливают тряпицу, чтобы очистить от жира тарелку, грация, с которой они шинкуют лук, мешают и пробуют, облизывая ложку. Удается ли эти кружева эстетики донести до экрана, до зрителя? Передается ли зрителю тот трепет, то удивление, которое в жизни испытывает художник? Трет милая девочка мойку из нержавеющей стали, нежные ручки энергично и не без силы снимают напластования жира. Даже резиновые перчатки не натянула — зарабатывает репутацию пай-девочки. Бровки на спокойном лице сведены шалашиком — думает, прикидывает следующий шаг. Ну, и мы подумаем. Простая болтовня, формулы повседневного общения, выученные наизусть, не мешают спокойному течению иных мыслей, в них повременим ее посвящать.

— Ты, братик, напрасно пользуешься «Пемоксолью». Я мою посуду исключительно содой. Беру пустую коробку из-под «Гигиены», насыпаю в нее питьевой соды, пробиваю ножницами в крышке три дырочки — получается что-то вроде солонки — удобно и, главное, нет соприкосновений с вредной химией.

Если время, постоянно уплотняясь, сцепляет, как булат, слои, то значит, все это невозвратимо? Хана?

Сумаедов вспоминает рассказ случайного попутчика, как фотокорреспондент, снимая на металлургическом заводе, упал в ковш с раскаленным металлом. Легкий парок — и ничего нет. Где бессмертная душа, из каких атомов можно реконструировать эту думающую, страдающую и производящую себе подобных машину? Но разве человеческий ум способен примириться со своей гибелью, разве согласится с тем, что и следа может не остаться от его многолетнего пребывания на земле! Темнота! Даже счастливцев, и тех пожирает молох жизни. И только ему, художнику, дано, словно мальчику, играющему в настольную игру «рыболов», неожиданно подцепить, как картонную рыбку, и удержать свое прошлое.

Вот-вот из центростремительных вихрей вынесло крошечную щепочку, обрывок былого...

...Мама летала в областной центр. Тогда в его сознании отложились два слова — «повестка» и «свидетель». И, кстати, папочка тогда дал самолет. Мама вернулась вечером, потому что от аэродрома надо было еще ехать на лошади или на собаках. Он, Сумаедов, хорошо помнит, как в столовой мама прижимала руки и спину к печи. В ее волосах блестели капельки растаявшего снега. — «А сюрприз, ты, мамочка, обещала мне сюрприз!» — канючил маленький Сумаедов. — «Ну, как там?» — спросил отец, и голос у него был непривычный, будто с мороза. Отец дома был уже давно, все расхаживал в своих мягких, с низко спущенными голенищами сапожках, подходил к окну, дышал на стекло, ждал маму. — «Все в порядке, — сказала мама, — как видишь, я здесь». И тут же мама принялась распаковывать свой чемодан, строго предупредив его, маленького Сумаедова: «Не подходи, сын, чемодан холодный, можешь простудиться». Как будто можно было простудиться, ожидая подарка! — «Ну так, что же ты все-таки говорила?» — нетерпеливо спросил отец, наблюдая, как мамины руки развязывают бечевку и снимают оберточную бумагу с разноцветной коробки. — «Вот тебе, сын, и сюрприз», — сказала мама. Она разложила на столе маленькую ширму. С какой неожиданной, немыслимой красотой отсвечивают новые вещи в детском сознании! На невысокой картонной ширме, устанавливаемой в крышку от коробки, были изображены рыбы и водоросли, таинственные растения и странные ландшафты дна, по которому прогуливались мрачноватые раки. — «Значит, получается так, — сказал отец, продолжая свою мысль. Он все время прохаживался вдоль дальней стены, мимо печки. — Так получается, — повторил он. — Муж утверждает одно, а жена другое. А как же библейский завет: жена, отлепись от своих близких и родных...» — Мама будто совершенно не слушает отца, а всецело занята игрой — бросает в картонный аквариум горсть вырезанных из того же плотного картона и разукрашенных рыб и берет в руки две удочки. В головы рыб вклеены крошечные кусочки магнита. На конце удилищ привязан намагниченный крючок. Искусство игрока заключается в том, чтобы вытащить рыбку, не заглядывая в аквариум. Это не так-то легко. Он, Сумаедов, тот Сумаедов в теплых, в резиночку, чулочках, в коротких штанишках и курточке с отложным пикейным воротничком, увлечен этой игрой, хохочет. Мама незаметно подталкивает его руку к добыче. Как сейчас Сумаедов понимает: он-то игрой тогда был действительно увлечен, и только можно себе представить, как у мамы, вернувшейся от следователя, билось и трепетало

сердце. Мама вытягивает очередную рыбку, маленький Сумаедов бьет в ладоши, и мама говорит отцу: «Я ведь предполагала, что ты знаешь, что́ я сказала, у тебя всюду дружки». — «Если бы не мои дружки, ты бы уже сидела», — кричит отец. — «А на чем бы мама сидела?» — весело спрашивает он, маленький Сумаедов. — «Пойми, — говорит отец тихо, оглядываясь на дверь, — пойми, садовая твоя голова, он ведь враг народа, а ты его защищаешь». — «Ты просто к нему ревнуешь, потому что он чистый человек и настоящий революционер». — Это мама. Может быть, действительно сознание ребенка так свободно ото всего, что в него впечатывается любая информация. Было это все или не было? Наверное, все это действительно происходило. А слова? Но разве мы не восстанавливаем их по своим действиям, по магическому «если бы было так, то я сказал бы эдак»? Так, может быть, и строится настоящий сценарий — с мазохистским привкусом, на костях собственной биографии? Но на что же еще опираться человеку, если стирается грань между его собственным бытием, историческим бытием и воображением? И все же, и все же, тени и блики собственного сознания — вот единственный бакен на фарватере жизни и воспоминаний. Иначе каким образом тогда застряло в его сознании это простенькое, но непосильное для раннего детского воображения словосочетание — «левые эсеры»? В институте ли услышал он его впервые, в школе или во время домашних ужинов? Левые эсеры! Драконы с одинаковыми только левыми лапами? Или бабочки с одним левым крылом? Экзотический геликоптер? В сценарии возникла еще одна фраза: «Конечно, чего другого ожидать от дочери левого эсера. Для нее все чужие — свои!» Слова вырвались. Но было ли так на самом деле? Сон — жизнь или жизнь — сон? Впрочем, хватит этих детских видений. Они порой походят на свидетельства полупьяных очевидцев.

Так из какого тлена создает художник свои картины? Каким образом внедряется в молекулярную сетку иного, далекого материала? Но время на видения иссякло.

— Понимаешь ли, дорогая дочка, — отвечает он, Сумаедов, на этот раз умышленно употребляя вместо «сестричка» — «дочка». Милая красавица и чудо природы должна сознавать свою непростую зависимость от брата. Брат, он тоже ведь не железный, его либерализм, к которому призывает чадо, может ему дорого обойтись. Он не из железа сделан, он не может позволить кому бы то ни было исковеркать свои последние годы... И все же... И все же откуда такая инфернальная грусть? Ведь ска́чки, судя по неумолимым законам биологии, скоро закончатся, чего же, спрашивается, ерепениться? — Понимаешь ли, милая сестричка, мне уже все равно, в сущности, чем пользоваться. Мой почти шестидесятилетний организм так напичкан разнообразными субстанциями — так что сода это, или «Пемоксоль», или другая отрава — в сущности, не имеет значения. Ничего кардинального в моем случае не произойдет. Время к закату...

Подтексты вроде бы обнажены. Сестренка умница, рационалистка, она должна понять. Не долго ей осталось ждать. Брату для активной творческой деятельности осталось не так уж много, а там гуляй, родная, ступай на все четыре стороны.

Да и сумеет ли он использовать эти оставшиеся годы — если не инфаркт, не инсульт, не автомобильная катастрофа? Возникнет ли подходящая конъюнктура, будет ли подходящий сценарий — и разве бывает фильм лучше сценария? Будет ли сам он в форме, окажутся ли незанятыми нужные ему актеры, хватит ли у студии подходящих мощностей, не станут ли на нем экономить?! Но даже при всех благоприятных обстоятельствах *сумеет ли* он сделать что-нибудь качественно новое, *шедевр*, который позволит и на его прошлые, менее удачные работы взглянуть по-другому, сумеет ли он за это ничтожное время *стать*, вползти в узенькую, в последнюю щелочку, чтобы *реализовать* свою судьбу?

Может быть, все последние волнения, удары судьбы, омут кошмарных воспоминаний, страхи разоблачений и опустошающая тревога за будущее — все это предвосхищает — как таинственные вздохи земли и разряды молний скорое землетрясение — этот шедевр? Ну, так пусть все разлетится, развеется прахом — лишь бы с ним осталась кинокамера. Он готов снимать. И значит... и быть может... явление его чудо-сестренки, ее

проблемы коснутся и его, создадут ему неудобства, окажут влияние и на *его* замыслы. Разве может прыжок балеруна или лицо самого гениального мима выразить всю полноту человеческого страдания?.. Значит?.. А ведь в душе твоей, Сумаедов, только-только послышался хрустальный звон, предшествующий некоему явлению истины. «И тут ко мне идет незримый рой гостей».

Они, эти молодые правдолюбцы, кажется, требуют от меня исповеди, раскаяния, перечня моих грехов. Кающийся должен на коленях в рубище, босой, с незаживающими на ногах язвами приползти к коллективному, крытому алым кумачом, алтарю. Но до этого оплеванный и побиваемый камнями, он, старик, у которого и на ошибках которого эти правдолюбцы учились, должен еще пройти через строй уже якобы очистившихся или тех, кого считали от рождения чистыми, он должен пройти к алтарю через их строй, и в него опять будут плевать и бросать каменья потяжелее, чтобы смачностью плевка и тяжестью камня доказать свою праведную суть и свою высокую лояльность. Лояльность за чужой счет. Ну, так он придет на это покаяние. Но как художник!

Все во благо! Все всасывается в недра воронки, переплавляясь в золото вечности. Художник должен жить распахнутым и открытым несчастьям. Какой там попрыгунчик-балерун?! Судьба подсказывает сюжеты поинтересней. И сестричка-дочка явилась недаром. Искусство, конечно, *над* жизнью, но питается оно ее навозом. Значит, сюжет с Зойкой будем обострять и обострять. В конце концов в мире больше молодых, чем старых. Мир внезапно помолодел. Смена вех. Значит, на встречу с жизнью пришли розовощекие ситуации и проблемы. Но, кажется, сестренка разевает свой розовый ротик, чтобы что-то сообщить?

— О закате, дорогой братец и отче, тебе пока говорить рано. Мой будущий муж постарше меня, но тем не менее я кое-чего от него ожидаю. Так что и тебе не следует так хаять свой возраст. Это, можно сказать, расцвет мужчины и мужества.

Как важно быть готовым к разговору и владеть информацией — это были первые мысли, которые возникли у Сумаедова.

— Значит, мои честолюбивые мечтания посидеть на террасе под соснами, в кругу твоей, дорогая сестричка, молодой семьи, почувствовать себя дедушкой, чадолюбивые мечты мои не осуществятся? На террасе будут сидеть два дедушки!

— Более того, милый братик, — спинка у сестренки не расслаблялась, локоточки бегали весьма живо, сестренка, кажется, одну и ту же тарелку мыла уже десятую минуту, но спинка по-прежнему напряжена, и шея неестественно одеревенела, — два дедушки и внуки могут встретиться не в Малаховке или Кратове, а где-нибудь в Пиренеях или Альпах. Старшему дедушке придется пожаловать туда. Твоя сестренка собирается выйти замуж не просто за человека, который намного ее старше, но и за иностранца.

— А, купля-продажа? — Они оба инстинктивно для семейной разминки выбрали отстраненно-иронический тон. — Вполне в духе сегодняшнего времени и в духе твоего институтского курса. У вас там, если мне не изменяет память, милые девочки вместе с иностранным языком впитывали в себя и страсть к натурализации.

— А если это любовь? — Сестренка повернулась и улыбнулась подчеркнуто ненатурально, как манекенщица, демонстрирующая новый фасон.

Конечно, волей судеб почти каждый носит на лице некую маску. Это рекламный клип для внешнего мира: «Я хочу, чтобы именно таким вы и видели меня!» Главное, не влезть в скандал, отстраненней, отстраненней. Мы изучаем проблему, мы смотрим эпизод из фильма.

О, как серьезно, оказывается, это хрупкое дитя подготовилось к борьбе. Все формулировки готовы, подобраны и отточены, как у юриста-международника. И сокрушительная ирония пропала, Зойка вдруг расслабилась, жесты стали свободными, как у каратиста, в голосе послышалось легкое бряцание. Так, наверное, рыцари на турнирах сначала раскланивались и салютовали друг другу, а потом брались за боевые топоры. Оказывается, уже любовь! Очень ладненько юрист-международник объяснил все юридические задачи для братца-папочки. Против любви не попрешь!

Дело за малым: только поставить подпись на бланке. Ни к чему не обязывающую подпись, подмахнуть, время свободное, все ездят туда и обратно, переезжают. И бланк, который надо подписывать, наверное, принесен, и официально сестренкой объявлен счастливый претендент. Боже мой, мы, кажется, всерьез породнимся с аристократами. По мужу — с элитой европейской аристократии, по брату — с элитой духовной жизни, по отцу — с элитой ГУЛАГа. Волшебный коктейль! Что же за роскошное потомство может вызреть на так разнообразно удобренной и хорошо взрыхленной почве. Ах ты, маленькая негодяйка, ты всерьез готовишься стать еще одной графиней в стране турнепса! Временное затмение или мозговая травма? Деточка, ты же продаешь себя за сомнительную честь через десять лет вывозить на каталке, закутав ноги пледом, в парк старого парализованного графа. Ну, если бы еще был боксер помоложе или гонщик на авторалли! Страсти к сильной и здоровой плоти можно посочувствовать. И деточка думает, что братик подпишет духовное гильотинирование собственной сестренке?

— В нашем роду как-то не принято было торговать сокровенным!

Слово *сокровенным* было, пожалуй, произнесено напрасно. Пожалуй, именно оно вызвало из тьмы забвения знаменитую в околотке дворничиху. И именно Онькин, с пронизывающей визгливостью голос, слышится на мирной московской кухне. Она была тогда чуть старше, чем сейчас ее дочь. И тоже с большим упорством добивалась мужа. И тоже мезальянс. Приехавшая до войны из деревни в город девочка-домработница, ставшая дворником, и бывший окружной начальник. Тоже тянулась к «аристократии». Но разве не была самоотверженна? Разве не она отправила отца к своей деревенской родне за 101-й километр после памятной встречи с участковым?

Оказывается, сестренка неплохо знает детали творчества братика и детали его биографии. Эта пай-девочка и отличница с фарфоровыми глазками собрала маленькое криминальное досье на всех членов семьи. Как хорошо и талантливо перечисляет она сейчас все *сокровенное*, что сделал он в кинематографе, в искусстве. Значит, сам дурак, конъюнктурщик. В наблюдательности ей не откажешь. Но все это недолеты или перелеты, пустой фейерверк. Все эти плохие, плохонькие или получше фильмы и фильмики уже упоминались с трибуны. Пожалуй, он уже пережил публичность их истинной оценки. Да, банально, да, конъюнктурно. Еще пару месяцев назад он встал бы на дыбы от такой милой семейной критики. Его защищает сейчас внутренняя уверенность, что он еще поднимется, что в искусстве его жизнь прожита недаром, его поддерживает предощущение будущего шедевра. А будет шедевр — все грехи спишутся. Так картежник в минуты везения, еще не открыв карты, знает, что будет и нужная масть, и нужный козырь.

Ну, а в кадре? Что за картинка у нас, так сказать, не в звуковом, а в визуальном кино? Жанна д'Арк, да и только. Сколько, оказывается, взрывной силы в этом хрупком теле! Щечки румяные, глазки сухо блестят, голосок чуть подхрипывает. Но ни малейшей усталости, ни малейшего желания прекратить дискуссию, уступить. Впрочем, дискуссия, пройдя общую часть с апелляцией к здравому смыслу, формулам «все так делают» и «сам дурак», сфокусировалась на сентиментально-чувственном.

— Ты мне брат, а не отец. Ты лишь заместитель воли отца и обязан поступать так, как поступил бы он. А разве он не приложил бы усилий, чтобы я была счастлива?

Пожалуй, сестренка все-таки его «достала».

— Да какого тебе рожна надо? Какое ты ищешь счастье?

— Я не хочу раздумывать, чем мне мыть кастрюли. Я не желаю запасаться впрок содой для мытья посуды только потому, что она, видите ли, редко бывает в магазинах. Я хочу, чтобы она была всегда и в государстве, и в магазине. Более того, я хочу, чтобы посуду у меня мыла кухарка или посудомоечная машина.

...В конце концов «сокровенное» есть у нас у всех. Может быть, сестренка и зря так переволновалась из-за этого слова.

В тот первый день, когда отец вернулся из лагеря, вечером они втроем — тетка, отец и он, Сумаедов-младший, — долго сидели за столом.

Двери были заперты на ключ, уже была разработана и обусловлена технология: если кто-нибудь постучится и придется открывать, отец на цыпочках пройдет за занавеску и будет, не зажигая света, ждать там, в темной комнате. Его, Сумаедова, поражала такая конспирация в центре города. Из окон был виден памятник Юрию Долгорукому, красный флаг на здании Моссовета. Фигура очень энергичной каменной девушки на крыше дома на Пушкинской площади.

Отца, после лет, проведенных в местах суровых, видимо, тоже и смущала, и восхищала эта дразнящая воображение близость. Он часто, поднимаясь от стола, подходил к балконной двери и, откинув тюлевую подштопанную занавеску, смотрел на улицу Горького с летящими по ней «Победами», троллейбусами, трофейными машинами, смотрел на прохожих, на торжественный вход в Моссовет и исторический над этим входом балкон. Стоял, смотрел, покуривал. Тетка, от стола пухлой ручкой поднимая ко рту прозрачного старинного фарфора чашку, спрашивала: «Ты чего, Павел, все смотришь?» — «До войны-то Моссовет был в три этажа, а сейчас пять, надстроили. Интересно. Бумажных дельцов, значит, стало больше». Но тогда же его, Сумаедова, осенило. Отцу кажется, что здесь совсем близко от красного флага, от главных властей, легче и быстрее всего отыскать и добиться правды. Это тебе не далекие лагеря, откуда неизвестно, дойдет или не дойдет до адресата письмо, жалоба, просто весть. Под флагом — сама истина и сама справедливость. Может быть, эта городская географическая ситуация и натолкнула отца на своеобразное решение своей проблемы? За столом из разговоров отца и тетки ему, Сумаедову-младшему, стало ясно, что тот собирается вот так, таясь ото всех, пожить неделю, две, три в этой коммунальной квартире, чтобы написать все жалобы, все просьбы о реабилитации и пересмотре его дела. И тогда же ему, Сумаедову, захотелось закричать: «А как же я? Как и где я буду делать зарядку? Где я буду репетировать? Как смогу заниматься техникой речи?» Но он тогда смолчал. Перед ним были люди, жизнь которых фактически уже закончилась!

Как он, оказывается, ошибался, хотя бы относительно папочки: того еще ожидал новый брак, рождение дочери и длинная жизнь, хоть и закончившаяся довольно нелепо. А вот тетка, она довольно скоро, тихо и незаметно от своей рыхлости, от вялости жизни, посвященной племяннику, и придуманного ею самой долга скончалась. Наступило время, когда племяннику, уже почти известному артисту, потребовалось самостоятельное жилье, чтобы репетировать, приглашать гостей, тешить свою молодость и честолюбие. Отец уже был пристроен, реабилитирован, жил в Онькиных объятиях, пробивая, словно танк, себе отдельную как реабилитированному качественную жилплощадь. И вот тут тетка, уже мало кому нужная, выполнившая свою родственную и историческую миссию, почувствовала, что новая ее миссия — освободить племяннику жилплощадь, почувствовала, что ей следует умереть, — и она умерла.

Но тогда эти пожилые люди не понимали, что именно сейчас для него, Сумаедова-младшего, самое толчковое, импульсное время, когда он закладывает фундамент светлого и разумного своего будущего, не понимали этого, и копошились со своими мелкими эгоистическими интересами, и тем самым выталкивали его из жизни, из карьеры. Они не понимали, что в молодости главное — темп, но тем не менее, несмотря на роковое недопонимание, он все же решил: перетерпит. Правда, у него тогда мелькнула мысль, что, может быть, все и к лучшему, отца реабилитируют, что, наконец, досужие люди раскопают неточности его студенческой анкеты, и он сам, Сумаедов-младший, получит даже некоторые преимущества перед своими сверстниками как сын реабилитированного, как страдалец, а значит, как человек с биографией. Он, видимо, тогда верно понял мысль отца о флаге над Моссоветом, даже сочувственно ее продолжил: они ведь действительно живут в треугольнике, где сосредоточена самая большая правда о мире и самая крайняя справедливость: флаг на Старой площади, флаг на Красной площади, за стеной, за которой еще недавно жил Сталин, и флаг на Моссовете. Может быть, и выудит здесь отец свою правду?

В ту первую ночь в одной квартире с непрописанным, нарушающим паспортный режим отцом он спал беспокойно. Они разместились так:

в большой, огромной комнате, как всегда, на своей постели — тетка. Эту комнату Сумаедов часто потом в той или иной форме живописал и изображал в кино. Может быть, это даже вызывало какие-то смутные реминисценции с картинами и эскизами Бенуа и Лансере? Комната, как зал во дворце, огромные высокие окна, от которых протянулись по холодному паркету блики: то ли от фонарей, то ли от сумасшедшей азиатской луны.

Они с отцом легли в маленькой и душной выгородке, где обычно с того времени, как подрос, то есть лет с тринадцати, когда потребовалось его, как существо иного пола, отделить, ночевал и жил Сумаедов. Отец лег на кровать, а себе Сумаедов разобрал хранящуюся за вешалкой раскладушку, довоенную, похожую на санитарные носилки. Брезент проносился, растянулся гамаком, спать было неудобно. Отец, кажется, задавал какие-то вопросы, а Сумаедов уже спал. Или он напрягся, чтобы не слышать этих робких вопросов, отключился? Отец, видимо, почувствовал неприязнь, исходящую от сына, и вопросами, рассказами, подчеркнутой заинтересованностью в его делах пытался сломать отчуждение. Но разве можно было забыть: «а твоего папу арестовали», разве можно было забыть вступление в комсомол? А может быть, от просыпающейся к отцу жалости скрылся он, Сумаедов, в спасительно быстрый юношеский сон? Или инстинктивное, сделавшееся привычным: «ничего не знаю, связей с врагом народа не поддерживаю»? Но поможет ли это незнание, помогут ли какие-нибудь объяснения, если, не дай бог, вызовут в ректорат? Поможет ли что-нибудь, если в доме появится в синей форме участковый? Слепящий спросонья свет, неубранные постели, в лучшем случае — тетке штраф, а с отца расписка о немедленном, в двадцать четыре часа, выезде. А он, Сумаедов, комсомолец, студент привилегированного учебного заведения, значит, помалкивал, играл в «ничего не знаю»?

Мысли всегда сумбурно цепляются одна за другую, когда душа находится на границе бодрствования и сна.

Ему снился все тот же знакомый с детства старинный будильник. Но на этот раз будильник будто бы превратился в подобие простой и веселой детской игрушки, не то музыкальной шкатулки, не то механического бильярда. В специальную катапульту, действующую на пружинке, игрок заправляет шарик, отпускает рычажок, сдерживающий пружинку, и шарик, весело стукаясь о воротца и перекладинки из никелированных патефонных иголок, летит вдоль поля, продираясь сквозь лабиринт. Долетит ли, допрыгает ли до конца по воле случая и рассчитанной силе толчка, долетит ли до маленькой ложбинки, финиша, прозвенит ли звоночек, установленный на выходе, который должен зацепить в случае выигрыша этот шарик.

Боже мой, как все это напоминает судьбу художника! Кто рассчитывает силу удара и чья рука ставит препятствия? Кто может знать, сумеет ли шарик так отскочить от стойки стальных воротцев, чтобы понестись прямо в узкую, ведущую к выигрышу щель, чтобы его движение привело к победе? Какой дозой осмотрительности или безрассудства питается эта победа? И где тот компьютер, который все сосчитает? Все это судьба, скрытая под мистическим покрывалом, ведать или не ведать ее наперед одинаково опасно и страшно. Стоит ли за выигрыш, за победный звон колокольчика продать душу дьяволу или, напротив, сохранить душевное целомудрие и уповать на руку дающего, праведника, которого ведет провидение? Но почему же это провидение так часто влекло к выигрышу не послушных, а строптивцев, игроков, моральных уродов? Как не проиграть в этой игре? Игра — жизнь или жизнь — игра?

Итак, в той ночной игре воспаленного подсознания, в тех сновидениях был шарик, даже не шарик, а некая спрессованная в блестящей оболочке субстанция его, Сумаедова, судьбы и удачи. «Да» или «нет»? «Жизнь» или «смерть»? Смерть, конечно, неизбежна. Но естественная смерть или смерть, опускающаяся, как нож гильотины, мучительная, а главное — осознанная, как кара, как проигрыш, как несчастье.

Брошенный почему-то сверху, в медно-стеклянном пространстве шарик летел, ударяясь и отскакивая от пружинок, молоточков, шестеренок. В какой-то момент он, Сумаедов, во сне подумал, что это не просто шарик, но он сам, живой и теплый Сумаедов, страдающее и вопиющее тело, летит среди смертельных, как в средневековой пытке, препятствий.

Цепляется, оставляя на острых колках, на гранях шестеренок, на осях следы крови, летит, слыша треск разрываемой от соприкосновения с бронзой и сталью ткани. Словно в гигантской мясорубке, он проходит через какие-то ножи и винты и думает только об одном: скорее вниз, к звоночку, скорее бы пролететь сквозь мучения. Но больше, чем мучения, гнетет его, разлагая душу, страх, он становится всеобъемлющим, глобальным. Во сне он задыхается, кричит, его начинает сводить судорогой. И в этот момент — удар, разрыв металла, разрыв плоти, мир раскалывается по экватору, все останавливается и — тишина. На этом детском бильярде, поставленном на попа, зацепившись за блестящую ось, висит, истекая клюквенным соком, тряпичный паяц. Конец света? Вышли четыре всадника Апокалипсиса?..

Прекрасно. Пока складывался диалог, выявлено одно: главный стимул — нехватка соды, следовательно:

— «О любви не говори, о ней все сказано». Правильно?

— А я, братик, любовь вспомнила по другому поводу. Просто любовь хочет материализоваться. Я выхожу замуж и уезжаю.

— Выходи, уезжай.

Ну, а может быть, она права? Человек сам должен выбирать и свою любовь, и свою долю. А то, что в обиходе называют любовью к Родине, к родному пепелищу, к дорогим отеческим гробам, милому сегодняшнему поколению искательниц счастья неведомо? Вот кошки в отличие от них в основном равнодушны к хозяину и признают лишь место, где живут.

...Проснулся ли он от боли, от того, что зацепился на середине пути за ось, и эта боль и предчувствие катастрофы разбудили его, а уж потом он увидел лицо отца, и тот произнес: «Проснись, сынок, проснись». Или наоборот, именно этот зов разбудил его, и он увидел при тусклом свете лампы, зажженной за перегородкой, отца, босого, в кальсонах и нижней рубашке?

Но первое же ощущение, первое, еще сонное движение мысли было, что все пропало: органам стало известно о нарушителе паспортного режима, о его укрывателях, за порогом стоят в синих, пахнущих деревенской овчиной шинелях милиционеры, у подъезда тюремный автомобиль, на кафедре все обнаружилось, уже собрали ученый ареопаг, и сейчас их всех увезут: отца — в тюрьму, тетку — куда-нибудь в недра Моссовета объясняться о прописке, а его, Сумаедова, — на факультет — позорить и исключать из института.

Чего же больше, трагического или смешного в нашей быстротечной жизни? Современный зубоскал сотворил бы из этого эпизода легкий, с тенью жалости фарсик, изобразив будущую кинозвезду, кумира, изобразив этого белокурого красавца в пижамных штанах, в пиджаке, надетом на голое тело, в ботинках, за которыми волочатся незавязанные шнурки, шествующего, как в полонезе, скользящим кошачьим шагом по длинному коридору с наглухо запертыми дверьми.

В окно коридора со двора сочился серый, как арестант, неверный и зыбкий рассвет. Было еще так рано, что к булочной и ресторану, задние двери которых выходили во двор, еще не пришли машины с припасами, и даже метла дворника еще не скребла утреннюю болезненную тишину.

Но все это лишь внешние подробности. Могут ли они кого-нибудь в наше время устрашить, как, скажем, изображение дьявола или Медузы Горгоны на листе бумаги?

Ты понимаешь теперь, выживший из ума Харон, как дорого ему, Сумаедову, дались и любовь, и ненависть? Есть счастливцы, которым оба этих сердечных движения, как инстинкт, дарены от рождения. Но он платил за все двойную плату, будто искусство берет с него за грехи непомерный мыт. Вместо того, чтобы быть вместе, вместе есть, пить, и в этом совместном существовании лелеять, как и положено у людей и животных, общие привычки, жалость и любовь, он, Сумаедов, получил уже совсем взрослым отца и сестру. Что он тогда мог почувствовать, когда из пеленок, как куклу в детской игре, достали мокрый человекоподобный зародыш и назвали «сестрой». Но коли так уж случилось, то разве не хочет молодой актер получить в отцы седеющего красавца, героя трех войн,

в орденах-медалях, в скрипящих сапогах! Да, пусть шрамы, обветренное до черноты лицо, стриженая голова, но стрижка — седой генеральский ежик, здоровый загар от морских ветров, а уж коли лагерник — то политкаторжанин, и лучше уже реабилитированный! Уже в регалиях, при орденах. Нет у этого молодого парня, когда жизнь у сверстников кипит, нет у него сочувствия к бедности и старости, нет терпения возиться со смрадной одеждой, грязной, из корыта, водой, а теперь и с ночным горшком. С «ночной вазой», которую он, этот будущий кумир и режиссер, за ручку, как светильник, несет перед собой по освещенному предутренним мышиным арестантским светом коридору.

— Проснись, сынок, проснись.

Пробуждение. Лицо отца. Испуг.

— Что случилось, папа?

Как описать стыд, неловкость просьбы, которые могут возникнуть в глазах у взрослого мужчины, разговаривающего с сыном? Сможет ли какой-нибудь великий актер сыграть этот взгляд, увиденный им, Сумаедовым, в юности, в пятом часу утра? Жизнь, питающаяся искусством, выше искусства, потому что есть ее проявления, которые искусству неподвластны. Искусство еще несовершенно. И в будущем изобретут такие способы, которые позволят воссоздавать переживания и непосредственно передавать их потребителю. Фантомы, возникшие в сознании творца, пройдя специальную электронную, или лазерную, или какую-нибудь еще немыслимую обработку, будут попадать без потерь в массовое сознание публики. И вот тогда, в будущем, этот будущий счастливец сможет наконец передать весь обжигающий комплекс впечатлений, подобных тем, которые получил он, Сумаедов, в то утро. Впечатлений от одного лишь взгляда.

— Что случилось, папа?

— Ты бы, пока народа в коридоре нет...

Взгляд. Как блиц фотоаппарата. Искательный. Жалкий.

— Господи, да чего ты так уж боишься. Ты ведь не сбежал, вернулся по закону.

Ему еще хотелось крикнуть: «Ведь кинто умер, его уже похоронили, уже, кажется, идет новое время, а вы с теткой все кого-то боитесь!»

А разве сам он, Сумаедов, не боится этого упыря, хоть и покойника? Может быть, и правы те, кто утверждает, что это был Сатана, его новый приход в мир, чтобы наконец-то разрушить добро, сотворенное Христом. Он, Сумаедов-младший, был на похоронах. Не обычное сочувствие к человеку, закончившему свой путь, а это самое злорадно-сатанинское привело его в белокаменный зал? Злорадное — да, отчасти. Хотя все зло, которое происходило вокруг и которое непосредственно его касалось, виделось ему естественным течением жизни. Ведь другой-то жизни он не знал. Но еще больше на эти государственные похороны влекло его ощущение уникальности исторического момента. Пройдет ли его жизнь когда-нибудь через веху более знаменательную, нежели эта? А, пожалуй, подобной вехи и не было; первый фильм, первая премия, первое звание, возвращение отца, рождение сестры и даже рождение сына и женитьба — это производные.

И тут, той давней ночью, ему захотелось крикнуть отцу то, во что он сам почти не верил: «Он умер, умер, и я даже был на его похоронах!» Был, благо жил в околомоссоветовских переулках. А может быть, когда он пробирался дворами, выскользнул на Камергерский — так называла тетка, для нее все они звучали по старинке: Театральный проезд был Камергерским, а Пушкинская улица — Дмитровкой, — выскользнул через проходную старого МХАТа, пролез под грузовиком возле «Политической книги» и, опираясь спиной на колесо армейского грузовика, встал, втиснулся в траурную очередь за триста метров от входа в Колонный зал. Зачем? Он лишь хотел убедиться, как нелогична и нелепа скорбь на лицах. Жизнь пойдет без него веселее! Нет, это мысли сегодняшнего дня. Тогда его вело скорее стремление увидеть уникальное — так сегодня продавцы из комиссионных магазинов пробиваются на концерт знаменитого дирижера. Смысл? Звонкое имя в разговоре.

Разве эти руки, которые сразу же бросились ему в глаза, как только он вошел в зал, могли принадлежать обычному человеку? Смуглые, в пигментных старческих пятнах, кулаки, которые управляли половиной мира, они были, как два смертоносных источника постоянного облучения, направлены на входящих. О, не случайно в свое время Сатана рядился семинаристом! И почему всю жизнь потом его, Сумаедова, преследовали эти руки? Он, будущий художник и гуманист, не почувствовал никакой печали и никакого, даже отдаленного горя! У него было даже маленькое основание радоваться: сейчас, выйдя из этой толпы, поддавшись массовому психозу, он пешком пройдет до Таганки, до высотного здания на Котельниках и поднимется к Клавдии, где со всем пылом невостребованного темперамента покажет ей такое...

Что-то магически-сатанинское было в этой смерти. Ни одно начинание в эти дни, твердо был уверен Сумаедов, не могло оказаться благим. В эти дни нельзя было зачинать ребенка, делать операцию, начинать писать книгу, ставить спектакль, даже рвать зуб. Все было чревато.

Именно в один из тех дней, когда радио впервые упомянуло о государственной болезни вождя и водителя, он, Сумаедов, впервые подошел к Клавдии. Вообще-то психоз овладел массами как раз с момента этих объявлений, которые знаменитый московский диктор драматизировал — с присущей ему деликатной умелостью: слеза в репродукторе превращается в сталь. Слеза и сталь. Но этот привычный самоспровоцированный массовый психоз был еще проявлением своеобразной лояльности. Слезы были свидетельством благонадежности. Но ведь слезы — всегда слезы и некое свидетельство искренности.

Сумаедов давно уже приметил в институтских коридорах удивительно некрасивую девицу. Она привлекала внимание несвойственной этому пуританскому времени развязностью, была свободна в жестах, курила папиросы. Девица явно была откуда-то не с профилирующих факультетов: или киноведша, или экономист. Но в тот день, после радиопередачи, Сумаедов встретил ее заплаканной.

Утешить — это тоже проявление лояльности. Не следует думать, что в творческом вузе очки набирали каким-то другим образом, нежели в райкоме или домоуправлении. Отсутствие или наличие слезы или сочувствия могло быть поводом для «незащиты».

Но вообще утешить — это одно, а когда красивый и видный парень утешает не самую привлекательную девицу — это другое. Здесь всегда читается сердечный порыв. Высокие духовные качества. Поговорили, он, Сумаедов, проводил девицу до дома, потом она его пригласила посмотреть, как она живет. Он, Сумаедов, был уже достаточно взрослым, чтобы по ухоженной этой квартире, по сытости и очевидной стабильности быта — по десятку признаков — не понять, в каких высоких орбитах вращается эта неброская звезда. Но ведь их роднили любовь к кино, общий институт? Кстати, о родительском положении говорило и то, что Клавдия закончила киноведческий факультет и была уже на первом курсе аспирантуры — разве мог на этот факультет попасть кто-нибудь без дедушки, сотрудничавшего с Люмьерами, или бабушки, в свое время соперничавшей с Верой Холодной. Для такой разбитной девицы, как Клавдия, тема диссертации была выбрана довольно точно: «Влияние кинообраза на формирование этических связей у школьника». Точно выбранная цель, по которой она бьет уже почти тридцать лет.

Как возникают взаимная симпатия и тяготение? Это сложный вопрос. Иногда взаимная симпатия возникает, когда студента, привыкшего к пище без особых затей, кормят чем-нибудь давно забытым, например, жареной телятиной. Неплохо? А может быть, аппетит разжигала печаль о вожде? И вот когда с присущей любому молодому артисту непосредственностью Сумаедов яростно уплетал эту самую жареную телятину — это, правда, было уже через несколько дней знакомства, — в этот момент Клавдия сказала:

— А не выпить ли вам, Денис, рюмочку?

Рюмочка в те времена тоже, хотя и была подоступнее, но обламывалась не часто, поэтому, несмотря на всеобщую печаль, он сказал:

— Почему бы не выпить за здоровье вождя и отца родного. За здоровье товарища Сталина.

Как известно, хмель в небольших дозах сообщает раскованность. И этот лафитничек княжеской водки, чистой, как совесть ребенка, вдруг

сделал мир более ласковым и пригожим для житья. Глазки у Сумаедова заблестели, и разговор запорхал, несмотря на очень серьезную классическую музыку, расшумевшуюся в громкоговорителе. И вдруг этот громкоговоритель приостановил свой настойчивый бег и... Вряд ли ожидал юный Сумаедов услышать о смерти государя и господина в такой странной обстановке: на чужой кухне, щеки раскраснелись, на организм напал жор, рядом сидит довольно разбитная сокурсница. А ведь крен дала вся их жизнь! Какой она будет?

Они прослушали довольно долгие траурные объявления, которые искусство дикторов довело до патетики.

— Со смертью товарища Сталина,—сказала Клавдия,—многое может перемениться.

Он, Сумаедов, конечно, в том возрасте и с той степенью знаний о жизни не мог предположить, что имела в виду Клавдия. И почему наличие жареной телятины в доме и домашний быт должны меняться в зависимости от смерти или жизни одного чужого человека. Он в этот момент думал о своих проблемах, и собственные обиды, подогреваемые вновь заигравшей самой сладкой и самой печальной на свете музыкой из репродуктора, вдруг встали перед ним во всей обнаженной боли, и тут как-то внезапно — сыграло, конечно, и привычное для лицедея стремление продемонстрировать по системе Станиславского свои особые душевные качества, ранимость и тонкость,—и тут как-то внезапно на его лице появились слезы. Актеры знают им цену. Эти нашмурыганные слезы они никогда не станут вытирать. Влажная дорожка хорошо заметна при свете театрального прожектора, и ничего, пожалуй, так не действует на публику, как эти натуральные знаки следствия переживаемых волнений. А уж когда волнения эти возникают, казалось бы, по постороннему, не личностному поводу...

— Что с вами, Денис? — как показалось Сумаедову, даже немножко испугалась Клавдия.

И тогда Сумаедов на нее взглянул. Он посмотрел на нее—до этого он сидел и делал вид, что отворачивается, неуклюже прячет свои слезы, прикрывает лицо рукой,—тут он вдруг взглянул исподлобья на Клавдию. В этом взгляде была и растерянность ребенка, и воля мужчины, и боль нереализованных возможностей. Он репетировал. И как талантливый актер тщательно запоминал находки. Миллионы кинозрителей потом увидят этот взгляд в фильме, когда революционер-просветитель перед казнью, на заснеженном плацу, полуобнаженный, с руками, прикрученными к ружейному прикладу, перед строем со шпицрутенами вот так же печально, безысходно глядел на зрителей, т. е. непосредственно в камеру. Сила этой боли и терпения поражала. Как много людей потом навсегда сохранит в своей душе боль этого революционера, и она станет их болью, их пережитым душевным капиталом. Но Клавдия была первым зрителем. И эта довольно развязная девица, повинуясь извечному женскому инстинкту сострадания, протянула руку и погладила Сумаедова по голове.

Дальше все было очень и очень тривиально. Они были молоды, но некоторая неловкость ситуации заключалась в том, что в свои двадцать лет Сумаедов нуждался, как ему казалось, в руководителе процесса, и он очень надеялся в эти минуты не только на действие алкоголя, но и на опытность, которая читалась в раскованных манерах его партнерши. Но раскованность у нее была, а опытности, как оказалось, никакой, наличествовало только стремление стать объектом красноречивого опыта. Идеологические ухватки женской эмансипации, видимо, проникали с этого растленного Запада и в ту отдаленную эпоху!

Эта казуальная ситуация тем не менее завершилась вполне благополучно и, как говорится, к взаимному удовольствию. Ну, а изобразительно? Скажем, все это можно представить и показать на экране весьма целомудренно. Скажем, в духе любовной сцены знаменитого фильма Бертолуччи «Последний император». Эдакое шелковое бледно-желтое покрывало, по которому ходят живописные волны,—под покрывалом, вышитым драконами, идет упорная любовная игра. Правда, в том реальном, конкретном фильме эта игра носила скорее (в соответствии с агрессивными кинообразцами) характер схватки. Конечно, здесь наличествовала

и страсть, закупоренная до того возраста, когда можно и взорваться, но главное—оба демонстрировали друг другу свою мнимую опытность.

Слушали ли они еще в тот вечер прекрасные голоса московских радиодикторов? Говорили ли о смерти—средоточии всех надежд и побед? Как долго оставалось свободным престижное логово до возвращения сановных родителей со своих высокоответственных работ? Любовный сюжет длился от громоподобного объявления по радио до того, как залпы траурного салюта на Кремлевском холме отдребезжали в оконных стеклах на Котельнической набережной. Неужели и тогда, в эту скромно-лицемерную эпоху, молодежь уже отделяла любовь от секса?

За три или четыре дня, которые продолжалась эта интрижка, он, Сумаедов, естественно, сначала, оглядев жилище, которое отличалось удобствами, близостью туалета к месту спанья, хорошими запасами съестного, он даже подумал, не следует ли ему, как честному человеку, жениться, но во время салюта произошел обмен репликами, который на том этапе пригасил матримониальные чувства секс-партнеров.

В тот самый момент, когда стекла на Котельнической отозвались воздушной волне с холма, он, Сумаедов, что-то пролепетал о мужской чести, о том, что «если будет ребенок... (это наивное представление, что каждое соитие чревато деторождением, в те времена было довольно живуче среди молодежи, приобретавшей половое воспитание через статьи в энциклопедии, учебники судебной медицины и россказни бывальцев со двора), он готов жениться». Но Клавдия, одернув на плосковатой груди шелковую комбинацию, перелезая через лежащего на родительской кровати Сумаедова, сказала... То ли она была обеспокоена внутриполитической ситуацией и еще не предполагала, что при всей новизне грядущих событий многое останется по-старому, по крайней мере на своих местах и в своих уютных служебных креслах останутся ее родители. То ли салют стал для Клавдии сигналом, что родители, которые сейчас мерзнут на площади, могут оказаться не приглашенными на большой сатанинский бал-тризну, и тогда они, возможно, с такими же, как и сами, верными слугами приедут домой, чтобы отметить эту кроваво-сладкую веху. В общем, довольно невнимательно Клавдия слушала лепетания Сумаедова и ляпнула, как ей показалось тогда, очень по-современному: «У меня нет никаких материнских инстинктов».

Актер, если у него хорошая внутренняя органика, никогда не сробеет, не полезет, даже если забыл роль, в карман за словом, всегда сумеет подхватить реплику партнера. «Господи, как же славно, Клавочка, что ты без обиды, у меня ведь тоже с отцовскими инстинктами слабовато, да и жениться мне рано...»

На этом они тогда и расстались, погрузившись, каждый поодиночке, в академический учебный процесс, но ведь завязка произошла в день вознесения в ад Сатаны, а разве можно было чего-нибудь ждать от этого дня и от этого все же осуществившегося зачатия. Павлик, Павлик, чей же ты сын, слуги света или князя тьмы? Он позвонил Клавдии, когда возникли сложности с его первым выездом за рубеж. Он, Сумаедов,—и это положим в копилку искренности!—женился на беспорочном и супервыездном тесте, у которого не могло быть невыездного зятя. А жену, кажется, и собственного сына получил в приданое. Но ведь дьявольское, принося вначале пользу, потом разрушает все. Через год после свадьбы он застал Клавдию и шофера тестя в постели, в квартире уже несколько лет назад в бозе почившей тетки. Вчерашний демобилизованный солдатик помогал поднять на третий этаж его дражайшей супруге продуктовый заказ из специального распределителя. Поднял и подзадержался. Когда они с Клавдией без скандалов и без дележа имущества разъезжались по разным квартирам, Сумаедову казалось, что он слышит довольное похохатывание Сатаны.

Как будто боязнь можно вырвать, как гнилой зуб! Или в несовершенной природе человека эта боязнь—изначальное основополагающее чувство? Как некий мистический координатор всех других переживаний. Боязнь переесть, боязнь сказать, боязнь заразиться, боязнь поссориться, боязнь умереть одному—«некому будет подать стакан воды».

Чушь все это. Пленительные суеверия прежних христианских времен. Детские игры совести. Есть другая боязнь и другой страх. Боязнь, все-

объемлющая, казалось бы, беспричинная, въедающаяся, как городская сырость, во все поры. И страх, неотступно преследующий, как собственная тень, заразительный, липкий. Но беспричинный ли? Этот страх кормился не поводом или собственным изъяном. Он был насылаем, как роком, извне, гнездился, как застарелая инфекция в больных миндалинах. Он тлел постоянно и вспыхивал до сердцебиения от косого взгляда лифтерши, от звонка с просьбой принести новую фотографию или зайти уточнить какую-нибудь мелочь в отдел кадров. А через двадцать лет, когда нервничать и страшиться не осталось оснований, он, Сумаедов, все же по инерции волновался и переживал, если не вовремя привозили посольскую визу или несвоевременно приходил заграничный паспорт, если не давали очередного, положенного к дате, ордена, или не так быстро, как ему хотелось бы, выдвигали на соискание премии. Значит, кто-то роет, что-то рассматривают, ищут. Эта инфекция, как проказа, долго жила в его организме и даже, когда ее скрутили, залечили, вроде бы уничтожили, осталась боль и тревога. Так у инвалида болит давно отрезанная нога или оторванные взрывом пальцы.

Разве до сих пор он, Сумаедов, даже о своих мелких производственных секретах не старается говорить потише: прознают, прослышат, не так поймут, украдут. О, выученик боязливой эпохи! Разве хоть раз публично высказался он о картинах коллег, о безобразиях начальников? Прагматическую ли выгоду искал он, ни разу никого не покритиковав за всю свою творческую жизнь? Прекрасный актер! Великолепный сценарист! Талантливейший режиссер! Способнейший оператор! В безудержных похвалах не ошибешься, перебрать здесь невозможно. Все списывается на восторженность художнической натуры. Он уже устал от своей вечной улыбки на лице, от безотказной, как канализация, доброжелательности. О, высокое искусство быть самим собой! О, прекрасная возможность идти в ногу с эпохой! А если эпоха опять перевернется, как только что пойманная рыбка выскользнет из рук, если эпоха еще раз захочет проглядеть личные дела и попеняет своему придворному сказителю и живописцу: это какой-такой оракул у нас вещает? А так ли благополучно у этого оракула с биографией, чтобы громогласно вещать и критиковать? Ведь из всех искусств наиболее важным является кино.

Теперь-то понимает Сумаедов, что все это вне логики, все бывшие страхи и терзания вне объяснений. Теперь он всего-навсего боится за свою дочку-сестренку: этот оракул, этот художник, этот гений будет нас воспитывать, а сам свою сестру в патриотическом духе не смог воспитать! Нет, не сестренку даже — дочку сбагрил в зарубежную страну! Ничего себе атмосферка в семье, если дочки удирают за кордон! И все же нет — сердце сжимается не из-за себя, не из-за ответов бюрократам, а от тоски за эту пичужку, вертихвостку. Кто придет к ней на помощь, если станет плохо? Сама мысль, что нежные карапузы, ее детишки, близкие по крови ему, Сумаедову, будут своими толстенькими детскими ножонками топотать по чужой земле и родной язык их будет не его, Сумаедова, родным языком. Это было самым невыносимым. И только это, должен признаться он сам себе, его тревожит и приводит в бешенство. И значит, страхи?.. В конце концов страхи — это его личное дело. Он борется с ними всю жизнь и успешно их врачует. У них, как у природы, есть свои сезоны и резоны. Они вырастают, цветут, ликуют, а иногда скукоживаются, свертываются в коконы на зимовку, растворяются, трансформируются в споры. А тогда?

Тогда, видимо, был неблагоприятный для страхов год. Для них всегда неблагоприятно, когда ломается время. Но и тогда он не смог крикнуть отцу: «Чего ты боишься! Похоронили, похоронили твоего любимого героя, и я, Сумаедов-младший, твой сын, даже был на его похоронах».

Но, естественно, он тогда этого не сказал. Важнее не то, что ты скажешь, а что подумают, как определят мотивы твоих поступков и речей. Без конца входить в обстоятельства — это трусоватая привычка ума. Чего там разговаривать и объяснять! Но когда он взял за ручку ночную вазу, — ах уж эти эвфемизмы и описательные формы! — это был детский, еще из поры совсем маленького, семилетнего Сумаедова, ночной горшок, который много лет простоял под кроватью, он подумал...

Нет, сейчас он, Сумаедов, не удивился бы, увидев этот горшок в роли кашпо в самом респектабельном доме. Вскоре после этих ночных страданий старинный, с ручной росписью горшок исчез. Так почему бы ему не оказаться на полках в комиссионке? Увидел же он раз в красном углу в доме у своего коллеги-режиссера какую-то странную трехугольную тумбочку, обтянутую двойной рисовой соломкой. Конец восемнадцатого века! Так и хочется написать римскими цифрами! Но тумбочка — неизменный инвентарь спальни, тумбочка-то для урильника. Раритет, казуальный предмет хвастовства! Будто не какой-нибудь заштатный столоначальник или директор департамента хранил ночной сосуд в этой тумбочке, а сам нумерованный Людовик доставал именно из этого интимного, изысканного, замаскированного под жардиньерку хранилища ночной горшок. Так почему бы в комиссионке не всплыть и расписному ночному горшку из харьковской квартиры врача-эсера? Тогда ведь за границей вещи покупались не по принципу «лейбла» и «фирмы», а в соответствии со вкусом и нравом просвещенного путешественника. Может быть, его дед, юный магистр медицины, где-нибудь в Италии, во Флоренции купил его, чтобы на родине продемонстрировать, как умело грубая функциональность сочетается с подлинной художественностью, а потом, к искусству ведь привыкаешь быстро и быстро сводишь его на уровень бытового, повседневного, недаром же Мона Лиза висела в ванной комнате Франциска I. Но при каком разделе имущества, при каких обстоятельствах, — впрочем, в те стародавние предреволюционные времена при переездах вещи не продавали по объявлению, а возили с собой — при каких условиях жарко-цветное детище Сиены или Кастельдуранте попало в домашний обиход племянницы харьковского врача?

Он и тогда, в детстве, стеснялся этого громоздкого, с дизайном другой эпохи, произведения искусства. Ну, а уж когда заболевал, тут чадолюбие тетки брало свое. Она следила за сосудом, мыла его с содой, как средневековый врач, перед тем как перелить содержимое в помойное ведро, рассматривала его на цвет и нюхала. И как ото всего этого мальчишке было стыдно, неловко, муторно на душе.

Так вот, когда он взялся за теплую ручку ночной вазы, он подумал: сколько унижений перенес этот лагерник, его отец, прежде чем разбудил сына.

Словно преступный молодой жрец, пробирающийся ночью в храмовую сокровищницу, держа, как светильник, впереди себя детскую, закрытую крышкой ночную вазу, он представлял...

Наверное, тайная мысль — а как? — беспокоила и сгибала отца с того самого момента, когда тетка опознала его на пороге, когда он понял, что может прожить, если затаится, в этой комнате-квартире много дней подряд. Тогда и возник безумный план здесь, в центре, через быструю переписку добиться справедливости, сюда, на этот адрес, получить решающую, желанную бумагу, свидетельствующую о его невиновности, и уже из этой тараканьей щели вылезти гордым, независимым, свободным — слово «реабилитированный» тогда еще не было в ходу. И вопрос о том, как же он будет отправлять свои физиологические потребности, оказался не последним в решении главной проблемы. Он прикидывал, можно ли ему будет хоть один раз в сутки безнаказанно пройти по бесконечному коридору. Высчитывал вероятность встреч и подозрений. Соизмерял с этим свое терпение и лагерную выносливость. Он думал об этом, глядя на красный флаг на Моссовете, на поднятую длань Юрия Долгорукого.

Когда они втроем — отец, он, Сумаедов, и тетка — мило, по-семейному ужинали, когда дымилась разварная картошка, яростно рдел царь московского стола винегрет, когда благоухала лапша с куриным пупком, когда стоял испеченный в печке-чуде круглый пирог по незабываемому рецепту: столько-то манки, столько-то сахара, масло, повидло; когда селедка, отливая перламутровой голубизной, бросала вызов другому тогдашнему лакомству, капусте провансаль, когда на столе давали парад все деликатесы тех незабвенно-скудных лет, отец, наверное, и тогда соизмерял свой аппетит, сопоставлял гастрономическую привлекательность продуктов и объемы своего желудка и кишечника. Здесь надо было, наверное, все рассчитывать, как подводнику — резервы дыхания и наличие в баллонах кислорода. Но, может быть, именно тогда его цепкий взгляд

и зацепился за музейную майолику ночной вазы и план вчерне был готов?

Преувеличивает ли сегодня художник что-нибудь в космических страданиях этого вечера? Попробуй наворотить такое в искусстве! Конечно, скажут, искусство — чистый продукт и не терпит унизительной физиологии. Но разве при патетических казнях святых, при усекновении главы Иоанна, наконец, при распятии разве не было — коли эти святые сначала были людьми — у них этих мук, этой самой низменной физиологии? О, бедный и многострадальный Харон, о, неутомимый гребец и перевозчик, прости, если есть у тебя силы и возможность прощать!

Совесть, этот рудиментарный орган, иногда выуживает из глубины времен и сознания удивительные вещи! Может быть, в отчаянные минуты совесть начинает зудеть? Во всяком случае, она может свести с ума, а потом и умертвить. Когда же в причинно-следственный ряд выстроились для него, Сумаедова, эти два понятия — «совесть» и «искусство», два чувственных образа? Тогда, в коридоре, был он милосердным и всепонимающим художником или стал им под старость, когда его, мэтра, в высокочтимую и энциклопедически прославленную задницу клюнул жареный петух?

И если под старость?.. Тогда труднее получить отпущение у Харона. Но из чего же ты, Сумаедов, пытаешься соорудить искусство? Ревизуешь поступки и побудительные мотивы, чтобы запустить их в дело? Суфле из собственной биографии. Или все же это совестишка почесывается? Ты, конечно, Сумаедов, материалист и диалектик, понимаешь, что мертвые мертвы и прах их соединился с прахом Вселенной. Какие претензии могут тебе предъявить покойники? Да и разве их недоброжелательность может превзойти когда-нибудь волчью неприязнь живых? И все-таки копаешься в себе, чувствуешь неясную вину. Впрочем, отчего же неясную?

Если когда-нибудь все же произойдет встреча на том, туманном берегу, то, преградив путь к полям тихой радости, ты, Харон, укажешь на узкую щель, ведущую в грешное подземелье. И разве посмеет он, Сумаедов, опротестовать это решение?

Только от родных так много можно узнать о себе. Их мстительная память, долго молчавшая, оказывается, все копит и складывает в черный сундук. Доблестная специалистка по иностранным языкам, Зойка довольно много знает о возлюбленном брате и папочке. И да здравствует генетика! Знакомый с детства Онькин сорванный в перепалках, в очередях и в лаях с жильцами и участковым голос загремел после его «ну и уезжай». Какое богатство лексики, кто бы мог подумать, что так свободно сокровенные дворовые словосочетания обращаются в изысканном языке интеллигенции. И какие глубокие знания о творчестве брата и истоках этого творчества! Ни один мальчонка на собрании творческих работников родной киностудии в эпоху перестройки не осмелился бы этакое бросить ему в лицо. Слова «карьерист» и «бездарь» были самыми невинными в ряду глубоких характеристик, которые, как оплеухи, развешивала родная кровушка.

И все-таки наивысшие всплески жизни не подвластны искусству! В искусстве все надо мотивировать и объяснять, в жизни все уже предопределено предысторией. Дочка-сестренка рвала отношения потому, что потомок древнего аристократического рода, состоящий на дипломатической службе у республики, заканчивал свой срок в стране. «Ну, выйдешь за него замуж на полгода позже, приедешь в этот капиталистический Вавилон через шесть месяцев!» «Так и будет мужик в пятьдесят лет меня ждать! Он что, пенек молодой? Такой случай раз в жизни подворачивается!»

Но, как ни странно, все взаимные обвинения крутились вокруг отца, уже переработанного в крематории. Как будто все, что происходило сейчас, зависело от того, как кто относился к покойному. Может быть, потому, что два живых побега в свое время пошли от одного, уже ныне омертвевшего корня? Правда, он, Сумаедов, сам подкинул аргументы сестричке, сразу же после ее агрессивной реплики предположив тезис об отсутствии у современной прагматической молодежи любви к родному пепелищу и соответственно к отеческим гробам. Тут и началось. «А может быть, братик-папочка вспомнит, думал ли сам он об отеческчх гробах? Или о родимых пепелищах, когда о чем-то — да, да! — шушукался с участковым!» Всплеск молнии. Это кадр! Это сюжет. Значит, Онька кое-что видела или догадалась? Постороннему здесь всего не объяснишь. Реплика, понятная только в контексте жизни. «Я не хочу обижать твою мать, Зоя, но это интерпретация некультурной женщины». Для будущей графини напоминание о простецком происхождении удар весьма чувствительный. «А потом ты, сестра, все время твердишь о своем долге перед отцом быть счастливой. Все время долг, долг. А какой долг ты имела в виду, когда его, полуслепого, послала через дорогу в магазин «Свет» за лампочкой?» Снова удар молнии. В современном театре для материализации этого удара изобрели лазерную вспышку. На этот раз экстремальная ситуация и подкидывает в сценарий его будущего фильма что-то совсем неожиданное.

Как же раньше он забыл об этой семейной коллизии! Как всегда бывало, когда возникало предчувствие удачи в искусстве, вдруг начинало рывками, слышно стучать сердце. Здесь что-то есть, и он, Сумаедов, вдруг постепенно стал погружаться в это «что-то», спускаться в глубь этого случая и подбирать к нему сюжетные рычаги. То есть он еще продолжал доругиваться с сестренкой, еще приводил какие-то аргументы, старался посильнее обидеть, поддеть, раздражить, но это была всего лишь сиюминутная жестокость и азарт. А сам он, его глубинная сущность уже лелеяли этот предсюжет, поворачивая его в разные стороны, как хозяйка крутит кусок мяса, прикидывая, как выкроить из него отбивную котлету. И вдруг он увидел крупно, как в старинном кинематографе, набухающую на нижнем веке и заволакивающую радужную оболочку слезу. Его несгибаемая сестренка плакала. Деточка! Стоит ли этот мир слезы ребенка? Даже уже не один раз выходившего замуж. Прочь иронию, эту гнусную советчицу. Милая, дорогая, я помню тебя с бантиками в косичках, идущую в первый класс. И помню тебя у скромного гроба отца. За что же теперь он, Сумаедов, себялюбиво мучает ее? А может быть, это главное свойство и привилегия родного и близкого — мучить! Детеныш мой неосуществившийся, ненаглядный! Что тянет меня к ней? Вот сейчас, когда перед ее капризными слезами все мстительные и расчетливые собственные сумаедовские соображения на мгновение исчезли — он знает это за собой: исчезли ненадолго, — он держит, обняв за плечи, ее хрупкое, как у птички, тельце: родное тепло, родной дух! Да черт с ней, если ей так уж приспичило — пускай бродит под чужими каштанами! Пусть дышит чужим воздухом. Да разве он, Сумаедов, не готов на все!.. Да, но ведь и ему хочется к старости кусочек благопристойного почета, уважения и духовной стабильности. А значит? А зна-ч-ит. О кино, свет в окошке! Его последняя, самая важная, решающая картина! Или пан или пропал. На кону жизнь, и три карты ему никто не подскажет. Художник должен быть жесток, должен все время обострять свою жизнь, ибо из нее он черпает материал для искусства. Вот она, милая девочка, затихает в его руках. Единение крови, перед которым все рушится. И она сама сейчас, остывая от отчаяния, наверное, думает, что все сделано, ей пора идти собирать чемоданы, а он... сейчас ей бабахнет... И тут, — а может быть, он сходит с ума и навязчивые видения нездоровой совести и переполненного желудка преследуют его? — и тут он увидел со стереоскопической ясностью, как старый Харон, придерживая левой рукой рваный и грязный хитон, проскользнул вдоль кухни, мимо холодильника, мойки, мимо серванта, ему даже показалось, что холодом пахнуло по ногам, и скрылся за дверью, ведущей в комнаты. Взгляд его был грозен.

Сердишься? Последыш — это всегда любимый ребенок. Но разве он, Сумаедов, не его чадо? Зачем ласкать одного, нанося вред другому? Да, высок твой, Харон, долг перед младшей, которую не успел, как кажется теперь тебе из черных подземелий, выпестовать до конца. А старший? Разве не встал ты у него на пути почти непереходимой препоной? Разве не сделал его, своего сына, человеком второго сорта? А может быть, и третьего, уже после тех, кого забрали в плен, и после тех, кто остался на захваченной врагом территории. В первых двух случаях еще была возможность у общественного мнения и у закона колебаться, там еще можно было говорить, что обстоятельства восстали против человека: болезнь, ранение. А что может сказать в свое оправдание сын врага наро-

да? Твой сын не хочет входить ни в какие обстоятельства. Ты создал мир, в котором твой сын стал изгоем. И у него, у Сумаедова, есть еще некие дополнительные счеты к тебе, требовательный Харон, бог подземелий. Так не хмурь брови. Не взывай к состраданию в чужом сердце!

Милая, ласточка, голубушка, дорогая сестричка, почему сейчас, когда слезы стоят у тебя в глазах, такая жалость в его, сумаедовской душе! Какое там самолюбие, какая там ревность к твоей молодости, к тому, что тебе жить дольше и, может быть, свободнее, без обид. Он, Сумаедов, сдается, он соглашается. Бог с ними, с его собственными планами, и он говорит:

— Хорошо, я, конечно, все тебе подпишу.

Глава десятая

Как там у Данте? Девятый, последний круг?! Ну, это слишком энергично сказано, ведь у каждого рай и ад еще в собственной душе. А может быть, последний потому, что всему наступает конец, и даже саморастравление совести имеет свои пределы. Наступает момент, когда клетка перестает реагировать на раздражение: чувственный, болевой порог перейден. Шок? Опять очень энергическое выражение. Применительно к ситуации, лучше так: фильмы, пьесы и книги кончаются не потому, что исчерпан сюжет, — исчерпана ситуация и определены характеры. А может быть, эту, заключительную часть киносценария надо начать с ремарки... Резкая смена декораций. Океан, великая река, город на берегу, трубы заводов. Или — с пассажирского воздушного лайнера, повисшего над взлетной полосой, как большая птица, вытянув вперед ноги-шасси, выпустив перья-закрылки. Правда, кадр очень традиционный для хорошего фильма. Потом он, Сумаедов (нет, герой, от лица которого идет киноповествование), нисходит по трапу самолета. Прилетел! Сын прилетел на открытие памятника отцу. Значит, доусложнил, дообострил свою судьбу? Значит, все-таки выманила тебя, пескаря, из норки старушка комиссарша? Но разве не было в этом импульсивном, лихорадочном, почти истерическом решении ощущения развязки, разгадки тайны? Он летел в самолете и, как заклятие, повторял про себя: «Все должно решиться». «Все должно решиться». Что должно решиться? Жизнь? Судьба? Его новый фильм? Но разве его работа, его искусство — не его жизнь? Уже видится, видится некий хоровод, слышатся вкрадчивые шаги его героев, уже всплывают из глубин подсознания их лица и звучит мелодия. Эдакая феллиниада на низком волглом лугу возле реки под клоунскую музыку старинного цирка. И музыкант — эдакий Пан со свирелью в косматой руке. Пан? Харон, на флейте высвистывающий траурную пронзительную мелодию прошлого.

А может быть, этот Пан-Харон заманивает Сумаедова к себе в свои владения? «Сюда и самолетом трудно долететь». В те привычные и знакомые ему угодья, на влажные приречные луга, где сам был молод, любил, был любим, имел друзей и... их предавал? Но тогда, значит, у песчаного берега темной бездонной реки рвутся все родственные связи, и не слышишь уже голоса родной крови, а только лишь зов глухой мести? Может быть, в памяти своей слишком часто он вызывал из туманных долин сновидений тень покойного отца, и сейчас этот мертвый управляет живым? Все это фантом, видения, сон наяву? Но тем не менее он, Сумаедов, здесь; крошечная гостиница, за окном дождь со снегом, чуть мигающий, будто вздохи, электрический свет настольной лампы, на столе стакан коричневого, но уже остывшего чая. Чего он примчался сюда, в город на берегу океана? Разве он бился за этот памятник, за память отца, за память об его деле? Разве он, Сумаедов, мог предположить тогда, много лет назад, что разговор со старшим музейным хранителем даст какой-нибудь результат? Исповедь одинокой и усталой души. Не больше. Но воистину мертвые держат за пятки живых! Так какая сила его подняла из московской квартиры?

Он мог предположить и вообразить все. Старость всегда довольно активно ведет свое наступление, и дело ее всегда правое — победа за ней.

Но чтобы дух этой старушки так мощно противостоял разрушению времени! Чтобы человек так яростно сопротивлялся распаду собственной плоти, на гнилушках и пепле разжигал и разжигал костер! Значит, все-таки дух первичен! Иначе откуда тело берет энергию, чтобы выжить и жить?

Крошечная комиссарша, эта маленькая женщина с мучнистым лицом и близорукими глазами, через двадцать лет после их свидания уже почти не ходила. Где-то внутри, в непрочных живых конструкциях, нарушились какие-то связи, оборвались или истончились какие-то несущие или подпорные балки, истлела проводка, «поплыл» фундамент, а может быть, эти дефекты возникли уже давно — ни одно живое тело не рассчитано на ледяной барак, ужасы принудительного лесоповала, издевательства надсмотрщиц и уголовниц, — но до поры до времени все как-то цеплялось одно за другое, шестерни с натугой проворачивались, а потом вдруг остановилось, замерло, половина живого тела оказалась немой и холодной. И тем не менее, встречая его, эта удивительная и настырная старуха, столько лет методично сплетавшая свою мстительную паутину, на инвалидной коляске подъехала к трапу самолета.

День, вместивший знания длиной в целую жизнь.

За гостиничным окном, через пунктир дождя пополам со снегом, тусклая ночь, подсвеченная фонарями, и в центре ее белое пятно с размытыми, завихряющимися краями — памятник, закутанный светлой холстиной. Отсюда, из его крошечного одноместного номера — единственный полулюкс, умоляли уступить, — к утру ждут секретаря обкома, — кажется, что фигура в белом, облепленная ветром, одета в белье. Он, Сумаедов, помнит, как также в белье — бязевых кальсонах и рубашке — он видел отца, скачками бегущего по их бесконечному коридору. Это старый лагерник пробирался к своей нареченной. У них, видимо, все уже было решено. Сумаедов-младший и тетка позже других узнали, что их узник снюхался с дворничихой и вместе с нею уезжает из столицы за свой 101-й километр. Он, Сумаедов, проснулся ночью и понял, что в темной клетушке за фанерной перегородкой он один и что скрипнула входная дверь. Все оказалось просто, как в дешевом кинофильме: Онька уже открывала дверь в свою нору.

Где эта любовь? Бедная Онька, погибшая еще сравнительно молодой, горсть пепла, оставшаяся от мучений, предательств, любви и работы. И вот теперь этот бронзовый монумент — памятник Основателю. Он, папочка, был здесь первым большевиком, первым депутатом, организовывал власть, организовывал округ. А может быть, именно из-за этого, предвидя будущую раздачу бронзы и славы, так и гнал его, как борзая зайца, гнал в лагеря, к могиле, в подземелье верный друг, ходивший в той же стае, но вторым или третьим. Полу-Моцарт, полу-Сальери! И запугал на всю жизнь. Ни протеста, ни поиска справедливости, ни попытки хотя бы получить персональную пенсию, ни малейшего желания свести счеты. Затаился в щель и доживал. Милый скромный пенсионер, вырастивший позднего ребенка.

Два смелых поступка он позволил себе за вторую, реабилитированную половину жизни: накричать на ректора и в кальсонах пробежаться по коридору. Но здесь им уже руководила Онька.

Этот брак был так удивителен, ниспослан как бы от бога — нашлась живая душа, которая добровольно взяла на себя обязательства ухаживать, заботиться и, коли случится, похоронить. На какие, оказывается, сложные вопросы жизнь дает простые ответы. Оказывается, она была влюблена в отца, когда, приезжая в Москву, он останавливался у тетки. Оньке нравилось его кожаное пальто, запах одеколона, Оньке нравились пожилые мужчины — контраст по отношению к дворницкой. Ей тогда было лет одиннадцать, двенадцать. Она приметила отца очень давно, но влюбилась в день его ареста. Когда он, еще вроде бог, царь, господин целого округа, шел рано утром под перезвон курантов, доносящийся через окна сюда, в коридор, вперив в даль невидящий взгляд, в распахнутом кожане: недоразумение, еще все обойдется, разберутся (конечно, разберутся, но через пятнадцать лет), шел молодой, стройный, красивый, как эпоха. «Нас утро встречало прохладой». А по бокам два рослых мальчика с горячим деревенским румянцем, деловые, — чего прикажете? — молодые люди. Соколята. Папочка, только что поцеловав сонного сына, толь-

ко что сказав традиционное «Слушайся взрослых, я ненадолго поехал в командировку», так крепко задумался о своей коварной судьбе, что не заметил шустрой девчонки на пороге одной из комнат в середине коридора. Две косички и глаза, шейка, вытягивающаяся из маечки.

Но в этом состоявшемся все же через двадцать лет разговоре выяснилось еще одно поразительное обстоятельство.

Наступил момент, когда папочка, обнаружив, что сеть стягивается, сбежал. В нем все-таки проснулся лихой кавалерист — красноармеец юности. Или он наконец-то понял, что Молоха не ублажишь никакими жертвами? А жертвы на его совести имелись в наличии. Одну не простила ему та дочь врага, которой он так долго добивался, другую — сын. И вот, когда он понял, что пожертвованными близкими людьми все равно не отгородишься от собственной гибели, он и проделал именно то, что когда-то его, Сумаедова, матери предложила на хабаровском перроне маленькая бесстрашная делопроизводительница. Несложная, но, как ни странно, дававшая иногда поразительный терапевтический эффект, эта незатейливая страусиная технология на этот раз не принесла ожидаемого результата. Да он, наверное, и догадывался, что в его случае выигрыш почти невозможен. Это была только попытка кинуть кости. Риск без выигрыша. Когда его вызвали по делам службы в Хабаровск, он не доехал до места назначения, слез на одну пристань раньше, сел на поезд, на один, уже за городом, перегон позже и махнул, как потом, наверное, объяснял следователям, повидаться с сыном.

Каждый человек в критических обстоятельствах имеет право побеспокоиться о своей шкуре. Шанс у папочки все же был. Паук при обилии жертв иногда начинает путаться, какую букашку, увязшую в клейких тенетах, съесть первой. Переждать, замести следы, а потом снова внедриться в жизнь, стать небольшим совслужащим, носить рубашку с пристегивающимся воротничком и манжетами, проверять уроки у сына, когда тот пойдет в школу. Топор над ним висел. Именно об этом думал повелитель и господин из Петровска-на-Амуре, когда без вещей сошел с парохода на ближайшей к Хабаровску пристани. Человек смертен и неосторожен. Оставленные в пароходной кабине люкс документы, деньги и вещи будут говорить о несчастном случае. Упал за борт? Стало плохо с сердцем? Пусть фантазируют. На самоубийство будут намекать три пустых бутылки из-под водки, стыдливо оставленные в каюте, в шкафу. Версия правдоподобна: что-то у начальника произошло с женой, та оказалась то ли английской шпионкой, то ли японской разведчицей, да и вообще дамочка из бывших, ненадежная значит, запил начальник, завибрировал, дербалызнул и — бултых в воду. Конечно, поищут, конечно, разошлют телеграммы, подождут, а вдруг выплывет, дабы быть приобщенным к отчетности, высокопоставленный труп, лениво подергаются, выберут нового начальника, к самоубийцам госаппарат милостив, лишнего постараются не ворошить, а там, глядишь, и позабудут. Ситуация знакомая — живой труп, так сказать, смертию смерть поправ.

Но в этом расчете, милый Харон, была одна ошибочка: надо было лучше знать мир, который ты сам возвел и частью которого стал. Он может быть беззаботен, когда дело касается артиста, ученого или простого инженера, сболтнувшего что-нибудь под жигулевское, после бани, пиво с просоленным ростовским чебаком. Здесь возможны сбои. Если вываливается винтик из системы высокомудрого механизма, если выпадает гаечка, по которой можно восстановить безжалостное и бескомпромиссное целое, то уже здесь поднимается, охраняя собственный престиж и коммерческую тайну производства, здесь поднимается Его Величество Аппарат. Здесь, как пожар. Здесь бегут один с веслом, другой с багром.

Извивы психики, конечно, непредсказуемы и коварны. Полуузник может и бежать для того, чтобы быть пойманным, а поджигатель — объявить свое незнаменитое имя, чтобы прославиться на века. Но в сознательных и бессознательных расчетах провинциального начальника, в инциденте на реке не был просчитан крайне важный поворот сюжета. А может, просто была совершена ошибка: ему показалось, что так близко от теткиного дома звонили старинные куранты, будто усатый звонарь по утрам сам поднимался на колокольню. И если терпеливо его подождать, то можно и уговорить? Но вот принимались ли здесь в расчет не только собственный «шанс» и безопасность, но и безопасность и будущность других? Сына? Благородно ли это, когда отец посылает сына на смерть? Отдав Молоху друга и жену, тогда еще нестарый Харон решил, значит, одним рывком, прыжком акробата устоять на натянутой проволоке — спасти себя, собственную свободу и карьеру. Броситься в ноги Великому Государю? А если в святой сегодняшней терминологии, то остаться на поверхности. И, значит, создать своему ребенку режим наибольшего благоприятствования. Учись, дерзай, пляши! Чувствуй себя не сыном раба, а свободным сыном господина. Значит, ради этого и рискнул на имитацию самоубийства, несчастного случая по пьянке? Боюсь, что падание в ноги — это инстинкт кухаркиного сына. Ну, а если покидать аргументы по-другому: перед тем, как попасть в загон к Великому мяснику, к шашлыколюбивому кинто, папочка делает последнее движение: прижать к сердцу единственного сына. После этого хоть потоп! Значит, мать старательно разъединяла, разводила как можно дальше плод и древо; взяв с тетки клятву, что та увезет и усыновит чужое дитя, даст ему свое имя, она осталась в городе, то есть уводила как можно дальше лисицу от своего детеныша, а папочка, значит, прискакал — широкая русская душа, прижал сына к сердцу, демаскировал, и тут оказалось, что теперь спрятать его уже невозможно. Всем стало известно, *чей* именно это сын. О, роскошный альтруизм отцовской любви! Прижать ему захотелось, образцовый отец!

Не сможет Сумаедов простить отцу только своего вечного страха — сначала детского, потом отроческого, потом юношеского. Да ведь он, Сумаедов, пробоялся всю жизнь.

Он боялся даже в тех случаях, когда был театрально нагл и дерзок. Он осекался, юлил, шел на компромисс при первом же окрике. В глубине его дерзости, как крошечный уголек под плотным слоем золы, жил маленький и вонючий страх. Сколько взлелеянных в душе замыслов не смогло воплотиться или было срезано его неумением сопротивляться. Этому страху. Он готов был сдаться до битвы. Саморедактор никогда не забывал, чей он сын и что правда в его анкете, а что невинная ложь. Но ведь во спасение! Ему иногда снилось его личное дело, хранящееся в недрах каких-нибудь архивов, и некая кувшинная физиономия, снисходительно разглядывающая в этом «томе» всякие справки, заметки, дополнения и комментарии. Эта боязнь заставляла его всю жизнь дружно клеймить, когда кого-нибудь, по указанию, клеймили, безропотно соглашаться выступить, когда об этом едва заикался облеченный властью секретарь. Ну ведь есть же счастливые и беззаботные люди, которые хоть и глупость, но говорят свою, не сообразуя со стрелочкой компаса! У него, у Сумаедова, даже была определенная известность ангажированного говоруна. Профессионалы в этой области знали: заказную, казенную речь можно произнести лучше, а можно и хуже. И когда в пакете облыжных доказательств и доводов, губивших чужую судьбу или чужую карьеру, было вдобавок припрятано несколько удачных силлогизмов или редких цитат, это был кайф садистов. Ну что же, сознаемся, он был соратником и товарищем той общественности, которую многие старались обходить сторонкой. Это папочке простить? Брезгливость, с которой ему пожимали руку? Ну, а за что же приличные люди прощали ему «шалости»? Пошло выражаясь, за красивые слова. Да за тот незабываемый взгляд прямо в камеру, прямо на зрителя, взгляд великого артиста в той, первой, молодой картине о юности поэта-народовольца. Какое там сокровенное слово, какие там междометия! Один только взгляд поэта-народовольца сказал об эпохе, о том, что происходит в душе героя, больше, чем сотни написанных книг и тысячи телевизионных передач! Его прощали за его фильмы, сбитые сапогами цензуры и лояльным рвением вечно боязливого начальства до уровня лишь средних фильмов, но на которых по крайней мере лет двадцать воспитывался народ! О, эта лояльность чиновника за счет художника! О, эта много веков обжигающая новизной мысль, что только он, начальник, — защитник народа, а художник — возмутитель и пасквилянт. В этом чиновничьем постулате его хлеб с маслом. Но почему же он, режиссер, художник, он, Сумаедов, позволял дрессированным шакалам от искусства выдергивать из полнокровного здорового тела кусочки живого мяса? А потому и позволял. Потому что всегда, изна-

чально, существовала его беззащитность. Потому что в хоре голосующих за его новый фильм, скажем, о рабочем классе, о революции, об отдаленных этапах, всегда мог прозвучать уверенный дискант кадровика или раздраженного неуправляемостью творца чиновника: «А деликатно ли такую тему отдавать человеку, не удовлетворенному (обозленному, раздраженному, обиженному, несимпатизирующему) режимом? У него ведь что-то с родней было не в порядке». А сколько есть других, еще более изощренных, но не менее «железных» способов ввести в сомнения, поколебать во мнении большинства кандидатуру, выбросить человека из дела и работы. Поэтому ему всю жизнь и приходилось быть принципиальным лишь до определенной границы, настойчивым до определенной черты, самовыражаться до определенного уровня. До уровня все знающего и все понимающего начальника кинопроизводства. А результаты? Всесоюзные. Всего лишь. А вот у его несговорчивых коллег — мировые. Ведь он так и не ухватил этой огромной радости — выстоять до конца. Так может ли он простить все это?

После виденного и слышанного за день бессонница обеспечена. Но он, Сумаедов, никогда не боролся с бессонницей, не пил снотворных таблеток, не считал про себя листву, «слонов», «верблюдов». Бессонница для творческого человека — ниспосланное свыше состояние, предшествующее откровению. Дух, как голубь, нисходит из ночной тьмы. В это время возникают и роятся головокружительные планы и поразительные прозрения. День был полон, его надо осмыслить. И еще сладкое предчувствие владело Сумаедовым: здесь, в этом ворохе новых, обрушившихся на него знаний, пик и отгадка его дальнейшей творческой жизни. Может быть, следующая картина — ее разрешение?!

Это в тридцать и сорок лет говорится — «следующая картина», а когда заканчивается твой жизненный путь, эта картина может быть и последней. Последний фильм — последний шанс в жизни. Картина — итог, она выводит всю совокупность ранее сделанного на новый виток, в новое качество, открывает неожиданные горизонты, поднимает художника иногда так высоко, как не предполагали ранее ни его критики, ни его друзья. Может, это близость конца, истечение творческих сил заставляло душу перенапрягаться? Но! Да, да, он чувствует что-то такое. Звук божественной трубы? Откровения античного героя? А проще? Обиды и воспоминания, превращающиеся в четкую последовательность кинорассказа? А может быть, души умерших, тех, кто любил, был проклят, но созидал, слетелись в эту роковую ночь, чтобы потребовать от него, как от медиума, защиты истины, их правды — мертвые ведь всегда правы? Новый фильм — акт и мести, и искупления за всех близких и действующих лиц жизни художника. Один за всех, потому что ему дано оружие и право расплаты.

Так тряси, тряси себя и свою душу, кающийся художник!

Лия Исааковна, инициаторша, радетельница этого путешествия, встретила его в аэропорту. Мы иногда осознаем, как сами постарели, лишь вглядываясь в осевшие лица близких, которых не видели много лет. А сколько пролетело с того часа, когда он, Сумаедов, так и не решился, слушая крошечную комиссаршу, задать ей несколько роковых вопросов. Старую женщину время превратило в развалину. Но, видимо, человек, как храм, живет, пока свеча теплится на алтаре. Алюминиевые трубки, пластмасса, колесики поддерживали и помогали передвигаться этому полуразрушившемуся кусочку плоти. Но дух, неукротимость и чувство справедливости не давали телу угаснуть. Как за рыцарем оруженосец, за убогим этим тельцем, не способным двигать ногами, за сморщенным личиком, за этим, как тряпичная кукла, существом — ноги зачастую сдают у человека первыми, — за этой усохшей в объеме плотью стояла вполне здоровая и крепкая фигура. Инвалидное кресло поддерживала молодая женщина-великанша. Дочь? Внучка? Племянница? Боже мой, надо же вымахать такой дылде! Но как спокойно, уверенно, совершенно не комплексуя из-за роста, ведет себя эта дама-гренадерша! Все очень современно — джинсы, куртка и на круглом, как у Петра Первого, лице очень приличный макияж и модные, «под слепца», очки.

Кроме старушки комиссарши, его, Сумаедова, встречало в аэропорту несколько человек. Здесь порядок и протокол разработаны, как при

французском дворе, — известно, кому следует встречать народного артиста, а кому — начальника главка. Еще спускаясь с трапа, он зорким, привычным оком выделил группку: униформа людей, занимающихся местной культурой и одевающихся из засылаемого в страну импорта. Пальтишечки, сапожки, сумочки, оторочки из голубой норки — у женщин, немаркий ратинчик, ботинки «Саламандра», легкие чешские шляпы — у мужчин. Он всех увидел, мысленно «сфотографировал», но сначала подошел к Лии Исааковне. А потом все довольно быстро отрубилось. Встречающая группа — «Саламандра», оторочки, мягкие шляпы — поцокали языками, покачали многомудрыми головами — один бобрик и две роскошные «халы», скрученные из обесцвеченного волоса, — выявили и сожаление, и робкое, ну что поделаешь со столичной штучкой, понимание: программа для почетного гостя и знаменитого кинорежиссера подготовлена, гостиница заказана, но, если, дескать, Лия Исааковна выразила желание сама.., если кинорежиссер, да и мы все уже знаем, что Лия Исааковна помнит деятеля культуры в матроске и коротких штанишках, то...

Вся эта гротесковая сцена для него, Сумаедова, была диковатой. Он сразу понял, что отдаваться в руки старой женщины, да вдобавок ко всему — инвалиду, будет и легкомысленно, и обременительно, но его уже вела интуиция. Все вопросы: как все это будет? не придется ли ему мыкаться по незнакомому, хотя и родному городу? — сейчас отошли на периферию сознания. Он недаром ехал, недаром летел, недаром сорвался с места. Вот оно, сейчас откроется, какое-то главное для него знание о жизни.

Само по себе все происходящее могло показаться чудовищной фантасмагорией. Обезножевшая старуха настаивает на экскурсии по городу и в машине начинает разговор с того самого места, на котором он закончился почти двадцать пять лет назад. Но этому абсурдистскому, чуждому ему, Сумаедову, кондовому реалисту, этому абсурдистскому началу, предшествовала самая первая сцена. Едва только Сумаедов сошел с трапа, как гренадерша пододвинула к трапу инвалидную колясочку, сразу же, еще даже не поздоровавшись, пожилая дама в инвалидной коляске схватила Сумаедова за руку, и драгунша почти бегом покатила старушку, а за ней трусил, будто прикованный к ней, Сумаедов — к пасшимся неподалеку испуганным функционерам. Они безусловно знали, чем все это кончится, и, как бы боясь грандиозного скандала, уступили приезжего. И снова, еще до того, как Сумаедов задал вопрос, тот самый, который не решился задать тогда, во время первого свидания много лет назад, только получив формальное «добро» распоряжаться досугом единственного на всю эту автономную территорию народного артиста СССР, Лия Исааковна какими-то жестами, телодвижениями, а может быть, у них была телепатическая, вроде телефонной, постоянная связь, скомандовала своей гренадерше, и та немедленно развернула инвалидную колесницу с прикованным к ней — на манер пленного раба — Сумаедовым, так быстро развернула, что Сумаедов даже не успел вежливо попрощаться с городским идеологическим начальством. Сама Лия Исааковна, видимо, этого никогда не делала.

Разговор тогда закончился так: «А вы не хотите, — спросила та, прежняя, моложе на четверть века, Лия Исааковна, — вы не хотите узнать, что случилось с вашей матерью?» Он, Сумаедов, тогда же подумал, что эта подробность наверняка выбьет его из творческого состояния, разрушит необходимое чувство, которое он с трудом в себе растил и которое было необходимым компонентом для строительства громогласного, впрочем, как оказалось, никому по сути не нужного, киноапофеоза, ответил: «Нет, не интересует. Я боюсь узнать эти подробности». Уже и тогда молодого Сумаедова больше интересовала другая тайна: «Почему отец терпел рядом и тянул за собой дядю Васю Кромкина? Этого сановного красавца, хозяина и депутата». Но ведь в то прекрасное самовластное время бог знает какие пертурбации могли произойти от одного его звонка по вертушке в судьбе Сумаедова, начинающего художника. Могли и засветить пленки, захватившие «оборонный объект», могли и классифицировать здоровое любопытство, как нескромное поведение. А вот сейчас он, Сумаедов, с этого вопроса — о матери — начнет. И после этого, после встречи на аэродроме, бегом через несколько минут они очутились уже за летным полем

и зданием аэровокзала у автомобильной стоянки. Здесь опять произошел стремительный аттракцион. Так моментально были поставлены новые декорации, что ему, Сумаедову, почудилось, будто он находится в театре марионеток. Невидимый и скрытый за ширмами артист-кукловод дергает за шнурки и нитки. Одни ниточки натянулись, и кукла-старушка, восседавшая в кресле на колесиках, вознеслась на руки гренадерши; пришли в движение другие ниточки — вот уже эта старушка оказывается на сиденье в автомобиле, еще несколько движений пальцев тайного кукольника, и автомобиль заполнен вполне респектабельной компанией: за рулем кукольного автомобиля «Запорожец» гренадерша: «Меня зовут Оля», — говорит она, рядом с нею давняя старушка с живым, пронзительным взглядом, а на заднем сиденье с одной стороны складное инвалидное кресло, с другой — за Олей — кукла, изображающая режиссера Сумаедова. «Вперед!» — кричит невидимый кукловод.

«Вперед, поехали», — нетерпеливо говорит Лия Исааковна. Он, Сумаедов, наблюдая за своими спутницами, не успевает следить за дорогой. За окнами «Запорожца» желто-зелено-серый фон. «Запорожец-Наутилус» проплывает в зарослях скомканных волнами водорослей. Эта яркая среда «озвучена», картинка приобретает новое качество. Лия Исааковна, повернув свой быстрый птичий профиль к Сумаедову, спрашивает у него: «Вы понимаете, что у меня нет времени?» Он понимает, о чем она говорит, в ее возрасте это может произойти в любой момент. Судьба, правда, порой дает людям возможность развязаться с земными делами. Он отвечает, маскируя деликатность момента полуиронией: «Это вроде ведовства? Говорят, волшебницы не могут оставить этот мир, не передав свои знания?»

В жизни диалоги происходят совсем не так, как в пьесах. Смысл сквозит скорее между слов, в паузах и восклицаниях. В памяти остаются лишь отдельные фразы, да и то подправленные собственной редактурой для запоминания. В ответ он получил приблизительно такую фразу: «Людям моего поколения, — сказала старушка, — терминология эта не близка, но тем не менее правду на тот свет с собою уносить нельзя, непорядочно». Тут она добавила, что носителем правды все же должен быть живой человек, и он, Сумаедов, вдруг понял, что эта старушка соединяет в своем сознании правду со справедливостью и даже мстительностью. Вызывая его сюда, на этот праздник, она делает его наследником сложившейся много лет назад ситуации: мать — отец — дядя Вася Кромкин — дядя Гриша. Она дарит ему не только славу сына знаменитого отца.

— Но у меня нет уже злости и личной обиды. Все прошло. Пускай покойники разбираются друг с другом. Я изжил ненависть к отцу. Мне нужен только импульс к моему искусству, для следующей картины.

— Вот-вот, искусство мне и нужно. Я мстительная старушка. Разве имя Нерона или Калигулы не было бы проклято на века, если бы не несколько строчек у древних историков? Меня вполне устроит и киноистория! В прошлый раз вы еще не были готовы стать моим преемником.

— А почему вы так решили?

— Вам тогда еще казалось, что в жизни и в искусстве можно проскользнуть каким-то третьим путем между правдой и ложью.

— А теперь?

— Я читаю газеты. У вас остался последний шанс.

— Вы сделали такой вывод? Какой же?

— Рассказать правду о себе и ваших близких. Разве ваша мать не была мужественным человеком, когда во время следствия решилась на самоубийство. А разве Григорий Гоголев, который сгинул, но никого не оговорил, не достоин такого же кинопиетета, как Андрей Болконский?

Двадцать с лишним лет понадобилось человеку, чтобы соединить воедино два разрозненных факта. Какой же он, Сумаедов, художник и психолог, если так плохо знает природу женщины! Почему же во время того, давнего разговора, понимая, что, кроме цели восстановить истину, у Лии Исааковны имелись свои очень личные мотивы, он не задал ей простенького, как мычание, вопроса: «А кому это все надо, кому все эти разоблачения нужны?» Но у него и тогда, даже без этого сакраментального для римского права вопроса, должен был быть готов ответ. Где же его интуиция художника? Лия Исааковна любила. Она любила в молодости страстно и безответно, и когда ее возлюбленный был оклеветан и предан, она поклялась отомстить клеветнику и предателю. Мышь поклялась отомстить горе. Но это была, видимо, самая хитроумная в мире мышь. Или сила влюбленности и сила ненависти делает женщин столь умными? Лия Исааковна любила Гришу Гоголева. Свою месть она хочет распространить на семь поколений.

Теперь уже поздно и не к месту заламывать, как Пьеро, руки, возопить со слезой. Разве не носит он свое горе всю сознательную жизнь?! Что может добавить новое знание, почти лишенное эмоциональной окраски, к тому, что он уже пережил?! Он, Сумаедов, просто узнал от компетентного человека о способах казни. А откуда узнал этот компетентный человек? А имеет ли это значение? Маму, как Эвридику, не поднимешь сладко-жалостным пением. Даже тень ее уже истончилась, остался лишь слабый аромат в тумбочке грушевого трельяжа.

— Страшноватенькая история, Лия Исааковна, но ответьте мне только на один вопрос: вы ведь любили дядю Гришу?

— Он любил вашу мать, Денис Павлович, впрочем, как и небезызвестный Вася Кромкин.

Все стало ясно, милая Лия Исааковна проглотила наживку. Он же, Сумаедов, не Вышинский, чтобы добиваться признаний любыми средствами. Ему все понятно и так. А соседство в одной фразе двух имен подтверждает главную его мысль: влюбленная женщина мечтает разделаться со своим недругом сокрушительной силой искусства. Силой, апеллировать против которой можно лишь тем же оружием. О, как, оказывается, ему, Сумаедову, с ней по пути!

— А как получилось, что Василий Егорович Кромкин так быстро ушел на пенсию?..

Банально и скучно, как этот надоевший дождь за гостиничным окном, разрешаются житейские сюжеты, закручивавшиеся порой так замысловато. А может быть, эта избыточная, распирающая его полнота так долго мучивших и ускользавших от него знаний означает и конец его, Сумаедова, жизни? Не исчерпываемость сюжета заканчивает кинофильм, повесть или роман, а пробуксовка саморазвивающейся мысли. Может быть, этот, начавшийся проездом на собесовской колеснице с гренадершей за рулем и окончившийся несколькими стаканами крепчайшего до чифирно-лагерной кондиции чая, и есть день завершающий? И этот бронзовый Харон с головой его покойного отца, стоящий на пьедестале в своей холщовой мантии, сейчас, как командор, придет на свидание с сыном, прошагает через площадь и постучит веслом в двери маленькой гостиницы. Можно ли кого-нибудь винить в тот час, когда ты даже из могилы протягиваешь руку своему сыну. Значит, добро победительнее зла? И кто сказал, что последний кусок хлеба — самое дорогое, что один человек может отдать другому? Теперь сына будут кормить и приносить проценты биографии родителей, их ошибки, слабости и даже их любовь.

Несколько часов назад в машине, этой исповедальной камере сегодняшнего века, он, Сумаедов, получил ответ на мучивший его вопрос о дружбе отца и дяди Васи Кромкина. Может быть, в той приятельской услуге, в некоем «товарообмене» и таилась опасность, которая разрушила отцовскую жизнь? Вот она, истинная цена услуги.

— Вы спрашиваете, почему так быстро ушел на пенсию Василий Егорович Кромкин? А вы не хотите спросить, Денис Павлович, почему он добровольно отказался от памятника себе? От памятника при жизни, на который он имел некоторые основания как дважды Герой Соцтруда. Как он заранее любил этот будущий памятник, приезжал на завод, где его отливали, требовал от архитектора, формовщиков, чеканщиков, чтобы лицо было более волевым. А потом вдруг отказался: вернее, не возражал, когда состоялось решение этого памятника в городе не ставить. Будто и не было Василия Егоровича Кромкина.

Когда Лия Исааковна все это проговорила, у Сумаедова перехватило горло.

Причина, по которой Василий Егорович Кромкин оказался столь уступчивым, была невероятной.

— Выяснилось, что существуют большие сомнения относительно членства Кромкина в партии. Когда-то при получении партбилета он кое-что утаил.

Это сообщила не Лия Исааковна. До сих пор молчавшая шоферица, девушка-гренадер Оля будто выхватила, как птица, эту фразу изо рта старухи и произнесла ее со смаком и даже с каким-то садизмом. Вот, дескать, глядите, как ладно устроилось ваше правдолюбивое поколение.

— Это так, — сказала Лия Исааковна.

Не из его, Сумаедова, речений: «это было, как взрыв», «как удар молнии». Он сказал бы: «канонада». Как только на своих колесиках устояла передвижная исповедальня, если внутри нее бушевали такие откровения! Две дамы оказались очень серьезно подготовлены к разговору. Их знания извивов биографии героев были исчерпывающими.

— Это действительно так, — сказала Оля, как бы даже отрешенно, между делом, как само собой разумеющееся, ибо все ее внимание было поглощено дорогой от аэропорта в город, — и об этом есть даже косвенное признание в одном судебном деле.

Почему и сквозь слезы художник может рассматривать хитросплетения сюжета? Что за мазохизм художественной натуры! Что за пагубная воля из собственных страданий строить чертоги вымысла? Горький дар предвидения уже нашептывал, что̀ за ссылка и из какого «дела» прозвучит через минуту. Запомни, запомни эти удары сердца в остекленевшую грудную клетку, постарайся со стороны увидеть в этот мучительный момент и лица собеседниц, и свое собственное, услышать все звуки, ничего не упустить — все, все пойдет в дело. Инстинкт творца и опыт человека, всю жизнь ловящего и сводящего воедино импульсы со стороны и свои собственные, заставлял его сейчас притормаживать разговор. Конечно, он хотел бы целиком и сразу, как профессиональный пьяница бутылку гнусной бормотухи, выпить, не переводя дыхания, все то, что валили на него старуха и ее сообщница, пить, пить и пить, а потом, уже потом вслушиваться в то, что делает с его телом и мозгом этот «исторический алкоголь». Но он, Сумаедов, пересилит жажду. Два контура, наложившись один на другой, могут исказить сигнал. Выразить действительность — это поставить ее во фронт причинно-следственных и логических связей. Может быть, этим искусство и отличается от жизни?

А может быть, это для Гоголя, для Салтыковых-Щедриных, которых нам так не хватает, развеселая картина? Какие исторические сдвиги должны были произойти, чтобы столп общества, носитель истины и власти, объемы которой не снились никакому генерал-губернатору, оказался наглым самозванцем! Что за комиссия, создатель! О, Рембрандт, о, друг натуры Апеллес, о, язвительный Хоггарт, бич времени, о, Сергей Эйзенштейн, эпик и мастер сатирических изображений, именно здесь ваш хлеб, мотив для вашего бескомпромиссного искусства!

По нескольким фразам женщин, как искусник Кювье по обломку кости доисторического ящера восстанавливал весь его зловещий облик, он, Сумаедов, реставрирует всю картину.

Ну что же, милый папочка, дорогой Харон, дедушка с веслом! Твоему старому другу — пользователю привилегированной медицины, продуктов из тайных распределителей, специального транспорта, Василию Егоровичу Кромкину удалось прожить дольше, чем тебе. Он еще ожидал памятника при жизни. И получил бы свою бронзу щедрым государственным многопудьем, если бы не крошечная личинка в дереве его победной колесницы. Какие были портреты, какая стать, сколько нахапано жетонов и орденов на грудь! Сколько, наверное, изворотливости и подобострастия проявил этот выкормыш смутного времени!

Довольно рано дядя Вася Кромкин понял, что ему необходимо вступить или хотя бы числиться в доблестных рядах победившей и правящей партии. Но тогда в партии еще был силен дух личного поручительства, знаний о людях, их социальной среде. Не до седьмого, но хотя бы до третьего колена. И в этой ситуации Вася, тогда еще совсем молоденький крестьянский парень, понял, что допущенным до приобщения партийных тайн в среде его товарищей ему не стать. И вот, переехав из своей глухой губернии в почти стольный Харьков (еще до того, как он вступил в милицию? в отряд ЧОН? в Красную Армию?), он и встретился со своим старым сослуживцем, с Сумаедовым, и начал ходить на заседания одной из партийных ячеек, встал на учет, платил членские взносы, выполнял отдельные поручения, только не предъявлял партийного билета. Партбилет, по его словам, был то где-то спрятан, то пересылался, то исчезал при таинственных обстоятельствах. И ему выдали новый билет. Но когда выдавали этот новый билет, то основной мотивировкой при разборе дела были уже уплаченные взносы, ссылка на аккуратные партийные ведомости, на парадоксальность ситуации, при которой разве нормальный человек стал бы платить, нигде не состоя! Но о том, что на самом деле не было билета! — знал один лишь человек — Павел Григорьевич Сумаедов, бывший сослуживец по полку, в котором Кромкин якобы и вступил в ряды. Они встретились несколько лет спустя уже в Харькове. В этой самой милиции? В Красной Армии? Отряде?

Господи, какой перебор в сюжете! Если бы Коробков принес ему сценарий с такими извивами судеб, вряд ли поверил бы доблестному сценаристу доблестный режиссер. Не слишком ли велик уровень злодейства? В какой угол биографии ни бросишь взгляд, везде черная краска у этих созидателей и строителей. Но ведь отец так сильно и свято любил дочь и свою последнюю жену Оньку. И разве возвышение Кромкина — «услуга»! — не началось из-за любви отца к юной его, Сумаедова, матери. А может быть, этот самый В. Е. Кромкин тоже любил своих детей и у него еще тьма других скрытых достоинств? И все же, все же!..

Сколько наконец-то схваченных узелков за один день! Если все это последовательно изложить, логически и психологически обосновать, то его, Сумаедова, скромные записки разрастутся до эпических размеров. Но хватит! Не слишком ли много здесь себя?! Его личная боль уже погасла. Родители с лихвой расплатились с ним своими судьбами, дав ему возможность создать свой первый, по-настоящему искренний фильм. Да! Да! Да! Его, Сумаедова, картина складывается, склеивается, укрупняются и драматизируются эпизоды, проявляется облик главных героев, поднимаются декорации.

...Площадь небольшого города, и в середине ее памятник. Старый Харон, закутанный в белые одежды. Какие же лица, фигуры вокруг? Как помчится этот финальный хоровод?

Он, Сумаедов, долго придерживал себя, не давал разойтись фантазии, но ведь и этот искренний и личный материал должно оплодотворить выдумкой. В эту ночь он, Сумаедов, сбросит тормоза. К утру, к моменту открытия памятника, все должно быть решено. Выбор сделан. Ночь озарения. Фильм, от начала до конца, будет прокручен в сознании. И он, Сумаедов, приглашает Харона и его печальную свиту на первый авторский просмотр, как Дон Жуан Командора на ужин.

Так подведем итоги дня. Дня урожая. Айсберг на плаву. Но надо позаботиться об его подводной части, гарантирующей устойчивость. И еще одна внезапная и счастливая находка — для сведения режиссера и сценариста, а также для сведения главного героя, то есть его, Сумаедова-младшего, ибо кому, как не ему, сыграть все ипостаси Харона, — Мальчонка. Да, тот самый, ближайший и сокровенный враг. Ему, Сумаедову, нужен в новую картину этот пронзительный взгляд правдолюбца. Так пусть Мальчонка играет Сумаедова в молодости.

Итак, конспект сегодняшнего дня. Последняя инвентаризация перед началом строительства. А значит, пора прощаться с тобой, дорогая Лия Исааковна, милая старушка, ангел справедливости и мести. Миссия твоя закончена. Наверное, только завтрашний день своей цепочкой держит тебя, высохшую, похожую от старости на стрекозу. Устала жить и страдать? А так вспорхнула бы и улетела! О, как холодна и печальна миссия мести! Но кто-то должен выполнять на земле должность крота, копающего в подземелье, бескорыстного искателя истины. Как много людей проваливалось в эти свежие кротовые норы. Так что же было главным стимулом для нее: любовь или месть? Ты улетаешь, трепеща крыльями, снова молодая и горячая стрекоза, ты улетаешь в царство дорогих тебе теней, но жизнь твоя, мстительница и воительница, не пропала. Подвиг твой будет замечен. А может быть, ты ведунья? И мучаешься, устав от жизни и не находя, кому бы передать свою ведовскую силу?.. Нашла, слава богу. Заполучила наследницу. Но откуда? Он, Сумаедов, сразу признал в этой Олечке хранительницу тайн. По мрачному блеску глаз, по значительности роняемых ею слов. Какие сомнения? Ведь Лия Исааковна почти сразу же, как отъе-

хали от аэропорта, сказала: «Оля — моя ученица, она теперь новая хранительница в музее».

Значит, дело санации общественной совести в этом регионе не захиреет. В кротовые ямы по-прежнему будут валиться претенденты на бронзовое бессмертие. У этих колдуний хорошо поставленное дело. Даже если вся земля покроется больным гноящимся струпом, то внутри, в подземельях, они будут создавать свои лазы и тайные склады и ждать, когда очистится горизонт, чтобы упрямо продолжать работу мстителей и санитаров.

И с этим все теперь ясно. Но в будущем фильме эту баскетбольную Олечку, возникшую — по законам жизни — в самом конце сюжета, в сценарии надо обязательно заявить поближе к началу, в экспозиции. Рост, конечно, он, Сумаедов, ей тоже снизит, доведя до привычного. А может быть, сделать ее обрусевшей и выучившейся правнучкой той бабки из туземного чума, с чудотворной склянкой в руке? Старое ведовство, слившееся с ведовством новой эпохи. Вокруг этой Олечки можно подвигать декорации и антураж.

Ну а теперь забуримся в самое основание. В толщу личной истории, в процессы любви, предательства и дружбы. Как знаменательно, что узнал Сумаедов обо всем этом во время городской экскурсии на «Запорожце» с эмблемой инвалидной коляски. У вещуньи и ее драгунообразной ученицы, видимо, были две цели: выложить ему, сыну, то, чего он так и не удосужился узнать за своими обидами. Как много, оказывается, сделал отец, этот болтун, гаер, домашний раб в старости, как много он сделал для этих болот и трясин. Как много он сделал для этих рыбных и пушных мест. Оказывается, он чуть ли не местный Петр Первый, прошагавший в мягких сапожках по всем этим доисторическим тропам. Две жизни. Первая — городская, зримая, когда медленно вызревала цивилизованность там, где каждый дощатый метр тротуара, каждый повешенный уличный фонарь были заметны рядом с запустением, тайгой и буреломом на сотни верст, и вторая — жизнь целой географической области, в которой кто-то с огромным усилием, требовательностью и самоотдачей крутил, как вол, неподъемное колесо: грамотность, прививки, детские осмотры, трахома, интернаты, буквари, дороги, выпечка хлеба, Советы, выборы, кино, радио. Он, отец, был первым, как десантник. Откуда только знал этот не очень грамотный молодой мужчина, как следует крутить это колесо. Может быть, незнание и давало ему надежду на успех? И успех-то был, был. Кто-то ведь поставил первые тепляки, чтобы начать строить фундамент под завод оборонного значения. А теперь, когда город построен, когда садятся на бетонную полосу реактивные самолеты, городу захотелось своего первопроходца, свою легенду про своего героя. Но если городу и краю нужен такой свой герой, то пусть он будет!

Наперебой, будто страхуя завтрашнее торжественное мероприятие от какой-либо его, Сумаедова, выходки, две местные ведуньи сыпали на него цифрами, сведениями, процентными соотношениями, названиями. И он, Сумаедов, сжимаясь от стыда за отсутствие любознательности, предвзятое, как в неправедном суде, отношение к собственному отцу — как рано начинаем мы, дети, судить взрослых! — одновременно думал, как трудно в кино дается созидательная деятельность человека и как сложно не расхожими признаками передать ее. А ведь он собирается сам сыграть все это. Но и об этом хватит, пусть будет памятник!

А теперь доформулируем, сведем к пяти фразам «гвоздь» этого трагического сюжета, всю его горькую суть. Как здесь хочется изысканной новизны, какого-то сверхнового поворота, чтобы зритель ахнул от неожиданности. Не двенадцать, как у божественного Блока, а эдаких три молодца идут по большому и культурному городу Харькову, со снежком, с папахами, с примкнутыми штыками. Какая там дальше рифма у Александра Александровича? Здесь и недогадливый сообразит — «враг», «враг». Этим трем боевым парням имя, отчество, профессия и партийная принадлежность врага известны. И когда брать это профессорско-эсеровское отродье тоже все знают — в час пенья петуха, чтобы из постельки поднять ничего не понимающую жертву. Кончилось, господа, ваше время. Но одному из этих молодых и верных рыцарей революции хорошо известен и адрес.

Формула усложняется: любовь и долг. Видимо, тогда и было между двумя из трех заключено соглашение. Но об этом, возможно, догадывался и третий — Гриша Гоголев. Через полтора десятка лет два друга произвели взаимный расчет. Можно даже сказать, серию расчетов, где цена услуги с каждым годом повышалась. Юный русский красавец Василий Кромкин за добровольную личную помощь Павлу Сумаедову, командиру группы, правда, на уровне микродезертирства, за опоздание выхода оперативной группы на три часа, взял сначала малым: Павлу Сумаедову пришлось вспомнить, что вроде когда-то где-то в полковой ячейке голубоглазого друга принимали в партийные ряды, а потом он тащил его за собой по всем крутым ступеням своей партийной и советской карьеры. Это была плата и возможность осуществить неосуществимое: за эти три часа Павел Сумаедов получил возможность предупредить и договориться. Но вот любила ли мать отца? И все же, все же дети, рожденные от взаимной любви, наверное, бывают более счастливыми!

Откуда же Лия Исааковна узнала эту историю, какие сопоставила военные рапорты, рассказы очевидцев, письма и записки — о, благословен нетелефонный стиль жизни, оставляющий обрывки бумаги на берегах своего времени! — чтобы раскопать эти факты? Значит, попала в кондиционированные подвалы, в эти святая святых, и сумела изучить, добралась до чистосердечных и, естественно, добровольных признаний с грифом «Хранить вечно» двоих из этой тройки. Кажется, теперь и он, Сумаедов, наконец-то понимает причину настойчивости одной фразы в тягучих нравоучительных письмах. Какая возмутительная и не отвечавшая его, тогда молодого Сумаедова, представлениям о жизни мысль: «Не доверяй друзьям», «Откровенность — это недостаток». Какое средневековье! Герои его поколения известны: Тимур и его команда, сын полка Ваня Солнцев, Павлик Морозов, принципиальный человек. Эти фразы все же были написаны, а значит, не случайны. Может быть, он, Сумаедов, обязан был их разгадать?..

Но расплата за ту, личную, услугу на этом не исчерпала себя. Любовно-личный инцидент с годами перерастал в политический. Ухарски-дерзкий эпизод, похожий на веселое похищение из родительского дома красавицы невесты, терял романтический ореол, и на передний план выдвигался портрет врача-эсера, так сказать, портрет классового врага. Портрет год от года укрупнялся: пенсне, сюртук, цилиндр и высовывающиеся из-за этой фигуры гротескные физиономии японо-французско-американских разведок. И одновременно уходил в небытие досадный инцидент с партбилетом. С высоты все новых и новых партийных и общественных обязанностей Васи Кромкина щекотливые моменты его биографии теряли значимость, и наступило, наконец, для него то блаженное, развязывающее руки состояние, когда и помыслить стало невозможно, что этот активист, общественник и партиец всего лишь самозванец.

Сколько было всего списано на боязливую память этого обмена услугами! Какая прекрасная ширма для смелого шантажа! Ошибка обоих родителей состояла в том, что слишком поздно они догадались: равновесие нарушилось, им казалось, что до конца жизни Вася Кромкин будет бояться, что давняя тайна выйдет наружу. Но тот оказался лучшим шахматистом и быстрее понял расстановку сил эпохи. Черные начинают и выигрывают. Психологический расчет был чрезвычайно прост: кто поверит дочери и зятю врага народа?!

Ну вот и все, конец этой истории ознаменуется открытием памятника, цветами, пионерскими горнами, ветром с реки, шевелением знамен. За всем этим стоит и другая история — о том, как немощная комиссарша сотворила невероятное: к одной рослой, отлитой из бронзы фигуре — френч, галифе, широкая грудная клетка — стандарт эпохи — приварили другую бронзовую голову. И еще одна история — о том, как, несмотря на гигантскую власть Кромкина, по каким-то объективно-субъективным причинам пятнадцать лет тормозилась отливка бронзового колосса: то скульптор выражал недовольство своей работой, то оказывалась поврежденной форма, то запивал литейщик, заболевал формовщик, уходил в отпуск чеканщик, и находились еще препоны, а потом вдруг за несколько месяцев по старым фотографиям была выполнена модель, изготовлена форма, произведена и прочеканена отливка и нашелся искусник, который смог переса-

дить и приживить, как Кристофер Бернард, орган одного к телу другого. О, Лия Исааковна Тац — это ваши тайны и сюжеты для сатириков!

Кончается ночь. Меняется робкая жизнь маленького приниженного художника. Карты сданы, налиты бокалы с пенящимся вином, осталось только отгадать прикуп и собрать с игроков щедрейший выигрыш. Жизнь и ночь, превратившие раба в вольного гражданина! Ах, как бьется сердце в предвкушении желанной свободы! Ах, как бьется сердце в предвкушении той свободы и естественности в искусстве, обретения которой он ожидал всю жизнь! Фильм сложился, в просмотровом зале медленно гаснет свет... Но он, Сумаедов, боится и подумать, что его счастье, как чистое спелое яблоко. Он боится признаться себе, что не только предвкушением свободы бьется угнетенное сердце, что уже много дней, с того памятного выступления Мальчонки, с горсти таблеток и с укола в медпункте, уже много дней оно бьется с пропусками, с ослепительными вспышками или темнотой в глазах, пульсирует, как заезженная колхозным киномехаником, порванная пленка. О, боги, боги, о подземный перевозчик Харон, повремените! Какая дешевая мелодрама — смерть на пороге обретения. Какая потребительская кинобелиберда, расхожие, быстро сохнущие слезы масскультуры. Ни-за-что! Надо пережевать комок в горле, проглотить боль за грудиной... свет уже гаснет, и на титрах маленький мальчик, волоча за собой школьный портфель, идет по улице рядом с несколько удивленным боевым генералом.

Какая боль! Какая незабываемая обида! Можно ли простить такое за иллюстрацию с картинкой памятника и твоей фамилией в путеводителе по этим автономным краям? А может быть, главному герою кинокартины есть смысл произнести на завтрашнем митинге маленькую энергичную речь? Не сотвори себе кумира. Большим делам противопоставить «малые». Сопоставить «личную жизнь» Харона и его общественный приварок. Детские прививки — и согласие на арест старинного, с гражданки, друга, борьбу за грамотность — и готовность выполнить пожелание другого друга: задержаться на сутки в командировке, повременить, пока люди тьмы не арестуют бывшую эсерку, «обманом пробравшуюся в дом ответственного работника». Специфические обмены живого на неживое и своеобразные «услуги». Рассказать о том, что ответственный работник никогда не думал о том, что сам пойдет по рубрике пособников эсеров как их тайный агент. Уверенность, что Молох примет эту последнюю жертву, мать его сына, и угомонится, оказалась тщетной. Служивый видел в собственной перспективе не лагерный лесоповал, а памятник на берегу. Его собственные тайны уже не тайны. Ведь тайны, открытые устами классового врага, — это гнусная клевета.

Хороша бы была эта речь перед скульптурой, составленной из двух частей! Но имеет ли право он, сын, так осуждать и ненавидеть отца? Как бы он сам, режиссер — мыслеклрад, да, да, мыслекрад и конформист, поступил на месте этого сына киногероя? Хватило бы у него силы и изворотливости, хотя бы, как у его матери, музыкантши и дочери врага, припасти и выпить в тюрьме яд?

Будет ли в фильме сокрушительная речь, или не будет этой речи, кино продолжается, падает снег, косые отблески красного солнца бьют в огромное венецианское окно, плывет пароход, звонит по телефону наркоман-сын, две женщины, сидя на корточках, ищут кольцо на железнодорожном перроне и не находят, стоит на Дмитровке стылая заплаканная очередь, бежит через улицу очень старый человек в серой каракулевой шапке, прозываемой острословами «Иван-царевич».

И диалог сестры и брата:

— Не я же его посылал в магазин «Свет» за лампочкой!

— Но ты забыл, братик, в какой день это случилось!

Вот тут-то и задумаешься, «Кто виноват?» Жизнь воистину берет свой отсчет от первородного греха. У сестренки утром действительно перегорела на туалетном столике электрическая лампочка типа «миньон», и она послала старого, с катарактой, отца за этой лампочкой. Он купил эту лампочку, но поехал в центр и попал под колеса на переходе почти напротив его, Сумаедова, дома. Но, значит, сестренка тоже поняла, что бьет ее брата тяжелой волной: накануне у брата был день рождения, собиралась кинематографическая элита, и, естественно, за столом не нашлось места для выжившего из ума отца и легкомысленной сестры. Поэтому старый Харон отправился поздравить сына на следующее утро.

Да, искусство кино — очень конкретное искусство. Ему вынь и положь: кто же все-таки виноват? И уж режиссер-то должен знать ответ. А так не хочется этого ведовства, хирургии на собственном живом сердце. Так ведь ненароком, при слишком глубоком глотке правды, можно похоронить и главного героя! Вот и сейчас неплохо было бы разыграть сентиментальную сцену с вызовом дежурной по этажу, врача... укол, носилки... Но придется отложить. Крути, пока получается, пока измятое и исстрадавшееся воображение выдает и компонует эпизоды. Такая ночь, когда в душе немыслимая ясность, и мозг без напряжения решает поразительные задачи, бывает раз в жизни! Так крути, механик, картинку!

Но вот уже гремит финальная музыка. Кажется, что-то лирически-задушевное, вроде милой песенки 30-х годов: «На аллеях Центрального парка, в свежих грядках цветет резеда...» Под эти сентиментальные мелодии свершалось самое необыкновенное. «Можно быть комсомольцем ретивым и мечтать всю весну на луну». Так пусть под эту мелодию герои и устроят свой финальный хит-парад. «Как же так на луну? Как же так всю весну?» Вот и появляется из тумана старый, с веслом, перевозчик. Но подожди кричать свое «Мотор! Начали!», знаменитый кинорежиссер. Впереди, оказывается, играет на дудочке мальчик в матросском костюмчике. «Как же так, растолкуйте вы мне!» Это на его песенку, как на песенку крысолова, столпились тени. «Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране».

И вот уже летит немыслимая карусель! Как переодело всех героев время. В тоге римского патриция, но с накинутым поверх нее маоцзэдуновским френчем шагает с посохом и жезлом в руке Василий Егорович Кромкин; с двумя авоськами, не касаясь земли ногами, летит Онька; сидя в фаэтоне в соломенной широкополой шляпе с голубыми розами, необъятная, словно феллиниевская Сарагина, проносится тетя Тося; верхом на палочках посвистывают дворники, кучера, братья Варенцовы. Отдельной группой летят его, сумаедовские, страхи. Вот участковый милиционер, встретив его на улице, спрашивает: «Как живешь, Денис?» — «Ничего, — отвечает студент, — только вот приезжие родственники замучили». — «А?!» — говорит многозначительно участковый, и срочно, через два дня Онька увозит отца в Калужскую область к родне. Летят кадровики — в виде святош и пыточных дел мастеров. Как удивительная Сильфида в своей инвалидной коляске, с прилепленными к ней стрекозиными крыльями, проплывает в этой карусели Лия Исааковна, и в кожаных ботфортах, с хлыстом в руке, кобылицей проскакивает Ольга.

А дудочка выманивает все новых и новых персонажей: соучеников, женщин, с которыми он был близок, мужчин, которых не уважал. В виде крылатого шакала прошмыгнул массивношеий Коробков. Мама! Простирая руки в полосатой робе святой и мученицы, она медленно парит над пространством, наполняющимся тенями, и тут, наконец, — явление героя.

Точно так живые картины провозят по Красной площади во время демонстрации.

А Зойка? Господи, почему же он не подписал необходимых бумаг своей сестренке-дочке. Ни один ведь человек на этой земле не должен мучиться.

Он, Сумаедов, стоит у окна в маленькой гостинице, выходящей на городскую площадь. Стоит и чувствует, как шип входит ему в сердце, и в то же время он, единственный зритель, видит во всех подробностях свой лучший фильм.

А может быть, это тоже из будущего фильма?..

Рувим Моран

В ПОЗДНИЙ ЧАС

★

Не прошу для себя ничего,
Ничего не прошу, ничегошеньки —
Ни крупиночки, ни горошинки,
Ни того, ни сего
Для себя самого.

И не то чтоб я сам без греха
И совсем не прельщаюсь соблазнами,
Или там искушеньями разными,
Мол, и слава — труха,
И душа к ней глуха.

Но как вспомню свой тягостный гуж:
Салехардскую миску с баландою,
Волгодонскую вышку неладную,
Заполярную глушь,
Да заволжскую сушь,
Да могилы в снегах и песках —

Не хочу ни смиреньем, ни ропотом
Блага брать — пропади они пропадом!
Возле слез, после плах,
Блага — прах, слава — прах...

★

Мне кажется, что скоро я умру.
(Вдруг нынче ночью или поутру?)
И я не удивлюсь тому нисколько.
Я не погиб от минного осколка,
Я в бериевских выжил лагерях,
И хоть меня ногой не били в пах,
Под ногти не вгоняли мне иголок,
И путь мой к смерти оказался долог —
Но что-то мне теперь не по себе:
Удара жду, как колос на косьбе.

Прекрасно умереть в разгаре дела,
Когда рассудка слушается тело,
И ты б не слышал даже свиста бомб,
Не то что как скользнул в аорту тромб;
Когда еще со старыми не справясь,
Ты новых замыслов торопишь завязь.
Уж если перебраться в мир иной,
Так лучше сразу, без нудьги въездной,
Без прозябанья в списках райсовета...

Кого просить: даруй мне счастье это?

★

Задумывались вы когда-нибудь,
О чем дитя, едва родившись, плачет?
Ведь если криком надрывают грудь,
То, согласитесь, это что-то значит?

Наука нам дает простой ответ:
Мол, то да се, и легкие... Не спорю.
Но я, дитя безумия и бед,
Я, жизнь проживший, знаю: плачет горе.

Кто шепчет несмышленышу: «кричи!»?
Что просочилось в души первым ядом:
Страх жителя пещерного в ночи
Иль ужас перед атомным распадом?

Тень

Я видел тень свою. Она была
Меня моложе и стройнее.
Ладьею черной впереди плыла,
Как бы с кормы я правил ею.

От естества живого моего,
Что обособилось так четко:
Суть или то, что без нее мертво?
Электроток или проводка?

Или судьба углем рисует мне,
Как завершу я дней остаток,
Какой оставлю в камне отпечаток,
Сгорая в термоядерном огне?



Заканчиваю жизни третью треть:
Вот-вот в седины превратится проседь.
А хорошо б себя прокупоросить,
Как потолок худой перетереть,
Пройтись по всем щербинкам шкуркой мелкой,
Прошаркать кистью вдоль и поперек...

Но что ты скроешь, что спасешь побелкой,
Когда уже приходит балкам срок?
Ослабли скрепы и столбы осели,
Обои отлепляются, шурша,
И неминуемого новоселья
Страшится бесприютная душа.

31 декабря 1972 года

Памяти Бориса Ямпольского

В подвале больничного морга
Умерший товарищ мой ждет,
Пока новогодних восторгов
Бессмысленный шум отойдет.

В конце високосного года
Накрыл его смертный туман,
Как будто спешила природа
Какой-то свой выполнить план.

Еще и земле он не предан,
А мы уже глушим в пирах,
Как будто нам траур неведом,
Свои сожаленья и страх.

Но тайной какой-то повесткой
На старых друзей под хмельком
Нет-нет, а из дальней мертвецкой
Дохнет ледяным сквозняком...



Известно, отчего мелеют реки,
Но в чем причина обмеленья душ?
Тьму обвинений на среду́ обрушь,
Но что-то же таится в человеке!

Какие надо вырубить леса
На берегах желаний и привычек,
Чтоб сердце ссохлось и, резнув глаза,
В обиженном вдруг проступил обидчик?

Чтоб небосвод, и зноен, и высок,
Лишился влажных туч, нависших низко,
И — ни порогов совести, ни риска,
И, как вода, уходит жизнь в песок...



Работай сверх силы своей —
Все сбудется, хоть и не просто,
Иначе былинку в три роста
Не мог бы тащить муравей.

Терпи истязанья сверх меры,
И если не жизнь сбережешь,
Так честь. И обманется ложь,
Отступят ни с чем изуверы.

Надейся на луч в темноте,
Надейся до крайности самой,
Вверяйся надежде упрямой
В тюрьме, на костре, на кресте,

Так строгая совесть учила.
Но, Господи, где теперь взять
Надежду, терпенье и силу
Пройти через это опять?

Будимир

Пора бы с этим счеты свесть,
А мне вчера эфир
Напомнил: под Трубчевском есть
Поселок Будимир.

На ощупь знал когда-то я
Тех мест и пыль, и грязь,
Там в сорок первом кровь моя
На землю пролилась.

Да что моя! Да что она!
С утра — не от огня —
Была багровою Десна,
Как на закате дня.

И шли железные дожди,
И кровь текла, текла...
О, жертвенная! Мир буди,
Гуди в колокола!

Ужели в мире, как тогда,
Глухих полным-полно,
А им — что кровь и что вода,
Что дым газовни, что гряда
Тех тучек — все одно?

Публикация И. Боруцкой-Моран

Сергей Бардин

ЛОМБАРД

РАССКАЗ

Раннее утро. На сизом асфальте пасутся пузатые воробьи. Двор узок, как труба. Верхний этаж его стекол полыхает мягким утренним городским солнцем. Голуби слетают на асфальт кругами, медленно, вместе с собственными перьями, выбитыми взмахами крыльев из-под стрех и карнизов. Трещины асфальта белеют пометом.

Восемь часов. Синие дымы и треск от моторов несутся в вышину навстречу солнцу, расколоченному в пыли и саже окон. Рано еще, но народ густо толпится на кривой, вечно отпертой лестнице старого ломбарда. Мужчины курят внизу во дворе, на досках.

Лестница крепкая, хотя ступени ее от вечного шорканья чиненых подошв залоснились и накренились по ходу двух потоков — вверх и вниз. Поэтому напруженные тела давят поручень, он скрипит и пищит. Бабки крестятся, глядя в пролет. И узко, и страшно, но надо стоять.

Новичков в очереди почти нет. Все это люди битые или же просто умные простой житейской необходимостью: «деньги позарез нужны!» Есть тут и богатые, те, что сдают зимние пальто и шубы на сохранение от моли и краж. Но таких мало. На сохранение берут без очереди, стоялая публика знает — богатые сдатчики подойдут попозже. Спешить им некуда.

Какой-то новенький, впрочем, волнуется, что слабо оценят его пальто с воротником и вдруг не сохранят? Вдруг бедствие? Вдруг у них тут пожар или наводнение, или трубы прорвет? Старушка дама высоко смотрит на него поверх очков. Коренастый дядя оборачивается и говорит ровно: «Теща перед войной сдавала барахло, потом уезжала в эвакуацию. Потом в 47-м году приходила получать. Все цело. Государственное хранение — Госхран!» И все молчат вокруг, или негромко переговариваются, или вздыхают редко и глубоко, как умеют это делать в наших долгих, как сами годы, текучих очередях. Парень мается. Все-таки свое, не чужое, и лучше бы оценили дороже денег...

Когда пускают, то давки нет, надо глядеть под ноги, не споткнуться, не расшибиться. И минут через десять все располагается на двух этажах, в двух залах так, как будет тут и через час, и через год, как было тут сроок лет назад. Ломбард стар, неподвижен, как сама собственность. Лицо его холодно — лицо нотариуса. Здесь витает легкий дух мены и печали. Что тут может быть радостного: старые вещи — потертые пачки денег — старые вещи.

Еще висит тут закованный в металл стальных переплетов и рам запах нафталина. Глубокий старушечий запах. К середине дня, летом, перед отпусками, жара делается нестерпимой, и кто-то «плывет» в мареве духов и дыханий, начинает валиться, кося глазами и белея. И сразу крик, и женский визг! Валидол и нитроглицерин являются охотно и сразу. Скукожившегося кладут на банкетки, под телефон-автомат. И долго и слабо улыбается он окружающим, просясь вниз, на воздух. Его ведут почтительно и чинно, как обморочную мать невесты на свадьбе. Он ищет ногой ступеньку и хватает рукой перила. Потом долго сидит во дворе на досках и слушает рассказы о себе и судорожно глотает бледный дворовый воздух.

В конце толстой очереди «на залог», вьющейся и неподвижной, головой своей упершейся в окно приемки, разговоры простые, семейные. В ее начале ж, где риск несправедливого так велик, отношения глухие, чопорные. Ибо только так можно сохранить свое место и свое право! Люди крепкие и молодые молчат, а кто послабее, уже с десяти шагов начинает забегать к окошку и покрикивать, и наводить порядок. Особенно слабы отошедшие без спросу с работы женщины: мерзость предстоящего раз-

говора с начальством терзает и комкает душу и нервы. Бывает, доходит тут до больших слез.

Дело ухудшается второй, малой очередью богатых — очередью «на хранение», которая уже возникла к этому часу и тормозит движение. Возникают в большой очереди голоса: «пропускать только через пять человек», но это бесполезно. Рукописный плакат извещает, что сдача «на хранение» производится без очереди. Собственно, меняющие вещи на деньги и сами понимают, что все разумно. Платить им будут вроде бы из денег, которые ломбард получит за хранение. Но нет сил терпеть даже тень несправедливости. Самостийно устанавливается порядок: один человек оттуда, один отсюда. Бо́льшего добиться нельзя.

Обе очереди — большая и малая — уже обросли не только сиюминутной, необходимой неприязнью противостояния. Во взглядах уже сквозит более глубинная, не только что родившаяся гадливость друг к другу. Сдатчики «на хранение» чувствуют — зазорно стоять с людьми, проживившимися «до заклада». Они-то тут случайно, дело их чистое, будто в сберкассе, где каждый вклад на хранение поднимает тебя в своих глазах.

А большая очередь тоже ничем не провинилась. Там каждый сам по себе нуждается в деньгах: на отпуск, на большую покупку, отдачу долга. И тоже ничего нет страшного. Всегда выкупали вещи, не на барахолку ж понесли. Но «этим» не понять, и, стало быть, люди они дрянцо. Но все ж ломбард не сахар. Есть в нем что-то постыдное, неуловимое, в чем и себе не признаешься. И это тоже бесит, напрягает нервы, рождает злобу.

Часам к девяти расклад сил такой: гудит и переминается верхний зал, гулкий, невысокий. Внизу потише. Между этажами, на третьей с половиной площадке, уже пристраиваются в туалет женщины — в очередь. Это заведение, старинное, как и весь дом, как лестницы и пролеты, по сути своей дворовое, дачное, как бы поднято на высоту трех ступенек. Дверь кабины выходит прямо на лестницу, поток воды, дикий городской ручей слышен шумом по всем этажам. Там, внутри, есть большие бетонные подставы для ног, есть раковина, есть умывальник с водой. Поэтому многие держат в руках свои кружки или стаканы, принесенные от ближайших автоматов. Воды в автоматах нет, потому что лето, жаркий летний день.

У окон приемки как назло много народу. Не только закладчики, но и сдающие набились очередью. Приемщицы ленятся, настоящей работы показать не хотят, оттого очередь волнуется, грозит и переругивается. Ругают приемщиц, ругают старика, трясущейся рукой срывающего желтую тесьму с громадного ковра. «О, господи!», «Как дотащил-то!», «Помогите же!» — все вздохи и полуахи висят в воздухе, шелестят. Ругают друг друга, рассматривают принесенное: это тоже развлечение и интересно.

Приемщица берет пальто, переворачивает так и этак, проводит быстро рукой вдоль бортов, щупает низы. А запаренный хозяин молчит, напрягается и ждет ее решения, словно может не согласиться.

— Сто, — говорит она.

И он некоторое время молчит и отрешенно смотрит. Отказаться немыслимо: пропадут вчерашние полдня по записи. Он неохотно кивает. А уж вторая приемщица давно пишет ему квитанцию. Слово его значения не имеет. Он согласится. Он соглашается.

Две женщины из малой очереди, миловидные женщины того возраста, за которым еще долго тянется троллейбусное «девушка», снимают чехлы с шуб и тянут их на прилавок.

— Уйди! — слышится тут сзади голос с плачем. — Говорю, пропусти инвалида. Ну-у, гад!

Все головы поворачиваются. Только приемщицы во всеобщем гуле не слышат и покрикивают:

— Девушки, шубы давайте, снимайте чехлы, скорей!

Но двумя крепкими толчками отодвинув малую очередь и быстро дергая плечом так, как продвигаются обычно люди в сильном встречном потоке, старуха врезывается в массу людей с криком:

— На хранение, на хранение! Уйди, ну...

Мгновенно остервеневшая очередь начинает захлебываться криком:

— Ты что, спятила?

— Все на хранение, что это делается?

— Гони!

— Ах ты, старая!..

Но мощно работая плечом и языком, старуха продвигается вперед.

— Дурак, инвалида пропусти,— кричит она.— Инвалид войны... Ты, дура, отойди от меня.

— Черт поганый,— кричит она и нестарому мужику, которого тянет за собой.— Иди оттуда, иди сюда.

Мужик на редкость косоглаз. Он теряется в крике, суется за занавеску пустого окна, и старуха начинает бить его через головы узлом своего барахла. Он вдруг огрызается на нее, словно пес, лязгает зубами, и она отдергивает руку.

Очередь уже хохочет. Злоба быстро растаяла, кому охота вязаться с инвалидом! Уже молодой парень из малой очереди говорит:

— Не ори, тетя, башка раскалывается от твоего воя.

— Сучок ты...— остывая, бросает она ему.

Она не старуха совсем. Она боевая и бойкая баба, только лицо ее расписано сотнями морщин, словно прорезанных. Так лица папуасских вождей раскрашивают тысячами стекольных мельчайших порезов... Бабка — это так и есть — словно расписана временем. Она отдувается.

А косой вдруг, передохнув от первого натиска, делает еще один, теперь уже лишний рывок и вбрасывает свои тюки на прилавок. Опять взвывает очередь, и опять всё покрывают ее оскорбления и ругательства.

— Скотины! — кричит бабка в ответ.— Одноглазого пропустите, он же не видит ничего. Поняли, гниды? Уберитесь вон!

— Ты что,— снова остывает очередь,— с ума спрыгнула? Тебя ругает кто? Сказали — пропустят...

— Заткнитесь, прошу,— говорит она вдруг спокойно.

— Больная,— решают все и стараются отодвинуться.— Черт с ней, пусть сдает и проваливает.

Больше, очевидно, ждать от старухи нечего, и очередь, как всегда в таких случаях, переходит на самообсуждение случая.

Начинается объяснение: оправдание себя, мол, зачем она так и что с ней связываться. Поминают и детей, и молодежь, что ругаем их, а вот какие имеются старые паразитки. Стыдно. Связываться, однако, с ней никто не хочет, потому что народ пошел умный и знает, что драться — это только себя марать. А замаранный хуже глупо́го.

— А знаете,— говорит молодой парень,— она сейчас отсюда пойдет в магазин и там таким манером будет колбасу брать. Точно.

Задние подгоняют: «Давай скорее, надоело». И приемщица говорит:

— Что там у тебя, бабка? Вали на прилавок.

И косой начинает разворачивать узлы. Когда первая партия одежки вываливается на прилавок, по людям проходит новая волна воя и хохота. Задние тянут шеи, передние кричат разное, нечленораздельное... А косой бросает и бросает вещи. Во-первых, вещей много. Но все мелочь, такая мелочь, какой ломбард не видывал со дня основания. Поэтому даже беднота, закладывающая женские шапки, смеется и улюлюкает.

Вещи уж очень ношеные, тертые, хотя чистые и глаженые. Азарт толпы растворяется в смехе, на эту парочку глядят теперь как на бесплатное развлечение.

— Ты бы трусы принесла!

— Давай мне, я тебе все сохраню за трешник!

— Эх, паразитка, из-за дряни своей всех распихала...

И скоро кто-то произносит фразу чеканную:

— Документы надо у них спросить. Вот что.

И тогда постепенно зависает тишина.

— Слушайте, если он инвалид войны, пусть книжку покажет!

— Теперь им документ выдан.

— Вынимай или катись!

— Пропустите-ка меня,— говорит доброволец.

Косой вцепляется в прилавок и вытягивает шею, слепо таращится в лицо приемщицы. Документа у него нет. Обернуться он не может.

Его уже дергают за полы, он рвет плечами и не дается. А баба его вдруг заливается новым криком:

— Слепого бить будешь, убью! Не трожь моего слепого, гадина!

И пихает во все стороны руками от себя, от себя! Снова толпа отхлынывает. Приемщица раскидывает между горой шуб и дубленок два легких старых плащика, косынки, шляпку, потом горки наволочек. Уже теперь полукруг совсем становится плотен, многим неймется скорее увидеть, какие еще чудеса вывалятся из старушечьего мешка. И они сыплются: простыни, клеенки, варежки, платки.

В полукруге зрителей преобладают женщины, мужики глядят без интереса и с брезгливостью. А женщины смотрят. Потом какая-то сердобольная и дамистая не выдерживает и начинает подсказывать и учить:

— Да зачем же вы принесли такую мелочь,— говорит она.— Неужто дома не можете сохранить. Оставьте себе, и все.

Бабка оборачивается к ней с проворностью кошки и с сожалением и даже какой-то жалостью отвечает:

— Слушай, тебе какое дело? Заткнись!

Однако зря толпа смотрит на нее как на мразь. Лицо старухи уже подергивается от невыносимого напряжения этого утра. Она начинает блуждать глазами по толпе, словно не находя кого-то. И потом говорит быстро и словно бы несвязно:

— Какое ж тебе дело, а? Да живем мы с пропойцем, он все в нашей квартире пропил. Замки ломает и пропивает. А мужик какой здоровенный, говорит, если скажешь кому — убью. Этот-то проклятый, с одним глазом, не может противостоять. Все тот пропивает. Когда поедем в деревню, он все пропьет. Матрацы, простыни, до голой сетки. Одни стены остаются и кровати. Ой, боже ж мой, боже.

— Ну да, ну да,— говорит кто-то сзади.— Так просто не понесли бы они, не стали бы...

Приходит жалость. Но старуха, которой лет-то, может, столько, сколько дамам, вполне еще женственным рядом с нею, уже не соображает.

— Не твое дело,— кричит она назад. А там уж и так молчат.— Не твое дело. Муж с войны не пришел! Притащился брат его, одноногий калека, проклятый, прописала его, пропойца, думала, жить будем — а что было делать? А он тарелки супа сожрать без водки не мог, спился там. Теперь все пропивает и еще грозит: «Убью!» А потом этот пришел, с одним глазом, косой... Ничего не может, слабый. Уехать в деревню нельзя. Вся дверь покрошена топором, замки не держатся.

Толпа, которая теперь не толпа вовсе, а просто множество людей, измотанных стоянием в этих бездонных и безвременных очередях, теперь этот сбор людей молчит. Потому что до всех начинает доходить разом вся, так сказать, красота ситуации. И жизни, которая может так измолотить и выплюнуть человека, как эту вот бабу. И безвыходность. И звериную ее самозащитную наглость. Каждый думает о себе и твердо знает: такой жизни в его жизни, слава богу, нет и не может быть.

Коли так, то и слава богу.

А хозяин с хозяйкой, упрятав надежно свое достояние, отходят к кассе, чтобы заплатить за хранение восемьдесят копеек. И ломбардный кассир, быстро пересчитав, легким движением сметает монетки в кассу.

Когда затем эти двое проходят по лестнице мимо туалета и он увязывает деньги в кошель, бабка громко спрашивает:

— Пойдешь? В уборную пойдешь?

И то ли оттого, что ему стыдно женщин на лестнице, то ли от страха, что она затеет новый крик, косой оскаливается и вдруг выкрикивает:

— Ну! Ты!

И катится вниз по лестнице. Он бежит во двор, где курят и разговаривают, где голуби вертятся под колесами разворачивающихся машин. А она скачет сзади, кричит на него и топает, боится, как бы не свалился, не расшибся, дурак.

Они вываливаются с шумом, с руганью. И дворовые, не причастные к верхнему действию, с удивлением глядят на них. Солнце уже достигает второго этажа, и если просидеть еще так с час, то есть надежда дождаться его сошествия в ад.

Сверху во двор смотрит из правых окон приемщица секции драгоценных камней. Она смотрит, молчит.

— Что там? — спрашивает ее напарница, взвешивая кольцо.

Та пожимает плечами и идет от окна.

— Ничего.

Публицистика

Юрий Феофанов

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

СУЖДЕНИЯ О ВЛАСТИ И ПРАВЕ

Экономисты задаются сейчас вопросом: почему это через 70 лет мы ввозим хлеб и выдаем колбасу по талонам? Философы недоумевают: откуда социальная апатия и крушение идеалов? Правоведу в пору спросить: как же это при гласном, демократическом с виду судопроизводстве сажают заведомо невиновных, а гражданин в тяжбе с бюрократией до сих пор не имеет юридической точки опоры? Мы пытались давать частные ответы, в основном связанные с недостатками законодательства или практики юстиции. Но это дочерние проблемы одной глобальной: проблемы власти.

Мне представляется, что именно она была главной на XIX партконференции. В сущности, конференция вновь поставила вопрос о власти — коренной вопрос для всякой революции. И дала недвусмысленный ответ: развитие политической системы должно завершиться созданием правового государства; оно будет столь же ответственно перед гражданином, сколь гражданин перед ним. Иными словами, между властью и человеком проляжет право.

Но что такое право? Чтобы ответить, расскажу восточную притчу.

Некоего юношу послали учиться законам к славящемуся своей мудростью шейху. Десять лет юноша записывал на свитки изречения святого шейха. Возвращаясь на родину уже зрелым мужем, он вел за собой ишака, нагруженного тюками,— в них были свитки мудрости. И стал этот человек судить своих земляков. Кто ни придет, он тотчас развертывает свиток и зачитывает изречение. Люди дивятся учености земляка, а вот как поступать — не понимают; переспросят — а он им новое изречение, еще более мудреное. И перестали ходить к мудрецу. Однажды поехал он в горы наставлять людей в законах. При переправе через речку ишак со всей поклажей утонул. Мудрец был в отчаянии: как же теперь судить? И вот, когда пришли к нему, он, оставшись без свитков мудрости, впервые переспросил: «Так что, говорите, что у вас за дело?» А когда вник, стал вспоминать, чему учили его, и сказал, как надо поступить. Да так ясно и мудро сказал, что люди только подивились. С тех пор пошла слава об ученом муже. И говорили о нем: «Раньше-то нас ученый ишак наставлял, а теперь сам Ученый Муж».

Законы писались веками, даже тысячелетиями. Писались жестоко. И всегда в самые бесчеловечные времена безудержный произвол пытался оправдать себя словами о высоких целях и благе подданных. Где-то еще в пещерах наши пращуры сделали роковой шаг. Понимая несовершенство «базарного» решения своих проблем, они имели неосторожность передать это право одному — справедливейшему и мудрейшему. Или же молчаливо согласились с тем, что мудрейший присвоил себе право решать за всех. Ну, а дальше, как говорят, дело техники. Очень скоро на смену вечевой стихии пришла единоличная власть. Хаос толпы сменился капризом произвола. А произвол — худшее из зол для общества. Лучше знать, что тебя за такой-то поступок ждет мучительная казнь, чем не ведать, как с тобой поступят через минуту, хотя за тобой нет никакой вины. Это точно подметил великий юрист и философ Монтескье: «В государстве, которое обладает совершенными законами, человек, приговоренный завтра быть повешенным, более

свободен, чем в Турции паша». Тут нет парадокса. Приговоренный знает, за что он расплачивается, и не лишен возможности хотя бы помолиться. Вельможа при султанском дворе никогда не знает, как себя вести. Ему могут отрубить голову и за раболепство, и за строптивость. Все зависит от настроения повелителя, от того, с какой ноги он встал и что шепнул ему в тот момент другой паша.

Теоретически самовластительный султан мог бы узаконить «право рубить головы по настроению». Однако ни в одном «свитке права» такой откровенности не найти. Все абсолютно тираны присваивали себе титулы «справедливейших», «милостивейших», «человеколюбивых». И утверждали, что свято блюдут божеские и человеческие законы.

Обычно «право» мы отождествляем с «законом». Но это не так! Все-таки со словом «право» — пусть то право божественное, естественное, человеческое — связывают понятие об извечной, изначальной справедливости, о чем-то для всех одинаковом, устойчивом. Если несбыточном в этой жизни, то существующем в другой, или существовавшем в «золотом веке», или же грядущем с приходом мессии. Без надежды на это «право» человечество, возможно, и не выжило бы. «Закон» сплошь и рядом идет вразрез с понимаемым так «правом». Подданные и граждане вынуждены принимать его как установление высшей власти, обязательное для исполнения. И если вернуться к восточной притче, то я бы ее истолковал так: в горной речке утонул ишак со «свитками законов»; в памяти же мудреца-судьи остались принципы права в их изначальном смысле...

Больше четверти века назад, когда еще только входили в обиход слова «валютчик», «фарцовщик», «динамо» и т. д., мне довелось быть на одном знаменитом тогда уголовном процессе.

Несколько молодых ребят после первого Московского фестиваля молодежи и студентов нашли «золотую жилу» — стали вести валютные операции с иностранцами. Тогдашний УК был к этим противоправным деяниям не очень строг. Среди первых наших валютчиков-фарцовщиков довольно заметно выделялся Ян Рокотов по кличке «Косой». Группа ребят, которую он сколотил вокруг себя, бойко вступала в контакты с иностранными гостями для обмена неустойчивых долларов, фунтов и марок на самую устойчивую в мире валюту. Понятно, не по тому курсу, который ежемесячно публикуется в «Известиях». Сделки совершались почти открыто на улице Горького. Сам Рокотов до этого не опускался, он лишь снабжал деньгами своих агентов, а конвертируемой валютой — иногда даже эстрадные ансамбли и спортивные команды, отправляющиеся «туда» демонстрировать свое искусство и одновременно за шмотками. Проводил и другие операции. Но не в этом дело. Дело в размахе. Когда Рокотова арестовали, у него в руках был чемоданчик, а в чемоданчике 12 миллионов рублей, правда, «старых». А когда добрались до его коллег и конкурентов, то удивились масштабам валютных сделок и суммам наживы.

Фарцовщикам грозило лишение свободы лет до восьми. Мне разрешили встретиться с Рокотовым в следственном изоляторе. Настроен он был оптимистически, говорил, улыбаясь: «Рассчитываю, лет шесть мне дадут: первая судимость, зачеты... Года через три выйду. С валютой все, завязываю. Впрочем... Знаете, когда в день зарабатываешь по пятнадцать — двадцать тысяч (на «старые» деньги.— **Ю. Ф.**), это затягивает, это... как бы алкоголиком становишься. Эх, словом, выйдем — посмотрим...»

Следственные органы устроили тогда своеобразную выставку изъятого у фарцовщиков: пачки денег в банковской упаковке, с полсотни сберкнижек на предъявителя, валюта всех развитых стран, россыпи желтых монет с изображением Николая II, кольца, броши, ожерелья... Эту выставку посетило высокое, очень высокое лицо и было вне себя. Чуть ли не на другой день появился Указ, вносивший дополнения и изменения в Уголовный кодекс, ужесточая кары за ряд преступлений. В том числе за нарушения правил о валютных операциях — до пятнадцати лет лишения свободы. И процесс в Московском городском суде над Рокотовым и его компанией начался, когда Кодекс был дополнен.

Поскольку появился Указ, придающий норме обратную силу, нельзя назвать

незаконным приговор Мосгорсуда — 15 лет главным обвиняемым. Но то, что преступления совершались при действии одного закона, а ответ преступникам держать пришлось при действии закона другого,— это было противоправно. Но и этот приговор вызвал гнев высокого лица. И, видимо, гнев нешуточный. Об этом свидетельствуют те антиправовые государственные акты, которые воспоследовали. Во-первых, статья УК, касающаяся нарушения правил о валютных операциях, была вновь изменена: она теперь, как и статьи о взятках, об особо крупных хищениях, предусматривала исключительную меру наказания — смертную казнь. Во-вторых, закону еще раз была придана обратная сила. В-третьих, поступил протест на мягкость приговора по делу Рокотова и Файбышенко — совсем молодого, 22-летнего. Приговор Мосгорсуда в отношении этих двоих отменил Верховный суд РСФСР и сам заслушал дело. И приговорил обоих к смертной казни.

Юристы, с которыми я тогда беседовал по этому поводу, говорили о явном беззаконии. Позже другие юристы, которым много лет доводилось участвовать в зарубежных правовых симпозиумах, с отчаянием рассказывали, как они вынуждены крутиться и вертеться, чтобы... нет, не ответить на вопросы, а как-нибудь уйти от ответа. Потому что ответить, не роняя престижа государства, было невозможно перед фактом, не укладывающимся в рамки цивилизованного права. Но что самое важное — антигуманные и противоправные действия совершались (под влиянием, надо полагать, раздражения, вызванного количеством нечестно нажитого) в то самое время, когда развенчивался культ личности, когда шла или заканчивалась массовая реабилитация невинно осужденных, когда пусть со скрипом, но все же обретала права гражданства «презумпция невиновности», когда газеты печатали статьи о законе и беззакониях, о правах человека и недопустимости их нарушения. Свойство, что ли, это наше — такая двойственность: рукоплескать и провозглашению справедливости, и попранию ее. Я хорошо помню отклики на приговор Рокотову и Файбышенко. «Так им, мерзавцам, и надо, ишь сколько нахапали!» — таков был общий тон большинства писем читателей. Их чувства можно понять: возмущение размахом преступной деятельности заслоняло факт беззакония. Многие, очевидно, даже и не задумывались над ним: «Фарцовщики, стиляги, родину иностранцам продают — чего с ними цацкаться!» Можно упрекнуть читателей в недостаточно высоком уровне правосознания. Но когда эмоциями руководствуется высшая власть, к тому же никакими тормозами не сдерживаемая, то о законности и правопорядке можно говорить лишь условно — в докладах и передовицах.

Правовой нигилизм, о котором так резко, со ссылкой на непримиримость к нему Ленина, сказал на февральском (1988 года) Пленуме ЦК М. С. Горбачев,— сложное, многослойное явление, уходящее корнями в прошлое. Этот нигилизм насаждался в повседневной нашей практике буквально до последних двух лет и отнюдь не изжит. Трагедия в том, что пренебрежительное отношение к праву, нашедшее крайнее выражение в сталинских репрессиях и ползучее проявление в брежневские бюрократические времена,— не побоюсь сказать,— до сих пор одна из характерных черт нашего общественного сознания, подкрепляемая неправовыми действиями власти. Такова реальность, от которой никуда не денешься, правда, которой надо смотреть в глаза.

Сейчас много пишут о недостатках работы и беззакониях в правоохранительных органах, в частности на предварительном следствии, рассуждают и гадают, как бы произвол усмирить законом. Но «смирительные средства» и сейчас содержатся в УПК: он устанавливает, например, предел содержания под стражей во время предварительного следствия (9 месяцев по санкции Генерального прокурора). Не успели собрать доказательства — пожалуйста, продолжайте свою работу, но подследственного освободите из тюрьмы. Это власти неудобно: сподручнее держать человека в изоляции, без правовой помощи, чтобы выматывать его и добиваться признания. Всем ясно, что жесткие сроки мешают власти. И вот ради ее удобств по сложившейся практике, не подкрепленной ни одной правовой нормой, Президиум Верховного Совета СССР продлевает сроки содержания подследственного в тюрьме до суда. Поскольку нет нормы — нет и предела внесудебному лишению свободы. В сущности, это и есть неумение высшей власти подчи-

ниться Конституции, поставить право выше интереса, ограничить себя во имя верховенства закона. Понятно, пускается в ход испытанный способ воздействия на общественное мнение. Разворовывают миллионы, коррупция разъедает аппарат, возникает организованная преступность — что ж, спрашивают следователи прокуратуры, ведущие «узбекское дело», из-за соблюдения буквы закона матерых расхитителей выпускать на свободу?!

Я бы поставил вопрос по-иному: что опаснее для общества — коррупция и организованная преступность или же произвол власти? История дает на это красноречивый ответ: какая там «буква закона», если «враги народа»! Не из той ли же самой кассы: коль счет хищениям пошел на миллионы — какой уж закон? Значит, опять — цель оправдывает любые средства? До чего же неистребимо въелся в наше сознание, до чего глубоко пустил корни правовой нигилизм, грубо, но точно определенный в приснопамятной пословице «Закон, что дышло...». Все хотим полуправа: вообще-то «нельзя», но если очень надо, то «можно». Но полуправа, как и полуправды, не бывает. Либо оно есть — либо его нет. Третье — произвол. Неимоверно трудно корчевать в практике государственного принуждения корни вседозволенности. Думаю, куда труднее, чем в любой другой области. И перестройка будет не раз спотыкаться, если сейчас не сумеет преодолеть наслоения собственной истории.

Советскому государству досталось тяжелое правовое наследство. Рабство в России было отменено за полвека до Октября. Слово «гражданин» даже в узком сословном кругу появилось лишь при Екатерине II, до того и князь, и боярин называл себя рабом. Воля монарха была единственным законом, его приговор и в мыслях обжалованию не подлежал. Иван Грозный проливал потоки крови по неотъемлемому праву царя — в этом не сомневались ни палачи, ни жертвы.

История знает кровавые царствования и в других государствах. В Англии Генрих VIII беспощадно рубил головы, в «Священной Римской империи» массами сжигали «ведьм», испанский изувер Филипп II наслаждался корчами людей на кострах. Но есть все же существенная разница. Ибо с XIII века в Британии юридическим актом была провозглашена презумпция невиновности. Английский король, казня, нарушал закон; русский царь, казня, творил закон. В средневековой Испании и в «Священной Римской империи» при всем изуверстве инквизиции все же существовал ритуал суда. Русский царь сам вершил суд, сам творил закон. Мне возразят: да какая же разница! Ведь все это — инквизиционный суд, ритуалы аутодафе, драконовские акты английской юстиции — лишь прикрывает тот же произвол! Лицемерное изуверство! Уж лучше открыто, откровенно: хочу — казню, хочу — милую. Нет, не лучше! Одно дело, когда произвол попирает право, живущее в сознании общества, и совсем другое, когда произвол становится правом.

В России право начало обретать ценность лишь после судебной реформы 1864 года. Но не успели демократические начала утвердиться в судопроизводстве, как началось наступление реакции, особенно после «дела 1 марта 1881 года» — убийства Александра II. 1905 год принес «свободу», которую быстро сменил столыпинский режим. Праву не давали утвердиться.

Перед новой юстицией В. И. Ленин выдвинул задачу — научить трудящихся «воевать за свое право»[1]. Народ, взявший власть, за свои права еще воевать не умел, о его правосознании можно было говорить лишь условно. Но уже первые дни и месяцы нового строя показали, что право, отданное в руки народа, может быть гуманным даже по отношению к врагам. Вот приговор по делу Пуришкевича, черносотенца и ярого врага Советской власти, вынесенный под председательством народного судьи столяра Ивана Жукова 7 марта 1918 года: «Именем революционного народа Пуришкевича подвергнуть принудительным общественным работам сроком на 4 года условно, причем после первого года работы с зачетом предварительного следствия Пуришкевичу представляется свобода, и, если в течение первого года свободы он не проявит активной контрреволюционной деятельности, он освобождается от дальнейшего наказания».

Конечно, такой суд, основанный лишь на «совести», на чувствах, не мог стать государственным институтом. И одним из самых сложных участков госу-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 53, стр. 149.

дарственного строительства было создание советского права, утверждение революционной законности. И разумеется, учреждение нового суда. Те каноны судопроизводства, которые к тому времени утвердились в цивилизованных государствах, не могли и не должны были быть отброшены, как отброшена была, например, идеология старого общества.

Первостроители Советского государства были осторожны и мудры. Декреты о суде не отвергали права, созданного предшествующими веками. И в то же время утверждали на его основе новую юстицию. Декрет о суде № 1, принятый в ноябре 1917 года, подписали: «Председатель Совета Нар. Ком. В. Ульянов (Ленин). Комиссары: А. Шлихтер, Л. Троцкий, А. Шляпников, И. Джугашвили (Сталин), Н. Авилов (Н. Глебов) и П. Стучка». Он гласил: «Упразднить доныне существующие общие судебные установления, как-то: окружные суды, судебные палаты и правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех наименований, а также коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических выборов». А принятый вскоре Декрет о суде № 2 устанавливал, что судопроизводство должно вестись «по судебным уставам 1864 года постольку, поскольку таковые не отменены декретами ЦИК и СНК и не противоречат правосознанию трудящихся классов». То есть пока нет новых законов, приходится судить по старым, если они не противоречат принципам нового общества.

В принятом несколько позже Положении о народном суде устанавливался его состав: постоянные народные судьи и шесть народных заседателей по делам о тяжких преступлениях и два народных заседателя по более простым делам. При народном суде учреждалась следственная комиссия. В предварительном следствии допускалось участие защитника. Кстати, обвинителями и защитниками могли быть «все неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами» (Декрет о суде № 1).

Так гуманно начиналась советская юстиция. К концу 1918 года был создан единый народный суд РСФСР; Положение о нем предусматривало все демократические нормы. Одновременно были созданы Революционные трибуналы. Но и они, по словам видного советского юриста, занимавшего одно время пост наркома юстиции, Петра Ивановича Стучки, были скорее «органами обличения, с целями не столько карательными, сколько обличительными, только от противников революции зависело усилить их карательные функции». Известно, что противники революции шли на крайние меры, на террор. Были убиты Володарский, Урицкий; совершено покушение на Ленина. Внутренняя контрреволюция презрела все законы, божеские и человеческие. Чрезвычайные обстоятельства борьбы с классовым врагом продиктовали усиление карательной функции Ревтрибуналов. Классовый подход при всей своей исторической правоте вносил в юстицию моменты, чреватые, как потом оказалось, трагическими последствиями. Завязался очень сложный клубок: отчаянное положение новой власти требовало столь же отчаянных мер борьбы с врагами. Такие меры неизбежно подрывали идею права. И вполне логично Стучке возражал Николай Васильевич Крыленко, тоже будущий нарком юст: «Надо быть ребенком, чтобы допустить, что такая глубокая социальная революция обойдется без органов репрессии или с органами репрессии, которые имеют только обличительные задачи, или что наши противники будут состязаться с ними в области словесных прений в залах трибунальных заседаний».

Советской власти не давали утвердить правовой режим. Создание Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, шпионажем, спекуляцией, преступлениями по должности (ВЧК) было мерой экстраординарной, вынужденной, но единственно возможной как средство защиты революции. И все же руководители государства сразу задались вопросом: что это за орган с правовой точки зрения? Какое отношение имеет он к юстиции? Не станет ли он вне закона? И Совнарком постановляет: ВЧК — орган следствия, не имеющий прав судебных репрессий, он действует в рамках революционной законности, а не вопреки ей, не попирая ее. Примерно в то же время был создан Верховный Ревтрибунал при ВЦИК в составе Председателя и шести народных заседателей из членов ВЦИК — «для рассмотрения особо важных дел, при соблю-

дении всех процессуальных норм». Обратите внимание: при соблюдении процессуальных норм. Думаю, это главное. Значит, нельзя судить по прихоти, как судит султан в Турции. Значит, линия на поддержание законности противостояла неизбежному в условиях борьбы хаосу.

Гражданская война, однако, диктовала свое: приходилось в ответ на белый террор применять чрезвычайные меры подавления контрреволюции, в том числе расширить полномочия органов ВЧК, предоставив им право самим решать некоторые категории дел о контрреволюционных преступлениях, арестовывать подозрительных лиц, расстреливать на месте мятежников и бандитов, захваченных с оружием в руках. Чтобы ускорить прохождение дел, несколько упростили процедуру в ревтрибуналах.

И снова ошибка. Чрезвычайные меры необходимы. Но кое-кто использует их для сведения счетов. В «чрезвычайку» посыпались ложные доносы. Это, естественно, не могло, не должно было ослабить законности. В конце 1918 года в ЦК РКП(б) обсуждались меры по усилению контроля партии и Советского правительства за деятельностью ВЧК и укреплению революционной законности. Конкретные меры поручено было разработать специальной комиссии под председательством Ленина. ВЧК предложили более строго, вплоть до расстрела, наказывать за ложные доносы [1].

Во все годы гражданской войны прослеживается борьба двух начал: утверждение права «сверху» и его отрицание практикой. Некоторые работники юстиции стали говорить, что не нужны конкретные доказательства вины человека для осуждения его за контрреволюционные преступления. Честный, кристально честный революционер М. И. Лацис, в то время председатель ЧК и Военного трибунала 5-й армии Восточного фронта, писал в журнале «Красный Террор» (г. Казань): «Незачем искать в деле о контрреволюции обвинительные улики, а нужно решать, исходя только из социальной принадлежности обвиняемого». Очевидно, немногие тогда понимали, насколько такой взгляд опасен для будущего. В. И. Ленин, говоривший о Лацисе, что это «один из лучших, испытанных коммунистов», резко раскритиковал его взгляд, назвав нелепостью [2]. Более того, для усиления контроля за соблюдением законности 2 ноября 1918 года при ВЧК была образована специальная контрольно-ревизионная комиссия из представителей ВЦИК, ЦК и МК РКП(б), НКВД и НКЮ, а в состав коллегии ВЧК включен представитель Наркомюста, которому было вменено в обязанность наблюдать за обоснованностью и закономерностью действий органов ВЧК.

Летом 1921 года Малый Совнарком поручил Наркомюсту обследовать деятельность Межкома (Межведомственной комиссии по ликвидации иностранного имущества при особом отделе Управления распределения Наркомпрода). Вскоре стало ясно, что расследование проведено недостаточно внимательно. Межведомственная комиссия предложила отстранить следователя. Зам. председателя ВЧК Уншлихт увидел в этом вмешательство в компетенцию следственных органов. Разгорелся спор, который продолжался на нескольких заседаниях Малого, а затем Большого Совнаркома. Выяснив из ответов представителя Наркомюста в коллегии ВЧК, что тот ни разу не опротестовал постановлений ВЧК, Ленин посчитал контроль за законностью и обоснованностью предварительного следствия в ВЧК недостаточным. Вскоре, 23 декабря 1921 года, в отчетном докладе на IX Всероссийском съезде Советов Ленин говорил: «...Чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности, и тем у́же ставится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар заговорщиков» [3]. Съезд признал необходимым «сузить круг деятельности ВЧК и ее органов», возложив борьбу с нарушениями законов советских республик на судебные органы. А вскоре постановлением ВЦИК от 6 февраля 1922 года ВЧК была упразднена... Образованное тогда Главное политуправление при НКВД (ГПУ) судебных функций не имело.

---

[1] «Ленинский сборник», XXI, стр. 226.
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 37, стр. 410.
[3] Там же, том 44, стр. 329.

История становления советской юстиции дает ключ к пониманию многих явлений последующих лет и нашего времени. Первые годы Советской власти я бы назвал периодом правды, открытости, гласности в деятельности органов, призванных быть оборонительным щитом и карающим мечом революции.

Да, то был меч, открыто выхваченный из ножен, а не спрятанный в складках одежды кривой ятаган, не удавка, неожиданно захлестывающая шею жертвы. Рискну сказать, что то был период законности, пусть и в ее чрезвычайном проявлении, революционной законности. Она, конечно, вызывала нарекания ревнителей права, не говоря уж о злобствовании врагов. Хотя всем известно, что революций без ниспровержения, насилия и чрезвычайных мер не бывает. Да, были «застенки ЧК», и они наводили ужас; были заложники и гибли заложники, то есть ни в чем не повинные люди; была продразверстка, и на деревню обрушивались продотряды и ЧОНы; были внесудебные приговоры, вызванные чрезвычайными обстоятельствами, хотя, наверное, нередко и своеволием безнравственных людей, которым дали в руки оружие.

Грандиозные общественные катаклизмы не могут держаться в предписанных рамках и во всем следовать общепринятым понятиям о праве. Революция неизбежно сметала вместе со старым строем и его законность. Иначе быть не могло. Ленин предельно откровенно говорил: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» [1].

И все же то были издержки, но не принципы государственного строительства. Определив, что такое диктатура, установив диктатуру пролетариата, создатели Советского государства от ничем не стесненной, опирающейся исключительно на насилие власти последовательно шли к ее ограничению, введению в русло законности. Факты были ужасны — тенденции гуманны.

В 1922 году — последнем в активной деятельности Ленина — началось не только декларативное, но и практическое строительство правового социалистического государства. И одновременно именно тогда появились злые ростки беззаконий недалекого будущего. Поэтому, думаю, в области государственного и правового строительства необходимо возвращаться к самым истокам, к Ленину, к тем рубежам, на которых мы остановились тогда, в 1922 году, а кое в чем и глубже — к общечеловеческим истокам цивилизованного права.

Если в других сферах нашей жизни, в той же экономике, при всех ее искривлениях и потерях, мы все же создали не сравнимую с прежней индустрию, материальную базу, то в области правового строительства мы на нуле. Пусть эти слова не покажутся слишком категоричными. Не будем утешаться тем, что мы так смело разоблачаем беззакония сталинского времени. Разоблачаем, понятно. Как вопиющие факты. А не столь вопиющие? С которыми мы сталкиваемся до сего дня? И не как с исключениями из-за судебных или следственных ошибок, а как с преднамеренным беззаконием, с расправой при помощи суда над людьми.

Судопроизводство по указаниям означает, что мы утратили (а может быть, и не обрели) понятие права как социальной, культурной, исторической, общечеловеческой ценности. Такой же неразменной, как наша идеология, как религия для верующих, как культура и язык для народа. Как правда, которая не может подделываться под обстоятельства. Подделка — ложь, приспособление закона к обстоятельствам — беззаконие. Ибо, как сказал Шекспир, «Ценность независима от воли. Достойное само уж по себе достойно, не только по оценке чьей-нибудь». Наверное, не в том главная причина установления сталинского беззакония, что право не обрело социальной неразменной ценности, но и это сыграло свою роль.

Право, понятно, должно быть таким, чтобы его нормы отвечали злобе дня, задачам момента, способствовали решению этих задач. Но стержневые принципы права нельзя пригибать к злобе дня: если, например, вина человека не доказана — он не преступник, что бы мы о нем ни думали, какими бы «потребностями государства» ни диктовалось иное.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 41, стр. 383.

Однако уже наступал новый период — назову его периодом «актуализации права». А если проще — временем обхода законов и их отстранения, если они мешали «задачам дня». Это проявлялось по-разному: то в грубом попрании принципов права; то в уточнениях, опущениях и допущениях, искажавших эти принципы; то в официальных законах, которые не соответствовали понятиям справедливости и права; то в перетолковывании норм таким образом, что от основы оставалась только ничего не значащая оболочка. Впрочем, говорить о «периоде» не совсем верно, ибо временные границы не обозначены. Это скорее процесс, который, к сожалению, продолжается и по сей день, хотя, понятно, приобрел иную форму. Попытаюсь лишь обозначить некоторые его вехи.

Мне представляется, что «актуализация» правовых институтов началась в 1922 году, когда создавался прокурорский надзор. Известны слова Ленина о том, что не может быть законность калужская и казанская,— они из его письма в связи с обсуждением проекта Положения об учреждении прокурорского надзора. Письмо это «О «двойном» подчинении и законности» адресовано товарищу Сталину для Политбюро. В нем основы построения Прокуратуры, ее роль и задачи. Считается, что прокурорский надзор у нас построен строго в соответствии с ленинскими предложениями. Но это не совсем так. В конце письма сказано, что прокурор, установив незаконность решений местной власти, обязан их опротестовывать «без права приостанавливать таковые, а с исключительным правом передавать дело на решение суда» [1]. Вот этого-то «исключительного права» в Законе о Прокуратуре нет и сейчас. Прокурор опротестовывает незаконное решение в тот же орган, который его принял, или в вышестоящий. И попадает протест против беззакония в бюрократические жернова. Исчез арбитр между законом и властью. Но любой спор без арбитра неизбежно зайдет в правовой тупик.

Ленинское письмо вызвало немало споров, даже разногласий и в ЦК партии, и во фракции РКП(б) во ВЦИКе. В ЦК предложения Ленина были приняты большинством в один голос. Была образована Прокуратура, учрежден прокурорский надзор, но... без права обратиться в суд в случае, если власть не согласится сама пресечь свое же беззаконие. Естественно, тогдашним губисполкомам так было сподручнее решать «задачи дня», правовой контроль им мешал бы. Обессиленный же прокурорский надзор так до сих пор не может противостоять несметному числу противоправных ведомственных инструкций, засилью командных методов, не считающихся с законом. «Калужская» и «казанская» законности по-прежнему подавляют право, перемещаясь то в Ташкент, то в Ростов, то в Алма-Ату, а то и в самое столицу. А ведь еще на III съезде Советов 16 мая 1925 года М. И. Калинин, отметив, что гражданская война создала «громадный кадр людей, у которых единственным законом является целесообразное распоряжение властью», говорил: «Управлять — для них значит распоряжаться вполне самостоятельно, не подчиняясь регламентирующим статьям закона». И далее: «Наиболее нетерпимым управлением является управление по усмотрению, управление, переданное в личное распоряжение». Управление, добавим, сокрушить которое — задача нашей перестройки.

Было бы, конечно, верхом наивности полагать, что, останься у прокуратуры право обращаться с протестом в суд, все было бы в порядке, мы избежали бы всех беззаконий. Вряд ли. И все же тут важен принцип: своевольничать, нарушать закон, зная, что нарушаешь,— это одно; но так же своевольничать и злоупотреблять властью, зная, что никто, кроме начальства «по вертикали», ограничить тебя не вправе,— совсем другое. Не думаю, чтобы местные руководители да и «вожди» второго порядка решились бы цинично и открыто заявлять, что, коль того требуют «задачи дня», действовать можно, вообще не считаясь с законом. Сталин решился после поездки в 1928 году в Сибирь.

В связи с коллективизацией и сопротивлением методам, которыми она проводилась, были приняты законы, удобные для проведения мероприятий, пусть и противоречащие праву. А существующие законы толковались так, чтобы прикрыть ими явное беззаконие. Например, 107-ю статью тогдашнего УК («спекуля-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 201.

ция») стали применять к крестьянам, отказывающимся сдавать хлеб по госцене, хотя закон точно определял, что спекуляция — это скупка и перепродажа с целью наживы. А чтобы все-таки конфисковывать хлеб не у «крестьян», а у «кулаков», постановлением СНК причислили к ним такой широкий круг сельского населения, что кулаком мог быть объявлен практически любой. В. Тендряков в рассказе «Пара гнедых» точно подметил: «Что было законно на прошлой неделе, становилось преступным сейчас».

А в 1930 году товарищ Сталин открыто заявил: «...XV съезд оставил в силе закон об аренде земли, прекрасно зная, что арендаторами в своей массе являются кулаки. ...XV съезд оставил в силе закон о найме труда в деревне, потребовав его точного проведения в жизнь... Противоречат ли эти законы и эти постановления политике ликвидации кулачества как класса? Безусловно, да! Стало быть, эти законы и эти постановления придется теперь отложить в сторону...» Железная семинарская «логика», которой в пору изучения трудов Сталина мы, тогда совсем молодые, так восхищались. Никто против нее не решился бы выступить — ни судебная инстанция, ни надзор,— это ясно. В тридцатые годы судебная система верно служила произволу единоличной власти. Не буду говорить о законодательстве в период массовых репрессий. Продолжу суждения о том, как шел процесс актуализации права во времена, когда на массовые беззакония прошлого хотели закрыть глаза. Не столь откровенно, как прежде, но власть предпочитала, когда это вызывалось сиюминутными потребностями, не сообразовывать свои действия и меры с правом, а приспосабливать право к этим потребностям.

Наверное, всем памятны газетные публикации последних лет в защиту хозяйственных руководителей, суровейше осужденных без вины или во всяком случае не за меру их вины. Это дела Сургутского, Стародубцева, Худенко, Жандыбаева и многих других. Руководители колхозов и предприятий если что и нарушали, то параграфы финансовых или иных ведомственных инструкций. Тянули эти нарушения максимум на выговор, а люди получали по 10—15 лет тюрьмы. А ведь у них не было никакого более или менее надежного ориентира, позволяющего сообразить, как же делать нужное стране дело и не попасть под суд. «Сейчас у меня Звезда Героя,— говорил председатель литовского колхоза имени 60-летия СССР Альбертас Мейлус,— а мог бы получить и срок... Такая планида председательская: ходили за нами рука об руку и Звезда, и тюрьма». И это не в сталинские времена...

Как же так случилось, что честные руководители в либеральный период нашей жизни ходили между тюрьмой и Звездой? А все то же пригибание права к злобе дня. Административная система породила воровство и коррупцию в невиданных до того размерах. Хозяйственники даже министерских рангов оказались замешанными в хищениях и взятках. Чтобы оградить «народное добро», которое из-за бесхозяйственности стало поистине ничьим, нагородили неуклюжую, громоздкую и абсолютно неэффективную пирамиду контроля. Проверок, ревизий и посейчас тьма, машина контроля вроде бы работает. Но вот воры ее легко обходят, а честные люди до недавнего времени объявлялись ворами и наказывались жесточайше. Тотчас же, воспользовавшись конъюнктурой, выползли прямые негодяи. Талантливый, но строптивый хозяйственник мог попасть в жернова адской машины по звонку сверху — «телефонное право» тоже описано достаточно подробно.

Как же удалось извратить право? Нельзя ведь признать вором человека, ничего не укравшего? Оказывается, можно, если «актуализировать закон». Против бесхозяйственности и разбазаривания государственных средств надо бороться? Еще бы! Но не может же власть бороться сама с собой. Ей нужно переложить собственную вину на кого-то и как-то оправдать это. И возникает судебная практика: наказание «за хищения в пользу третьих лиц». Без анализа и оценки происшедшего, без элементарного сочувствия к человеку. Собственно, сам человек выпадал из судопроизводства: судили по актам, ведомостям, накладным. Хотя судьи не могли не знать: осуждение без точно доказанной вины — преступление против правосудия.

Что это такое «хищения в пользу третьих лиц», я понял, когда познакомился с делом Кенеса Жандыбаева. Избранный председателем отсталого колхоза «Луч Востока», Жандыбаев, стремясь вдохновить людей «на труд и на подвиг», сделал то в точности, что и герой нашумевшей в свое время пьесы А. Абдуллина «Тринадцатый председатель»: вынес на правление вопрос о поощрении людей, того достойных, хотя итоги работы за год оснований к тому не давали. И вот около 150 тысяч рублей, полученных лично колхозниками в качестве премии, посчитали похищенными лично председателем. И председатель был осужден: 13 лет лишения свободы! Это было в 1985 году.

Точка в этом деле поставлена была лишь на пленуме Верховного Суда СССР, оправдавшего Жандыбаева. В своем решении пленум записал: «Выплата премии за активное участие в сельхозработах произведена не по личному указанию председателя, а по решению правления колхоза и собрания уполномоченных, которые согласно пп. 45 и 49 Устава колхоза являются органами управления колхоза, при этом собрание уполномоченных — высшим органом... Отдельные же нарушения, допущенные осужденными при оформлении документов, не влекут уголовной ответственности и могут быть рассмотрены правлением колхоза в соответствии с его Уставом». Но решение это было принято уже в 1987 году. Вот всего лишь один пример того, как обладающие властью расправляются с неугодными людьми, насилуя саму юстицию.

Вопрос о взаимоотношении власти и права не снят, а, наоборот, только поставлен перестройкой. И нам, думаю, надо обращаться туда, к самым началам, когда, ошибаясь, исправляя ошибки, Ленин и его соратники все-таки пытались строить правовое социалистическое государство. Ленин тогда, словно прозревая будущие неудачи этих попыток, писал: «...Местная бюрократия с местными влияниями = худшее средостение между трудящимся народом и властью» [1]. Противостоять таким влияниям — и не только бюрократии местной — может единственная сила: демократизация государственной и политической системы и утверждение права как безусловного регулятора общественных отношений. Лишь это и создаст гарантии против «актуализации», извращения законности.

Но тут мы неизбежно должны подойти к вопросу, о котором не очень-то принято было даже дискутировать. Может ли нормально функционировать власть, если она сосредоточивает в одних руках законодательство, управление и контроль? Или все же не так уж реакционна классическая теория государства, в котором три власти уравновешивают друг друга: законодательство, управление и суд? Суд как третья независимая власть?

С идеей соединения законодательства, управления и контроля в одном лице связано создание Советов депутатов (рабочих, крестьянских, солдатских, потом депутатов трудящихся, а сейчас народных). Однако мы знаем, как уже больной Владимир Ильич, чувствуя, что время его отмерено, страстно искал такие институты партии и государства, которые могли бы противостоять единой власти, бесконтрольной власти — в сущности, абсолютной власти.

В качестве противовеса злоупотреблениям единой власти были созданы Центральная Контрольная Комиссия в партии, Рабоче-Крестьянская инспекция в государстве, прокурорский надзор в сфере законности... И все-таки они оказались не над ней, не вровень с ней, а при ней, при власти, так как не были закреплены конституционно со всеми правами и механизмами действия. Потому так легко административная система отбросила их или приспособила на свою потребу.

Монтескье видел идеал государства в просвещенной монархии, где высшая власть издает разумные законы и сама же им подчиняется. Наверное, монархи нарушали законы. Не в том дело. Разве не плодотворна сама эта мысль: высшая власть правит только через право, самоограничивает себя рамками права? В иных, понятно, условиях, но мы возвращаемся в принципе к этой идее. Делегаты XIX партконференции обсуждали вопрос о разделении функций власти: была предложена иная схема конституционного контроля. И все же, думаю, идея «трех властей», если мы хотим выработать концепцию правового социалистиче-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 428.

ского государства и строить такое государство, напрочь отброшена не будет. Мне кажется, что судебную власть как одну из трех властей нельзя отстранить от государственных функций, ограничив ее областью правосудия. Опять же вспоминаю Ленина: «...Если бы Совнарком нарушил постановление ВЦИК, то он подлежал бы привлечению к суду» [1]. Не было и нет такого суда в нашем государстве. Но значит ли это, что не может быть? На страницах журнала «Коммунист» академик В. Н. Кудрявцев писал: «Известно, что, обсуждая пути развития демократии и самоуправления в будущем обществе трудящихся, марксисты критически относились к теории «разделения властей», которая резко отделяла законодательную деятельность от исполнительной. Однако исторический опыт показал, что соединение, слияние этих функций полезно далеко не всегда». Сказано достаточно осторожно, но сказано. Не упомянута «третья власть» — судебная. И все же утверждение, что «общенародное государство мыслимо только как социалистическое правовое государство», вплотную подводит к мысли о конституционном суде в качестве самостоятельной структуры.

У нас практически отсутствует опыт конституционного контроля за действиями власти. Хотя кое-что и было. Функции, связанные с обеспечением законности на высшем государственном уровне, Конституция РСФСР 1918 года возлагала на ВЦИК. После образования Союза ССР конституционный контроль стал осуществлять Верховный Суд СССР. Правда, по Конституции СССР 1924 года сам Верховный Суд не наделялся правом принимать решение об отмене противоречащих закону государственных актов. Он мог обращаться в Президиум ЦИК СССР. К тому же Прокурор Верховного Суда (была такая должность до создания Прокуратуры СССР) мог ставить вопрос о законности тех или иных актов органов государственной власти не только перед Верховным Судом СССР, но и непосредственно перед Президиумом ЦИК СССР. И что интересно, около двух третей протестов, направленных в Президиум ЦИК, были признаны основательными. Об этом сообщалось в печати, в Отчетах ЦИК СССР. С начала 30-х годов эти функции Верховного Суда стали все более ограничиваться, а в 1933 году вообще были сняты; предполагалось, что их будет выполнять Прокуратура СССР. На деле конституционный контроль был просто-напросто упразднен.

«Известия» однажды рассказали, как в Польше административный суд решал спор между гражданином и правительством. И решил в пользу гражданина. Необычный для нас случай. Меж тем во многих странах, в том числе социалистических, существуют конституционные и административные суды. В Польше конституционный трибунал вправе отменять акты органов управления, если они не соответствуют Конституции. Если же, по мнению трибунала, Конституции не соответствуют законы, принятые Сеймом, или утвержденные Сеймом декреты Государственного Совета, то он обращается к Сейму, который и принимает окончательное решение. В Югославии конституционный суд страны оценивает даже конституционность актов Скупщины: его решение является определяющим — Скупщина должна ему подчиниться. Административные суды в ряде социалистических стран специально рассматривают дела, связанные с деятельностью аппарата управления. И, как видим, даже споры граждан с правительством. Не знаю в подробностях опыта работы этих учреждений — он заслуживает того, чтобы его изучать не только для написания специальных монографий. Перестройка и демократизация, если мы хотим сделать их необратимыми, без независимого правового контроля невозможны. Иное будет означать возврат к командной регламентации.

Борение традиций и реформ всегда сложно и болезненно. Мы сейчас как раз на самом пике этой борьбы. И особое значение приобретают гарантии прав человека перед лицом власти. Михаил Сергеевич Горбачев говорил на XIX партконференции: «...главное для характеристики правового государства состоит в том, чтобы на деле обеспечить верховенство закона. Ни один государственный орган, должностное лицо, коллектив, партийная или общественная организация, ни один человек не освобождаются от обязанности подчиняться закону». Сказано достаточно категорично: никаких изъятий и исключений перед лицом закона.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 40, стр. 268.

В этом видится возврат к истокам, к тому, от чего стали уходить после смерти Ленина.

На XIII съезде РКП(б) Г. Зиновьев процитировал одного из выступавших на съезде инженеров в Ленинграде. Тот говорил: «Коммунисты, как материалисты, считают необходимым и нужным дать людям в первую очередь предметы первой необходимости, а мы, интеллигенты, говорим, что в первую очередь нужны права человека... Интеллигент — это всякий человек, будь то крестьянин, будь то рабочий, будь то человек с дипломом, это человек, который ставит превыше всего права человека, считает, что человек — высшая ценность в государстве». Приведя эти слова, Зиновьев, тогда один из первых руководителей, вождей партии, сказал, что никаких таких прав инженер не получит, что все это «меньшевизм». Зиновьев и другие — сторонники или оппоненты Сталина — постарались низвести право, которое должно бы обретать в новом обществе независимую социальную ценность, до уровня некоего прейскуранта цен, служащего сиюминутным потребностям. Поставив вне закона или по крайней мере в условия неравного для всех закона «классово чуждые элементы», они подорвали право как стержень государственности. И сами стали жертвами произвола и беззакония.

Пустым оказался многажды повторяемый лозунг «Все во имя человека, для блага человека» — не только и не столько потому, что не удалось обеспечить население материальными благами и бытовым комфортом. Мы не сумели сделать реальными провозглашенные права. А только при этом условии лозунг «Все для человека» может воплотиться в наполненную содержанием практику. Утверждение самоценности гражданина немыслимо без понимания права как самостоятельной социальной ценности, независимой от сиюминутных выгод и целей. Так что придется ломать многие стереотипы, отказываться от въевшегося в плоть и кровь и прежде всего учиться новому мышлению. Мы охотно и часто говорим, что закон для всех один, что все перед законом равны, но будто бы не хотим пропускать в сознание эту истину, тем более утверждать ее в качестве общественного принципа. Однажды член Верховного суда, увы, не нашего, а США, высказал, на мой взгляд, коренную для становления законности мысль: «Права честных людей могут быть соблюдены лишь в том случае, если они обеспечены и самым гнусным и отвратительным личностям».

Принять эту правовую аксиому оказывается не так просто. Сошлюсь на эпизод из редакционной практики. В газету поступила жалоба из деревни: на приусадебном участке одной старой женщины председатель колхоза «отрезал сотки по самые углы». Корреспондент выехал в деревню, все проверил, жалоба подтвердилась: отрезан участок незаконно. Подчеркну — незаконно. Но какова аргументация в защиту этой женщины? Ее муж был из первых организаторов колхоза, сама она — участницей съезда колхозников-ударников, старший сын погиб смертью храбрых на фронте. «И у такого человека незаконно отрезали участок!» — восклицал автор статьи. Его спросили: если бы у этой бабушки муж был бы некогда подкулачником, а сын, допустим, власовцем, тогда бы, при такой ее биографии, можно было бы незаконно отрезать участок? Это смутило обсуждавших рукопись. Да, говорили, участок нельзя урезать и при «такой биографии». Но и выступать в защиту старухи было бы неполитично: «Народ бы нас не понял». Пожалуй, и не понял бы. Пришли бы, уверен, сотни возмущенных откликов: «Кого под защиту берете, мать власовца?» И газете трудно было бы доказывать, что защищает она не «мать власовца», а законность и правопорядок. Корреспонденцию опубликовали с «сильными» биографическими аргументами. И, хотели того или нет, внушили читателям: возмутительно, когда беззаконно поступают с заслуженными людьми. Читатель неизбежно сам додумает: если человек не заслуженный, с ним, с его правами можно и не считаться... А это и есть отрицание равенства всех перед законом.

По многим линиям в нашей истории шло низведение гражданина до положения винтика государственной машины. И одна из самых разрушительных линий — унижение гражданского достоинства и отрицание права на собственное мнение. Вспомните бесконечные персональные дела и проработки. Вспомните, от скольких ни в чем не виновных требовали покаяния. «Есть мнение» — эти слова,

произносившиеся и на узком совещании, и на общественном форуме, заставляли умолкать всех. А мнение «большинства»? Что, ему должен каждый подчиняться? А если оно не право? Или если я не хочу подчиниться? Проблема... Причем проблема, от обсуждения которой мы старательно уходим. А она коренная для демократического и правового общества.

Да, право выражает в своих нормах волю общества, народа — то есть в этом смысле большинства. Но воплощенное в конкретный закон, право в какой-то конкретной ситуации уже большинству не подчиняется, оно может как раз стать защитой интересов меньшинства, даже одного против коллектива, когда эти интересы законны. Только закон дает человеку как таковому уверенность в себе, в своих правах, чувство собственного достоинства.

Мы повседневно сталкиваемся с унижением повсюду — в магазине, в ателье службы быта, в почтовом отделении, да в любом учреждении, будем уж говорить честно. Долгое внушение в каком-то смысле правильной мысли «нет прав без обязанностей» исказило наше положение в обществе и перед лицом бюрократии. Потому что обязанности — это одно, а права — это другое. Если я не выполнил какой-то своей обязанности, разве это автоматически лишает меня какого-то законного права? А вот взаимность прав и обязанностей участников общественных отношений — вот это должно утвердиться в нашей жизни. В жизни правового общества. Но опять-таки это станет реально лишь при утверждении права как независимой ценности, определяющей действия механизмов, обеспечивающих интересы граждан.

Очевидно, разговоры о роли права и этих механизмов останутся пустыми, как бывало прежде, если в обществе не займет достойного места суд, как арбитр в споре гражданина с любым государственным учреждением, вплоть до самых высших. Пока этой роли у него практически нет. Но я бы не назвал никакого другого органа, который смог бы сделать реальными права граждан перед силой управленческой бюрократии.

Дело еще в том, что функция суда, как демократического арбитра, защитника прав граждан, неизбежно укрепит его независимость и в отправлении правосудия. А независимость суда, подчинение его только закону — один из основных постулатов правового общества. Это положение закреплено в Конституции СССР. Независим ли в реальности наш суд? Если отвечу утвердительно, мне вряд ли поверят, особенно на фоне разоблачительных публикаций последнего времени. «Телефонное право», «приговоры по указаниям» вызваны прямой зависимостью судей от местных властей по горизонтали и от вышестоящих органов юстиции по вертикали. Начиная с подбора кандидатов в судьи на «выборах» до получения судьей квартиры или места в детском саду для ребенка — все в руках начальства.

Но представим себе: суд выведен из-под непосредственного влияния аппаратной бюрократии, закон стал единственным начальником правосудия. Все равно до того, как закон обретет безраздельное господство в обществе, будет еще далеко. Потому что проникнуться сознанием приоритета права, права столь же незыблемого и неразменного, как, скажем, для нас марксистско-ленинская идеология, трудно будет прежде всего самим служителям правосудия. Не все 70, но лет 65 они программировались совсем на другое: не на служение праву, не на защиту гражданина от бюрократических начал государства, не на поиск истины, а только на борьбу с преступностью или с тем, что велено было считать преступностью. Но борьба с преступностью не есть задача суда. Мы ему такую роль навязали и тем исказили смысл правосудия. Борьба с преступностью — дело милиции, других специальных органов. Прокуратура осуществляет надзор за законностью этой борьбы. Суд же решает — доказано или нет предъявленное человеку обвинение. И ему не должно быть дела до статистики: установить, виновен конкретный человек или нет,— единственная задача уголовного суда. Ну и, конечно, определить меру наказания, если вина доказана.

Искажение задачи суда породило так называемый «обвинительный уклон». Он возник не сегодня. Но на заре Советской власти он не утверждался как право. Революция и гражданская война требовали чрезвычайных мер против врагов Со-

ветской власти, поднявших на нее оружие. Но именно в то время Дзержинский издал приказ: «Прежде чем арестовать того или иного гражданина, необходимо выяснить, нужно ли это. Часто можно, не арестовывая, вести дело, избрав мерой пресечения: подписку о невыезде, залог и т. д. и т. п.». Дзержинский исходил из того, что государство должно соблюдать правовой режим, защищать права человека, даже заподозренного в прямых антиправительственных действиях. В том же приказе подчеркивалось: «Это необходимо для того, чтобы избежать ошибок и самим не превратиться в преступников против Советской власти, интересы коей мы призваны блюсти».

Вдумайтесь: «самим не превратиться в преступников против Советской власти». Такую бы формулу да в постановления наших высших инстанций «о мерах по дальнейшему укреплению...». Мы, правда, сейчас открыто пишем и говорим о преступлениях «органов» против партии и народа в сталинские времена, перестали умалчивать о преступлениях наших современников из правоохранительных учреждений. Однако против «обвинительного уклона», который начал набирать силу после 1922 года, расцвел чертополохом неприкрытого произвола в период террора и остается, увы, действенным до сих пор, настоящей борьбы не ведется. Ни сверху, ни снизу. Смею утверждать: мы имеем дело не со случаями, не с отклонениями, не с выходами за пределы закона, а с концепцией, которую демократизация, перестройка и возвращение к правовым началам государственности должны развенчать и похоронить.

Концепция эта с ручеечка начиналась в очень серьезных документах — партийных программах. Понятно, программы ставят цели. В 1961 году на XXII съезде партия наметила цель — ликвидировать преступность и даже устранить все причины, ее порождающие. Но давайте задумаемся: а можно ли искоренить преступность вообще? В какие угодно отдаленные от нас времена? Сомневаюсь. Достижимо покончить с убийствами из корысти или по пьянке. А убийства из ревности? Реально покончить с коррупцией и воровством в обществе, где всего всем будет в достатке. А есть ли предел властолюбию и честолюбию? Не уверен. Если, конечно, всемогущая наука не превратит с помощью генной инженерии дерзающего, неугомонного, все познающего и все пробующего человека в некое жвачное существо, довольствующееся изобилием колбасы и тряпок. Вспомните «счастливые государства» великих утопистов, «города солнца» — да не дай бог! Из оставшихся человеком кто-нибудь обязательно взбунтуется и, значит, будет преступником. Даже государственным. Недавно опубликованный роман Замятина «Мы» сказал об этом предельно ясно. Можно посчитать безнадежным пессимистом французского юриста Г. Тарда, утверждавшего: «Если бы древо преступности со всеми его корнями было вырвано из общества, оно бы оставило в нем зияющую бездну». Можно посчитать это утверждение буржуазными бреднями, но можно и задуматься над ним.

Содействовало ли программное положение о полном искоренении преступности утверждению обвинительного уклона в юстиции? Прямые связи проследить трудно. И все же они есть. Провозглашенная и зафиксированная в законе доктрина — ни один преступник не должен уйти от ответственности и возмездия — вроде бы не может вызвать сомнения. Но опять же спросим себя: а если уйдет? Ведь кто-нибудь обязательно уйдет. Стопроцентная раскрываемость—фикция, это подтверждают история и практика юстиции. Но когда нереальность провозглашается практической задачей, тогда возникают дела, подобные «Витебскому». Они плоды этой доктрины. Что и говорить, жестокие убийства женщин создали чрезвычайную обстановку. Требовалось немедленно найти и обезвредить преступника или преступников. Но разве правовое мышление сыщиков и прокуроров, если бы таковое было, и высоко понятый долг слуги закона позволили стряпать дела на заведомо невиновных или по крайней мере на подозреваемых, чья вина ну никак не доказывалась? А независимым судьям осудить людей на смерть при сомнительных уликах? Но «Витебское дело» — факт. Позорный для юстиции факт.

Отрицать влияние доктрины «ни один не должен уйти» можно бы еще, если бы «Витебское дело» оказалось единственным, если бы, как прежде, его отнести к разряду отдельных, нетипичных. Так нет ведь! Юристы в следственном аппара-

те убеждены: их единственная цель — ловить и разоблачать. И такое мышление юристов — первый противник перестройки, ибо перестройка — это установление и восстановление законности. Законности, независимой от любых указаний и требований. Беда в том, что извращенному юридическому мышлению способствует и определенная направленность уголовно-процессуального законодательства.

Если пройти вместе с задержанным через дознание, предварительное следствие, через суды первой и последующих инстанций, то можно насчитать столько процессуальных «огрехов» и «упущений», что они превращаются в некие закономерности. При этом все они имеют четко выраженную направленность: не на то, чтобы обеспечить права гражданина перед лицом власти, а на то, чтобы власти было удобно разделаться с ним побыстрее и полегче. Процессуальный кодекс пестрит расплывчатыми и неотработанными нормами. Но всякая нечеткость здесь — верный путь к произволу. Закон все же в руках его слуг, а не хозяина, коим числится народ.

Как встали «слуги» на дыбы, когда возник вопрос о допуске адвоката на предварительное следствие. Еще бы! Редкий следователь скажет обвиняемому, что тот может не давать никаких объяснений, ничего не доказывать, просто-напросто все отрицать. Адвокат это скажет, разъяснит туманно сформулированное право обвиняемого «давать объяснения». Хотя суть-то этого права обратная — «не давать». Тайна следствия — сейчас основной инструмент «поиска истины», который низвели до вполне прагматической задачи: «прижать», «поймать на слове», «выбить признание». Но это ведь, извините, основной постулат инквизиционного процесса. Мы же только в западных фильмах видим: задержанный требует в полицейском участке адвоката, без него отказывается давать показания, и полиция безоговорочно принимает это требование. Хотел бы я посмотреть, как такое требование было бы встречено в нашем отделении милиции...

Приведу письмо, присланное мне следователем: «Не настало время сейчас делать уклон только в сторону демократизации, как то: допустить адвокатов с момента возбуждения уголовного дела, утверждать, что приговор может быть основан только на доказательствах, полученных в суде, и т. п. Если пойти по этому пути, то будут привлекаться к ответственности единицы, а сотни тысяч преступников будут гулять на свободе и растаскивать государство. Об этом надо в первую очередь думать, а не писать только о том, как изжить из практики случаи неправильного осуждения, необоснованных арестов. Уже в данное время эта политика привела к тому, что суды не желают судить многих расхитителей и взяточников; прокуратуры отказываются их арестовывать, а следствие отмахивается от таких материалов как черт от ладана. Как поется в песенке, «то ли еще будет ой-ей-ей», если и дальше будет продолжаться блюдение законности только с одной стороны — не дай бог, привлечь одного невиновного...»

Это позиция. И что ж винить следователя — ему это внушили и внушают. Хотя пора бы внушать другую «формулу правосудия»: ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственности. Вот генеральная задача юстиции на все времена. Вот «презумпция невиновности» в действии. Однако... поймать, уличить и тем отчитаться — для следователей по-прежнему самоцель. Какие уж там поиски истины, толкование сомнений в пользу подозреваемого и обвиняемого! Это все для учебников, а также для экранных «Знатоков»...

Но вряд ли мы доберемся до истоков зла, если обвиним во всем лишь недобросовестных следователей. Вот, скажем, «Литературная газета» в трехлетнюю годовщину перестройки, 30 марта, в рубрике «Дискуссионный клуб «Позиция» публикует сокращенную стенограмму его заседания под заголовком «Правосудие и гласность». Среди других затрагивается вопрос о выводе следственного аппарата из подчинения прокуратуре, одна из задач коей — осуществлять надзор за этим самым аппаратом. Представитель Прокуратуры СССР В. Илюхин заявляет:

— Не согласен и никогда не соглашусь. Следственный аппарат в прокуратуре должен быть. Это орудие для эффективной борьбы с преступностью. Не будь его, не была бы восстановлена справедливость в Краснодаре, не было бы громких дел в Узбекистане.

В дискуссии, да еще под заголовком, содержащим слово «гласность», каждый волен свободно высказать свою точку зрения. Но насколько верна правовая и социальная позиция представителя прокурорского надзора? Какую же справедливость восстанавливали в Краснодаре и Узбекистане? Там поймали и разоблачили, частично и осудили крупных воров и взяточников. Можно, понятно, и это назвать справедливостью. Но все же под ней понимается нечто иное. В частности: а не было ли грубо попрано само право при восстановлении справедливости?

Я получил письмо от человека, который проходит в качестве обвиняемого по тому самому «хлопковому делу». Он сидит в тюрьме 5 лет и 8 месяцев. До суда. То есть сидит не виновный, а лишь обвиняемый. Письмо его было передано в Прокуратуру СССР — никакого ответа. Но тут, на счастье, сама прокуратура устроила встречу с журналистами. Я и попросил кого-либо из Прокуратуры СССР высказать хотя бы личное мнение: насколько этот факт согласуется с принципами права и справедливости? Ответ сводился к таким примерно позициям: «Вы что же, хотите, чтобы из-за нарушения сроков содержания под стражей до суда мы отпустили на волю крупного вора?», «Он обвиняется по статье, которая предусматривает 15 лет, поэтому ничего страшного, эти шесть лет ему зачтутся». Не стану даже комментировать эти юридические новеллы. О какой самостоятельной ценности права можно говорить, если заподозренного в преступлении органы следствия ставят вне закона при благословлении надзирающей за законностью инстанции? Так стоит ли искать причины столь резко сейчас критикуемого «обвинительного уклона» в личных качествах следователей, если обвинительную позицию занимает прокурорский надзор?

Тяжко приходить к такому выводу, но на него наталкивают факты: закон пока что не охраняет достаточно надежно гражданина от произвола чрезмерной бюрократической власти; прокурорский же надзор не стремится толковать неясные и расплывчатые нормы, «сомнения» в пользу обвиняемого. Наоборот, поощряет следствие к единственной цели — поймать, разоблачить, посадить и тем отчитаться перед бюрократическими инстанциями. Пока что даже нарушивших закон оперативников, следователей и прокуроров, разоблаченных в печати, юридическими и партийными инстанциями признанных виновными в беззакониях, и то стараются спасти: вместо предания суду ограничиваются административными мерами, чаще всего липовыми, поскольку они сводятся иногда к почетной отставке, а то и к выгодному передвижению по службе, бывает, и к повышению.

Верю, что это ненадолго. Позиция нового Генерального прокурора СССР А. Я. Сухарева, с которым мне довелось беседовать вскоре после назначения его на должность, эту уверенность подкрепляет. Здесь мы все же перестроимся, не можем не перестроиться, ибо слишком велик накал общественного мнения. Но это ведь даже не четверть дела. Кадровые вопросы мы порой решаем очень смело. Труднее изменить мышление работников и руководителей юстиции. А без этого нет и речи о правовом государстве. Чтобы власть научилась уважать право, служить ему, она должна отказаться от присвоенных себе командных позиций, самоограничить себя правом, строить свою политику в соответствии с правом, а не попирая его.

Думаю, развитие кооперативов, их автономная, независимая от администрации, подчиненная лишь закону деятельность станет пробным камнем для власти, выдвинет перед ней непривычные проблемы. Если их будут решать «мимо права», то кооперативы, семейный подряд, аренда и прочие экономические нововведения могут и заглохнуть. Надежда на то, что прагматический интерес самой власти совпадет с идеей установления правового режима в экономике. По отношению к гражданину, особенно к гражданину, попавшему в орбиту внимания «органов», такой непосредственной заинтересованности у властей нет. Ну посадили, ну выпустили, ну возместили ущерб, извинившись в лучшем случае сквозь зубы. А реабилитированный не имеет права обратиться в суд с требованием привлечь к ответственности следователей, которые применили к нему незаконные методы, прокуроров, которые утверждали заведомо надуманное обвинительное заключение. Реабилитированному негде искать правды. Он, понятно, может пожаловаться — и жалуется — в те же бюрократические инстанции. Всем, однако,

ясно, что административный контроль за административным произволом малоэффективен.

Право оспорить действия власти не жалобой, а судебным иском — вот один из элементов правоохранительной системы правового государства. Этого элемента нет, и появления его не предвидится. Правда, статья 58 Конституции СССР предусмотрела право гражданина обжаловать действия должностных лиц. Но лишь через десять лет, в 1987 году был принят закон, имевший целью привести в действие эту статью. Привел ли? И рядовые граждане, и юристы отвечают отрицательно. Закон этот словно бы обманывает сам себя. Обжаловать можно лишь действие «лица». Ясно, что председатель, например, исполкома или руководитель учреждения очень легко проведет свое решение через исполком или коллегию. «Оформит». На это прямо указывали «Известия» в статье, опубликованной перед самой сессией Верховного Совета СССР, на которой закон принимался (кстати говоря, без предварительного всенародного обсуждения). Никто ни на сессии, ни после нее не дал хотя бы компетентных объяснений — почему же отвергается высказанное гласно и ясно логичное предложение: предоставить право обжаловать любое незаконное действие, исходит оно от лица или органа. Поэтому реально воспользоваться своим правом в полной мере, так сказать, попасть под спасительную сень закона — этого граждане практически не могут. (Также, впрочем, не могут прибегнуть к закону об ответственности за преследование за критику.) Власти было бы очень неудобно, если бы в судебном порядке оспаривались ее, а не отдельных чиновников действия и акты.

Раз мы уже коснулись реабилитации... А как обставляется высший акт торжества справедливости — вынесение судом оправдательного приговора или прекращение дела прокуратурой? По-моему, слишком скромно. Иногда до того скромно, что никто толком не знает: оправдан человек или прощен, сняли с него обвинение или просто отпустили из жалости. А ведь реабилитированному должны вернуть все несправедливо отнятое у него: должность на работе, честное имя перед общественностью, не говоря уже о компенсации имущественного ущерба. К сожалению, так почти не бывает. Когда осуждают, машина работает четко и быстро, а когда оправдывают — со скрипом. Мне довелось слышать горестные рассказы многих реабилитированных об их мытарствах сейчас, в эпоху гласности и демократизации. Раз побывал «там», значит, уже не чист. И печально, когда такую позицию занимают партийные комитеты. Ну а если человека не восстанавливают в партии, то какая уж реабилитация!

Полному восстановлению доброго имени в глазах общественности препятствует и одна из формул оправдания человека — «за недоказанностью обвинения». В юридическом смысле эта формула столь же безупречна, как, скажем, «за отсутствием события» или «состава преступления». В общественном мнении смысл формулы часто искажается: «Виноват, но не смогли доказать». Чуть ли не тайное прекращение дел способствует утверждению такого мнения. Так не стоит ли предусмотреть законодательно ритуал оправдания? Может быть, с обязательной публикацией в местной печати? О том, как человека осуждали, я читал немало — от судебной хроники до документальных повестей. А вот о том, как происходила процедура оправдания, и двух газетных строк не прочел.

Некто, умный и циничный, сказал: одна смерть — это смерть, миллион смертей — это статистика. Судебная статистика существует, она регистрирует, сколько приговоров вступило в законную силу, сколько рассмотрено гражданских исков, сколько судебных решений изменено... Они очень важны, эти подсчеты. Но куда важнее была бы открытая статистика оправдательных приговоров, а также дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям; сумм, выплаченных людям, без вины просидевшим в тюрьме; месяцев и годов их пребывания там. Да, это будет констатация брака следственной системы, работы конкретных служителей фемиды. Но гласность так уж гласность, тут она поистине может стать «мечом исцеляющим»...

Мы сколько угодно можем ругать наш суд, говорить о его послушании «указаниям» и все же должны признать: он первый в системе юстиции начал перестраиваться, обращаться к праву. Это предопределено во многом самой судебной

процедурой. Она не просто устанавливает порядок рассмотрения дел. В ней заложены демократические основы судопроизводства: гласность, состязательность (участие обвинения и защиты), обязательный протокол, порядок вступления решений в законную силу и т. д. Могут возразить: все процедуры — и гласность, и состязательность — соблюдаются, а все равно людей сажают без доказательств, никакие резоны защиты не действуют. Сами об этом пишете... Все так. Но ведь и пишут потому, что суд открыт, тогда как следствие ведется в тайне глубокой. Потому, на мой взгляд, суды сейчас оправдывают обвиняемых или возвращают дела, что они демократичны и открыты по изначальной своей сути.

Правда и то, что суды не используют и половины предоставленных законом возможностей быть настоящим органом правосудия. Я имею в виду коллегиальность выносимых решений. Выбранные нами же народные заседатели вполне могут поставить заслон беззаконию. Ведь их двое из трех судей, и они равноправны. Никто не мешает им вынести такой приговор, который подскажет совесть. Повторю: никто (и ничто). Чего бояться народному заседателю? От станка или от плуга его не отстранят. Тем не менее подписи демократически избранных, никак не связанных аппаратной дисциплиной народных заседателей стоят под приговорами, которые стыдно читать,— настолько они необоснованны, а иногда просто несуразны. Никакого юридического образования не нужно, чтобы увидеть бездоказательность улик. Но это приговоры! Это документы, обрекающие невиновных людей на годы страданий, горше которых только смерть, да и на саму смерть. Не в сталинские, в наши дни.

Может, народные заседатели и впрямь не ведают, что творят? Да нет. «Известия» опубликовали письмо двух (!) народных заседателей, которые покорно подписали обвинительный приговор, будучи несогласными с судьей. Пусть это уникальный случай — он один убедительно говорит о том, что система судопроизводства нуждается не «в дальнейшем совершенствовании», а в коренной реформе.

Сейчас видят выход в увеличении числа народных заседателей. Судье-де труднее будет с ними справиться. Все же это, думаю, не решение проблемы. Нет, я не решусь сказать: нам надо немедленно в ходе реформы на ее нынешнем этапе ввести суд присяжных. Не потому не решусь, что это слишком смело: такие предложения уже высказывались, в частности, группой ученых, даже разработан проект перехода к такому суду. И все же вряд ли мы готовы к этому. По крайней мере пока...

Предвидя возможные возражения, я сам постараюсь выдвинуть аргументы «за». И главный из них: а разве пониколаевское общество середины прошлого века было готово? Тем не менее вслед за отменой крепостного права власть пошла на решительную судебную реформу. Официально узаконенный инквизиционный следственный процесс, соответствующее ему исключительно бюрократическое, причем тайное судопроизводство при прямом подчинении суда самодержцу или назначенным им чиновникам сразу же, без всяких переходов, заменялись гласным, публичным судом с присяжными заседателями.

Произошло чудо. Место «судейской крысы», крючкотвора из казенного ведомства вдруг заступил общественный деятель всероссийского масштаба. Адвокат стал кумиром толпы. Речи правозащитников печатались в газетах, наиболее яркие ораторские жемчужины передавались из уст в уста; анекдоты, обычно связанные с именем Плевако, хотя он был лишь одной из «звезд», дошли до наших дней. Скрытое за семью замками, наводящее на простых смертных страх, судопроизводство стало мощным фактором социальной и культурной жизни России, очагом демократии в самодержавном режиме. И это суд!

Присяжные заседатели выносят оправдательные приговоры, заставляя власти и консервативную часть общества скрежетать зубами от злости и бессилия. Не хотелось бы лишний раз упоминать оправдание Веры Засулич. Не могу, однако, не упомянуть, потому что тут заслуга выдающегося нашего юриста Анатолия Федоровича Кони, председательствовавшего на том суде и давшего напутствие присяжным. Не вольный адвокат, а «ответственный работник» царской юстиции, высокопоставленный судейский чиновник благословил оправдательный приговор под-

суднмой, бросившей вызов самой власти. Не хочу преуменьшать личного мужества А. Ф. Кони, но и демократическая атмосфера российского суда второй половины XIX века не могла не влиять на него. Суд стал тогда, пожалуй, единственным официальным институтом, где российская общественность брала уроки демократии, училась демократии. Мы мало знаем о том, как начинал юрндическую карьеру помощник присяжного поверенного (адвоката) Владимир Ильич Ульянов; слишком короткой была его судебная деятельность. Но политик, теоретик и руководитель государства, В. И. Ленин считал суд присяжных истинно демократическим учреждением.

Почему же тогда возникают сомнения в целесообразности немедленного введения суда присяжных? Все-таки и в России XIX века, и в странах, где он существует ныне, такой суд решает сравнительно небольшое количество дел. Очень сложна процедура, в частности, отбора присяжных. Очень многие нынешние дела, связанные с должностными преступлениями, хищениями, преступлениями, ставшими следствием бесхозяйственности и разгильдяйства, требуют квалифицированного юридического осмысления.

Возможно, мои опасения несостоятельны, дай бог. Но если говорить о судебной реформе, то не стоит ли попробовать полумеру? Такую, например. Увеличить по некоторым делам количество народных заседателей и на их самостоятельное решение, без должностного судьи, оставить один вопрос: «доказано обвинение или не доказано». Не «виновен» — «невиновен», а «доказано» — «не доказано». Потом вместе с судьей заседатели могли бы обсудить мотивы решения, вынесенного в предварительном порядке. Все же первоначальный вердикт, вынесенный народными заседателями отдельно, стал бы серьезной преградой на пути бездоказательных приговоров. Такая полуреформа мне представляется подступом к суду присяжных — истинно демократическому и единственно, на мой взгляд, уместному в будущем правовом государстве. Ибо независимый от властей суд — его непременная составная часть.

У нас много хороших законов, достаточно провозглашенных прав и свобод. Откройте Конституцию — там наши права зафиксированы. Как ими воспользоваться — вот проблема! Важнейшая для демократизации общества. Для перестройки. Не так давно был телемост, по-моему, с англичанами. Те задали вопрос насчет демонстраций — возможны ли они у нас. Аудитория притихла, но потом одна женщина бодро ответила: «Конечно, возможны, приезжайте на 1 мая». Спасибо ей за находчивость, да только честнее было ответить: «Не знаем». Потому что действительно не знали. Указ о проведении шествий и демонстраций был принят позднее. Толком не знаем мы права на свободу слова. Что это такое? В каких пределах? Могу ли я быть уверенным, что за свободно высказанное слово мне не скажут «пройдемте»? Реально право только тогда, когда я могу его отстаивать не жалобой в инстанции, а судебным иском.

Процедурные вопросы мы чаще относим по ведомству бюрократов, это-де канцелярщина и формализм. Между тем закон без формализованных процедур не закон, а декларация, ни для кого не обязательная. Нет, процедура — это все, это действенность, двигатель правовой системы. Стоит напомнить, что Сталин, борясь за единоличную власть, прежде всего узурпировал как раз процедурные механизмы. Провозглашая демократичность «сталинской Конституции», он оставлял одни декларации без правовых рычагов, делающих законы законами. Между прочим, и Брежнев провозглашал: «Закон живет, действует лишь тогда, когда он исполняется. Он обязателен для всех, его должны соблюдать все без исключения, независимо от положения, чина и ранга». Прямо-таки перестроечное заявление. Оно, как и многие другие, осталось словом, не воплощенным в дело. Конституцию 1977 года мы, по сути, начинаем приводить в действие только сейчас.

Власть не может нормально функционировать без обратной связи, без анализа того, как ее действие отзовется на гражданах. «Бюрократическое средостение» между властью и народом разрывает эту связь: импульсы идут сверху вниз, а наверх не возвращаются или же возвращаются в сильно искаженном виде. Сверху вниз идут слова, не подкрепленные делами, а низы отвечают социальной апатией. Только право со всеми процедурами его реализации, с исковой практикой и независимым судом способно такую связь обеспечить. Социальная справедливость немыслима без гражданской справедливости, то есть полной, исчерпывающей реализации наших прав и свобод, записанных в Конституции...

Начал я с притчи о мудреце, который лишился свитков с канонами и стал судить по праву. Нам придется «утопить» многое из того, что вошло в практику юстиции, очистить ее от всего, идущего вразрез с истинным правом, с его принципами. Это «утопить». А чему дать жизнь? Подытоживая сказанное, я бы назвал три «кита», на которых должна сосредоточиться перестройка в области взаимоотношений власти и закона: утверждение права как неразменной социальной ценности; конституционного контроля над всей государственной системой до самого верха; независимого суда как гаранта прав граждан.

Собственно, это не только идеи, но и сущность прямых резолюций XIX партийной конференции о реформе политической системы и правовой реформе. В этих документах и программа практических действий, и сгусток наших надежд. Сам ход партийного форума показал всем нам реальную возможность демократического обновления социалистического общества.

При всех поворотах нашего многострадального пути мы не отступились от завоеваний Октября: эксплуатация человека человеком не возродилась, частная собственность не вернулась. Провозглашенное революцией равенство всех перед законом, приоритет права над целесообразностью, о чем настойчиво говорил Ленин,— этого мы не сохранили. Право было изъято из гражданского оборота, его превратили в постыдное прикрытие произвола. Так что возврат к началам, в сущности, во многом будет означать новое строительство. Или такие коренные реформы, которые обратят, наконец, закон лицом к гражданину, а право превратят в неразменную ценность общества, регулирующую отношения государства, общества и личности в духе идей равенства и справедливости. А это идеи социализма.

Ю. Черниченко

Кто виноват, или Что делать?

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. УРОКИ КУЗЬМИЧЕВА

В ста пятидесяти километрах на юг от Москвы, в тридцати пяти на север от Тулы лежит ГПЗ «Зыбино». Не обманитесь: ГПЗ — не государственный подшипниковый, а государственный племенной завод, его назначение — выращивать и поставлять чистопородный молочный скот. Во всем остальном это самый натуральный совхоз, то есть административно, приказами, управляемая обширная ферма, где работники — нанятые, а земля и средства производства им не принадлежат. Вся власть формально в руках директора совхоза, фактически же делится между: а) московской (министерской, теперь госагропромовской) командой, поскольку «Зыбино» входит в союзную систему племзаводов; б) областной системой натурального обложения и технического дележа, ибо «Зыбино» обязано кормить полумиллионную Тулу (сам ГПЗ десятилетиями харчится из универсамов белокаменной); в) и телефонной, нигде не регистрируемой, но самой обязательной «указивкой» районного партийного комитета, который в хозяйственном отношении, может, и «не царствует», зато, безусловно, «правит».

Эта обширная ферма не может прогореть, стать банкротом, потому что любые убытки от перемен курса, от новшеств сверху, инициатив снизу, починов сбоку и т. д. будут возмещены из бюджета СССР, то есть из кармана налогоплательщиков.

Эта крупная ферма не может разбогатеть, так как все ее прибыли, плановые и внеплановые, поступают в общий котел, там делятся сообразно потаенным замыслам высших горизонтов, и будет ли асфальт «Зыбина» ровнее иных путей сообщения, окажется ли борщ в столовой ГПЗ наваристей и ароматнее других общепитовских блюд Ясногорского района Тульской области, зависит не от экономики племзавода, а от энергии выпрашивания. Чтобы получить свое, надо его выпросить.

Эта современная (генетикой завезенного из-за границы скота) ферма должна соединять интересы трехсот тридцати человек полурабочих-полукрестьян, которые в силу гарантированности оплаты труда, невозможности никого уволить и владения небогатыми казенными квартирами в достаточной степени равнодушны к финансовым или натуральным итогам деятельности «Зыбина». Не было еще чудака, который бы не спал ночей в ожидании годового отчета: а ну как не выполним план? а вдруг убытки? или вдруг повезет сказочно — заказ на тысячу племенных телок и т. п. Чего нет, того нет.

Словом, это самый натуральный среди 22,9 тысячи наших совхозов, если саму эту экономическую конструкцию можно с точки зрения всемирно-исторической считать натуральной.

Правда, совхоз этот вышел из РАПО. Просто директор А. Ю. Кузьмичев дал в район конституционно допустимую, но практически невообразимую телеграмму:

«В связи с тем, что за время пребывания совхоза-племзавода «Зыбино» в составе РАПО нашему хозяйству практически никакой помощи оказано

не было, по решению трудового коллектива «Зыбино» выходит из состава РАПО».

По своей воле выйти можно только оттуда, куда добровольно вошел, а кто и когда спрашивал (не говорим — совхоз, он предприятие казенное, а и колхоз, кооператив крестьян, вольных пахарей, так сказать), хочет или не хочет данное хозяйство входить в районное аграрно-промышленное объединение? Затем — что это за лицо такое юридическое — трудовой коллектив «Зыбина»? Этим ли 330 людям принадлежат 2800 гектаров пашни, 850 дойных коров, шесть миллионов основных фондов и т. д.? А раз нет, то и заявление о выходе следует считать не только недействительным, но и просто социально опасным. Стоит оставить этот факт безнаказанным, как все 26,3 тысячи колхозов вспомнят кооперативную свою природу и пойдут гадать: а почему, собственно, нами командует присланный сверху функционер, не выйти ли и нам на вольные хлеба?

Есть, разумеется, случаи, когда отдельный хозяйственник вообще, от начала своего предприятия, в агроиерархии не состоял. Виктор Иванович Постников тринадцать лет, как сам говорил на партконференции, ни на какие ковры не вызывался и никому о своем «Ставропольском» не рапортовал. Есть еще какая-то толика агрофирм, колхозов и объединений, но вольности экономические им дарованы сверху — в экспериментальном, так сказать, порядке. А выписывать вольную себе самому?! Для этого нужно, как минимум,— перечеркивание феодального права вообще, непризнание «насильственной лозы», присвоившей

и труд, и собственность, и время земледельца.

Директор племзавода «Зыбино» Александр Юрьевич Кузьмичев не только уцелел после своей телеграммы, в тюрьму не попал, в партии остался, но и приобрел как минимум республиканскую (отчасти скандальную) известность. Он стал делегатом XIX партконференции, не выступал, хотя и был записан.

С начала 1988 года совхоз работает целиком на арендной основе. В сентябре хозяйство посетили два члена Политбюро — В. П. Никонов и Е. К. Лигачев. Они осмотрели продмаг и совхозный клуб, Кузьмичев выступал перед ними. Рассказывает, говорил долго, боялся перерасходовать время, несколько раз спрашивал, не превысил ли лимит. Но его не прерывали.

Вместе с высокими гостями прибыли руководители средств массовой информации, и через день мне, комментатору отдела сельского хозяйства главной редакции пропаганды Гостелерадио, было поручено подготовить телеочерк. «Уроки Кузьмичева». Снимались «Уроки» для «Сельского часа», но их распорядились поставить и отдельно, в хорошее время — шли пять октябрьских вечеров подряд. После этого с востока (от Дальневосточного книжного издательства) и с запада (из Чехословакии, от кооператора О. Шубарта) в один день пришли запросы на текст «Уроков».

За пятнадцать лет моей телепрактики охоту иметь печатную запись эфирных речей выражали только чаявшие расправы (почему дальновидное руководство пропагандой тотчас после эфира размагничивало острые телезаписи).

За тридцать пять лет журналистской работы я не встречал практика-агрария, чей потолок нельзя было почувствовать и измерить. Дело, конечно, не в ограниченности председательско-директорского корпуса, а в намеренной осторожности: «Знай край и не падай». А. Ю. Кузьмичев — первый мною встреченный человек без потолка, без боязни размышлять и называть все своим именем, без ограничений в анализах и проектах. Поэтому решаюсь впервые нарушить правило «от очерка — к телепередаче, не наоборот», и рискую предложить в печать почти не правленные расшифровки «Уроков Кузьмичева», добавляя только минимальные объяснения типа «что-где-когда».

ПРОКОРМНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Одно из первых воскресений российского сентября — великое по значению и результату. Картошка! Заранее оповещены городские зятья, деверья и шурины, у хозяйки в принципе готово все: мешки, лопаты, обед, кое-что для аппетита, дело за погодой. Только бы не полило, не задуло, только бы выкопать-высушить, а погреб уже чистый-сухой... Хозяин или лошадь нанял, или тележкой оснастился, иногда прицеп «Жигулей» в ход пошел, но и проблема транспорта давно обдумана. Даже сорок мешков обычной усадьбы — ноша, бремя. А в сентябрьский прокормный уик-энд на широтах между Вологдой и Курском выкопают, рассортируют, пересушат и уложат на зиму десятки миллионов тонн картофеля — и потерь не будет! И не будет больше в году дней такой интенсивности, прилежания и такого порядка, какие субботники ни назначай и что на них ни списывай. Какими бы ни были отношения снохи со свекровью или тещи с разведенным зятем, в прокормное воскресенье все распри утихнут, все уважительные причины увильнуть будут отброшены,— работать будут так дружно, ладно, азартно, что к закату сами себе дивиться станут: экую громаду дел перевернули!

Приехал я в «Зыбино» около полудня на своем «Жигуленке». Дорогой прокололся, менял колесо. Починка запаски, против ожидания, ввела меня в круг новых производственных отношений в Зыбине: дырочка в камере объяснила, что нынче почем. Но пока...

Кругом пахло травяными кострами: жгли ботву.

Добрые люди копали у самой совхозной конторы, пустой и вроде никчемной. Зайцевы и, кажется, Бочковы — разветвленный род.

Зятья — мускульная сила с лопатами, дочери — с ведрами, мать-хозяйка сразу отбирает средненькую на семена, хозяин старается подъехать телегой к самой батарее мешков. Значит, по теплу набить погреб, а потом — Тишинка да Черемушки, полтинник кило? Нет, своим раздать не хватит, в Москву ехать — так разве за мясом... Ну да, теперь и за сахаром, но привычно электричкой все больше за мясом и колбасой... А кончится ли когда это перетаскивание: сперва свое сдай Москве, потом из Москвы вези?

Гутарим, калякаем, но народ тертый: существенного не выжмешь. Разве что категорию наполненных денег (зять вставил, что деньги разные — в Москве полные, а в Туле пустые) и тот несомненный факт, что вот вам уборка, и никаких потерь урожая нет. И дисциплина — блеск!

Мы с директором ищем спокойного угла: поговорить без внезапного трактора на магнитофонной ленте. Нашли омшаник у старых, «панских» прудов. Хозяин, сосед Кузьмичева, угощает медом.

— Александр Юрьевич,— по инерции прежнего разговора спрашиваю Кузьмичева,— у вас личное подсобное хозяйство включено внутрь арендной системы, объявлено неотъемлемой частью всего ГПЗ, верно? Но ведь это действующий музей восемнадцатого века. Оно парцеллярно, в нем работают лопатой, ведром, мешком... к тому ж у него, у личного, еще минимум три свойства, отличающих от совхоза. Во-первых, нет воровства или, скажем, желания надуть, объегорить. Затем — нет потерь, таких обязательных, прямо-таки генетически свойственных совхозу. В-третьих, нет нужды в погоняле, потому что папка с мамой вечером за ужином спланируют все так, что не будет потом ни бунтов, ни наказаний, ни кнутов, ни пряников, а дело пойдет. Я, собственно, только пересказываю сейчас мысли теоретика кооперации Александра Ивановича Чаянова. Мысли простые и четкие. Наемный труд стимулируется не столько для выполнения работы, сколько для придания этой работе вида напряженности. Принуждающая воля у коллектива всегда менее напряжена, чем воля единоличного хозяина. Коллективное сознание и воля всегда менее подвижны и более медлительны, почти не допускают интуиции, такой важной во всяком предпринимательстве. Это — Чаянов. Как сочетать его с совхозом?

— Вчера по радио,— отвечает Кузьмичев, помолчав,— была передача из Молдавии, об арендаторах. Самый интересный факт, поразивший меня,— арендаторы бросили свои договорные поля и поехали в края северные реализовать, продать свою продукцию с приусадебных участков. Вот что значит живой интерес! Не просто не потерять урожай, а и возможной выгоды не упустить, им нужен конечный результат!

Так вот, желание сегодня у меня такое: вводить эту систему, шлифовать ее нужно так, чтобы чаяновский интерес действовал одинаково, что в государственном хлеву, что в хлеву частном. Чтобы для него не было разницы, куда поставить скотину: на ферму, где больше механизации, или в свой сарай, где удобнее, возле дома. Чтобы разницы для меня не было, откуда продукция, чтобы «это не мое, это совхозное» исчезло из жизни. Чтобы не было «совхозного»! Поэтому индивидуальный сектор и вписан как составная часть в наши арендные отношения.

— Чаяновский взгляд на дисциплину,— я использую до дна усадебный сюжет,— состоит в том, что кооператив живет одной жизнью с материнским организмом — семейным хозяйством, кооператив не может иметь интересы вне интересов создавших его членов. «Члены-хозяева» — основа основ любого кооператива. Отношений приказа-подчинения в строе цивилизованных кооператоров и быть не может, а ведь и вы сами, Александр Юрьевич, изъясняетесь приказами, и сверху вам поступают одни приказы — как уживется эта командная система с арендными кооперативами?

— Вот вам надо заклеить камеру. Прежде я позвонил бы заведующему мастерскими и приказал бы: пришли человека, через полчаса чтоб было колесо,— гость из Москвы. А кому я могу приказывать теперь? Автомашины мы передали в пользование шоферам. Честно сказать, они не соглашались: приучены к гарантированной оплате, к тому ж постоянный левый заработок... Однако — курс на аренду. Шоферы стали как бы владельцами машин, платят совхозу за горючее, ремонт, а получают.... Да получают они у кооператива доярок: тебя вызвали, ты сделал работу — получи в чеках. Зарплаты нет, есть твоя доля от дохода. Доярка расплачивается от молока. Сдала тонну молока, получила на руки 250 рублей в чеках, из этих денег она и шофера, и тракториста будет нанимать, отсюда она и ресурсы оплатит, и коровник побелит, и свою долю от дохода определит. Сама, сама определит! В июне возьмет себе восемьсот, а в июле, может, только триста. И шофер сам определяет, покупать ли ему сцепление в сборе или вовремя отремонтировать все, как на своих «Жигулях». Раньше в «Зыбине» числилось 46 автомашин — и не хватало, осталось 18 — и ничего, справляются, даже подработать на стороне отпускаем. Расходы сократились на 50 тысяч в год. Было пятьдесят два человека в административно-управленческом аппарате — и текучка заедала. Оставили 36, и то в основном планово-финансовых работников, служить казенной идиотской цифири. Главные специалисты стали председателями пяти кооперативов. Взаимоотношения между всеми кооперативами и администрацией строятся на купле-продаже. Цены известны всем. Если животноводам мы платим по 25 рублей за центнер молока, то продаем молзаводу по 46 рублей. Мясо соответственно — 210 и 360 рублей. Отсюда прибыль — ожидаем восемьсот тысяч в этот год...

— Чеки — это условные, нарисованные деньги? За пределами Зыбина, конечно, не ходят?

— Мы уже поднялись до обмена, до конвертируемого чека, так сказать. Наработал чеков — в конце месяца приходишь в кассу, принимают рубль к рублю. А уж рубль ходит «от Москвы до самых до окраин». Если бы те, что выше нас, осилили нашу операцию, рубль мог бы ходить по всему миру.

— И такой обмен — все девять месяцев? Без конфликтов? Не может такого быть...

— Думаю, что и не будет конфликтов, потому что нужно было решиться однажды и решиться окончательно. Решиться прежде всего руководителям, потому что над зарплатой мы всегда держали руки. И, как пианисты, могли в любой

удачный для нас момент сманеврировать, заиграть иную мелодию, но все это вроде вписать в общую симфонию. Сейчас же, когда свободный обмен, с мелодиями не пошалишь, у арендаторов твердые возможности добыть чеки, заработать — и потом обменять один к одному. Если мы не обменяем, то окажемся банкротами. И материальными, и моральными.

— Но ведь народ ваш достаточно хорошо знает, что в профинплане заложена каждому заработная плата на год. Как ни крути, как ни геройствуй, а твой год уже спланирован, выше не прыгнешь. Как же вы, имея профинплан, можете совмещать фонд зарплаты — и экономически здоровую работу? Люди же знают, что они уже обсчитаны, спланированы...

— Запрограммированы? Наверное знают! Мы, к сожалению, приучили их. Знают, что больше не получат. И тогда разными способами стараются или работать поменьше (потому что все равно больше не получат), или пытаются сделать основную работу подсобной. Найти себе другой промысел, где можно что-то получить. Поэтому мы и решили переступить через себя, нарушили все эти «законы» субъективного характера и положили в основу нормальный экономический закон стоимости. Получил доход — получай заработанное!

Кстати говоря, при нормальном получении дохода, при сегодняшнем море затрат фонд заработной платы не так уж и нужно перескакивать.

Прежде люди — они ведь не глупее нас! — находили лазейки, то там натянут, то здесь припишут. Таких несуществующих работ столько натягивалось, что все равно фиксированный фонд заработной платы перехлестывался. Это ведь тот же лимит, неизвестно откуда взятый, распределиловка рублей. А когда человек начинает работать от прибыли, отпадает ненужная работа, платить-то не за что. Пресловутое материальное стимулирование... По триста, по четыреста тысяч выдавали в год — за что? Тот первым начал пахать, а другой первым закончил боронить, третий раньше других выехал из гаража. Что угодно придумаем! Сперва — пятерка, потом, говорят, мало, давай тридцатку, а там конец года — глядь триста тысяч ушло. На что — сами не знаем.

— Я писал: и в материальном снабжении полным-полно этих подачек, этой щедрости бог знает за чей счет. Жалуешься на технику? На́ тебе лишний комбайн. Он не нужен, его разберут на запчасти, тысячи случаев такого каннибальства кругом — где еще, кроме Страны Советов, оно бывало или может быть?

— Стоп! Всё, как бабка нашептала. Ни один арендатор у нас сегодня не хочет брать комбайн «Дон». Не могу его убедить: жутко дорого и ненадежно! Двадцать восемь растениеводов на аренде — и все, как сговорились: дай мне немецкий комплекс Е-280, продай мне гэдээровский комбайн зерноуборочный. Дада, Е-516... А я не знаю, где они его видели, но приходят с конкретным требованием: «Давай нам настоящую технику, давай возможность заработать валюту, чтобы я мог приобрести настоящую машину». Он не хочет кормить своим трудом жуткую громаду минсельхозмаша, он хочет делать экономику для себя.

— Хорошо, а как это могло бы выглядеть в реальности? Валюта — откуда ее может взять «Зыбино»? Картошку сбывать, грибы?

— Когда двадцать лет назад основывали наш племенной завод, были затрачены серьезные объемы валюты для закупки чистопородного скота. С тех пор Зыбино прочно встало на ноги, и теперь мы готовы вернуть доллары, могли бы быть поставщиком продукции для стран третьего мира. Конечно, в «Общий рынок» с его девятитысячными удоями не пробиться, но в развивающиеся страны поставлять можно. И надо пробиться! Если мы сегодня наладим свободный рынок, то будет возможность продать. Здесь мы подходим к госзаказу. Сегодня госзаказ может погубить и аренду, как погубил он закон о предприятии. Если мы от всесилья госзаказа быстро не откажемся, не превратим его в продналог по Ленину — делу конец. Ведь аренда вытекает из ленинского нэпа, ведь это, в конце концов, социалистическое право управления, к чему в общем-то и стремились. Коллективно ли, индивидуально, но именно право управлять — производителю, тому, кто трудится.

Я представляю себе госзаказ как? Это количество продукции, которое я

должен сдать по твердым ценам, гарантированным государством, для закрытых учреждений. На больницы, армию, инвалидные дома, может, для студенчества. Все остальное я должен продать по свободным ценам! И не надо государству брать на себя магазины, сто лет они ему не нужны, и госторговлю, которую дотируют сегодня на восемьдесят восемь миллиардов в год, не нужно делать. Нужна предприятию дешевая столовая? У него есть доходы от промышленности, пожалуйста, компенсируй своими доходами нормальные, сложившиеся в стране цены. А то мы говорим: «цены нужно повышать...» Их не нужно повышать, их нужно найти! Ведь это не московские магазинные цены, по которым вы потребляете мясо, масло, сыры. В стране действуют совсем другие цены, они давно уже повышены. Найти эти реальные цены, поставить их в основу — и дать мне возможность быть конкурентом!

— Мне, Александр Юрьевич, давно не дает покоя такое неравенство. Есть Госкомцен и Госкомгидромет. Природа у них одинаковая: исследуй, пытайся прогнозировать, угадаешь — молодец. Но ведомство Израэля Юрия Антониевича, метеорологи то есть, почему-то до сих пор не назначают погоду и не следят потом за соблюдением своих приказов-прогнозов. Ценовики давно уже командуют своей стихией, а метеослужба уворачивается. Командуем ценами — надо приказом оформлять погоду на завтра, на неделю, на лето.

— Поправляйте, сейчас гласность... Да, так я говорю: сегодня конкурента госторговля не терпит! Вот создали агропромышленное объединение в Новомосковском районе, Стародубцев — человек с высочайшими способностями, а и его, нашего Василия Александровича, монопольная торговля задавит с успехом. Потому что у него комиссионные цены, и дивиденда от своей коммерции он почти не имеет. А госторговля имеет миллионные дотации, поэтому она так свободно себя ведет, ей дефицит выгоден. Дефицит есть залог и первооснова выполнения плана товарооборота, поэтому дефицит они хранят как зеницу ока.

— Но это не мешает, кажется, снабженцам агрокомплекса командовать ценами, повышать их скачками? Внезапно «Дон-1500» стал стоить около сорока тысяч — не став ни легче, ни прочнее, ни надежнее.

— Вот такими ценами, это все должны понимать, и рождены дотации! Восемьдесят восемь миллиардов годовой дотации населению — откуда они, из воздуха? Ерунда, это манипуляция ценами. Это у нас с вами государство взяло, оставив на старой отметке уровень жизни, не дав нам возможности развиваться, получать ту зарплату, которую я должен был получать. Это ведь у меня взяли деньги! И мимо меня и помимо моей воли отдали их промышленности, чтобы потом я купил у этой промышленности, и у нее, у всех «Ростсельмашей», будет сверхплановая прибыль... Цены у нас подскочили и будут подскакивать не из-за того, что мы плохо работаем (хотя работаем плохо, производительность труда у нас низкая). Самое страшное — мы ресурсами не занимаемся! Промышленность сидит сегодня на таких безбрежных, неисчисленных ресурсах, что ей все безразлично: нормативы себе она выбила, нормативы колоссальные, они гасятся дотациями. Поэтому никакого строя рыночной конкуренции такая промышленность желать или терпеть не может, она заведомый монополист. И в свой монопольный тупик она ведет нас все дальше и дальше.

Почему мы должны продавать нефть и отдавать эти деньги той же промышленности, чтобы она закупала себе станки, оснащала «Ростсельмаш» и потом мне же повышала скачками цены на свой «Дон»? Почему «Дон» навязывают мне сегодня? У соседа он — новенький! — полтора дня отработал, полтора дня! Прогресс? Электроника? Да если арендатору нужно, если это экономически целесообразно, он и к сохе вернется, но не К-700 в нее заложит, а лошадь впряжет.

Поэтому, если мы хотим прийти к нормальный политике цен, нам сегодня нужен свободный рынок техники, ибо именно техника диктует себестоимость всей нашей продукции. Удобрения, их безграмотное применение с помощью безграмотной техники, есть тоже накачка себестоимости. Монополист поднимает цены на средства производства, заранее взяв у государства дотации, а это непременно аука-

ется на мясе и молоке... Нужен свободный рынок техники! И плюс к нашему железному изобилию обязательно нужна техника импортная...

— Александр Юрьевич, именно зарубежными мерками и объясняют рост цен на сельхозмашины. Комбайн «Джон Дир» стоит 40 тысяч долларов как минимум, значит, и «Дон» должен быть не дешевле. Правда (я был на заводах «Джон Дира», писал об этой старейшей фирме), их зеленый комбайн гарантирует 20 уборочных сезонов, вся твоя фермерская биография протечет на этой машине, а «Дон»... Увы, самые печальные пророчества пишущих подтвердились. Цыган из пословицы, что хотел не прежних детей отмыть, а новых, чистых наробить, обречен на конфуз: не смогут те хлопчики быть крахмальными чистюлями в драных шатрах и под телегой.

— Перестройка, значит, и требует: «хватит монополий». Наш арендатор может, получив кредит, взять себе технику и за 40 тысяч, за нее он платит сам. Но он же не сумасшедший, он же знает, что без исправной и надежной работы дорогая машина разорит его, съест его доход! То стоящая на полосе «Нива» чужой бюджет дырявила, а теперь стоящий «Дон» будет есть хлеб его детей. Дать нашему фермеру право выбора, и он сегодня выберет «Форшрит», он выберет грабли финские, возьмет той же гэдээровской фирмы «Форшрит» косилку. Потому что они испытаны мировым рынком и проверены законом стоимости. А с кем, извините, и когда соревновался монопольный «Дон»?

Мы все-таки должны породить наконец-то социалистический рынок. Почему у нас всего нехватка? От изобилия. Изобилие ресурсов, из них специально сделаны дефициты и дана монополия на неконтролируемое расходование ресурсов. А чем можно контролировать? Только мировым уровнем ресурсов. Тут властвует закон стоимости, а кто у нас общественно необходимые затраты устанавливает? Да кто ловчей пролезет. Нет, ценителем может быть только рынок, свободный рынок дома и свободный выход на мировой рынок. Говорю «свободный», потому что и внешнюю торговлю можно исказить до неузнаваемости. Я получил импортный скот, закупленный в ФРГ, не мною, конечно, а каким-то посредником, и сегодня получаю племенную продукцию — бычков, телок — не хуже того, что я приобрел. Мог бы, я говорю, продавать на экспорт быков тех линий, какие удовлетворят не особо требовательного покупателя. Но не только «Зыбино» — Всесоюзное объединение племенных заводов не может выйти на мировой рынок без посредника! А к чему это нас привело? Естественно, к валу, это образ мышления чиновничества. За нас закупают. Потому что так дешевле, так можно купить больше — и лучше отчитаться. А уникальные вещи мы получить не можем, они стоят дорого, их мало. Закупив прошлую технологию, кому мы ее предложим как товар? И сегодня можем кое-что наскрести, но говорить «советское — значит отличное» можно только в узком кругу, среди своих. Если определять уровень НТР будут за нас, мы и снова никому не будем нужны как держава, связанная с экономикой племенного дела, с прогрессом зоотехники. Так и во всем...

— Национальную гордость великороссов, дорогой Александр Юрьевич, я бы развивал сейчас не так на витийствах «Памяти», где рядом со здравым много истерии, жалкого самоутверждения, много комплекса неполноценности, как на контроле за национальным, действительно дедовым и внуковым богатством. Нефть уходит за хлеб — почему? Кто разрешал? А если эти долларовые миллиарды предложить своим колхозам-совхозам, неужели бы на айовских и канадских условиях не засыпали настоящей пшеницей? Но перекачка валюты за хлеб длится уже четверть века, и ни один деятель нашего хваленого аграрно-промышленного комплекса не покусился на ее секретность, не оценил национального ее воздействия.

— Этот продовольственный импорт напоминает мне, что делала моя мать. Покупала масло в магазине, сдавала на спиртзавод, чтобы там ей выдали барды, а бардой кормила собственную корову... Все дело в свободе коммерции, в возможностях многообразной продажи, с выходом на рынок без посредника. Посредник, не мной надо мной поставленный, и торговлю превратит в способ насилия над законом стоимости. Никогда не будет ни молока, ни мяса, пока мы не будем знать, сколько оно в самом деле стоит, и не сможем влиять на его стоимость!

ПОЧЕМ ЦЕННЫЕ УКАЗАНИЯ

1

— Александр Юрьевич, я бывший совхозный пацан. Носил отцу в контору ужин, когда сидели — ночами! — над годовым планом. Кто таков специалист в совхозе, знаю с младых ногтей, и поймите инерцию мышления. Арендаторы — это лейб-гвардия директора, земельная аристократия, снабженная, накормленная, экипированная для некоего прорыва. А на всех не хватит! Ниже «аренды» — слой полеводов, мешок да вилы, здесь тот ручной труд, для которого и грамота не нужна, не скажу уже «политграмота». А выше — горизонт конторщиков, которым теперь ужинов не носят. Ни женского батальона бухгалтерии, проживающего красные годы среди макулатуры, ни всего ансамбля «главных» (главный инженер, зоотехник, экономист и т. д.) все эти арендные затеи коснуться не могут. Твердая ставка, сочиненье бумаг, восемьдесят процентов от ставки директора плюс шесть окладов в конце года, если пройден без огрехов слалом, выполнено то-то и то-то... Если что и загнало в гроб Ивана Худенко, то — кроме нрава Кунаева — именно покушение на слой стряпчих при сельском хозяйстве. Но если этот слоеный пирог, иерархия эта сохранены, как надеяться на успех аренды?

— Это самое важное! Бороться с бюрократизмом где-то на седьмом небе, абстрактно «выгрызать волком», как Маяковский,— это как раз то, что 18 миллионам управленцев выгодно. А попробуй дома поставить чиновника, человека на государевом жалованье, в условия, когда он тоже оказывается в системе купли-продажи! За годовой план, сочиненный зимними ночами, больше не платят. Продавай знания! Торгуй уменьями! Умей выгодно сбыть приобретенное в институте! Хозяйство как объединение арендаторов сверху донизу должно работать как противозатратный механизм. А если выделяется какой-либо участок, скажем, отдел главного агронома, по-прежнему спускающий только указания, распоряжения, то цепь разорвана, включен затратный механизм, и все пошло насмарку.

— Но что может продавать главный агроном? Или старший механик?

— Механик — услуги. У него тоже есть товар: обслуживание. Если связать мастерскую с хлебом, с картошкой, они, ремонтники, смогут участвовать в прибылях с поля. Как? Своей долей услуг. Больше услуг — больше дохода. А агроном... У нас, я говорил, 28 арендаторов держат 2800 гектаров пашни. Во главе их кооператива растениеводческого избранный ими агроном. Никакой зарплаты ему я больше не плачу, доход ему идет от кооператива. Никакой ведомости в кассу! Наши отношения с агрономом: он произвел и продал продукцию, я ее куплю. Куплю, заплачу деньги, а вот из этих денег кооператив и формирует агрономову часть... Нет, не за ценные указания, у людей разные способности и разная выучка. Какую технологию применить, какие гербициды или вообще без гербицидов. То есть чисто специальные вопросы, это его знания, его товар. Затем — он и организатор в кооперативе, определяет участие каждого в процессе производства.

— А можно еще ближе к реальности? Шофер, который стал вдруг свободной птицей, он же первым делом найдет «шабашку», «халтуру», свернет «налево». Он бросится подвозить тетке сено, а бабке торф, соседу — дровец, а родне — картошку до рынка. Работа по путевке была ему оброком, а теперь — ура, сплошь безоброчное время.

— Для шофера проблем нет. Проблема скорей для тетки Марьи. Потому что сегодня, говорю округляя, машина стоит десять рублей в час. Раньше, когда он тетке Марье за бутылку возил, она трояк, потом пятерку ему выделяла. Ну, если первач свой, так конъюнктура тоже меняется, но тем не менее это было дешевле: на ворованном бензине, на ворованной амортизации, сколько ни получишь, все доход. Сегодня ехать ему «на калым» не возбраняют, украсть просто не у кого, кроме как у себя самого, и он берет больше, учитывает все, и нам скорей надо тетку Марью защищать от него, чтоб ее до конца не ограбил. В сущности, деревенская тетка так же теперь покупает у шофера-арендатора услуги, как и любое из 28 арендных звеньев покупает услугу агронома. Чего таить, народ стал

скупее, денежку считает, и доярки признаются: «Знаете, Александр Юрьевич, мне эти рубли во сне снятся». И хорошо, говорю, пускай первое время поснятся...

— Первое? А потом перестанут? Не придется ли в самой основе менять жизненную роль денег? Все говорим: «фермер, фермер»... Настоящий западный фермер главной чертой имеет абсолютную тайну своих заработков, долгов и расходов. Это его строжайший, смертный секрет, это стыдно даже спрашивать: ставишь человека в неловкое положение. Я за свою жизнь раз тридцать — сорок беседовал-таки с настоящими фермерами в их домах начистоту, иногда для иностранца приоткрывали завесу над тайной... Но при рубле с серпом и молотом, при государственных гарантиях от незаслуженного разорения не стоило б сделать заработок прямым выражением достоинства человека? Ведь у нас Доска почета и платежная ведомость никогда не совпадали в оценке, кто лучше. Об этом хорошо писал А. Аграновский: недополучение в кассе компенсируют цветным фото на стенд.

— У меня и сегодня споры с партийными работниками. Что, мол, вы загнали весь интерес арендатора в рубль, будто ничего ему больше и не нужно. Но извините, в основе жизни-то нашей социалистической лежат пока эти презренные деньги. И давайте не будем ханжами: деньги останутся, пока будет социализм. Другое дело — как они заработаны. Ведь почему стало стыдно и в нашем обществе говорить о своем доходе? Потому что половина-то дохода наворована. Если при шестидесяти рублях зарплаты он как сыр в масле катается, так тут пуще вашего американца будешь скрывать доходы. Двойная мораль! А теперь в Зыбине она исчезает. Другой подход — охрана человека от азарта в работе. Встречаюсь с московскими пропагандистами, делегатская обязанность. Целая пачка записок: «Вы своей культивацией арендатора, 15-часового рабочего дня нивелируете личность, сводите человека до убогого уровня, обедняете крестьянина»... Представляете? Заставили мужика мотаться электричками в поисках батона крахмальной колбасы, сделали его равнодушным к тому, где и что гниет, портится, пропадает, внедрили лозунг «отзвонил восемь часов, и не ходи собака во двор», и это о б о г а щ е н и е. Сокровища души! А стал мало-мальски формироваться работник, вкалыватель — о б е д н я е м, духовно ограбили. Ладно, мы пуще всего ценим свободное время, это главное социальное завоевание. Тогда давайте отдыхать голодными! Или, если не сумели достичь сытого отдыха пятичасовым рабочим днем, попробуем работать 10 часов в день. Ведь и этот-то уровень «обогащенной» духовной жизни дается распродажей недр: нефти, руд и прочего. Мы ресурсы всей нации меняли на свое свободное время. Ну, повезло, в 70-е годы цены на нефть стали высокие, опорожняли фамильные погреба взапуски, лишь бы дотащить до границ. Но и это же не беспредельно!

— Александр Юрьевич, аргумент работавшего на сенокосе... Пропагандист прав относительно принудиловки. Вынужденного труда, по обязанности. Но чтоб успеть сметать стог до дождя, успеть хоть до одиннадцати ночи и потом, мокрым, как мышь, бежать под крышу счастливым... Тот гуманист не предполагает такой удачи. И сберечь прежний труд, сено, и радоваться, что одолел, опередил, предугадал,— это ж азарт, хмель удачи, тут никакие сверхурочные просто не в счет! А именно такие часы сверхнапряжения и выявляют суть крестьянского труда, совхозному филону они неведомы. «Раб нерадив»,— писал древний грек.

— Да, за норму наши обличители принимают н а е м н ы й труд. Но ведь арендатор саморегулирует напряжение, вкалывает столько, сколько необходимо для дела. А наработаться сегодня так, чтобы завтра протянуть ноги? Да никогда такого не будет! Второе: работает-то он, конечно, ради денег, но он же не банкир, деньги не самоцель у него, а средство, путь к каким-то ценностям. Нормальный фермер — это же не Холюша из рассказа про Холюшино подворье, он доход использует на свое развитие. А может быть, у него и отдых заключается в этом труде. Ведь отдых тоже относительное понятие. Для одного отдых — домино, «козел», для другого — колоть березовые поленья. Если он воспитан в этом, сложа руки сидеть не обучен? Может, мы просто развратили его, сместили ценности, понятия, престижность? Еще скажут — «а русский характер? когда это Русь считала копейку?» Когда? А всегда. Купец — тот кутил, миллионщик в Парижах проматывал, барыня свой вишневый сад нипочем отдавала, а мужик ложился и вставал, считая каждую копейку. На лошадь, на веялку, на романовскую шубу дочке-невесте. А баба? Вспомните Энгельгардта: баба до полушки помнит свой заработок... Экие широкие натуры — на казенный счет!

— Меня такие же пропагандисты спрашивали: себя-то арендатор может выкручивать или нет, это его дело, но не побуждаете ли вы его выкручивать природу? Человек, который пустился в дело с идеей хватануть себе «Жигули» и квартиру кооперативную,— хищник, он выжмет все соки из поля в три урожая.

— Точно, между арендой и рвачеством охотно ставят знак равенства. И вроде бы резонно, ведь обоснованны же опасения, что в погоне за сиюминутным интересом, и для личного обогащения, и ради продовольственной программы можно изнасиловать природу. Но тут есть, как теперь модно говорить, нюансы, их минимум два. Во-первых, исходят из того, будто фермер-арендатор уводит нас от колхозно-совхозной гармонии, где чуткие экологи только и соревнуются, как оздоровить ландшафт и разрумянить пейзажи. Ложь и хищничество, и самое оголтелое, расцвело пышным цветом именно в период вселенских почнинов: специализация, «магистральная дорога», то есть бетонные комплексы, концентрация, неперспективные деревни и прочее. Председателя никто не спрашивал за минералку — не только потравила рыб, зайцев, лосей или нет, а и внесена ли вообще в поле или свалена в ближайший овраг. Химическая война такого масштаба, что первая империалистическая в подметки не годится.

— Если любая черноземная область каждый год списывает минимум восемь тысяч га пашни на овраги, а докучаевский чернозем сохранился только в музеях, то о каком-то золотом веке может калякать только записной враль.

— Ну, а второе... Если вас это всерьез тревожит, так поставьте же скорей арендатора в условия, чтобы ему не было смысла выжимать, выкручивать, пакостить! Сдайте ему землю на 50 лет — он будет видеть перспективу сына и внука. Повлияйте юридически, ведь человек, поставленный в нелагерные условия, никогда природе не мстит, зла не делает. Кому-то выгодно сделать арендатора крайним, а начальство оставить в стороне.

— Хорошо, а сам Кузьмичев А. Ю. тоже ведь арендатор? Я слышал про какой-то откорм бычков, директор внутри своего совхоза создал кооператив и вошел в него?

— Нет, я не фермер и не арендатор. И не зарабатываю на шабашках, если разговор начистоту. В общественном производстве роль фермера и миссия директора сильно разнятся. Я, может быть, менеджер, я должен быть по преимуществу торгашом. «Учитесь торговать!» Я обязан знать маркетинг, должен его изучать. Правда, изучать негде. Директоров за границу не пускают, а если и выпустят, так с большой опаской. Обычно едут люди другого склада, которые до сих пор, несмотря на валютные издержки, не выдали об аренде ничего, кроме того, что у нас все не то и не так, зря, мол, шебутитесь. То, что они нам написали, показывает, что вот мы-то как раз в арендных отношениях ничего не понимаем. «Что ни делает дурак, все он делает не так, начинает не сначала и кончает как попало...» Но все же я успел уловить одно. Глава фермерской кооперации, президент компании, вообще агробизнесмен старается ради сохранности не оставлять фермерства. Это не хобби, а как бы бережение формы. Если я по специальности зоотехник, по занятию организатор новых производственных отношений, а руками ничего не делаю, все только языком — мне несдобровать. Аренду я должен пощупать на себе. Мне нужен психологический момент, когда я могу почувствовать дело, запрягая лошадь или раздавая быкам корм. Находясь в этом кооперативе как равноправный работник и заинтересованный партнер. Получу я немного, ну — 600—700 рублей в год. Если бы дело было в одних деньгах, я на свиньях в своем сарае мог бы получить в несколько раз больше. Нет, мы, десять специалистов, решили организовать новый тип личного подсобного хозяйства. Сегодня человек непатриархальный коровы в селе не держит. Почему? Корова привязывает. Я все-таки свободный человек, меня воспитали свободным. Хочу и в отпуск съездить, позагорать, хочу свет поглядеть. А старушек у меня нет.

Той семьи крестьянской, где под одной крышей живут три-четыре поколения и все от дедов распределено, сейчас поди поищи. У меня жена и четверо детей. Заняться коровой — забыть про отпуск, поставить на своей свободе крест.

Но когда мы, взяв по десять бычков, объединились, стали вести хозяйство на основе товарищества, да еще по договору с совхозом, мы, нет, в кабалу не попали. Взяли у совхоза сотню голов, взяли поле, лошадь арендовали, а одному мне ни коня, ни поле, ни технологию заготовки не осилить, да и невыгодно.

— Значит, артель внутри племзавода?

— Именно артель, взаимозаменяемость работающих, свой график отпусков. Заработок рублей семьсот «на нос», все пока покупное, еще не обжились. Но труд действительно дает удовлетворение и равенство со всеми. Когда я в отъезде, жена помогает, старшие ребята. Словом, жалеют гуманисты-пропагандисты бедного арендатора, а ты сам не без гордости отмечаешь: это ж и по тебе слезы льют. Сказано же: «книжники и фарисеи». Кто они такие, кстати, те фарисеи?

ОТМЫТЬ РОССИЮ

Деревни Большого Подмосковья захламлены. Серость, грязь, старье и заборы, заборы, первая забота — отгородиться. Уже вроде и скотины не осталось, никаких редкостей на грядках нет, а уж оград, и штакетниковых, и бетонных, и железных! Весь стройматериал в забор ушел. Вернувшись даже не издалека, а из Эстонии, Литвы, из Белоруссии, яснее увидишь вдруг все плюшкинское нежелание нравиться, какую-то озлобленную неопрятность настоящей российской деревни. Говорю «настоящей», потому что близ каждого города, даже районного, теперь выросли особого рода селения, где горожане первого поколения утоляют тоску по земле. Садовые участки! Коллективные, уплотненные до шести соток «мичуринцы», всякого рода «отдыхи» да «красные садоводы», они не дачные поселки в прежнем, довоенном, с березами и гамаками, смысле слова: по интенсивности земледелия они напоминают Китай. Но в желании выглядеть щегольски, на свой манер, они не только юг Украины положат на лопатки, а и с самой Прибалтикой вступят в спор. Но это не деревни, это зеленая тень бетонных пасек — микрорайонов.

«Немытая Россия»... Лермонтов-то писал, считается, «Туркия», отсюда и «паши», но маскарад был так наивен, что сразу привилось настоящее. У Блока потом было — «нищая», у Тютчева — о «долготерпенье», у Некрасова — и «убогая», и «обильная»... Гениальный юноша-поручик нашел слово, справедливо звучащее скоро 150 лет. «Немытость», ибо «страна рабов, страна господ», потому что «послушный им народ». Кому — и м? Господам? Нет — «голубым мундирам». Вроде какое дело народу до считанных десятков персон Третьего отделения, какое дело тайной службе Бенкендорфа, Орлова, Дубельта до бородатого и сиволапого мужика, какой и может быть лишь мытым или немытым? Ан рабство, невозможность быть гордым собой...

Только третье поколение после сталинского великого перелома проживает в российском селе, а какая печать, какая перемена в поведении... Республики Прибалтики, Грузия, Западная Украина и таврический ее Юг, Кубань, отчасти Дон у ж е пережили коллективизацию и оставят новому веку отмытую деревню. Срединная Россия в деревенской ее подлинности, бездорожности, убогости и несоответствии сегодняшнему стандарту общеевропейской жизни есть такой обширный и такой немытый социальный регион, что в теперешней Европе (включаю и Пиренеи, и Предкавказье, и Финляндию, и Молдавию) нигде беднее и хуже не живут. Ужасно это говорить, но и молчать об этом подло.

— «Немытая Россия», Александр Юрьевич...

Мы устроились сниматься в месте, если издали глядеть, чудном: каскад помещичьих прудов, осененных липами, первое золото осени, покой. Но грязна стоячая вода, изредились липы, и нужен спасительный «общий план», чтобы зритель не разглядел и здесь концентрированной «немытости».

— А какая ж еще? Немытая... Национальной или черт-те какой чертой это считать, но разрушение часто одолевает созидание, идет борьба с хорошим и красивым: красивое и хорошее необходимо охранять! Подумаешь, и прав ведь Мичурин, когда чуть ли не национальной задачей определил не ждать от природы, а покорить ее, в этом роде...

— «...Взять их у нее наша задача». Это весьма сомнительное для Мичурина определение. Скорей всего это не козловского садовода формула, а наш брат газетчик, в тридцатые годы просто страшный, постарался.

— Но суть-то выражена. Взять-то мы берем, а отдавать не научились, ни природе, ни культуре, ни своему духу. И даже те ценности, что имеем, сейчас поглощены урбанизацией. Глядите, это ведь стариннейшие места, тысячелетняя Русь, Ясная Поляна рядом, а где память, какое свидетельство пережитого остановит взор? И войны ведь тут не было... Помещичьи дома в свой срок сожжены, церкви в другой срок проломлены или разобраны на кирпич, одни остатки древних парков, вроде этого... Отсюда брежневское определение «вторая целина». Нечерноземье — целина, это ж подумать только! Вековой уклад, ценности деревенской жизни уничтожались с ожесточением и намеренно не за отсталость, не за солому, лучину и тараканов, нет, а за то, что мужик сам х о з я и н, без этого крестьянствовать нельзя, он сам себе голова, и в деревне-то доколхозной никаких к а з е н н ы х помещений не было, все только натуральные людские избы, а приехал портфельщик — ищи постой у хозяина...

— Не было инфраструктуры бюрократизма?

— Вот именно. Правление, телефон и диван в нем, несгораемый шкаф, рассыльный — это же и сельсовету еще не было свойственно, а с тридцатых годов пошло. И теперь самое богатое, нарядное, просторное здание деревни — казенное, управленческое, этакий храм руководства. Дом культуры, он еще есть или нет, да и культура-то лежалая, а правление колхоза, дирекция совхоза — это мощь, красота, утверждение власти и этажностью, и колоннами, и центральным отоплением.

(Рядом омшаник, привязалась шальная пчела, жужжит у лица, Кузьмичев отгоняет ее, стараясь не возбудить остальных, признается, что боится пчел. А прерывать запись страх неохота: не попадешь потом в тон, нарушится подлинность.)

— Ну вот, а я-то тебя и боюсь... Сегодня и пчел осталось мало, любители пасек уникальные люди. Пчела-то дом себе свила, а человек нет, больше не вьет. Получает его от государства. И, получив, ваше «Умение вести дом» не торопится проявлять: за него должны и за домом следить, и думать. Он исполнитель, ему так и удобней, и выгодней. И безопасней, наверно, в какой-то степени, потому что мы ж постоянно говорим — «социальная защищенность». А коль защищенность есть, зачем думать о будущем, пусть думают другие.

— Защищенность от кого? От вас, Александр Юрьевич? Вы здесь власть.

— Сложно понять, от кого эта защищенность. Говорим, что мы общенародное государство сегодня, государство н а р о д а, и тут же эта защищенность...

— От Кузьмичева и участкового милиционера. Кого ж еще бояться?

— Точно. То есть от власти, которую избрал сам народ.

— Но вас никто не избирал. Милиционера тоже. Сельсовет при выборах одного из одного тоже, считай, назначен. Райком... беспартийный и в выборах-то не участвовал, меж тем власть это самая строгая, он ее постоянно ощущает.

— Здесь как раз и получается... Говорим, у нас нет эксплуатации сегодня, у нас нет, значит, порабощения. Но ведь меня не избирали, а я командую! У меня реальная власть, не у сельсовета, а у меня, назначенного сверху и утвержденного партийными органами. Система назначений ясна, она есть и действует. Но она как не отражала интересов народа, так и до конца не отражает, потому что о выборе, свободном избрании мы только говорим. И парадоксальная ситуация: та система и не могла терпеть какого-то избрания! Ей это чуждо, это чисто тоталитарный режим, режим администрирования. А значит, режим найма, режим превращения рабочего в какой-то винтик, он доведен до совершенства. Превратив сперва в вин-

тик вообще, мы потом превратили отдельно в винтик физический и винтик моральный, то есть без права мыслить, без права выражать свое мнение. И довели все до совершенства, объявив обоим винтикам социальную защищенность и полностью забрав у него ответственность.

— У меня, Александр Юрьевич, сидит в памяти один классический рисунок. Он из анатомических штудий Леонардо, помните, человеческая фигура в круге? Растопырены руки и ноги, и все тело, гармоничное, рассечено линиями — пропорции... Нормальный человек двурук и двуног. Крестьянин тоже. Но правая (или левая, неважно) рука у него производящая, а другая реализующая, орган сбыта и покупок. Если ты его расчленил, оставил только производителем, равнодушным к тому, сбудут ли и по какой цене его зерно и картошку, купят за него трактор Т-150 или этот, не к ночи будь помянут, ростовский комбайн, то перед вами уже натуральный инвалид. Вот мы все надежды возрождения связываем с арендой. Но если в одной ипостаси человек мучительно колеблется, какую марку «Жигулей» добывать, 2102 или 2104, то как же вы лишаете его волнений об итогах его труда: хорошо или за бесценок уйдут его пшеница, его картошка, его белая черешня?

— Инвалид? Нет... Инвалид — тот способен к наполненному существованию. Инвалиды борются за свои права, они чувствуют себя личностями и доказывают это. Как правило, какой-то физический недостаток человек возмещает достижением в другом: у безногого обычно сильные руки, у слепого развит слух.

А крестьянин... его просто нет. Система нашего обобществления доведена до такой степени, что он даже не раб (и тот ведь свои интересы имел), он экономический труп, которому все равно, что на него наденут, как его похоронят. И я в своем производстве убеждаюсь, что иным — во внедренных за полвека условиях — быть и не может. У него нет ничего своего, своя у него только зарплата, которую я ему даю, выступая в роли этакого благодетеля.

— А вот наша, писателей, задача вас в этой роли изучать, поднимать, восхвалять! Ведь кто наш герой на протяжении тридцати пяти лет после «Районных будней» Овечкина? Председатель колхоза, председательский корпус, совхозный директор — вот наш образ земледельца, вот кормилец, с нашей точки зрения. Разнотравье, тропинка во ржи, колодец с журавлем, рябина-калина — все это только гарнир к блюду, а в центре — хозяин-начальник, за которым минимум тысяча душ. По прежним понятиям это ж волостной начальник! Вы — толстовская земля. Скажите, когда волостной заправила уравнивался с мужиком? Нужно вовсе потерять реальность, как говорят в очередях, «чокнуться», чтобы председателя колхоза со Звездами и прочими аксессуарами объявлять пахарем и его труд считать тяжелее самого производства мяса, картошки, работы с косой и так далее. Лев Николаевич посчитал бы, наверное, таких литераторов блажными. Иначе на кой ляд было бы ему налегать на соху и пахать той вдове классическую репинскую ниву?

— Мы родили новый слой, который не производит, но обладает громадной властью — и полной безответственностью перед будущим. Конечно, его перспектива не от него зависит, а от его повелителей, но уж на этой территории он, да, царь. И, царствуя, он старается — миллион примеров тому мы видим — удержать свое царствование, то есть быть хорошим царем, давая подданным возможности действовать в интересах своего царствования, а главное, быть хорошим в отношении тех, кто его на царство посадил. То есть не возражать, мнение свое не высказывать. И появился класс руководителей, которых очень сложно переделать. Потому что сам принцип «не высовываться», быть серым, особенную мимикрию применять отселекционировал такого человека. Все, что не вписывалось в жесткие рамки, было отброшено и ушло. Говорю так, потому что сам прошел все этапы такой селекции. И если не стал так царствовать, так, наверно, по свойству своего характера.

— А подвергались выбраковке?

— Неоднократно. Спросил раз напрямую председателя Харьковского облисполкома, зоотехник ли он. А если нет, то как может он мне, зоотехнику, давать такие безграмотные указания, за последствия которых, если его послушаюсь, буду отвечать я, а не он. Итоги — понятны. В другом месте мне поставили в вину такое: Кузьмичев доруководился, что отдал все руководство колхозом самим кол-

хозникам... Так вот и копится полное отчуждение крестьянина и от земли, и от средств производства. Ну, вот в этом племзаводе на шесть с половиной миллионов рублей основных фондов. Кто за них отвечал, за их рост, правильное использование? На Кузьмичеве числились — и баста. В лучшем случае есть материальная ответственность кладовщика за комбикорм, за ведра. А техника, а здания, а земля? Никто никакой ответственности не нес. За меня думают, за меня решают, но действовать я, извините, должен так, чтобы всегда был процесс восстановления, постоянный объем ремонтов. Потому что ремонты — всякие, разнообразные — меня кормят. Половина затрат уходит на то, чтобы восстановить, что я специально рушу. Это и техники касается, и мостов, и помещений, и даже полей — борьба с оврагами и прочее. Рабочий никогда не продавал созданную им стоимость — только рабочее время, за определенную нами зарплату. Не законами определенную, а нами! А для прочности своих позиций нами измышлен как бы закон насчет соотношения производительности труда с ростом заработной платы, отсюда уже лимиты, отсюда нормативы... Стоимость отбрасывается, никакой роли она не играет: ее же надо было бы определять, эту потребительную стоимость! Если в картошке фитофтора, гниль, то ее фактически просто нет, склад пуст, хотя вроде и полон: никто этого картофеля не купит. Но Госкомцен и на дух не принимает соображения рынка, ему важнее всего, чтобы в этой картошке фонд заработной платы не рос быстрее производительности труда. Какого труда? Какой производительности? Картошки-то нет!

А рабочий — будет ли он отвечать за гниль? Никогда! У нас он, кроме как по суду, ничего сам из своего кармана не выложит. Зато зарплату в карман положит — это ж я его так приучил, я вытреннровал бесчисленными вариантами подачек, я — полновластный хозяин, и ни одна ревизия, ни одна комиссия не докажет, что я этому дал мало, а другому — лишку. Возможностей у меня тьма, под рукою целый орга́н, всегда найдутся нужные клавиши.

Так вот, эта система не может воспринять аренду. Она или превратит ее в очередную кампанию, или же попробует использовать как таблетку от головной боли: боль пройдет, а болезнь останется. Пока наше фермерское Зыбино — островок среди моря, моря безобразий, экономических диспропорций, и волны, конечно же, стараются затопить остров. Аренда — кощеева смерть для фондирования, для дележа серег по сестрам, первого занятия бюрократии. «Нужно ли облапо?» «А как же! Оно же нам дотации делит! Кто же будет давать деньги, если закрыть облапо?» Что деньги дотаций и без того наши, об этом уже и думать забыли. Или — в районном масштабе. Мы в Ясногорске решили двигаться в «стародубцевском» направлении: противопоставить чиновному РАПО кооператив хозяйств. Создали кооператив по снабжению. Сложили все мощности бывших «Сельхозтехники», «Сельхозхимии», наладили выпуск ангаров-складов — дело пошло. Создали и второй кооператив — по строительству, стали думать над третьим — по сбыту и переработке. Вот тут-то руководство РАПО всполошилось: генералы остаются без армий! Стали срочно подминать под себя кооперативы. Хочешь запчасть в своей артели получить — тащи из РАПО разрешение. Стали через облагропром давить на райком партии. Смышленые, понимают, что если нижние блоки пирамиды обвалятся, то и верхушке не уцелеть. Получилось в Ясногорске двоевластие. Поэтому «Зыбино» и решило выйти из РАПО, чтоб твердо заявить о своей позиции и подать пример другим. Нам делитель фондов не нужен! Потому что за два года подъема к аренде мы ни одного нового трактора не купили — не нужно. То, что там делят, нам пока и даром не нужно. Автомашин, я говорю, из 46 оставили 18 — и тем еще поди найди работу. Если все станут арендаторами, наши склады, наши «сельмаши» просто затоварятся. Давайте начистоту: проблема дележа фондов, вопрос «подъема отстающих до уровня передовых» (так, кажется, звучит формула?) искусственно раздуты. Их породила чиновничья иерархия — и держится, как черт за грешную душу. Раз мы состоим со слабым хозяйством в одном кооперативе, мы сами заинтересованы, чтоб нас никто не тащил назад. Добровольно откажемся в их пользу от каких-то лимитов, но вот давать безвозвратные ссуды на поддержку штанов не желающим самостоятельно работать — этого мы делать не станем. Надо

однажды сказать себе правду: при нашем управлении мы до сих пор на голове стоим. Какие мы производители ни есть — хорошие или так себе, аренда у нас или один профинплан, а суть дела все-таки в нас, мы всему голова — мы и должны «голову» себе формировать! Сообразно своему организму и своим потребностям. Избирать форму, способ и методику управления. А наши лучшие в мире канцелярин так уверовали в свою незаменимость, значительность, пользу для общества, такую развели игру в крыловский квартет, столько внимания отняли и у народа, и у правительства к перемещениям, пересадкам козла на место медведя и т. д., что нас уже никто не замечает, не спрашивает. Все взоры под купол цирка, там преображения, там сальто: министерства — в АПО, агрокомбинаты, фирмы, тресты, НПО, потом еще какие-то отраслевые бюро при Совмине, какой-то Госагропром Нечерноземной зоны РСФСР. И все это, нас не спросясь, келейно. Кругом выборность, так дайте же теперь фермеру не только своего директора, а и кого повыше выбрать — в Ясногорске, в Туле, в Москве...

— Хотите — признáюсь? Александр Юрьевич, я сам Орликов переулок с его знаменитым конструктивистским зданием знаю с пятидесятых годов, прежде ходил туда минимум пять раз в месяц, а последние пять лет, как РАПО существует,— ни ногой. Впрочем, вру: один раз первый зам их главного позвал писателей, пришлось явиться. Обходил заодно знакомые этажи, полюбовался табличками. А своей волей — ни-ни. Зачем? Цифры теперь публикуют, в том числе и объем продимпорта, в магазинах бываю и все вижу сам, а слушать стратегию? Когда на дубовой двери ты читаешь — «Подотдел совершенствования экономических взаимоотношений и связей в отраслях АПК», «Подотдел бюджетных учреждений и госмероприятий», «Подотдел планирования экономических показателей развития сельского хозяйства», «Подотдел методологии планирования и обеспечения плановой документацией», то чувствуешь себя не в Москве времен гласности и перестройки, а в каком-то щедринском фельетоне, только его «департамент возмездий и воздаяний», «департамент побед и одолений» или «преуспеяний и препон» вдруг ожили, зашумели людьми в пиджаках, прежними агрономами, когдатошними инженерами... Жутко. Паноптикум? Камера ужасов? В одной РСФСР 1700 районных АПО, в каждом, считай, полсотни «прежних», а в обл(край) — до шестисот человек! Вы-то молоды, а я уже застал и райзо, и сельхозинспекцию, и зону МТС, и терруправление, но такого торжества «подотделов», честное слово, еще не бывало. «А люди?» Вам первым же делом заявят: «А о живых людях вы подумали? Они разве виноваты?» Будто ты собираешься их всех, в большинстве седеньких, заграбастать и сослать, скажем, на целину. Будто это ты приучил их к чайнику в подотделе госмероприятий, к лифту без дверей, метафоре чиновных подъемов и спусков, к зарплате, которая, как говорится, «хорошая, но маленькая», а теперь норовишь тысячи и тысячи таких седовласых людей обездолить, лишить куска хлеба, наплевать всем в душу. Есть правило, почти закон: лев, который провел в зоопарке пять — семь лет, уже антилопу на обед не словит, он обречен весь век принимать посетителей и знакомить их со своим внешним видом. Кусок конины ему теперь о б я з а н ы положить в любом случае. Иначе даже посетители будут негодовать на администрацию зоосада и писать доносы: льва держат впроголодь, он весь в лишаях и не может рыкнуть...

— Да и антилопа ваша тоже корма себе не найдет! Ее тоже надо будет ставить на обеспечение, иначе — негуманно... Что я скажу? Со «львами» под вид бригадиров, помощников, учетчиков и т. д.— проще. Вон Смирнова наша заведовала фермой, а теперь на аренде, хозяйка куда с добром. А «львы» другой категории, с дипломами,— те, конечно, создают проблемы. Это люди, как правило, с апломбом, высокой самооценкой. Очень нужна бы государственная помощь — в правилах сокращения штатов, в системе конкурсов, то есть чтобы сработала подлинная социальная защищенность: и управленца от коллектива, и коллектива от управленца. Нам в Зыбине нечего бояться, что из 83 человек аппарата, скажем, пятьдесят поставим работать там, где человек может принести пользу и окупить сам себя. Окупить, а не получать от коллектива пенсию с молодых-юных лет. Без свободы торговли, без противодействия нынешней системе распределиловки этот

управленец, поймите, никогда не окажется лишним, ни сам он, ни в хозяйстве никто не засомневается в нормальности его штатной пенсии. Есть единица — должен быть оклад жалованья. И только противозатратный механизм может каждый день и час автоматически обсчитывать: а не убрать ли этого? а стоит ли держать того? а не слить ли воедино этих троих?.. Но тут будет такая борьба, такая смертная схватка, что и решений конференции мало будет — перечеркнут, сомнут, выхолостят, под сукно спрячут. Когда это задевает чьи-то интересы, и дважды два становится не четыре, а тут задеты кровные выгоды ого-го как вышколенного класса! Опасно питать надежды, что все утрясется само собой, и ваши «подотделы» когда-нибудь смирятся с мыслью, что без них все не провалится в тартарары, что не они — хранители культуры, селекции, системы внедрения нового и т. д., а новое или внедряется помимо их — или не внедряется вообще. Такого не будет! А будет прокалывание шин — не случайное, как у вас, не примитивное, как в тех случаях, когда село мстит фермеру-арендатору, а массовое, толковое, повсеместное и долгое. Задача общества — предотвратить эту схватку, заинтересовать и всех «подотдельских» в целости и долговечности новых колес хозяйства.

— И один вопрос на прощание. Мы все о будущем да о будущем... А для меня дилемма «продразверстка — продналог» давно уже сводится к одному дню в году. Его называют — «хлебофуражный баланс». Вызвали, карты на стол — «сдавай столько-то». Уже не комиссар продотряда с маузером, а свойский секретарь райкома осуществит это право забирать — и сразу ясны станут ваши крепостные обязанности. Так как — есть сейчас продразверстка, Александр Юрьевич?

— Вы живете старыми формулами. Какая продразверстка, какой маузер? Чтобы у кого-нибудь забирать, нужно подавлять чей-то интерес. Преодолевать нежелание отдавать! А сегодня, поймите, чаще всего встречаешь безразличие, полное равнодушие ко всем начальственным актам. Ну, заберут — и что? Безразлично! Хлеб-то в магазине все равно будет. Безразлично — аренда ли, хозрасчет, безразлично — капитализм, социализм, ревизионизм, что угодно, была бы зарплата, с голоду ты не умрешь, а разверстка ли, налог ли — хата наша с краю.

Проблема: низы — как все считают — не хотят. Чего? Рисковой жизни, когда «хочешь жить — умей вертеться». Но и наши агроверхи не хотят управлять по-новому! Потому что низы все равно вкалывать будут, как — другое дело, а верхов при арендном построении хозяйства, верхов в нынешнем понимании просто не будет. Содержать их станет некому! Это сейчас, пока государство без моей воли собирает у меня ресурсы на содержание клана «подотделов», прибыль у «Зыбина» можно отнять, наш миллион другим нужен, а у доярки Смирновой вы на этот миллион и рубля не выкрутите. Тогда-то и возникнет конкуренция власти — конкуренция специалистов, конкуренция свободного сбыта, конкуренция не борьбы за мясо-молоко б е з ц е н ы, а з а ц е н у молока и мяса. И вопрос «продразверстка или продналог» устареет, разрешится сам собой...

...Прощаясь с Кузьмичевым и с воображаемым своим слушателем, я сказал о почти неведомых нам журналистах первой нэповской поры. Перо А. В. Чаянова очертило мечтателя тех лет, что, «трясясь ноябрьским дождливым вечером на крестьянской телеге по непролазным дорогам от какого-нибудь Знаменского через Бузаево к какому-нибудь Успенскому, всюду встречал бездорожье, бедность и безразличие крестьян, сидящих на небольших чересполосных наделах и с «чисто мелкобуржуазной тупостью» замыкающихся в свои карликовые ячейки»,— бывал близок к отчаянию. А ведь подходило время такого расцвета российского села (пусть недолгого, незавершенного, но расцвета!), какого история не знала.

Позавидуем журналистам, которые видели, как все начиналось.

И — чем черт не шутит! — когда-нибудь люто позавидуют заново начинающим — нам.

Октябрь 1988 г.

Рой Медведев

О СТАЛИНЕ И СТАЛИНИЗМЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

5

Падение сельскохозяйственного производства в годы первой пятилетки привело к ухудшению продовольственного снабжения быстро увеличивающегося числа городских жителей. Сталин с его склонностью к администрированию и злоупотреблению властью не нашел иного выхода, как вновь встать на путь насильственного изъятия из деревни всех излишков (и не только излишков) сельскохозяйственных продуктов. Несмотря на уменьшение валовой продукции сельского хозяйства, государственные заготовки непрерывно возрастали, достигнув к 1934 году 40 процентов собранного зерна. При этом заготовительные цены были очень низкими, в несколько раз ниже себестоимости заготовляемых продуктов, и это вызывало недовольство колхозников.

По существу, государственные заготовки принимали характер принудительной продразверстки. Это привело к падению трудовой дисциплины в только что созданных колхозах и к массовому расхищению хлеба. Во многих областях страны усиливались антиколхозные и антисоветские настроения. Под их влиянием в таких относительно богатых хлебом районах, как Южная Украина, Северный Кавказ, Донская область, начались своеобразные «хлебные забастовки»: не только единоличники, но и колхозы сокращали посевы, отказывались сдавать хлеб государству, закапывали его в землю. Вместо того, чтобы исправить допущенные ошибки или повысить закупочные цены, Сталин вновь встал на путь насилия. Были приняты драконовские меры против хищений в колхозах. Крестьяне, уличенные в краже ими же выращенного зерна, приговаривались к длительным срокам заключения или даже к расстрелу. В отдельных районах возобновился массовый террор. Был прекращен подвоз товаров в районы, которые не выполнили плана хлебозаготовок, там закрывались и государственные, и кооперативные магазины.

В отдельных случаях применялась даже такая жестокая мера, как выселение в отдаленные районы целых станиц и деревень. Так, например, осенью 1932 года в связи с трудностями при проведении заготовок на Северный Кавказ была направлена комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем, которому были предоставлены фактически неограниченные права. При участии Кагановича бюро Северо-Кавказского крайкома партии приняло решение: «Ввиду особо позорного провала хлебозаготовок и озимого сева на Кубани поставить перед партийными организациями в районах Кубани боевую задачу — сломить саботаж хлебозаготовок и сева, организованный кулацкими контрреволюционными элементами, уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактически проводниками саботажа, и ликвидировать несовместимые со званием члена партии пассивность и примиренчество с саботажниками».

На основании этого решения были выселены в северные районы шестнадцать станиц Северного Кавказа, в том числе Полтавская, Медведовская, Урупская, Багаевская. Выселяли всех поголовно, включая бедноту и середняков, единоличников и колхозников. На «освободившиеся» места переселяли крестьян из нечерноземных районов. Массовые репрессии против крестьян прошли под руководством В. М. Молотова и Кагановича на Украине, а также в Белоруссии. Показательно письмо М. А. Шолохова о возмутительных действиях хлебозаготовителей в Вешенском и других районах Дона. 16 апреля 1933 года он писал Сталину, что в связи с хлебозаготовками к колхозникам применяли омерзительные методы пыток, избиений и надругательств. «Примеры эти можно бесконечно умножить. Это не отдельные случаи загибов, это узаконенный в районном масштабе «метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко мне с просьбами «прописать про это в газету».

Сталин оставался глух ко всем такого рода сигналам.

Продолжение. Начало см. «Знамя» № 1 за 1989 год.

6

Первая пятилетка завершилась в деревне не только массовой коллективизацией, но и страшным голодом, унесшим миллионы жизней. Все более острая нехватка продовольствия начала ощущаться уже в 1930—1931 годах, так как валовая продукция сельского хозяйства уменьшалась, а государственные заготовки возрастали. Поздней осенью 1932 года обширные районы страны, особенно Южную Украину, Среднее Поволжье, Северный Кавказ и Казахстан охватил жестокий голод. По своим масштабам он значительно превосходил голод в Поволжье и других районах 1921 года. Тогда, в 1921 году, о голоде писали все газеты, был организован сбор средств по всей стране, созданы специальные организации для помощи голодающим губерниям, налажена международная помощь. Иначе было в 1932—1933 годах. На все сообщения о голоде наложили запрет. Ни в Советском Союзе, ни за границей не проводилось никаких кампаний помощи голодающим. Напротив, сам факт массового голода официально отрицался. Сотни тысяч и даже миллионы голодающих пытались бежать в города и более благополучные области, но мало кому это удавалось, так как воинские заставы на дорогах и железнодорожных станциях не выпускали крестьян из охваченных голодом районов. Но и те, кто добирался до города, не могли получить здесь помощи: без продовольственных карточек им не продавали хлеб в магазинах. В Киеве, да и во многих других южных городах каждое утро подбирали трупы крестьян, складывали на телеги и увозили за город хоронить в безымянных могилах.

Не говорилось о голоде и на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников в феврале 1933 года, то есть в самый разгар этого страшного бедствия. Именно тогда Сталин выдвинул лозунг: «Сделать всех колхозников зажиточными». Даже на заседаниях Политбюро он отказывался обсуждать вопрос о голоде. Так, например, когда один из секретарей ЦК КП(б) Украины Р. Терехов, докладывая о тяжелом положении в селах Харьковской области в связи с недородом, просил выделить для нее хлеб, Сталин резко оборвал его: «Нам говорили, что вы, товарищ Терехов, хороший оратор, оказывается, вы хороший рассказчик — сочинили такую сказку о голоде, думали нас запугать, но не выйдет! Не лучше ли вам оставить посты секретаря Обкома и ЦК КПУ и пойти в Союз писателей: будете сказки писать, а дураки будут читать...»

Нелишне отметить, что в художественной литературе 30-х годов нельзя было найти «сказок» о голоде 1932—1933 годов. Всякое упоминание об этом было запрещено, а за слова «голод на юге» многих людей арестовывали как за «контрреволюционную агитацию». Только после XXII съезда стала возможной публикация произведений на эту ранее запретную тему.

«Вслед за кулаком,— писал, к примеру, о страшной зиме 1932—1933 года Михаил Алексеев,— из села, только уже добровольно, двинулся середняк. По чьему-то распоряжению был вывезен весь хлеб и весь фураж. Начался массовый падеж лошадей, а в тридцать третьем — страшный голод: люди умирали семьями, рушились дома, редели улицы, все больше и больше окон слепло — уезжаю-

щне в город наглухо забивали их досками и горбылями... Чернее горна стало лицо Акимушки. Белым накалом светились на нем глаза, в которые так часто заглядывали односельчане и как бы спрашивали: «Что же это? Как же это, Акимушка? Ведь мы за тобой пошли? Ведь ты человек партейный!» Он отвечал как мог. Говорил, что там, наверху, разберутся. Сталин пришлет в Выселки своего человека, тот посмотрит, накажет виновных — и все будет хорошо».

Только сейчас, более чем через полвека, мы узнаем подробности этой страшной страницы нашей нелегкой истории.

«В 1932 году мне было 19 лет...— пишет в журнал «Огонек» И. М. Хмильковский.— Я бывал на полях Кировоградской и Киевской областей, где созревал высокий урожай, и смею утверждать, что в 1932 году на Украине никакой сильной засухи не было. Однако из-за грубых нарушений ленинских принципов коллективизации и в силу других причин крестьяне уклонялись от вступления в колхоз. Земля же их тем не менее была обобществлена и оказалась необработанной. Глубоко уверен, что Сталин костлявой рукой голода пытался заставить мужика идти в колхоз и работать за почти не оплачиваемые трудодни.

Заранее спланированный голод и искусственное манипулирование переписями 30-х годов, чтобы скрыть количество умерших и зачислить мертвые души в качестве живых,— вот одно из трагических последствий сталинизма...

Хлеб изымался до последнего килограмма. Причем эта дикость прикрывалась лозунгом, рожденным в совершенно иных исторических условиях: «Борьба за хлеб — борьба за социализм». Миллионы обездоленных и голодных молча умирали. Если же кто-то выражал возмущение, на него немедленно сыпались репрессии!».

Несмотря на страшный голод, Сталин настаивал на продолжении экспорта хлеба в страны Европы. Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году — 13 миллионов центнеров, в 1930 году — 48,3 миллиона, в 1931 году — 51,8 миллиона, в 1932 году — 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна. При этом советский хлеб продавался в условиях экономического кризиса в странах Европы фактически за бесценок. А между тем в половины вывезенного в 1932—1933 годах за границу зерна хватило бы, чтобы уберечь все южные районы от голода.

А в Западной Европе со спокойной совестью ели советский хлеб, отнятый у голодающих и умирающих от голода крестьян. Все слухи о голоде в России решительно опровергались. Даже Бернард Шоу, который как раз в начале 30-х годов совершил ознакомительную поездку по СССР, писал, что слухи о голоде в России являются выдумкой, и он убедился, что Россия никогда раньше не снабжалась так хорошо продовольствием, как в то время, когда он там побывал.

До сих пор никто не знает, сколько людей умерло от голода в 1932—1933 годах. Многие исследователи сходятся на 5 миллионах. Другие называют 8 миллионов, и они, вероятно, ближе к истине. Погибло больше, чем в 1921 году и чем в Китае во время страшного голода 1877—1878 годов. Об этом свидетельствуют косвенные данные. В книге А. Гозулова и М. Григорянца «Народонаселение СССР», опубликованной в 1969 году, приводятся такие сведения. Украинцев по переписи 1926 года было 31,2 миллиона, а по переписи 1939 года — 28,1 миллиона. Прямое уменьшение за тринадцать лет — 3,1 миллиона человек. С 1926 по 1939 год численность казахов уменьшилась на 860 тысяч. Всему этому могло быть только одно объяснение — голод начала 30-х годов.

Справочники ЦСУ в течение шести лет (1933—1938) повторяли одни и те же данные о численности населения СССР,— данные на 1 января 1933 года: 165,7 миллиона человек. Выступая в декабре 1935 года на совещании передовых комбайнеров, Сталин заметил:

«У нас теперь все говорят, что материальное положение трудящихся значительно улучшилось, что жить стало лучше, веселее. Это, конечно, верно. Но это ведет к тому, что население стало размножаться гораздо быстрее, чем в старое время. Смертности стало меньше, рождаемости больше, и чистого прироста получается гораздо больше. Это, конечно, хорошо, и мы это приветствуем. Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается около трех миллионов душ. Это значит, что каждый год мы получаем прирост населения на целую Финляндию».

И с выводом об увеличении прироста населения, и с утверждением, что жить стало веселее, Сталин поторопился. По переписи населения в 1939 году в стране было 170,4 миллиона человек. Чистый прирост, таким образом, менее 1 миллиона в год. Ну а что касается более «веселой» жизни, то об этом речь ниже.

Введенная в 1932—1933 годах паспортная система послужила не только прикреплению крестьян к колхозам. Далеко не все жители Москвы, Ленинграда, Киева и некоторых других крупных городов получили паспорта. Тысячи бывших капиталистов, дворян и других «лишенцев» (то есть людей, лишенных избирательных прав) вынуждены были уехать в провинциальные городки, где становились обычно мелкими служащими в местных учреждениях.

7

Об ошибках и злоупотреблениях властью при проведении коллективизации написано немало. Меньше известно об ошибках и злоупотреблении властью при проведении индустриализации.

В годы первой пятилетки страна добилась больших успехов. Только с 1928 по 1933 год были построены 1500 крупных предприятий и заложены основы таких отраслей промышленности, каких не знала царская Россия: станкостроения, автомобилестроения, тракторостроения, химической и авиационной промышленности. Налажено производство мощных турбин и генераторов, качественных сталей, ферросплавов, синтетического каучука, азота, искусственного волокна и др. Введены в строй тысячи километров новых железных дорог и каналов. На бывших национальных окраинах России — в Средней Азии и Закавказье, Казахстане, Татарии, Бурят-Монголии созданы крупные очаги промышленности. Возрос промышленный потенциал Урала, Сибири и Дальнего Востока, где начала возникать вторая топливно-металлургическая база промышленности. Создана оборонная промышленность. По всей стране возникли сотни новых городов и рабочих поселков. В громадную работу, связанную с созданием современной промышленности, вложил немалые усилия и Сталин. Однако и здесь он поступал нередко не как мудрый государственный деятель, а как прожектер и волюнтарист, создавая для страны и партии дополнительные трудности.

Так, например, пятилетний план 1928/29—1932/33 годов был составлен в двух вариантах — «отправном» и «оптимальном», причем отправной план примерно на 20 процентов уступал оптимальному. Уже в первые два года пятилетки стало ясно, что для выполнения оптимального плана нет условий. Западные кредиты были слишком малы. Экспортные ресурсы СССР недостаточны. Из-за мирового экономического кризиса цены на сырье на западных рынках резко упали. Каждую машину приходилось оплачивать в 2—2,5 раза большим количеством сырья и материалов, чем предполагалось. К тому же уменьшилось валовое производство сельского хозяйства. Если раньше считалось, что производство сельскохозяйственной продукции станет расти и накопления из этой отрасли можно будет широко использовать при создании промышленности, то теперь приходилось пересматривать расчеты. Голодающая деревня к концу первой пятилетки мало чем могла помочь развитию промышленности.

Поэтому, несмотря на огромные усилия, старт первой пятилетки был не слишком успешным. В 1929 году, например, производство чугуна и стали увеличилось только на 600—800 тысяч тонн, тракторов выпустили лишь 3,3 тысячи. Медленнее, чем планировалось, возрастало производство продукции легкой и пищевой промышленности. Плохо работал железнодорожный транспорт. Возникла необходимость снизить многие задания и контрольные цифры пятилетнего

плана, ориентируясь на его отправной вариант. Однако Сталин настоял, напротив, на значительном увеличении многих заданий.

«Работа ЦК...— говорил он на XVI съезде ВКП(б) в июне 1930 года,— шла, главным образом, по линии исправления и уточнения пятилетнего плана в смысле увеличения темпов и сокращения сроков...

По черной металлургии: пятилетний план предусматривает доведение производства чугуна в последний год пятилетки до 10 миллионов тонн; решение же ЦК находит эту норму недостаточной и считает, что производство чугуна в последний год пятилетки должно быть поднято до 17 миллионов тонн.

По тракторостроению: пятилетний план предусматривает доведение производства тракторов в последний год пятилетки до 55 тысяч штук; решение же ЦК находит это задание недостаточным и считает, что производство тракторов в последний год пятилетки должно быть поднято до 170 тысяч штук.

То же самое нужно сказать об автостроении, где вместо производства 100 тысяч штук автомобилей (грузовых и легковых) в последний год пятилетки, предусмотренных пятилетним планом, решено поднять производство автомобилей до 200 тысяч штук.

То же самое имеет место в отношении цветной металлургии, где наметки пятилетнего плана увеличены более чем на 100%, и сельхозмашиностроения, где наметки пятилетнего плана также увеличены более чем на 100%.

Я уже не говорю о строительстве комбайнов, которое не было вовсе учтено в пятилетнем плане и производство которых должно быть доведено в последний год пятилетки минимум до 40 тысяч штук».

Такого рода авантюризм в планировании встретил серьезные и обоснованные возражения и беспартийных специалистов, и многих большевиков-хозяйственников. Сталин не пожелал считаться с их доводами. Однако репрессии и угрозы не привели к ускорению темпов развития промышленности. В 1930 году планировалось увеличить ее продукцию на 31—32 процента — фактический прирост 22 процента. На 1931 год было принято обязательство увеличить промышленное производство на 45 процентов — фактический рост 20 процентов. В 1932 году он снизился до 15 процентов, а в 1933 году — до 5 процентов. Уже в 1932 году был снят лозунг «За 17 миллионов тонн чугуна», значительно сокращены планы развития черной и цветной металлургии и машиностроения.

Тем не менее в январе 1933 года Сталин объявил, что первый пятилетний план выполнен досрочно — за 4 года и 3 месяца, и что уже в 1932 году промышленное производство достигло контрольных цифр, намеченных на 1933 год.

Началась шумная пропагандистская кампания. С ее помощью Сталин хотел замаскировать тяжелое положение, которое сложилось в стране, особенно из-за острого дефицита продовольствия и голода в основных сельскохозяйственных районах.

Конечно, промышленность сделала за годы первой пятилетки заметный шаг вперед. Однако это продвижение было отнюдь не столь значительным и быстрым, как об этом было объявлено на январском Пленуме ЦК ВКП(б). Приведенные Сталиным цифры были основаны на сознательной фальсификации.

Рост валовой продукции промышленности планировался ВСНХ и Госпланом на пятилетие 1928/29—1932/33 годы в 2,8 раза, при этом по группе «А» — в 3,3 раза. Фактически за пять лет продукция всей промышленности увеличилась в 2 раза, а производство средств производства — в 2,7 раза, значительно ниже плановых наметок. Производство предметов народного потребления увеличилось на 56 процентов, а не в 2,4 раза, как намечалось.

Однако и этот прирост в ряде случаев был чисто «статистическим». В связи с проводившейся тогда специализацией производства стоимость некоторых полуфабрикатов учитывалась при отчетах дважды: вначале при оценке работы предприятия, выпускающего полуфабрикат, а затем при оценке работы предприятия, дающего готовое изделие.

Анализ выполнения первой пятилетки не только по валовому производству, но и по натуральным показателям убеждает, что общие результаты были гораздо скромнее, чем об этом сообщалось. К концу пятилетки не было выполнено не только большинство контрольных заданий ее оптимального варианта, но и многие наметки отправного. Тем более остались невыполненными те нереальные задания, о которых Сталин говорил на XVI съезде партии.

Сталин объявил, что задание по производству чугуна на последний год пятилетки увеличивается с 10 миллионов тонн до 17 миллионов тонн. Фактически в 1932 году было выплавлено 6,16 миллиона тонн. Даже в 1940 году выплавка чугуна составляла 15 миллионов тонн и превысила 17 миллионов тонн только в 1950 году. Вместо 10,4 миллиона тонн стали в 1932 году было выплавлено 6 миллионов тонн, а проката вместо 8 миллионов тонн произведено 4,4 миллиона тонн.

Производство электроэнергии в последний год пятилетки намечалось довести до 22 миллиардов киловатт-часов. Фактически было получено в 1932 году 13,4 миллиарда киловатт-часов. Производство угля и торфа отставало в 1932 году на 10—15 процентов от контрольных заданий. Лучше обстояло дело с добычей нефти — уже в 1931 году ее добыли 22,4 миллиона тонн, то есть больше, чем было запланировано на 1932—1933 годы. Однако в последующие два года добыча снова упала.

Не были выполнены задания оптимального варианта пятилетки и по производству строительных материалов. Так, например, вместо запланированных на 1932 год 9300 миллионов штук кирпича было произведено 4900 миллионов. Еще хуже обстояло дело с производством минеральных удобрений — вместо 8—8,5 миллиона тонн их выпустили в 1932 году 920 тысяч тонн и в 1933 году 1033 тысячи тонн.

Не были выполнены многие важные задания по машиностроению (в том числе сельскохозяйственному). Производство автомашин планировалось довести в 1932 году до 100 тысяч штук (а по сталинскому плану — до 200 тысяч). Фактически в 1932 году было произведено 23,9 тысячи автомашин, а в 1933 году — 49,7 тысячи. Только лишь в 1936 году было выпущено более 100 тысяч автомашин. Тракторов в 1932 году выпустили 49 тысяч. Что касается объявленных Сталиным 170 тысяч тракторов в год, то эта цифра не была достигнута ни перед войной, ни в первое десятилетие после нее. Не было выполнено и нереальное задание Сталина о производстве 40 тысяч комбайнов.

В легкой и пищевой промышленности во многих случаях вообще не было никакого роста производства. В 1928 году было выпущено 2,68 миллиона метров хлопчатобумажных тканей, а в 1932 году — 2,69 миллиона. План же предусматривал 4,6 миллиона метров. Шерстяных тканей в 1928 году было изготовлено 86,8 миллиона метров, а в 1932 году — 86,7 миллиона. План предусматривал производство 270—300 миллионов метров, но для его выполнения не было сырья, так как поголовье овец значительно уменьшилось. Снизилось за пятилетие производство льняных тканей. На 30 процентов уменьшилось производство сахара, заметно уменьшилось в сравнении с 1928 годом и производство мяса и молока. Не были выполнены к 1932 году контрольные цифры производства обуви, бумаги, грузооборота железных дорог и многие другие.

Переселение миллионов людей, в основном бедняков, из деревни в город улучшало условия их жизни. Улучшалось материальное положение и миллионов горожан, прежде безработных,— теперь для всех нашлось применение. Однако жизненный уровень кадровых рабочих за годы первой пятилетки снизился. Не была выполнена директива XV съезда ВКП(б) о непрерывном росте заработной платы рабочих и служащих в «реальном ее выражении». Реальная заработная плата рабочих Ленинграда уже в 1930 году была по всем отраслям ниже, чем в 1927—1928 годах. Эта тенденция сохранялась и в 1931—1932 годах. Только в 1940 году реальная заработная плата рабочих достигла уровня 1928 года.

ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОБСТАНОВКИ В НАЧАЛЕ 30-х ГОДОВ

1

Серьезные просчеты в экономической и социальной политике в 1928—1932 годах привели к ухудшению материального положения большинства населения страны и к введению строгого нормирования в снабжении и торговле. Это вызвало недовольство значительной части трудящихся. Сталин снова нашел козла отпущения — теперь это были специалисты из числа старой, сформировавшейся еще до революции русской (и украинской) интеллигенции.

Часть русской интеллигенции активно выступала в годы гражданской войны против большевиков. Немало интеллигентов было выслано из Советской России в первые годы нэпа. Но так же, как для строительства Красной Армии были использованы опыт и знания многих тысяч бывших царских офицеров, так и для строительства советской экономики и науки Ленин считал не только возможным, но необходимым использовать опыт и знания старой «буржуазной» интеллигенции, которая готова была в своей профессиональной области лояльно сотрудничать с новой властью. Так оно и было в первый период нэпа. В хозяйственном аппарате, на промышленных предприятиях, в научных учреждениях и учебных заведениях, в земельных органах, в Госплане СССР и в статистических управлениях работало немало «буржуазных» специалистов, представителей старой интеллигенции и свергнутых Октябрем эксплуататорских классов, а также бывших меньшевиков и эсеров, отказавшихся от оппозиционной политической деятельности. На их настроение не могли не оказывать влияния обострение внутренних противоречий в стране, особенно между Советской властью и крестьянством, некомпетентность при вмешательстве в экономику, порождавшая множество потерь и трудностей. И естественно, что большая часть старой интеллигенции сочувствовала той группировке партийного руководства, которая получила наименование «правого» уклона. Иные специалисты оказались втянуты и в антисоветскую деятельность, в том числе и конспиративного характера. В начале 30-х годов не только в эмиграции, но и внутри СССР возникло несколько контрреволюционных организаций и групп (некоторые, как, например, знаменитая впоследствии организация «Трест», создавало само ГПУ). Но контрреволюционеров среди старой интеллигенции и специалистов было ничтожно мало. Подавляющее большинство работало честно, стараясь советом и делом помочь партийным деятелям, стоявшим во главе различных хозяйственных организаций. Многие были искренне захвачены громадным размахом первых пятилетних планов.

В речах, статьях и заявлениях Сталина этого периода можно найти немало слов, призывающих всемерно заботиться о старой, «буржуазной» интеллигенции. Однако дела Сталина решительно расходились с его словами.

Во-первых, он все настойчивее требовал не только лояльности к Советской власти. Репрессии нередко обрушивались на людей за их некоммунистические или немарксистские взгляды или за дореволюционную деятельность. Во-вторых, стремясь возложить на «буржуазных спецов» ответственность за все просчеты в индустриализации и планировании, Сталин и некоторые из его ближайших помощников начали кампанию компрометации и разгрома значительной части беспартийных специалистов.

Особое место в этой кампании занимали политические судебные процессы в конце 20-х — начале 30-х годов.

2

Первым таким процессом, имевшим значительные последствия в обострении внутриполитической обстановки, было так называемое «Шахтинское дело». По этому «делу» к ответственности привлекались главным образом инженеры и тех-

ники Донецкого бассейна, обвиненные в сознательном вредительстве, в организации взрывов на шахтах, в преступных связях с их бывшими владельцами, а также в закупке ненужного импортного оборудования, нарушении законов о труде и техники безопасности, неправильной закладке новых шахт и т. п. Заседания Специального присутствия Верховного Суда СССР по шахтинскому делу состоялись летом 1928 года в Москве под председательством А. Я. Вышинского. Бывший меньшевик, юрист, член коллегии Наркомпроса и ректор Московского Государственного университета, Вышинский должен был обеспечить, по мнению организаторов процесса, видимость объективности судебного разбирательства. Процесс носил явно политический характер. На скамью подсудимых, кроме специалистов и некоторых рабочих Донбасса, попали отдельные руководители украинской промышленности, составлявшие якобы «Харьковский центр» по руководству вредительством, а также представители «Московского центра». Их обвиняли в связях не только с различными эмигрантскими организациями русских предпринимателей, но и с бельгийскими, французскими и польскими капиталистами, которые финансировали вредительские организации и акции в Донбассе.

Большинство подсудимых признали лишь часть предъявленных им обвинений или отвергли их вовсе, а некоторые признали себя виновными по всем статьям обвинения. Суд оправдал четверых из 53 подсудимых, четверых приговорил к условным мерам наказания, девять человек — к заключению на срок от одного до трех лет. Большинство же было осуждено на длительное заключение — от 4 до 10 лет. Одиннадцать человек приговорили к расстрелу; пять из них расстреляли, а шести ЦИК СССР счел возможным смягчить меру наказания.

«Шахтинское дело» обсуждалось на двух Пленумах ЦК ВКП(б) и послужило поводом к продолжительной пропагандистской кампании. Понятие «шахтинцы» стало нарицательным, как бы синонимом «вредительства». Однако, знакомясь с материалами судебного процесса, широко освещавшегося в печати, невольно задаешься вопросом: насколько обоснованными были обвинительное заключение и, следовательно, приговор по «Шахтинскому делу»?

По свидетельству старого чекиста С. О. Газаряна, долгое время работавшего в экономическом отделе НКВД Закавказья (и арестованного в 1937 году), враги нашего государства вместе с другими формами и методами антисоветской борьбы применяли и вредительство. Этот метод имел, однако, незначительное распространение. Вредительства как сознательной политики, проводимой якобы целым слоем «буржуазных» специалистов, никогда не было. Газарян ездил в Донбасс в 1928 году для «обмена опытом» в работе экономических отделов НКВД. В Донбассе в то время из-за преступной бесхозяйственности часто возникали тяжелые аварии, сопровождавшиеся человеческими жертвами (затопления и взрывы на шахтах и др.). И в центре, и на местах советский и хозяйственный аппарат был еще несовершенен, там оказалось немало случайных и недобросовестных людей, так что в некоторых организациях процветали взяточничество и воровство, не говоря уж о пренебрежении интересами трудящихся. За все эти преступления необходимо было, конечно, наказывать. В ходе следствия к обвинениям уголовного характера (воровство, взяточничество, бесхозяйственность и др.) добавлялись обвинения во вредительстве, связях с различного рода «центрами» и заграничными контрреволюционными организациями. Следователи обещали заключенным смягчение их участи за «нужные» показания. Шли они на подлог из «идейных» соображений, чтобы «мобилизовать массы», «поднять в них гнев против империализма», «повысить бдительность». В действительности же эти подлоги преследовали одну цель: отвлечь недовольство широких масс трудящихся от партийного руководства, поощрявшего гонку за максимальными показателями индустриализации.

Сталин не желал тогда разбираться в тонкостях положения и поведения «буржуазной» интеллигенции. Ему было выгодно поддержать версию о ее сознательном вредительстве. Поэтому он поспешил «обобщить» уроки «Шахтинского дела» и призвал членов партии искать «шахтинцев» во всех звеньях советского и хозяйственного аппарата.

Террор против «буржуазных» специалистов резко усилился. Так, например, весной 1930 года на Украине состоялся «открытый» политический процесс по делу СВУ («Союз вызволения Украины»). Руководителем этой мифической организации был объявлен крупнейший ученый, вице-президент Всеукраинской Академии наук (ВУАН) С. А. Ефремов. Кроме него, на скамью подсудимых попали более сорока человек — и ученые, и учителя, и священники, и деятели кооперативного движения, и медицинские работники. Почти все они обвинялись в «буржуазном национализме», во «вредительстве», в выполнении директив зарубежных украинских националистических организаций, «агентурной работе по заданиям разведок и контрразведок некоторых государств». СВУ обвинялся также в подготовке некоторых террористических актов и даже в заключении тайного союза с Польшей с целью отделения Украины от России.

По свидетельству старого большевика А. В. Снегова, тогда ответственного партийного работника на Украине, националистические настроения среди украинской интеллигенции были весьма сильны. Однако все главные обвинения СВУ были ложными, да и самого СВУ, как организации, не существовало. Это подтвердили мне и двое подсудимых, которые после 25-летнего заключения в 70-е годы жили на Украине,— профессор-филолог В. Ганцов и инженер Б. Ф. Матушевский. Впрочем, к такому же выводу можно прийти и при ознакомлении с материалами судебного процесса. Реальные доказательства и убедительные улики вины подсудимых в них найти невозможно.

В 1930 году была раскрыта еще одна контрреволюционная организация — так называемая «Трудовая крестьянская партия» (ТКП). Руководителями этой партии объявили выдающегося экономиста Н. Д. Кондратьева, в 1917 году «товарища» министра продовольствия Временного правительства, известного экономиста Л. Н. Юровского, экономиста и писателя А. В. Чаянова, крупнейшего ученого-агронома А. Г. Дояренко и некоторых других. Все они в это время честно работали в различных советских и хозяйственных учреждениях. Как сообщалось, у ТКП было девять основных подпольных групп только в Москве, а всего в ней состояло от 100 до 200 тысяч человек.

Лишь 16 июля 1987 года по протесту Генерального прокурора СССР Верховный Суд СССР отменил все приговоры 1931, 1932 и 1935 годов по делам «кулацко-эсеровской группы Кондратьева — Чаянова» и реабилитировал всех обвиненных. Одновременно сообщалось, что никакой «Трудовой крестьянской партии» не существовало. Сейчас вышли в свет научные труды Чаянова, готовятся к изданию работы Кондратьева, Юровского, Дояренко и других крупнейших экономистов 20-х годов, ставших жертвами произвола и репрессий. Большинство их работ не утратило своей актуальности и сегодня. 100-летие со дня рождения А. В. Чаянова было широко отмечено.

3

С 25 ноября по 7 декабря 1930 года в Москве состоялся новый, теперь уже «открытый» политический судебный процесс — так называемый процесс «Промпартии». Председателем суда был А. Я. Вышинский, одним из государственных обвинителей — Н. В. Крыленко. Во вредительстве и контрреволюционной деятельности обвинялись Л. К. Рамзин — директор Теплотехнического института и крупнейший специалист в области теплотехники и котлостроения, а также видные специалисты в области техники и планирования В. А. Ларичев, И. А. Калинников, Н. Ф. Чарновский, А. А. Федотов, С. В. Куприянов, В. И. Очкин, К. В. Ситник.

По данным обвинения, эти восемь человек составляли руководящий комитет созданной якобы еще в конце 20-х годов подпольной «Промышленной партии», которая ставила своей задачей организацию вредительства и диверсий, саботажа и шпионажа, а также помощь в подготовке интервенции западных держав с целью свержения Советской власти. Было объявлено, что общее число членов «Промпартии» вместе с периферийными группами около двух тысяч человек, в основном это представители высококвалифицированной технической интеллигенции.

На суде все обвиняемые признали себя виновными и охотно давали самые невероятные и подробные показания о своей шпионской и вредительской деятельности, о связях с эмигрантской организацией «Торгпром», с иностранными организациями и посольствами и даже с главой французского правительства Пуанкаре. В дни процесса прокатилась волна митингов и собраний, участники которых требовали расстрела обвиняемых. Их и приговорили к расстрелу, но по решению ЦИК СССР приговор был изменен: подсудимые получили длительные сроки тюремного заключения.

В западных странах тоже прошла волна возмущения: общественность выражала протест против судебного процесса в Москве. Специальное заявление опубликовал и Пуанкаре. Показательно, что его полный текст (как и многие другие заявления такого рода) был опубликован в «Правде», оглашен на процессе и приобщен к делу. Это, казалось бы, демонстрировало объективность судопроизводства. В 1930 году доверие к суду было еще мало поколеблено. Поэтому заявление Пуанкаре, известного противника коммунизма, воспринималось скорее как доказательство существования заговора.

Через несколько месяцев после процесса «Промпартии» в Москве состоялся еще один формально открытый судебный политический процесс — по делу так называемого «Союзного бюро» ЦК РСДРП (меньшевиков). Обвинялись четырнадцать человек: В. Г. Громан, член Президиума Госплана СССР; В. В. Шер, член правления Государственного Банка; Н. Н. Суханов, литератор; А. М. Гинзбург, экономист; М. П. Якубович, ответственный работник Наркомторга СССР; В. К. Иков, литератор; И. И. Рубин, профессор политэкономии и другие. Председателем суда на этот раз был Н. М. Шверник, одним из государственных обвинителей — Н. В. Крыленко. Обвиняемых защищали И. Д. Брауде и Н. В. Коммодов. Преобладающая часть обвиняемых в прошлом действительно входила в партию меньшевиков, но именно в прошлом. По данным обвинения, однако, все они в 20-е годы тайно вступили вновь в эту партию, образовав ее подпольный центр в СССР.

Подсудимые обвинялись во вредительстве, особенно при составлении государственных планов: сознательно занижали их, чтобы задержать развитие промышленности и сельского хозяйства. Согласно обвинительному заключению, между «Союзным бюро», «Промпартией» и «ТКП» существовало тайное соглашение об организации интервенции и вооруженных восстаний. Некоторые из пунктов обвинения были прямо направлены против Д. Б. Рязанова, в начале 30-х годов директора Института Маркса — Энгельса — Ленина. Крупный теоретик и историк марксизма, Д. Б. Рязанов был известен своим отрицательным и даже пренебрежительным отношением к Сталину.

Все подсудимые признали себя виновными и дали подробные показания о своей вредительской деятельности. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет.

4

После отмены всех ложных обвинений и несправедливых приговоров по делу «Трудовой крестьянской партии» Прокуратура СССР приступила к подготовке аналогичных решений по делам «Промпартии», «Союзного бюро» и некоторым другим аналогичным, но не столь «громким» фальсифицированным процессам. Вполне возможно, что решения Верховного Суда последуют раньше, чем выйдет журнал. Нужно отметить тем не менее, что при внимательном чтении опубликованных в газетах, а потом и в отдельных сборниках материалов этих процессов в глаза бросаются многие неувязки и явные фальсификации.

В деле «Промпартии» неувязки начинаются с обвинительного заключения. Там сказано, что ее руководство состояло из бывших крупных промышленников или людей, занимавших высокооплачиваемые командные должности в дореволюционной промышленности. Однако, как выяснилось на суде, ни один из восьми обвиняемых не был ни капиталистом, ни даже сыном капиталиста. Все происходили из семей ремесленников, крестьян, служащих, средних помещиков. В част-

ной промышленности работали до революции только трое, причем Ларичев всего три года.

«Одна из исходных причин создания контрреволюционной организации,— говорилось в обвинительном заключении,— это политические убеждения старого инженерства, колебавшегося обычно от кадетских до правых монархических убеждений». Но из восьми подсудимых только один Федотов примыкал раньше к кадетам. Некоторые состояли в прошлом в РСДРП, а остальные вообще мало интересовались политикой.

Много нелепостей и противоречий можно обнаружить и в показаниях обвиняемых. Так, например, Рамзин говорил, что белоэмигрантские организации устроили ему встречу с руководителями французского генерального штаба и те ознакомили его не только с общими решениями Франции о скорой интервенции, но и с оперативными планами французского командования. Рамзину якобы сообщили направления главных ударов французского экспедиционного корпуса и союзников, место высадки десантов, сроки нападения на СССР и т. п. Ясно, однако, что никакой генеральный штаб не стал бы посвящать Рамзина в свои конкретные планы интервенции, даже если бы они существовали.

Кстати, на всех процессах следствие открыто заявляло суду, что не располагает вещественными уликами и документами. О всякого рода директивах, воззваниях и инструкциях, резолюциях и протоколах заседаний руководства подпольных партий говорилось на процессах немало, но ни один документ не был представлен суду и общественности. Следствие объявило, что подсудимые успели перед арестом уничтожить все документы. «Проанализируем дальше тот же вопрос,— говорил в заключительной речи на процессе «Промпартии» Н. Крыленко,— какие улики могут быть? Есть ли, скажем, документы? Я спрашивал об этом. Оказывается там, где они были, там документы уничтожались. Я спрашивал: а может быть, какой-нибудь случайный остался? Было бы тщетно на это надеяться».

В обвинительном заключении утверждалось, что «Промпартия» планировала назначить на пост министра промышленности и торговли в будущем русском правительстве П. П. Рябушинского, крупного русского капиталиста, и что с ним об этом в октябре 1928 года вели переговоры Рамзин и Ларичев. После публикации обвинительного заключения многие иностранные газеты сообщили, что П. П. Рябушинский умер еще до 1928 года и что за границей живут лишь его сыновья.

Неувязка произошла и с известным историком Е. В. Тарле. Он был арестован, и члены «Промпартии» показали, что его намечали министром иностранных дел белогвардейского правительства. Но вскоре Тарле оказался нужен Сталину, и его без большого шума освободили.

Множество нелепостей было и на процессе «Союзного бюро». Самый уязвимый пункт обвинительного заключения по новому делу — связь «Союзного бюро» и «Промпартии». О ней говорилось подробно и в обвинительном заключении, и в показаниях подсудимых. Рамзин был на новом процессе важным свидетелем и много рассказывал о связях «Промпартии», «ТКП» и «Союзного бюро». Но ведь на недавнем еще процессе «Промпартии» «Союзное бюро» ни разу не упоминалось, хотя во время этого процесса «Союзное бюро», представшее перед судом в начале 1931 года, было уже арестовано. Чтобы как-то объяснить недоразумение, объявили, что от членов «Союзного бюро» удалось добиться «чистосердечных признаний» только к декабрю 1930 года, а члены «Промпартии» не были на своем процессе достаточно искренни. Между тем совершенно очевидно, что сама мысль об организации процесса «Союзного бюро» пришла Сталину и его помощникам уже после «успеха» процесса «Промпартии». Соответственно стали готовиться и легенды для нового процесса. В спешке допустили немало неувязок. В то время как члены «Промпартии» признавались, что они в целях вредительства завышали плановые наметки, членов «Союзного бюро» обвиняли, напротив, в составлении заниженных планов. При этом цитировались весьма убедительные по содержанию речи обвиняемых на заседаниях Госплана, в которых они возражали против чрезмерно высоких новых заданий на пятилетку, полученных от Политбюро. Вообще, читая материалы судебных процессов 1930—1931 годов, можно подумать, что пятилетние планы составлялись членами «Союзного бюро» и «Промпартии», а не обсуждались в деталях на партийных конференциях и съездах. Точно так же, знакомясь с показаниями обвиняемых о сознательном расстройстве ими снабжения продовольственными и промышленными товарами городов и сел, можно подумать, что во всех хозяйственных наркоматах и в наркомате торговли именно «вредители» были хозяевами положения. А ведь главные вопросы снабжения решались даже не в наркоматах, а на заседаниях Политбюро.

Довольно странной была и последующая судьба некоторых подсудимых. Так, например, руководитель «Промпартии» Л. К. Рамзин, «кандидат в диктаторы», «шпион», «организатор диверсий и убийств», был помилован. Ему разрешили в заключении заниматься научной работой. Всего через пять лет после процесса Рамзин был освобожден и награжден орденом Ленина за заслуги в котлостроении. Позднее он получил Сталинскую премию и умер в 1948 году, занимая ту же должность директора Московского теплотехнического институтв, какую занимал до процесса «Промпартии».

5

Сталин не только пытался свалить на «вредительство» буржуазных специалистов все свои ошибки и просчеты в первые годы коллективизации и индустриализации. Он хотел также приписать себе несуществующие заслуги в предотвращении иностранной интервенции и в разгроме подпольных контрреволюционных партий. Иными словами, нажить пусть и фиктивный, но важный для него политический капитал. К тому же, организуя политические судебные процессы, Сталин сознательно нагнетал в стране напряженность, чтобы заставить замолчать своих критиков и лишний раз бросить тень на лидеров оппозиционных групп 20-х годов.

Возникает, однако, вопрос: каким образом удалось заставить обвиняемых публично клеветать на себя и на многих других, придумывать несуществующие организации и несовершенные преступления? Ответ: пытками и другими средствами незаконного давления на арестованных. Но Сталин не смог уничтожить всех свидетелей своих преступлений. Остался жив, несмотря на тяготы 24-летнего заключения, М. П. Якубович, один из главных обвиняемых на процессе «Союзного бюро». После освобождения он остался в Караганде—в инвалидном доме, но до своей кончины в 1980 году приезжал в Москву, несколько раз беседовал со мной, подробно рассказывал о методах подготовки судебных процессов начала 30-х годов. М. П. Якубович не ограничился лишь устными свидетельствами. В мае 1967 года он направил в Прокуратуру СССР письмо, копии которого передал некоторым из своих друзей. Вот несколько отрывков из этого письма.

«...Следователи ОГПУ и не стремились ни в какой мере вскрыть действительные политические связи и действительную политическую позицию кого-либо из обвиняемых. У них была готовая схема «вредительской» организации, которая могла быть сконструирована только при участии крупных и влиятельных работников государственного аппарата, а настоящие подпольные меньшевики такого положения не занимали и поэтому для такой схемы не годились...

Началось «извлечение признаний». Некоторые, подобно Громану и Петунину, поддались на обещание будущих благ. Других, пытавшихся сопротивляться, «вразумляли» физическими методами воздействия — избивали (били по лицу и голове, по половым органам, валили на пол и топтали ногами, лежавших на полу душили за горло, пока лицо не наливалось кровью, и т. п.), держали без сна на «конвейере», сажали в карцер (полураздетыми и босиком на мороз или в нестерпимо жаркий и душный без окон) и т. д. Для некоторых было достаточно одной угрозы подобного воздействия с соответствующей демонстрацией. Для других оно применялось в разной степени — строго индивидуально,— в зависимости от сопротивления каждого. Больше всех упорствовали в сопротивлении А. М. Гинзбург и я. Мы ничего не знали друг о друге и сидели в разных тюрьмах: я — в Северной башне Бутырской тюрьмы, Гинзбург — во внутренней тюрьме ОГПУ. Но мы пришли к одинаковому выводу: мы не в силах выдержать применяемого

воздействия и нам лучше умереть. Мы вскрыли себе вены. Но нам не удалось умереть. После покушения на самоубийство меня уже больше не били, но зато в течение долгого времени не давали спать. Я дошел до такого состояния мозгового переутомления, что мне стало все на свете все равно: какой угодно позор, какая угодно клевета на себя и на других, лишь бы заснуть. В таком психическом состоянии я дал согласие на любые показания. Меня еще удерживала мысль, что я один впал в такое малодушие, и мне было стыдно за свою слабость. Но мне дали очную ставку с моим старым товарищем В. В. Шером, которого я знал как человека, пришедшего в рабочее революционное движение задолго до победы революции из богатой буржуазной среды, т. е. как человека, безусловно, идейного. Когда я услышал из уст Шера, что он признал себя участником вредительской меньшевистской организации — «Союзного бюро» — и назвал меня как одного из его членов, я тут же, на очной ставке, окончательно сдался. Дальше я уже нисколько не сопротивлялся и писал любые показания, какие мне подсказывали следователи Д. З. Апресян, А. А. Наседкин, Д. М. Дмитриев.

...За несколько дней до начала процесса состоялось первое «организационное заседание» «Союзного бюро» в кабинете старшего следователя Д. М. Дмитриева и под его председательством. В этом заседании, кроме 14 обвиняемых, приняли участие Апресян, Наседкин и Радищев. На заседании обвиняемые познакомились друг с другом, и согласовывалось — репетировалось — их поведение на суде. На первом заседании эта работа не была закончена, и оно было повторено.

Я был в смятении. Как вести себя на суде? Отрицать данные на следствии показания? Попытаться сорвать процесс? Устроить мировой скандал? Кому он пойдет на пользу? Разве это не будет ударом в спину Советской власти? Коммунистической партии? Я не вступил в нее, уйдя от меньшевиков в 1920 году, но ведь я политически и морально был с нею и остаюсь с нею. Какие бы преступления ни совершал аппарат ОГПУ, я не должен изменять партии и государству. Не скрою, я думал и о другом. Если я откажусь от ранее данных показаний на процессе, что со мной сделают палачи-следователи? Страшно об этом и подумать. Если бы только смерть. Я хочу смерти. Я искал ее и пытался умереть. Но ведь они умереть не дадут, они будут медленно пытать, пытать бесконечно долго. Не будут давать спать до тех пор, пока не наступит смерть. А когда она наступит от бессонницы? Раньше, вероятно, придет безумие. Как на это решиться? Во имя чего? Если бы я был врагом Коммунистической партии и Советского государства, я нашел, может быть, нравственную опору своему мужеству в ненависти к ним. Но ведь я не враг. Что же может побудить меня на такое отчаянное поведение на суде?..

Когда после приговора нас выводили нз зала, я столкнулся в дверях с А. Ю. Финн-Енотаевским. Он был старше по возрасту всех подсудимых и старше меня на 20 лет. Он мне сказал: «Я не доживу до того времени, когда можно будет сказать правду о нашем процессе. Вы моложе всех — у вас больше, чем у всех остальных, шансов дожить до этого времени. Завещаю вам рассказать правду».

Исполняя это завещание моего старшего товарища, я пишу эти объяснения и давал устные показания в Прокуратуре СССР.

Михаил Якубович.
5 мая 1967 года».

6

Политические процессы конца 20-х — начала 30-х годов послужили поводом для массовых репрессий против старой, «буржуазной» интеллигенции, представители которой работали в различных наркоматах, учебных заведениях, в Академии наук, в музеях, кооперативных организациях, а также в армии. Среди них было немало бывших членов кадетской партии, даже умеренных монархистов, участников националистических движений, а также и бывших меньшевиков, эсеров, народных социалистов. Только очень немногие из них в 20-е годы примкнули к большевикам. Большинство же вообще не занималось политикой. Важно

другое, главное: в целом все старые специалисты относились вполне лояльно к Советской власти и приносили ей немалую пользу своими знаниями и опытом.

Основной удар карательные органы наносили в 1929—1932 годах по технической интеллигенции — «спецам». Газеты писали, что вредительство под руководством «спецов» проникло повсюду, что на судебных процессах была раскрыта только «головка» вредительских организаций, а не широкие слои их участников. Утверждалось даже, что «старое инженерство нужно безусловно считать настроенным контрреволюционно на 90—95 процентов».

Вспоминая об этом времени, инженер-химик Д. Витковский писал в своей автобиографической повести «Полжизни»:

«В январе 1931 года волна арестов бросила меня в тюрьму. Тюрьмы были забиты до отказа. Меня поместили в камеру, очевидно, наспех приспособленную из небольшого подвального помещения, выходившего единственной маленькой отдушиной на Малую Лубянку... Объяснения начались быстро и энергично, как в детективном романе. Оказывается, я был деятелем разветвленного антисоветского заговора... изобретал яды для уничтожения членов правительства... в заговоре участвовали военные... за ними по пятам скользили невидимые шпики... теперь все уже выяснено и не хватает только нашего признания.

Увы! Я ничем не мог помочь следствию и только утверждал, что никакого заговора не знаю и с заговорщиками не общался... Допросы велись только по ночам. Многие всю ночь. На измор. Но — сидя.

Через месяц меня, как отработанного, перевели в Бутырку... Часть заключенных спала прямо на цементном полу; некоторые без всяких подстилок. В камере при мне было от 60 до 80 человек; среди них несколько профессоров, преимущественно технических специальностей, не меньше пятидесяти инженеров и немного военных, писателей, артистов. Недаром тюрьмы в то время назывались остряками «домами отдыха инженеров и техников».

Среди арестованных в 1929—1931 годах «буржуазных» специалистов оказались такие выдающиеся ученые и инженеры, как Н. И. Ладыженский, главный инженер Ижевского оружейного завода; А. Ф. Величко, крупнейший специалист по железнодорожному строительству и перевозкам, в прошлом генерал царской армии; один из крупнейших специалистов по селекции картофеля, А. Г. Лорх. Был арестован и выслан крупнейший русский физик академик П. П. Лазарев. По клеветническому обвинению в создании монархической контрреволюционной организации арестовали большое количество честных и заслуженных военных командиров и специалистов. Среди них и такие видные деятели военной науки, как Н. Е. Какурин и уже упоминавшийся А. Е. Снесарев, бывший начальник Академии Генерального штаба, которому ЦИК СССР только что присвоил звание Героя Труда.

...На территории одного из заводов в Москве в деревянном одноэтажном ангаре, переоборудованном под жилье, помещались двадцать арестованных, в основном пожилые инженеры — Д. П. Григорович и Н. Н. Поликарпов — авиаконструкторы, конструктор по вооружению самолета А. В. Надашкевич, инженер по статиспытаниям П. М. Крейсон, аэродинамик Б. Ф. Гончаров, организатор производства И. М. Косткин. Они имели право выходить только на территорию завода, работники которого между собой называли их «инженеры-вредители».

Волна арестов не миновала и ученых-гуманитариев. В тюрьму попали академики С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, Н. П. Лихачев, С. В. Бахрушин, С. И. Тхоржевский, В. В. Виноградов, один из основателей сортоиспытательной системы в СССР селекционер В. В. Таланов, крупный специалист истории естествознания профессор Б. Е. Райков. Аресту или высылке подверглись философ А. А. Мейер, историк В. В. Бахтин, историк И. М. Гревс, литературовед М. М. Бахтин и десятки других известных в то время ученых.

Судьба этих людей в дальнейшем сложилась по-разному. Многие из них были через несколько лет освобождены и сделали блестящую научную карьеру, к примеру, Е. В. Тарле, А. Г. Лорх, В. В. Виноградов, В. В. Таланов. В 40—50-е годы они возглавляли важнейшие научные учреждения, пользовались почетом, получали ордена и звания. Иные же — Н. Е. Какурин, А. Е. Снесарев,

П. П. Лазарев, С. Ф. Платонов — умерли в заключении и реабилитированы лишь посмертно. Краткие справки о них можно найти в современных энциклопедиях, часть их трудов переиздана. А многие ученые, арестованные в 1929—1931 годах, не реабилитированы до сих пор, причем о некоторых просто забыли.

7

Ликвидация кулачества как класса и проведение сплошной коллективизации положили в деревне и фактически, и формально конец провозглашенной Лениным в 1921 году новой экономической политике. Преждевременная и насильственная «революция сверху», как определил ее сам Сталин, отразилась, естественно, и на положении в городах. Введение нормированного снабжения, нарушение финансового равновесия в народном хозяйстве и падение курса рубля до крайности осложнили проведение нэпа в промышленных центрах, хотя ни с экономической, ни с политической точек зрения возможности нэпа не были исчерпаны ни в деревне, ни в городе.

Впрочем, в начале 30-х годов Сталин уже не думал о проведении нэпа в городе. Остро не хватало средств для завершения многих крупнейших индустриальных проектов. Среди других важным источником финансирования индустриализации стало дополнительное налоговое обложение всех частных предприятий в городах. Налог и раньше был большим — до 50—60 процентов прибылей частника. Теперь же дополнительное обложение вынуждало частных предпринимателей и торговцев ликвидировать свои предприятия. Правда, Сталин не призывал арестовывать и выселять бывших нэпманов и членов их семей. Однако было принято негласное решение о частичной конфискации их имущества. Особенно примечательна в этом отношении так называемая «золотая кампания», проводившаяся по всей стране. Дело в том, что при ликвидации своего «бизнеса» большинство нэпманов, не доверяя бумажным денежным знакам, старалось обратить их в золото и драгоценности. Это тогда не было нарушением Гражданского кодекса РСФСР. Финансовые органы, не слишком заботясь о соблюдении законности, потребовали от недавних частных предпринимателей сдать государству по произвольно установленной цене все имеющиеся у них золотые монеты и золото. Тех, кто медлил, органы ОГПУ арестовывали и держали в тюрьме до тех пор, пока родственники заключенных не сдавали ценности. Вообще, оказавшись в трудном положении и стремясь увеличить поступление в казну золота и валюты, Сталин не стеснялся в средствах. Он настоял, например, на продаже за границу многих знаменитых полотен, выставленных или хранившихся в Эрмитаже, в Музее имени Пушкина в Москве и некоторых других музеях. Богатым коллекционерам, главным образом в США, были проданы картины Тициана, Рафаэля, Рубенса, Веласкеса, Рембрандта, Ватто, а также часть мебели и предметов убранства царских дворцов.

Надо отметить, что ликвидация нэпа, проведенная Сталиным без должного экономического обоснования, в свою очередь, не ускорила, а замедлила общее хозяйственное развитие страны. Справедливо выступая против притязаний «левой» оппозиции, ЦК ВКП(б) многократно утверждал, что политика нэпа введена в СССР «всерьез и надолго», что до тех пор, пока государственная промышленность, государственная торговля и кооперация не смогут удовлетворить на 100 процентов потребности народного хозяйства, остается место не только для единоличника или ремесленника, но и для частного капиталиста (на определенных условиях и под бдительным государственным контролем). Однако в 1932—1937 годах ни государственная промышленность, ни государственная торговля, ни кооперация не удовлетворяли на 100 процентов потребности народного хозяйства.

8

Ужесточение режима в стране, массовые репрессии против зажиточных крестьян, нэпманов, «буржуазной» интеллигенции сопровождались ужесточением режима и внутри партии. Так, например, вскоре после процесса «Союзного бюро»

был исключен из партии, а затем арестован Д. Б. Рязанов, организатор и первый директор Института Маркса — Энгельса — Ленина. Еще до революции он по поручению Германской социал-демократической партии начал издание Собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Работу эту продолжил в Москве. В 20-е годы в партии не было лучшего знатока истории марксизма. К Сталину он относился с иронией и даже сарказмом и не скрывал этого. Не случайно поэтому фамилия Рязанова прозвучала в фальсифицированных показаниях на процессе «Союзного бюро».

В 1931—1933 годах были вновь применены репрессии против бывших сторонников Троцкого, которые не заявили к тому времени публично о своем полном разрыве с троцкизмом. Вместе с другими арестовали и виднейшего в прошлом деятеля большевистской партии И. Н. Смирнова, одного из руководителей вооруженного восстания в Москве в 1905 году, председателя Сибирского ревкома в 1919 году, народного комиссара почты и телеграфа (Наркомпочтель) в 20-е годы.

Развернулась и довольно широкая репрессивная кампания против «национал-уклонистов». Было бы, конечно, неправильно отрицать наличие националистических настроений и среди самих коммунистов, работавших на Украине, в Закавказье, в Средней Азии. Однако еще Ленин призывал относиться к таким настроениям с большой осторожностью и изживать их постепенно, политическими средствами, а не репрессиями. В первое десятилетие после образования СССР союзные республики обладали значительной автономией при решении своих внутренних проблем. Под предлогом борьбы с национализмом Сталин начал систематически ограничивать права союзных республик. Это вызывало протест многих местных коммунистов, и их зачисляли в «нацнонал-уклонисты», причем Сталин раздувал отдельные ошибки неугодных ему партийных руководителей, придавая им несоразмерно большое значение. Именно такой грубой и необоснованной критике подвергся в начале 30-х годов один из руководителей Украинской ССР, член ЦК ВКП(б) и член ИККИ Н. Скрыпник.

Об откровенном обсуждении проблем национального строительства на Украине и речи не было. Сталин и избранный в 1930 году секретарем ЦК ВКП(б) П. П. Постышев обвинили Скрыпника в «объективной» поддержке «классовых врагов» на фронте культуры и других смертных грехах. Клеветническая кампания закончилась трагически. Многие ценные работники и деятели украинской национальной культуры были скомпрометированы и сняты со своих постов, немало их арестовали. Н. Скрыпник в июле 1933 года покончил жизнь самоубийством.

В Армении в начале 30-х годов был смещен за «национализм» нарком просвещения Н. Степаняи, весьма популярный в республике. Уже тогда несправедливым гонениям подверглись выдающийся поэт Е. Чаренц и писатель А. Бакунц. За «национализм» были арестованы в начале 30-х годов многие работники советского и партийного аппарата в Узбекистане.

Суровые репрессии обрушились и на членов небольших оппозиционных групп в самой партии. Недовольство крайне тяжелым материальным положением народных масс и социальными конфликтами проникало и в ее ряды. Одним из выразителей этого недовольства стал В. В. Ломинадзе, в начале 1930 года первый секретарь Закавказского крайкома партии. Он выступал против пренебрежительного отношения к нуждам рабочих и крестьян, против очковтирательства и того, что он называл «феодально-барским перерождением» отдельных партийных работников Закавказья.

Видный партийный работник, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и Председатель Совнаркома РСФСР С. И. Сырцов вместе со своими единомышленниками протестовал против чрезмерного расширения капитального строительства и обращал внимание на тяжелое положение в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве. Сырцов считал, что о победе социализма в деревне и близком завершении строительства фундамента социалистического общества говорить еще рано.

В 1930 году, когда Ломинадзе приехал в Москву, его пригласил Сырцов, и они несколько часов беседовали с глазу на глаз о партийных и государственных

делах. Сталин уже тогда широко пользовался услугами осведомителей и старался держать их в окружении всех крупных государственных деятелей. Он узнал о беседе Сырцова и Ломинадзе и был крайне разгневан, так как способствовал выдвижению обоих и оказывал им покровительство. Срочно было созвано объединенное заседание Политбюро и Президиума ЦКК, на котором Сталин обвинил Сырцова и Ломинадзе в создании некоего «право-левого блока». Их вывели из состава ЦК и сняли с постов. В печати началась грубая проработка этого никогда не существовавшего «блока» и его предполагаемых участников.

В начале 1930-х годов внутри партии возникла антисталинская оппозиционная группа М. Н. Рютина. Он работал в аппарате ЦК ВКП(б), несколько лет возглавлял Краснопресненский райком партии Москвы. Недовольные неудачами коллективизации и индустриализации, а также ужесточением режима в партии М. Н. Рютин и его друг П. А. Галкин создали подпольную группу. Эта группа, куда входило около 15 человек, разработала пространный документ — так называемую «платформу Рютина». Ознакомили с нею лишь небольшой круг людей — для сколько-нибудь широкого распространения документов такого рода не было условий. О существовании группы Рютина знали некоторые из друзей и учеников Бухарина — Н. А. Угланов, П. Г. Петровский, А. Н. Слепков, Д. П. Марецкий, а также известный философ Я. Э. Стэн. С фрагментами «платформы Рютина» были ознакомлены Зиновьев и Каменев. Рютин и его группа требовали решительно изменить экономический курс партии и ослабить нажим на деревню, а также прекратить репрессии внутри партии, больше демократизировать ее. Однако главным Рютин считал отстранение Сталина от руководства партией. Едва ли не четвертая часть текста «платформы» была посвящена критике Сталина.

Член партии с 1914 года, Рютин хорошо знал ее руководителей. По свидетельству его друзей, Рютин всегда был очень плохого мнения о Сталине и критиковал Политбюро за рекомендацию избрать его генсеком. В своих рукописных воспоминаниях жена видного деятеля Коминтерна — Р. Г. Алиханова, знакомая с Рютиным, отмечает, что своим ближайшим единомышленникам он не раз говорил об убийстве Сталина не только как о возможном, но как о единственном способе избавиться от него. Однако никакой подготовки к убийству или попытки осуществить его не было.

Когда Сталин через своих осведомителей или ГПУ узнал о существовании группы Рютина—Галкина, он потребовал немедленной и суровой расправы. Обвиняя Рютина в создании «кулацкой и контрреволюционной» организации и в попытке «реставрировать капитализм», Сталин настаивал не только на аресте всех участников группы, но на расстреле ее руководителей. Большинство Политбюро, однако, не поддержало Сталина. Тогда еще существовало неписаное правило: не применять суровых наказаний к недавним активистам партии. Было решено выслать почти всех «рютинцев» в отдаленные районы страны, предварительно исключив их из партии. Рютина арестовали и исключили из партии первым.

9

В № 6 журнала «Пролетарская революция» за 1931 год было опубликовано письмо Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», крайне грубое по форме и далеко не бесспорное по содержанию. Это письмо вызвало первую волну репрессий против историков-марксистов. Многих из них сняли с работы, некоторых исключили из партии. Именно с той поры все открытые дискуссии по историко-партийным вопросам в печати были фактически прекращены — Сталин стал единственным и монопольным толкователем истории партии.

Жестокая борьба велась и на «философском фронте», в основном между так называемыми «механистами», в первую очередь И. И. Скворцовым-Степановым, А. Тимирязевым, А. Варьяшом, и «диалектиками» — А. Дебориным, Я. Стэном, Н. Каревым и другими. Постепенно в дискуссию втягивалась и группа молодых философов, преимущественно студентов Комакадемии и Института философии. Возглавляли эту группу «молодых», составлявших большинство бюро партийной ячейки Института философии, М. Митин, П. Юдин, В. Ральцевич, к ним примыкали Ф. В. Константинов, М. Иовчук и другие. 9 декабря 1930 года Сталин встретился с членами бюро партийной ячейки Института философии (он входил в Институт красной профессуры). Нет ни подробной записи, ни даже краткого изложения этой беседы. Известно, однако, что именно тогда Сталин обозначил взгляды А. Деборина и его группы нелепым термином «меньшевиствующий идеализм». Понимать под этим надо было «враг марксизма-ленинизма». Впрочем, Сталин осудил и «механистов», призвав таким образом «молодых» философов к борьбе «на два фронта». Этим они и стали усердно заниматься, заглушая любые живые и свежие ростки философской мысли. На два с лишним десятилетия в философской литературе утверждаются демагогия и схематизм, упрощенчество и самый вульгарный механицизм, некомпетентность и высокомерное презрение ко всему новому и творческому.

Какая только борьба не велась в начале 30-х годов в науке! В экономике — против «контрреволюционной рубинщины». В методике биологии — против «райковщины». В литературоведении — против «воронщины» и «переверзевщины». В педагогике — против «теории отмирания школы». И во всех этих «битвах» на разных идеологических фронтах незначительные или естественные во всякой науке неточности или ошибки, а то и правильные положения возводились в ранг «извращений марксизма-ленинизма». А это означало если не арест, то исключение из партии и изгнание с работы. В малейших неточностях формулировок пытались найти «вражеские влияния», под видом революционной бдительности культивировались сектантская ограниченность, нетерпимость и грубость. Именно в 1930—1933 годах началась стремительная карьера Т. Д. Лысенко и некоторых других менее известных авантюристов от науки.

Велась идеологическая борьба также в литературе и искусстве. Сталин назвал пьесу М. Булгакова «Бег» антисоветским явлением, попыткой «оправдать или полуоправдать белогвардейское дело», а Московский камерный театр, основанный выдающимся режиссером А. Я. Таировым,— действительно буржуазным Камерным театром. Обстановка в литературе продолжала накаляться и в 1931—1932 годах, вплоть до неожиданного для многих решения ЦК ВКП(б) о роспуске РАППа и создании единого Союза советских писателей. Но это была лишь вспышка либерализма и надежд — их духом был пронизан, пожалуй, и Первый съезд советских писателей.

10

Ужесточение политики в Советском государстве и ВКП(б) с неизбежностью вело к ужесточению политики в Коминтерне и к усилению борьбы с «правым» и «левым» уклоном в отдельных коммунистических партиях. При этом нередко копировались формы и лозунги борьбы, применявшиеся ВКП(б), хотя они мало соответствовали положению в зарубежных коммунистических партиях, а также политической ситуации в тех странах, где эти коммунистические партии действовали. Зарубежные коммунистические партии должны были автоматически одобрять все, что происходило в СССР и в ВКП(б). В жесткой структуре Коминтерна они были лишены политической самостоятельности и превращены в полуавтономные секции некоей мировой коммунистической организации.

В начале 30-х годов были проведены первые аресты среди западных коммунистов, работавших в СССР. Тяжелый удар обрушился на небольшие коммунистические партии Западной Украины и Западной Белоруссии — их руководителей клеветнически обвинили в предательстве и арестовали.

Экономический и финансовый кризис 1929—1933 годов, глубоко потрясший всю капиталистическую систему, вызвал глубокие политические и социальные перемены. Они были различны в США и Западной Европе. В США кризис привел к победе Ф. Рузвельта и его «нового курса». В странах же Западной Европы резкое ухудшение материального положения трудящихся и мелкой буржуазии привело к некоторому усилению левых революционных партий и групп. Однако

еще более усилились правые националистические массовые движения — их уже тогда у нас стали объединять понятием «фашизм».

Среди факторов, которые помогли победе фашизма в Германии, немалую роль играли и те, что были связаны с политикой СССР. Так, например, гитлеровцы умело использовали разочарование трудящихся и мелкой буржуазии Западной Европы в социалистической России, которая переживала не только экономические трудности, но и конвульсии массовых репрессий. Совершенно очевидно, что волна насилия в деревне в конце 20-х — начале 30-х годов, ликвидация нэпа и и «нэпманов», массовая конфискация мелких предприятий, «золотая кампания», террор против интеллигенции и другие «перегибы» помогали западной пропаганде в ее стремлении ослабить революционное движение. Почему невиданный кризис капитализма 1929—1933 годов лишь очень незначительно усилил на Западе коммунистическое движение, не вызвал революционных ситуаций? Почему значительные массы мелкой буржуазии, крестьянства, даже рабочего класса, повернули в годы кризиса не влево, а вправо, став в ряде стран массовой опорой фашистского движения? Вряд ли можно сомневаться, что этому в немалой степени способствовали вести, которые шли тогда из Советского Союза.

Однако более всего способствовала становлению фашизма раскольническая политика Сталина в международном рабочем движении.

Уже в 20-е годы было неправильным называть социал-демократов «социал-фашистами», «умеренным крылом фашизма», «главной социальной опорой фашизма» и т. п., хотя определения подобного рода можно увидеть даже в Программе Коминтерна, принятой на его VI Конгрессе в 1928 году. В 1929—1931 годах политический экстремизм Сталина становился особенно опасным. Наступление фашизма в западных странах делало необходимым поворот в политике коммунистических партий. Главной политической задачей становилась борьба за единый фронт рабочего класса и общенародного антифашистского движения, а не борьба против социал-демократии. Иными словами, требовалось проводить политику сближения и единства действий с социал-демократическими партиями, которые в рабочем движении западных стран были преобладающей силой. Но Сталин продолжал настаивать в первую очередь на борьбе против социал-демократии. С особым рвением он нападал в начале 30-х годов на левых социал-демократов, имевших значительное влияние в рядах рабочего класса. Сталин называл левых социал-демократов наиболее опасным и вредным течением в социал-демократии, так как они, по его мнению, прикрывали свой оппортунизм «показной революционностью» и этим отвлекали трудящихся от коммунистов. Сталин слишком быстро забыл, что именно левые течения в социал-демократии и послужили основой для создания коммунистических партий. Если Ленин называл Розу Люксембург «великой коммунисткой», «представителем пролетариата и нефальсифицированного марксизма», то Сталин развернул в начале 30-х годов борьбу против «люксембургианства».

Наиболее значительный ущерб его позиция причинила Германии, где угроза фашизма была особенно значительной. На выборах в рейхстаг в 1930 году нацистская партия собрала 6400 тысяч голосов, что означало рост в 8 раз по сравнению с 1928 годом. Но за социал-демократов проголосовало более 8,5 миллиона избирателей, а за коммунистов — 4,5 миллиона. В 1932 году на выборах в рейхстаг гитлеровская партия получила уже 13750 тысяч голосов, Компартия — 5,3 миллиона голосов, а социал-демократы — около 8 миллионов. Если бы коммунисты и социал-демократы создали единый фронт, то они, несомненно, сумели бы и в 1930 и даже в 1932 годах остановить продвижение Гитлера к власти. Но единого фронта не существовало, напротив, руководящие группы обеих рабочих партий вели ожесточенную борьбу между собой. Даже после победы фашизма в Германии сектантские настроения в руководстве Коминтерна были настолько сильны, что, когда в октябре 1934 года Морис Торез обратился к партии радикалов с предложением создать Народный фронт, руководство Коминтерна сочло это оппортунизмом и попросило Тореза отказаться от своего предложения. Французская компартия, однако, отклонила просьбу, и это было одной из причин, не давших фашизму победить во Франции.

11

Некоторые историки считают, что культ Сталина возник в 1926—1927 годы. Во многих выступлениях лидеров «левой» оппозиции уже тогда звучал протест против нарождающегося в партии культа Сталина. Но то было лишь начало его возвышения. Внешне он держался с подчеркнутой демократичностью, как бы противопоставляя себя «аристократу» Троцкому. Сталин был относительно доступен, грубоват и прост. Свободно ходил по зданию ЦК и Кремлю, гулял вокруг него почти без охраны. Иногда запросто заходил в Институт красной профессуры побеседовать со студентами. Если в начале 20-х годов в большинстве официальных учреждений можно было увидеть портреты Ленина и Троцкого (конечно, после 1924 года портрет Троцкого почти везде убрали), то портретов Сталина еще нигде не было — их начали повсюду вывешивать только в 1930 году, после того как в декабре 1929 года с небывалой для того времени помпезностью было отмечено его 50-летие. Сталина в приветствиях называли не только «замечательным», «выдающимся», но уже в ряде случаев и «великим», «гениальным». В сборнике статей и воспоминаний о Сталине, выпущенном в 1929 году, содержалось немало преувеличений и искажений. Настойчиво повторялась мысль, что «... при жизни Ленина т. Сталин, будучи одним из его учеников, был, однако, единственным, самым надежным его помощником, который в отличие от других, на всех важнейших этапах революции, на всех крутых поворотах, проделанных партией под руководством Владимира Ильича, без колебаний шел рука об руку с ним».

Иные из авторов этого сборника стремились доказать, что, хотя Сталина знают в партии скорее как практика, в действительности он и крупнейший теоретик марксизма-ленинизма. К. Е. Ворошилов приписал Сталину в своей статье «Сталин и Красная Армия» такие заслуги в гражданской войне, которых и в помине не было.

Уже в 1931 году в предисловии к 6-томному Собранию сочинений В. И. Ленина редактор этого издания В. В. Адоратский писал, что работы Ленина надо изучать через труды Сталина. В новые издания своих книг по истории ВКП(б) Ем. Ярославский и А. Бубнов вписывали страницы о «заслугах» Сталина.

Можно предположить, что во всех этих восхвалениях, значительно усилившихся после январского Пленума ЦК 1933 года, было и немало искреннего. Но еще больше было заботливо поощряемого подхалимского усердия. То, что первыми стали прибегать к неумеренным восхвалениям Сталина члены Политбюро, особенно Молотов и Каганович, сразу придало этим восхвалениям характер официального политического курса, которого должны были придерживаться и те, кто никогда не считал Сталина непогрешимым.

К общему хору восхвалений Сталина присоединились и бывшие лидеры оппозиции, причем их голоса звучали нередко громче других. То и дело в газетах печатались статьи Пятакова, Зиновьева, Каменева, которые в очередной раз признавали свои ошибки и правоту «великого вождя трудящихся всего мира — товарища Сталина». В первом номере «Правды» за 1934 год была помещена огромная статья К. Радека, где он прямо-таки захлебывался от восторга, говоря о Сталине. Через несколько дней эту статью издали отдельной брошюрой тиражом 225 тысяч экземпляров.

Культ Сталина служил не только его неумеренному тщеславию, но и столь же неумеренному властолюбию, ставил в особое положение, поднимал над партией на недосягаемую высоту и полностью изолировал от какой-либо критики. Это проявилось уже на XVII съезде ВКП(б), где почти каждый из выступавших говорил о «величии» и «гениальности» Сталина. Можно было подумать, что съезд собрался лишь для того, чтобы его чествовать.

Естественно, что через Коминтерн культ Сталина стал сразу же насаждаться и во всех зарубежных компартиях, а это не могло не повлиять на стиль и методы их работы. Пример ВКП(б) поощрял к созданию культа собственных вождей, к извращению демократических принципов внутрипартийной жизни.

В восхваление Сталина начала постепенно втягиваться и недавняя «правая» оппозиция. Окончательно капитулировал Бухарин перед Сталиным на XVII съезде партии.

Решительную борьбу против Сталина и его культа продолжал Троцкий, голос которого, однако, все меньше доходил даже до его сторонников. Критические замечания Троцкого были в большинстве случаев справедливы. Он предлагал приостановить «сплошную» коллективизацию, заменив ее осторожным кооперированием на основе строгой добровольности и в соответствии с реальными ресурсами страны. Приостановить административное раскулачивание и вернуться к политике ограничения кулачества. Сократить нереальные планы сверхиндустриализации.

В то же время Троцкий принял на веру фальсифицированные процессы против «вредителей» из числа «буржуазной» интеллигенции и даже выступил против слишком «мягких» приговоров лидерам «Промпартии». Поверил он и в существование «Трудовой крестьянской партии». Когда в 1931 году в Москве был организован еще один фальсифицированный судебный процесс «Союзного бюро», то Троцкий и на этот раз поверил не убедительным доводам зарубежного центра меньшевиков, а бездоказательным доводам прокурора СССР Н. В. Крыленко. Троцкий поверил в вину Д. Б. Рязанова, который якобы хранил подпольные архивы «Союзного бюро» и, хотя ни один листок этих «подпольных архивов» не был представлен на суде, писал, что вина подсудимых «неопровержимо установлена».

На капитуляцию перед Сталиным одного за другим прежних своих сторонников Троцкий реагировал весьма своеобразно. Он писал: «Чередование политических поколений есть очень большой и очень сложный вопрос, встающий по-своему, по-особому перед каждым классом, перед каждой партией, но встающий перед всеми. Ленин не раз издевался над так называемыми «старыми большевиками» и даже говаривал, что революционеров в 50 лет следовало бы отправлять к праотцам. В этой невеселой шутке была серьезная политическая мысль. Каждое революционное поколение становится на известном рубеже препятствием к дальнейшему развитию той идеи, которую оно вынесло на своих плечах. Политика вообще быстро изнашивает людей, а революция тем более. Исключения редки, но они есть: без них не было бы идейной преемственности. Теоретическое воспитание молодого поколения есть сейчас задача задач. Только этот смысл и имеет борьба с эпигонами, которые, несмотря на видимое могущество, идейно уже вышли в тираж».

Троцкий не был «старым большевиком» и, вероятнее всего, исказил ленинские высказывания. Впрочем, писал он уже в изгнании, и для него это были только слова, он уже не имел возможности отправлять людей «к праотцам». Но Сталин, который читал статьи и книги Троцкого, иногда к нему прислушивался. Зная, что в 1936—1939 годах Сталин отправил «к праотцам» всю основную часть ленинской партийной гвардии, то есть все то поколение «старых большевиков», которое приближалось по возрасту к 50 годам, можно было бы подумать, что он последовал совету Троцкого. Однако это не так. Сталин был вполне самостоятелен и уничтожил целое поколение большевиков не потому, что оно «истрепалось нервно» и «израсходовалось духовно». Эти люди мешали не «дальнейшему развитию той идеи, которую они вынесли на своих плечах», а развитию и углублению самодержавной власти Сталина. Это и привело его к мысли отправить всех «старых большевиков», к которым он чувствовал такую же неприязнь, как и Троцкий, «к праотцам» и опереться на более молодое поколение партийных работников, которые не прошли как следует школу революции, но уже достаточно основательно прошли сталинскую школу фальсификации.

УБИЙСТВО С. М. КИРОВА. СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАД БЫВШИМИ ЛИДЕРАМИ ОППОЗИЦИИ

1

В 1931—1933 годах, несмотря на крайне тяжелое положение страны, в партии не существовало никакой серьезной оппозиции сталинскому руководству. То, что почти никто не оспаривал роль Сталина как вождя партии, объяснялось несколькими причинами. Во-первых, личная власть Сталина в эти годы была чрезвычайно велика. Практически он бесконтрольно распоряжался быстро увеличивающимся и централизованным партийным аппаратом. Благодаря К. Ворошилову сохранял контроль над Красной Армией, а благодаря Г. Ягоде и Я. Агранову — контроль над органами ГПУ. Оппозиция Сталину становилась весьма опасна, и большинство тех, кто в прошлом не раз весьма критически отзывался о нем, скрывал страх. Во-вторых, значительная часть грубых просчетов и преступлений Сталина в начале 30-х годов выявилась более отчетливо лишь много лет спустя, некоторые лишь после его смерти. Так, например, очень мало людей было посвящено в тайну фальсификации политических судебных процессов 1930—1931 годов. Иные ошибочные и даже преступные действия Сталина изображались пропагандой как великие достижения. Важно отметить также, что сама необычайность ситуации, сложившейся в начале 30-х годов, способствовала укреплению власти Сталина. Перед лицом невиданных ранее трудностей большинство партийных руководителей, даже недовольных Сталиным, считало невозможным развертывать какую-то новую внутрипартийную борьбу, чтобы еще более не осложнять положения. К тому же многие руководители партии сильно изменились к 1933—1934 годам, ибо Сталину удалось не только подчинить их себе, но и развратить.

Одновременно с ростом культа Сталина между ним и значительной частью партийных кадров возникло и продолжало расти определенное отчуждение. Речь не о бывших лидерах оппозиции, а об основном руководящем ядре партии. Сталин, чувствуя это, стал все более и более продвигать вперед сравнительно молодых партийных работников и с пренебрежением относиться к ветеранам, которые, по его мнению, уже сыграли свою роль. Постепенно в Политбюро сложилась более умеренно настроенная группа — С. М. Киров, М. И. Калинин, С. В. Косиор, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куйбышев. Их поддерживали и многие кандидаты в члены Политбюро и члены ЦК ВКП(б).

Во время голода 1933 года на Украине и Северном Кавказе Сталин настаивал на усилении репрессий против бегущих из сел и станиц крестьян, тогда как Киров призывал к сдержанности. На одном из заседаний Политбюро он высказался за «восстановление Советской власти» в деревне, где еще с времен коллективизации действовал режим чрезвычайного положения, а власть в большинстве районов принадлежала политотделам МТС. Вскоре по решению ЦК ВКП(б) эти политотделы были ликвидированы. В большинстве сельских районов были восстановлены полномочия Советов. В МТС создана должность заместителя директора по политической работе.

На протяжении 1933 года на заседаниях Политбюро Киров несколько раз выступал за более гибкую политику, за некоторую «либерализацию» режима, и его выступления встречали отклик ведущих партийных работников. Не без влияния Кирова в 1933 году Каменев и Зиновьев были еще раз восстановлены в партии. В Ленинграде Киров воспротивился репрессиям против бывших участников оппозиции. Оппозиционеры, принявшие «генеральную линию», были возвращены в ряды партии. Киров выступал за улучшение отношений между партией и писателями, а также другими группами творческой интеллигенции. Не без его участия было принято решение о ликвидации РАППа и подготовке к созыву Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

Недовольство, разочарование и протест в отношении политики Сталина были в начале 30-х годов не только у части старых большевиков, но и у части партийно-комсомольской молодежи.

Особое значение приобретают в этой связи некоторые события, связанные с XVII съездом партии, проходившим в январе — феврале 1934 года. На поверхностный взгляд съезд был демонстрацией любви и преданности Сталину. Однако, сопоставляя скупые свидетельства некоторых старых большевиков, можно уверенно сделать вывод о том, что на XVII съезде образовался блок в основном из секретарей обкомов и ЦК нацкомпартий, которые больше, чем кто-либо, ощущали и понимали ошибочность сталинской политики. Одним из активных членов этого блока был И. М. Варейкис, тогда секретарь обкома Центральночерноземной области. Беседы проходили на московских квартирах у некоторых ответственных работников, и в них участвовали Г. Орджоникидзе, Г. Петровский, М. Орахелашвили, А. Микоян. Выдвигались предложения переместить Сталина на пост председателя Совета Народных Комиссаров или ЦИК СССР, а на пост генсека ЦК ВКП(б) избрать С. М. Кирова. Группа делегатов съезда беседовала на этот счет с Кировым, но он решительно отказался, а без его согласия все задуманное становилось нереальным. Об этих совещаниях в кулуарах XVII съезда упоминалось, правда, очень скупо и в учебнике по истории КПСС, изданном в 1962 году под редакцией секретаря ЦК КПСС Б. Н. Пономарева: «Ненормальная обстановка, складывающаяся в партии, вызывала тревогу у части коммунистов, особенно у старых ленинских кадров. Многие делегаты съезда, прежде всего те из них, кто был знаком с завещанием Ленина, считали, что наступило время переместить Сталина с поста генсека на другую работу».

Недовольство Сталиным отразилось на результатах голосования при выборах ЦК ВКП(б), состоявшихся на вечернем заседании съезда 9 февраля. Председателем счетной комиссии был избран В. П. Затонский, нарком просвещения Украины, а его заместителем — старый большевик В. М. Верховых. Когда в ночь с 9 на 10 февраля счетная комиссия вскрыла урны для голосования, оказалось, что Сталин получил меньше всего голосов. Против Кирова проголосовали 3 делегата съезда, против Сталина — 270. Только потому, что кандидатов выдвигалось теперь ровно столько, сколько надо было избрать членов ЦК, Сталин оказался избранным. Однако обнародовать результаты голосования даже перед делегатами съезда счетная комиссия не решилась. По свидетельству В. М. Верховых, который чудом пережил все ужасы сталинских «чисток» и лагерей, В. П. Затонский немедленно доложил о результатах голосования Л. М. Кагановичу, ведавшему организационной работой съезда. Каганович распорядился изъять почти все бюллетени, в которых была вычеркнута фамилия Сталина. На заседании съезда 10 февраля было объявлено, что против Сталина так же, как и против Кирова, было подано всего 3 голоса. Ни в газетах, ни в изданной вскоре стенограмме съезда вообще не упоминалось о количестве голосов, поданных за того или иного кандидата. Однако Сталин знал о действительных результатах голосования. Знал он и о совещаниях делегатов съезда, на которых обсуждался вопрос о его перемещении на менее ответственный пост.

Надо сказать, что для проверки свидетельства В. М. Верховых специальная комиссия ЦК КПСС в 1957 году обследовала в партийном архиве материалы XVII съезда, в том числе особые пакеты, в которых под сургучными печатями хранились бюллетени голосования. В эту комиссию входила член КПК, старая коммунистка О. Г. Шатуновская. По ее свидетельству, в этих пакетах, вскрытых в присутствии ответственных сотрудников партийного архива и тогдашнего директора Института марксизма-ленинизма П. Н. Поспелова, не хватало 267 бюллетеней. В. М. Верховых считал, что эти бюллетени просто уничтожили. Можно предполагать, однако, что их изъяли для всестороннего изучения в ГПУ.

На XVII съезде был значительно изменен персональный состав ЦК ВКП(б). Из прежнего состава ЦК не были избраны в новый некоторые неугодные Сталину люди — Ф. И. Голощекин, Э. И. Квиринг, Н. Н. Колотилов, В. В. Ломинадзе, Г. И. Ломов, М. Д. Орахелашвили, Л. Картвелишвили, К. А. Румянцев и другие. А избраны (минуя пост кандидата в члены ЦК) чекисты В. А. Балицкий и Е. Г. Евдокимов. Без кандидатского стажа вошли в состав ЦК Л. П. Берия, Н. И. Ежов, а также и Н. С. Хрущев — все это были фавориты Сталина. Кандидатами в члены ЦК избрали Л. З. Мехлиса и А. Н. Поскребышева, которые не были даже делегатами XVI съезда, но теперь входили в личную канцелярию Сталина. Членом ЦК стал и Г. Г. Ягода, а кандидатом в члены ЦК — М. Д. Багиров. После съезда Н. Ежов и Л. Мехлис заняли важные посты в аппарате ЦК ВКП(б). ОГПУ было преобразовано в Наркомат внутренних дел СССР, объединивший несколько прежних организаций. Тогда это было воспринято как признак некоторой либерализации.

На съезде С. М. Киров был избран секретарем ЦК ВКП(б), но, хотя Сталин настаивал на его переезде в Москву, Ленинград оставлять не хотел. Сталин согласился, чтобы Киров временно остался во главе Ленинградской партийной организации, однако на протяжении года несколько раз требовал, чтобы он выполнял поручения, далеко выходящие за пределы обязанностей секретаря Ленинградского обкома (например, помог при уборке хлебов в Казахстане).

После съезда стало заметно отчуждение между Сталиным и Кировым, которых считали близкими друзьями. Сталин почти перестал звонить Кирову в Ленинград, хотя прежде звонил очень часто. Киров продолжал работать активно и достаточно самостоятельно. Он, например, разрешил переехать в Ленинград Д. Рязанову — «неразоружившемуся» противнику политики Сталина, к тому же исключенному из партии. Когда в Коминтерне возникали разногласия по вопросу об отношении к социал-демократии, Киров неизменно выступал на стороне тех, кто требовал поворота Коминтерна в сторону единого фронта.

На XVII съезде партии проявилось растущее недоверие к Сталину среди широких кругов партийного актива. К таким «сигналам» Сталин был всегда очень чуток. Он почувствовал опасность для своего положения и для своей власти, и эта опасность персонифицировалась для него в лице Кирова и многих делегатов XVII съезда.

2

1 декабря 1934 года в 4 часа 30 минут в Смольном выстрелом в затылок был убит член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) и первый секретарь Ленинградского обкома партии С. М. Киров. Некоторые подробности этого преступления можно узнать из биографических книг о Кирове. Однако истинные мотивы и обстоятельства убийства, ставшего первым звеном в длинной цепи продолжавшихся несколько лет трагических событий, и до сих пор не вполне ясны.

В сообщении об убийстве Кирова говорилось, что при попытке к бегству задержан стрелявший в него молодой член партии Леонид Николаев. Казалось бы, это создавало возможность тщательно расследовать все нити преступления. Однако весь ход первоначального следствия, проведенного в декабре 1934 года, противоречил закону и здравому смыслу. Не была установлена истина и в результате следствия, проведенного органами НКВД в 1936 и в 1937—1938 годах.

На XX съезде партии Н. С. Хрущев рассказал делегатам о некоторых сомнительных обстоятельствах, связанных с расследованием дела об убийстве Кирова. В 1956 году в ЦК КПСС была создана особая комиссия, которая в течение нескольких лет проводила новое расследование этого террористического акта. Хотя со времени событий миновало более 20 лет, комиссии удалось собрать большой материал. Были получены свидетельства более трех тысяч человек. Естественно, что многие из них были неточны, противоречивы, сомнительны. Но были и не вызывающие сомнений показания и свидетельства, которые позволили комиссии составить итоговый документ о проделанной работе. Этот документ, однако, не был опубликован. Член комиссии О. Г. Шатуновская, награжденная за эту работу орденом Ленина и отправленная затем на пенсию, сообщила, что сам Н. С. Хрущев, ознакомившись с итоговым документом, спрятал его в свой сейф и сказал: «Пока в мире существует империализм, мы не может опубликовать такой документ».

Приведу некоторые свидетельства и предположения, связанные с убийством Кирова.

Утром 2 декабря в Ленинграде распространился слух о приезде Сталина. Он приехал специальным поездом вместе с В. Молотовым, К. Ворошиловым, Н. Ежовым, Г. Ягодой, А. Ждановым, Я. Аграновым и Л. Заковским. На вокзале его встречали руководители ленинградской партийной организации во главе с М. С. Чудовым и руководители ленинградского управления НКВД во главе с Ф. Д. Медведем. Выйдя из вагона, Сталин не подал руки никому из встречавших, а Медведя ударил по лицу, не снимая перчатки. Сразу же после приезда Сталин взял руководство следствием в свои руки.

В убийстве Кирова, несомненно, нельзя винить одного Николаева. Как рассказал мне Петр Чагин, партийный работник и близкий друг Кирова, в 1934 году было несколько попыток покушения на его жизнь, явно направляемых чьей-то сильной рукой. Такая попытка, например, была предпринята во время поездки Кирова в Казахстан. Что касается Николаева, то все источники сходятся на том, что этот психически неуравновешенный человек действовал вначале по собственной инициативе. Озлобленный и тщеславный неудачник, он мнил себя новым Желябовым и готовил убийство Кирова как некую важную политическую акцию.

Киров любил ходить по городу, и Николаев изучил маршруты его прогулок. Конечно, Кирова тщательно охраняли, и группа охранников в штатском, возглавляемая сотрудником НКВД Борисовым, сопровождала его, идя «лесенкой» впереди и сзади. Во время одной из прогулок охрана задержала человека, который пытался приблизиться к Кирову. Это был Николаев. В его портфеле оказался вырез, через который можно было выхватить спрятанный там револьвер, не открывая застежку. В портфеле лежал также чертеж с маршрутами прогулок Кирова. Николаева немедленно арестовали. Его допрашивал заместитель начальника УНКВД области И. Запорожец, лишь недавно прибывший в Ленинград доверенный сотрудник Г. Ягоды. Он не доложил о задержанном своему непосредственному начальнику Ф. Медведю, который был близок к Кирову, а позвонил в Москву наркому внутренних дел Ягоде. Через несколько часов Ягода дал указание освободить Николаева. С кем он советовался? В 1938 году во время судебного процесса над участниками «право-троцкистского блока» подсудимый Ягода подтвердил, что все так и было, но одновременно утверждал, что все главные приказы он получал якобы от А. Енукидзе и А. Рыкова. Сейчас эта версия полностью отпала. Можно не сомневаться, что приказы Ягода получал от более влиятельных лиц.

Николаева отпустили, и через некоторое время он вновь был задержан на мосту охраной Кирова, которая вторично изъяла у него все тот же заряженный револьвер. Странный либерализм Ленинградского управления НКВД вызвал подозрения у людей, охранявших Кирова, но им заявили, что это не их дело, и пригрозили исключением из партии. Все же Борисов рассказал обо всем Кирову.

Николаева снова освободили, и вскоре ему удалось убить Кирова. Сталин решил лично допросить Николаева, причем в присутствии как своего окружения, так и ленинградских чекистов. Допрос велся непрофессионально и сопровождался настолько жестоким избиением Николаева, что его пришлось долгое время приводить в чувство в тюремной больнице.

Затем должен был состояться допрос начальника охраны Борисова, которого арестовали сразу после убийства. Всех арестованных доставляли на допрос в легковых машинах, но за Борисовым была отправлена крытая грузовая машина, в кузов которой влезло несколько чекистов с ломами. Один из них сел в кабину шофера. На улице Воинова, когда машина проезжала мимо глухой стены склада, сидевший рядом с шофером человек неожиданно вывернул руль. Шофер сумел все же избежать наезда, и машина, задев стену по касательной, добралась до места своим ходом. Однако Борисов был уже мертв. Медицинская экспертиза дала ложное заключение о гибели Борисова в связи с автомобильной катастрофой. Но некоторые врачи, участвовавшие в экспертизе, остались живы и дали письменные показания комиссии ЦК о том, что заключение экспертизы было вынужденным и в действительности смерть Борисова наступила от ударов тяжелыми металлическими предметами по голове. Этот эпизод счел нужным рассказать на XXII съезде партии и Н. С. Хрущев.

После XX и XXII съездов партии сотни коммунистов и беспартийных писали в ЦК КПСС о своих сомнениях по поводу официальной версии убийства С. М. Кирова и сообщали при этом некоторые факты и свидетельства, которые, по их мнению, могли бы пролить новый свет на это преступление. Копии некоторых из этих писем есть и в моем архиве.

Вскоре после убийства Кирова руководителей Ленинградского управления НКВД Ф. Медведя, И. Запорожца и нескольких других, обвинив в преступной халатности, сняли и направили на работу в органы НКВД на Дальнем Востоке. В 1937 году все они были расстреляны. «Можно думать,— заявил на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев,— что их расстреляли затем, чтобы замести следы организаторов убийства Кирова».

Заслуживает быть отмеченным и то, что уже вечером 1 декабря 1934 года по телефонному распоряжению Сталина секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе составил и обнародовал постановление ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». Оно было немедленно обнародовано. Согласие же членов Политбюро, СНК и ЦИК СССР оформили опросом только через два дня.

Фактически это было постановление о терроре, беспрецедентное в условиях мирного времени, так как открывало широкий простор для беззаконий. Ведь при желании любое «политическое дело» можно было выдать за подготовку к террористическому акту. Ускоренный порядок следствия толкал к поверхностному рассмотрению дел и прямым фальсификациям, мешал определить, виновен или невиновен подследственный.

На основании этого постановления десятки дел, находившихся к 1 декабря 1934 года в производстве в различных инстанциях, ничем не связанных с убийством Кирова, но подпадавших под широко толкуемое понятие «контрреволюции», были спешно переданы в Военную Коллегию Верховного Суда и так же спешно рассмотрены выездными сессиями этой грозной Коллегии. Почти всех обвиняемых приговорили к расстрелу, о чем и было объявлено 6 декабря, в день похорон С. М. Кирова. В Ленинграде было расстреляно 39 и в Москве 29 человек. В следующие дни было сообщено об аресте 12 человек в Минске (9 из них были расстреляны) и 37 человек в Киеве (28 расстреляны).

С необычной поспешностью велось и следствие об убийстве Кирова. Уже 22 декабря было объявлено, что Николаев — член террористической организации, образованной из членов бывшей зиновьевской оппозиции, и что «Ленинградский центр» оппозиции принял решение убить Кирова, с которым у зиновьевцев свои особые счеты. Были названы и члены «Ленинградского центра», большинство которых действительно примыкало в прошлом к зиновьевцам. 27 декабря газеты опубликовали «Обвинительное заключение», под которым стояли подписи Прокурора СССР А. Вышинского и следователя Л. Шейнина. В нем утверждалось, что убийство Кирова было лишь частью далеко идущего плана, включающего убийство Сталина и других членов Политбюро.

«Обвинительное заключение» содержит немало противоречий и несоответствий. Виновными признали себя только трое, включая и Николаева. Но его показания, на которых и держалось все обвинение, расходились с показаниями других обвиняемых. Не подтверждали версии «Ленинградского центра» и вещественные улики — дневник Николаева, его записные книжки и прочее. В «Обвинительном заключении» эти материалы названы «фальшивками», составленными в целях маскировки. Большинство обвиняемых не признало себя виновными и заявило, что видят Николаева впервые. Это не помешало приговорить всех подсудимых к расстрелу и немедленно привести приговор в исполнение.

Еще во время следствия Сталин затребовал от НКВД списки «неразоружившихся» зиновьевцев и сам составил списки «Московского» и «Ленинградского» центров. По свидетельству бывшего члена КПК О. Г. Шатуновской, оба эти списка сохранились в архивах, с них снимали фотокопии, по ним проводили графологическую экспертизу. Показательно, что Сталин некоторых бывших оппозиционеров записал вначале в «Московский центр», а затем перенес в «Ленинградский», и наоборот. Все поименованные Сталиным были арестованы.

Надо сказать, что в 1934 году версия Сталина о том, что именно сторонники Зиновьева организовали убийство Кирова, могла показаться правдоподобной, ибо Ленинград был в свое время центром зиновьевской оппозиции. Но как раз «правдоподобность» заставляет отнестись к этой версии с сомнением. Никому из бывших зиновьевцев убийство Кирова не могло принести никаких политических выгод. Между тем весь характер следствия, руководимого Сталиным, а также цепь последующих событий позволяют предположить, что Киров был убит не без ведома Сталина.

Отмечу, что та часть постановления ЦИК СССР, в которой говорилось об ускоренном — не более десяти дней — проведении следствия, затем уже не применялась. Вероятно, только в деле об убийстве Кирова Сталину важно было добиться быстрой судебной расправы, чтобы упрятать концы в воду. (Остальные пункты «Закона от 1 декабря» остались в силе, обвинение в террористической деятельности было наиболее излюбленным в 1937—1938 годах, поскольку позволяло не заботиться о какой бы то ни было законности в суде и следствии.)

Киров, хоть и обладал многими чертами, характерными для окружения Сталина, все же как личность во многом отличался от него. Он был прост и доступен, близок рабочим, часто бывал на предприятиях, обладал огромной энергией, ярким ораторским талантом, неплохой теоретической подготовкой. Влияние Кирова в стране увеличивалось, и в 1934 году он был, несомненно, вторым по авторитету человеком в партии. Когда летом 1934 года Сталин впервые серьезно заболел и возник вопрос о его возможном преемнике на посту генсека, Политбюро единодушно высказалось за кандидатуру Кирова.

Грубый, властолюбивый, подозрительный и жестокий, Сталин плохо переносил возле себя людей ярких и самостоятельных. Растущие популярность и влияние Кирова не могли не вызвать у него зависти и подозрений. Убийство Кирова стало важным звеном в цепи событий, которые привели в конечном счете к узурпации Сталиным всей власти в стране. Вот почему версия о его причастности к убийству Кирова, которая в 1934—1935 годах могла показаться невероятной, представляется теперь весьма правдоподобной и с политической, и с логической точек зрения.

3

Сразу же после убийства С. М. Кирова по всем предприятиям и учреждениям страны прошли митинги. В Москве в Центросоюзе с сообщением об убийстве выступил Г. Зиновьев, тогда член правления Центросоюза, а в управлении «Главмолоко» — начальник этого управления Г. Евдокимов. Не миновало и нескольких дней, как Зиновьев, Евдокимов, Каменев и многие другие руководители бывшей «новой» оппозиции были арестованы. Был арестован также П. А. Залуцкий — в прошлом видный большевик, один из организаторов Русского бюро ЦК, а затем и Петроградского комитета большевиков, активный участник гражданской войны, секретарь и член Президиума ВЦИК. Залуцкий примыкал к «левой» оппозиции, за что на год был исключен из партии. Однако участие во внутрипартийных спорах 20-х годов не могло опорочить безупречной революционной биографии Залуцкого.

В январе 1935 года после короткого следствия состоялся первый политический судебный процесс над бывшими лидерами «новой» оппозиции. На скамье подсудимых Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. Е. Евдокимов, А. М. Гертик, И. П. Бакаев, А. С. Куклин, Я. В. Шаров и другие — всего девятнадцать человек. Во время короткого судебного процесса повсюду проходили митинги и выдвигались требования о расстреле обвиняемых. Следствие велось, видимо, еще без применения пыток, к тому же имена обвиняемых были тогда широко известны. Доказать какую-либо связь «Московского центра» с убийством Кирова не удалось. В решении суда отмечалось: «следствие не установило фактов, которые давали бы основание квалифицировать преступления зиновьевцев как подстрекательство к убийству Кирова». Поэтому Зиновьев был приговорен «только» к десяти годам заключения, а Каменев — к пяти. К различным срокам заключения были приговорены и другие обвиняемые.

18 января 1935 года по всем партийным организациям было разослано закрытое письмо ЦК с требованием мобилизовать все силы на выкорчевывание «контрреволюционных гнезд» врагов партии и народа. По всем областям, и особенно по Ленинграду, прокатилась зимой и весной 1935 года первая волна массовых арестов — впоследствии в лагерях ее называли «кировским потоком». Одновременно было проведено массовое выселение из Ленинграда бывших дворян и членов их семей, хотя они не вели никакой подпольной, да и вообще политической деятельности. С описания этой трагической страницы в многострадальной истории Ленинграда начинает Анна Ахматова свой «Реквием».

В меньших масштабах такая же высылка «бывших» производилась и в Москве. Позднее в западной печати можно было встретить сообщения о высылке нескольких сот семей или, напротив, о том, что в 1935 году из Ленинграда была выслана чуть ли не четверть населения. Это неверно. Точные данные никогда не сообщали, но можно предположить, что из Ленинграда было выслано несколько десятков тысяч, а из Москвы — несколько тысяч человек.

Политическое напряжение в стране и в партии непрерывно росло. По всем партийным организациям в эти месяцы проходила кампания «покаяний» и «признания ошибок».

Постепенно ужесточалось законодательство. 30 марта 1935 года был принят Закон о наказании членов семей изменников родины. Все ближайшие родственники изменников родины должны были высылаться в отдаленные районы страны, даже если они никакого отношения к совершенному преступлению не имели. Система заложничества становилась, таким образом, частью законодательства. 7 апреля 1935 года ЦИК СССР принял Указ, разрешающий привлекать к уголовной ответственности детей с 12-летнего возраста. При этом, по смыслу Указа, на них могли распространяться все предусмотренные Уголовным кодексом наказания, вплоть до смертной казни.

«Выборочные» репрессии не прекращались на протяжении всего 1935-го и первой половины 1936 года. Одновременно членов партии сурово наказывали за «связь с враждебными элементами» или «недостаток бдительности». Начавшаяся еще в 1933 году «чистка» партии была продолжена не до конца 1934-го, как предполагалось, а до конца 1935-го. Фактически до середины 1936 года прием в партию был закрыт. Однако большинство бывших руководителей и активных участников «правой» и «левой» оппозиций до осени 1936 года продолжало оставаться на свободе; они по-прежнему занимали ответственные посты в наркоматах, органах печати, учебных заведениях.

В 1935 году был арестован видный историк партии, директор Библиотеки имени Ленина В. И. Невский, в прошлом один из руководителей Военной организации при ЦК РСДРП(б). Он считался крупным идеологическим работником партии и при этом сохранял определенную самостоятельность. По свидетельству М. А. Солнцевой, Невского арестовали после того, как он запретил изъять из фондов Библиотеки значительную часть «неугодной» политической литературы и не подчинился даже тогда, когда работники НКВД предъявили ему письменное распоряжение Сталина. «Я не сторож,— заявил Невский.— Партия поручила мне хранить все это».

Тогда же, в 1935 году, погиб В. В. Ломинадзе, секретарь Магнитогорского горкома партии. В тот период Сталин ввел в практику такой обычай: членам Политбюро и некоторым видным партийным работникам рассылали копии протоколов допросов в НКВД. Протоколы направляли часто и тем, чьи фамилии упоминались во время допросов. Так, например, Ломинадзе получил копию допроса Камсиева, на котором тот дал показания о своем разговоре с Ломинадзе летом, во время отдыха. На большом приеме в Кремле в честь металлургов Сталин прошел мимо Ломинадзе, не поздоровавшись, хотя именно Ломинадзе возглавлял большую группу магнитогорцев. После возвращения домой Ломинадзе получил распоряжение немедленно прибыть в Челябинск. По дороге в автомашине он стрелялся и умер в одной из челябинских больниц.

Из членов ЦК ВКП(б) пострадал, по-видимому, только секретарь ЦИК СССР Авель Енукидзе, который был исключен из ЦК и из партии, но тогда не был

арестован. Он считался, и не без оснований, одним из немногих личных друзей Сталина. Их дружба возникла еще в начале века — в годы совместной работы в Закавказье. Тем не менее Енукидзе обвинили в потере бдительности и моральном разложении. Поводом послужило то, что в аппарате ЦИК СССР были «обнаружены» некоторые бывшие дворяне, меньшевики и эсеры. Так, например, юрисконсультом ЦИК работал бывший меньшевик Э. Э. Понтович. Однако все они были в прошлом активными участниками русского революционного движения и теперь честно работали в аппарате ЦИК, подчиняясь директивам ЦК ВКП(б). Бывших дворян, меньшевиков или эсеров можно было встретить тогда и в аппарате Прокуратуры СССР, и в Госплане, да и в самом НКВД. Для Сталина это не было секретом. Подлинной причиной отстранения Енукидзе было его возмущение фальсификаторской книгой Л. Берии «Из истории большевистских организаций в Закавказье», где Сталину приписывались несуществующие заслуги, в том числе и заслуги А. Енукидзе. На заседании Пленума ЦК Сталин молчал, делая вид, что все это дело решается помимо него. Молчал, впрочем, и Енукидзе, не выступил ни с покаяниями, ни с возражениями. Лишь тогда, когда зачитывали подробные и явно ложные показания арестованных работников аппарата ЦИК СССР, Енукидзе выкрикнул со своего места: «Будь у меня власть Ягоды, я бы мог зачитать здесь и еще более нелепые показания!»

В экономике после всех трагедий минувших лет положение начало улучшаться. В городах была отменена карточная система снабжения. Промышленность развивалась. Прирост валовой продукции в 1934 году составил 19 процентов, в 1935 году — 23 процента, а в 1936 году — 29 процентов. Большинство народных комиссаров и секретарей обкомов наградили в 1935—1936 годах орденом Ленина — тогда не только высшей, но и редкой наградой; в 1936 году награжденных орденом Ленина было не более 200—300 человек. В армии было введено звание маршала, его получили К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный, М. Н. Тухачевский, А. И. Егоров, В. К. Блюхер.

После нескольких лет застоя начало увеличиваться и сельскохозяйственное производство; по сравнению с 1933 годом в 1935 году деревня дала на 20 процентов больше продукции, и этот рост продолжался. Вслед за отменой карточной системы была разрешена продажа сельскохозяйственной продукции на колхозных рынках. Это увеличивало материальную заинтересованность колхозников в развитии производства, ибо система государственных заготовок из-за очень низких заготовительных цен не создавала такой заинтересованности. Острый продовольственный кризис начала 30-х годов, казалось, остался позади. Именно в это время Сталин произнес на одном из приемов: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Жить стало действительно немного лучше как в городах, так и в деревне. Все хозяйственные успехи приписывались «мудрому руководству» Сталина, культ личности которого непрерывно возрастал. Это было, конечно, не только результатом стихийного энтузиазма масс. Сам Сталин поддерживал и поощрял неумеренные восхваления в свой адрес. Усердно раздували культ Сталина и приближенные к нему Молотов, Каганович, Ворошилов.

4

19 августа 1936 года в Москве в Октябрьском зале Дома союзов начался первый чудовищный спектакль — так называемый «открытый судебный процесс» над лидерами оппозиции. На скамье подсудимых главным образом бывшие лидеры «новой» оппозиции — Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. Е. Евдокимов, И. Н. Смирнов, И. П. Бакаев, В. А. Тер-Ваганян, С. Д. Мрачковский и другие, причем многие из них уже второй раз за два года попали на эту скамью. Всего обвинялось шестнадцать человек — их в обвинительном заключении назвали «троцкистско-зиновьевским террористическим центром».

Во время «судебного разбирательства», проходившего до 24 августа, обвиняемые подробно рассказывали и о своей роли в убийстве Кирова, и о планах убийства Сталина, Молотова, Кагановича, Чубаря, Косиора, Эйхе. По словам Зиновьева, убийство Сталина планировалось во время VII Конгресса Коминтерна,

то есть в 1935 году. Этот акт, как они якобы надеялись, не только должен был вызвать замешательство в партии, но и привести к мощному движению за возвращение к власти Троцкого, Каменева и Зиновьева.

Лишь один И. Н. Смирнов, объявленный на процессе руководителем троцкистского подполья, пытался отвергнуть большую часть предъявленных ему обвинений. Однако он был «уличен» показаниями других подсудимых.

Процесс считался открытым. Но в зале было всего несколько десятков заранее отобранных «представителей общественности», а заполняли его сотрудники НКВД. Были нарушены и другие элементарные нормы судопроизводства. Никаких вещественных улик или документов прокурор СССР А. Я. Вышинский не предъявлял, но коллегия Верховного Суда, возглавляемая В. В. Ульрихом, их и не требовала. Все обвинение было построено на показаниях и признаниях самих обвиняемых. В судебных заседаниях не участвовали защитники; предложения ряда зарубежных адвокатов взять на себя защиту обвиняемых были отвергнуты. Показания подсудимых были однообразны: перечисление различных преступлений или, чаще, планов преступлений, которые подготавливали «центр» и его «филиалы».

Г. Зиновьев, Л. Каменев и другие обвиняемые теперь реабилитированы, и нет необходимости подробно говорить о многочисленных нарушениях законности на процессе в августе 1936 года, о фальсификации. Нельзя не отметить, однако, что и сам этот процесс, и приговор всех обвиняемых к расстрелу вызвали новую волну репрессий, прокатившуюся по всей стране. В первую очередь арестовывали бывших членов «левых» оппозиций. Все газеты изо дня в день сообщали о разоблачении замаскированных троцкистов, большинство которых и не собиралось утаивать свое прошлое. «Скрытый троцкист», «Покровитель троцкистов», «Троцкисты на идеологическом фронте», «Троцкистская диверсия в науке», «Троцкистский салон писательницы Серебряковой», «Следы троцкизма в Наркомземе Узбекистана» — статьи с такими заголовками печатались в ту пору повсюду.

Некоторые из обвиняемых по делу «троцкистско-зиновьевского центра» к показаниям на предварительном следствии неожиданно стали добавлять новые — о своих преступных связях с Бухариным, Рыковым, Радеком, Пятаковым, Сокольниковым, Серебряковым, Углановым, Шляпниковым и другими еще не арестованными бывшими оппозиционерами различных направлений. В связи с этим 21 августа 1936 года газеты опубликовали распоряжение Вышинского о проведении следствия по делу о причастности всех их к контрреволюционному заговору. На предприятиях и в учреждениях состоялись митинги, требовали «до конца расследовать связи Бухарина, Рыкова, Томского и других с презренными террористами». Не дождавшись расследования, М. П. Томский покончил жизнь самоубийством. Вскоре были арестованы Радек, Пятаков и другие бывшие члены «левых» оппозиций. Участников «правого уклона» пока не трогали.

25 сентября 1936 года Сталин и Жданов направили из Сочи телеграмму Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ ОПОЗДАЛ В ЭТОМ ДЕЛЕ НА 4 ГОДА. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей НКВД».

Уже на следующий день Ягода был снят с поста наркома внутренних дел и назначен наркомом связи. Центральные газеты вышли в тот день с большими портретами двух новых наркомов — Ежова, руководителя карательных органов, и Ягоды. Возглавлял наркомат связи Ягода недолго: в начале 1937 года его арестовали.

На посту наркома внутренних дел Н. И. Ежов, которому суждено было сыграть одну из коротких, но страшных ролей в истории нашей страны, оказался не случайно. По отзывам тех, кто хорошо знал его по комсомольской, партийной работе в одной из областей Казахстана или по краткой работе в наркомате земледелия в конце 20-х — начале 30-х годов, он вовсе не был какой-то демонической личностью. Выходец из бедной рабочей семьи, Ежов в молодости не отличался ни коварством, ни злобностью, ни какими-либо другими заметными пороками,

столь характерными, например, для молодого Берии. Он был тогда самым обыкновенным, отнюдь не жестоким и даже не плохим человеком. Но с первой же встречи со Сталиным, которая состоялась, по-видимому, во время поездки Сталина в Сибирь в 1928 году, Ежов попал под его полное, безраздельное, почти гипнотическое влияние. Сталин это заметил и стал быстро продвигать Ежова в системе партийно-государственной иерархии. В 1929 году он был назначен заместителем наркома земледелия СССР, однако на XVI съезде ВКП(б) присутствовал лишь в качестве делегата с совещательным голосом. В 1930 году Ежов стал заведующим Распредотделом и Отделом кадров ЦК. Не будучи даже членом ЦК, он приобрел в партийном аппарате огромное влияние, так как от руководимого им отдела зависели многие важные назначения и перемещения.

После XVII съезда партии, на котором Ежов впервые был избран членом ЦК, его карьера пошла вверх еще стремительней: член Оргбюро ЦК, заведующий Промышленным отделом ЦК и заместитель Председателя КПК. Неизвестно за какие заслуги перед международным рабочим движением Ежов был избран и членом Исполкома Коминтерна. В 1935 году он уже один из секретарей ЦК ВКП(б) и Председатель КПК. В 1935—1936 годах Сталин поручил Ежову контроль за деятельностью НКВД, что очень не понравилось Ягоде. Ежов не только осуществлял общий контроль судебного процесса над Зиновьевым и Каменевым, но и активно участвовал в его подготовке, присутствовал на допросах, отдавал распоряжения ответственным работникам НКВД.

После назначения Ежова наркомом произошли изменения в аппарате НКВД. Вместе с Ягодой оттуда были удалены, а позднее и арестованы многие его заместители и ведущие сотрудники, а также начальники областных управлений. Вероятно, не менее десяти — пятнадцати видных работников НКВД покончили жизнь самоубийством. Ежов привел с собой в «органы» несколько сотен новых людей, главным образом из числа партийных работников среднего звена. Однако многие выпестованные Ягодой сотрудники остались на своих местах. Ежов и «его люди» плохо знали механику работы карательных органов, и им старательно помогали освоить ее Л. Заковский, С. Реденс, М. Фриновский, Г. Люшков и некоторые другие.

С приходом Ежова аппарат органов НКВД был значительно расширен.

5

1937 год начался новым большим политическим процессом. На этот раз перед Военной Коллегией Верховного Суда предстали Ю. Л. Пятаков, К. Б. Радек, Г. Я. Сокольников, Л. П. Серебряков, Я. А. Лившиц, Н. И. Муралов, Я. Н. Дробнис, М. С. Богуславский и другие — всего семнадцать человек. В большинстве подсудимые были известными партийными деятелями, активными участниками революции и гражданской войны. Почти все принадлежали в 1924—1928 годах к «объединенной» оппозиции, но затем открыто заявили о своем разрыве с Троцким и были восстановлены в партии. Перед арестом осенью 1936 года эти люди занимали, как правило, важные посты в хозяйственном и партийном аппаратах, в органах печати и др. Теперь все они обвинялись в принадлежности к так называемому «параллельному центру», в подготовке террористических актов, в шпионаже, в стремлении добиться поражения СССР в войне с фашистской Германией, в планировании расчленения СССР и восстановления капитализма.

На процессе «параллельного центра» уже соблюдались некоторые юридические нормы, которыми пренебрегли на предыдущем судилище. Так, обвиняемым выделили защитников, которые, впрочем, даже и не пытались защищать их от несправедливых и необоснованных обвинений. Убедившись в безотказности «следственной» машины, Сталин разрешил пригласить на процесс большое число иностранных корреспондентов и некоторых дипломатов. Но и теперь никаких документов или вещественных улик обвинение не представило. Как только Вышинский сообщал о предстоящем предъявлении суду документов «Н-ской разведки», открытое заседание немедленно прекращалось и назначалось закрытое. Единственным доказательством и теперь оставались показания обвиняемых.

Во время этого процесса уже вполне отчетливо прозвучали слова о «шпионско-террористической деятельности Бухарина и Рыкова». Не только Радек, но и некоторые другие подсудимые подробно рассказывали о своих контрреволюционных связях с группой Бухарина — Рыкова.

Показания на процессе «параллельного центра» решили судьбу почти всех, кто прежде придерживался «правого уклона». 17 января 1937 года «Известия» вышли без подписи ее главного редактора — Н. И. Бухарина. Был снят со всех постов и А. И. Рыков. Однако, хотя Бухарин и Рыков были объявлены «врагами народа», Сталин не торопился с их арестом.

Процесс «параллельного центра» закончился 30 января. Тринадцать человек были приговорены к расстрелу, Радек, Сокольников и Арнольд — к десяти годам заключения, Строилов — к восьми. Присутствовавшие в зале чекисты и представители общественности, как и москвичи, собравшиеся возле Дома союзов, встретили приговор возгласами одобрения. На следующий день руководимый Н. С. Хрущевым Московский горком партии созвал на Красной площади грандиозный митинг, на котором сотни тысяч рабочих и служащих одобрили «суровый, но справедливый» приговор.

Вскоре было намечено провести Пленум ЦК ВКП(б) для обсуждения двух вопросов: 1. О Бухарине и Рыкове. 2. О подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР. Об этом заблаговременно известили членов ЦК. Пленум открылся 25 февраля 1937 года. Сообщение о «преступной деятельности» Бухарина и Рыкова, а также о «шпионско-вредительской деятельности» некоего нового «контрреволюционного центра» сделал Ежов. Обсуждение велось в резких и грубых тонах. Существует легенда, что некоторые члены ЦК защищали Бухарина и Рыкова, возражали против начавшихся массовых репрессий. Но этого не было. Никто не осуждал политики Сталина и НКВД, все обвиняли Бухарина и Рыкова, требовали привлечь их к ответственности, приводили многочисленные примеры плохой работы предприятий и учреждений из-за вредительства бывших оппозиционеров. Конечно, не все выступавшие были единодушны. Так, нарком легкой промышленности И. Е. Любимов пытался преуменьшить масштабы вредительства в его отрасли, вызвав нападки И. Варейкиса. Нарком здравоохранения Г. Н. Каминский выразил не только сомнение в правомерности некоторых репрессий в Закавказье, но и политическое недоверие Л. Берии, фактическому наместнику Сталина в Грузии и Закавказье. П. Постышев усомнился в правомерности ареста одного из своих ближайших помощников, никогда не участвовавшего ни в какой оппозиции.

Обстановка уже достаточно накалилась, когда слово для ответа было предоставлено Бухарину. Он отверг выдвинутые против него обвинения. Когда он сказал: «Я не Зиновьев и не Каменев и лгать на себя не стану»,— Молотов закричал: «Не будете признаваться, этим и докажете, что вы фашистский наймит, они же в своей прессе пишут, что наши процессы провокационные. Арестуем — сознаетесь!» Бухарин зачитал их с Рыковым совместное заявление о том, что показания против них, данные подсудимыми на процессе Пятакова — Радека и другими арестованными, являются клеветническими. Они обвинили НКВД в фабрикации ложных показаний и предложили создать комиссию по расследованию деятельности НКВД. «Вот мы тебя туда пошлем, ты и посмотришь!» — выкрикнул Сталин.

Для подготовки решения Пленум создал комиссию примерно из 30 человек, прервав на два дня свою работу. Эти два дня Бухарин провел дома. У него уже не было никаких надежд. Он написал письмо «Будущему поколению руководителей партии» и, прежде чем уничтожить, попросил жену выучить его наизусть. «Ты молода,— сказал он,— и ты дождешься, когда во главе партии будут стоять другие люди». Недавно это письмо было опубликовано. Оно свидетельствует не только о личной трагедии Бухарина, но и о том, что он до самого конца так и не понял страшного смысла происходящего. Он защищает только себя, ни слова о Зиновьеве, Каменеве, Пятакове и других, уже уничтоженных Сталиным видных партийных деятелях, оправдывает все прежние репрессии против «врагов партии»,

беспощадиость и даже жестокость прежней ЧК. Пишет, что ничего не знал о тайных контрреволюционных группах Рютина и Угланова, не подвергая сомнению их контрреволюционность. Пишет, что у него уже семь лет «нет и тени разногласий с партией» и что «он ничего не затевал против Сталина». Письмо Бухарина — это, конечно, не завещание умудренного опытом государственного деятеля, не глубокий политический документ, а крик отчаяния. И тем не менее это очень важный человеческий документ. Не следует забывать и о том, что Бухарин писал ие только для «будущих руководителей», но и для молодой жены, которую мог бы испугать иной текст.

Комиссия, которой Пленум поручил решить вопрос о Бухарине и Рыкове, заседала под председательством А. И. Микояна. В нее входили почти все высшие руководители партии, многие из которых в последующие два года сами пали жертвами жестоких репрессий. Голосовали поименно, в порядке алфавита. Один за другим поднимались члены ЦК — Андреев, Бубнов, Ворошилов, Каганович, Молотов — и произносили: «Арестовать, судить, расстрелять!» Когда очередь дошла до Сталина, он сказал: «Передать дело в НКВД». Несколько человек затем повторили эти слова, которые по существу, конечно, мало отличались от первых. Только Микоян как председатель комиссии ие высказал своего мнения, и оно не записано в протоколе.

Через два дня Пленум возобновил работу. Бухарина и Рыкова вызвали на заседание, чтобы они выслушали решение.

Бухарин с семьей жил в Кремле. Выйдя из квартиры, он прошел в помещение, где заседал Пленум. В раздевалке было пусто. Одновременно с Бухариным вошел и Рыков. Когда они сдавали свои пальто гардеробщику, их окружили восемь человек, арестовали и отправили на Лубянку; на квартирах у них работники НКВД провели обыск. Члены семей Бухарина и Рыкова еще не были даже выселены из Кремля: следствие нуждалось в них для давления иа арестованных.

Когда Пленум заслушал решение комиссии о Бухарине и Рыкове, когда принималось постановлеиие об их исключении из состава ЦК ВКП(б) и из партии, обоих уже подвергали в НКВД первому допросу.

Выступая на одном из заключительных заседаний февральско-мартовского Пленума с большой речью, Сталин потребовал усилить борьбу с врагами народа, каким бы знаменем они ни прикрывались — «троцкнстским или бухарииским».

6

Судебный процесс по делу «право-троцкистского блока» начался 2 марта 1938 года. Председателем Военной Коллегии был все тот же В. В. Ульрих, государственным обвинителем — все тот же А. Я. Вышинский. Это был очень «важный» процесс: он якобы раскрывал наиболее тайный и наиболее миогочисленный из всех «антисоветских центров». Состав подсудимых был довольно пестрым: кроме Бухарина, главного из обвиняемых, долгое время возглавлявший СНК СССР А. И. Рыков, недавние народные комиссары СССР А. П. Розенгольц, М. А. Чернов, Г. Ф. Гринько, В. И. Иванов, а также Г. Г. Ягода, всего два года назад всесильный глава НКВД; крупиейший советский дипломат Н. Н. Крестииский; деятель российского и международного рабочего движения Х. Г. Раковский; руководители Узбекской ССР А. Икрамов и Ф. Ходжаев; секретарь М. Горького П. П. Крючков, видные врачи Д. Д. Плетнев и И. Н. Казаков и некоторые другие.

К обвинениям, предъявленным на процессах 1936 и 1937 годов и теперь лишь повторенным применительно к новым (убийство Кирова, подготовка убийства Сталина и др.), подсудимым были добавлены обвинеиия в убийстве А. М. Горького, В. В. Куйбышева, В. Р. Менжинского, в покушении в 1918 году на убийство Ленина, а также в стремленин отдать империалистам не только Украииу, Белоруссию и Дальний Восток, но также Закавк :е и Среднюю Азию.

На первом судебном заседании председательствующий Ульрих зачитал пространное обвинительное заключение и обратился к каждому из подсудимых с вопросом: «Признаете ли вы себя виновным?» Бухарин, Рыков, Ягода ответили: «Да,

признаю». Когда очередь дошла до Крестинского, тот неожиданно ответил: «Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда ие был участником «право-троцкистского блока», о существовании которого не знал. Я не совершал также ни одного из тех преступлений, которые вменяются личио мне, в частиости, не признаю себя виновным в связях с германской разведкой».

Растерявшийся Ульрих повторил вопрос, но получил тот же твердый ответ. Когда же Ульрих обратился к другим подсудимым, все они признали себя виновными.

После короткого, иа 20 минут, перерыва, во время которого, несомненно, было решено изменить порядок допроса подсудимых, утреннее заседание возобновилось. Допрашивали Бессонова. Когда тот говорил о своих усилиях связать троцкистов и зиновьевцев с «правыми», Вышинский спросил Бухарина, может ли он подтвердить эти показания. Бухарин сказал, что переговоры с Пятаковым и другими троцкистами велись «правыми» еще до встречи с Бессоновым. «Вы вели переговоры об объединенных действиях против Советской власти?» — спросил Вышинский. «Да»,— кратко ответил Бухарин.

Однако, когда Вышинский обратился к Крестинскому за подтверждением показаний Бессонова, тот их отверг. Как видно из стенограммы, еще во время следствия Крестинский быстро подписал все то, что от него требовали подписать. Вероятно, он понял, что готовится новый процесс, и решил сохранить силы, чтобы сказать правду на этом процессе. Теперь, в ответ иа новый вопрос Вышинского, Крестинский резко, даже пронзительно и громко заявил, что иикогда и нигде с Бессоновым о связях с троцкистами не говорил, что Бессонов лжет. На вопрос растерявшегося Вышинского о показаииях Крестинского иа предварительном следствии он ответил, что они были ложны. «Почему же вы не говорили правду иа предварительиом следствии?» — спросил Вышинский. Крестинский помедлил с ответом, и Вышинский торопливо произнес: «Ответов ие слышу, вопросов не имею» — и опять стал допрашивать Бессонова. Через иекоторое время обвинитель снова должен был обратиться к Крестинскому, и тот снова отверг показания Бессонова. При этом Крестинский прямо сказал, что ие мог и не хотел говорить правду на предварительном следствии, ибо убедился, что «до судебиого заседания, если таковое будет», ему не удастся отвестн от себя ложные обвинения. «Для чего же вы вводили следствие и прокуратуру в заблуждение?» — спросил Вышинский. «Я просто считал,— ответил Крестинский,— что если я расскажу то, что говорю сегодня,— что это не соответствует действительности,— то это мое заявлеиие ие дойдет до руководителей партии и правительства». Вышинский задал затем несколько вопросов Бессонову и объявил утреннее заседание суда законченным. Перерыв между утренним и вечерним заседаниями продолжался два часа.

Новые показания Крестинского действительно быстро дошли до руководителей партии и правительства. Подсудимые давали свои показания, подходя к микрофону, провода от которого шли не только к усилителям в самом зале, ио также и в Кремль. В разиых местах сцены и в зале, недалеко от председателя суда и государственного обвинителя, были замаскированные микрофоны для «управления» ходом этого сложного спектакля. Кроме того, весь процесс от начала до конца снимался на кинопленку.

Поскольку процесс был большим спектаклем, то были и опытный режиссер, и группа помощников режиссера. Для этого «штаба» оборудовали помещения неподалеку от Октябрьского зала Дома союзов, причем тщательно замаскированный вход в них был известен только самым посвященным и хорошо охраиялся[1].

После перерыва, во время которого состоялось заседание «штаба», Вышинский вел допрос Розенгольца и Гриийько. Они дали все «нужные» показаиия, в том числе и обличающие Крестинского. Тот опять настаивал на своей невиновности.

На утреннем заседаиии 3 марта Вышиский допрашивал других подсудимых. На вечернем же заседании во время допроса Раковского он обратился к Крестинскому:

[1] Об этих деталях организации процесса мие рассказал Е. А. Гнедин (умер летом 19в3 года), который по линии НКИД отвечал за деятельиость дипломатического корпуса и иностраиных корреспондентов, главным цензором которых на московских судебных процессах он был.

«Вы выслушали подробное объяснение Раковского о так называемом вашем отходе от троцкизма. Считаете ли вы эти объяснения Раковского правильными?

Крестинский: То, что он говорил, правильно.

Вышинский: Если верно то, что говорил здесь Раковский, то будете ли вы продолжать обманывать суд и отрицать правильность данных вами на предварительном следствии показаний?

Крестинский: Свои показания на предварительном следствии я полностью подтверждаю».

Конечно, трудно даже предполагать, что произошло в ночь со 2 на 3 марта и почему Крестинский так резко изменил свои показания. Член партии с 1919 года С. И. Бердичевская встретила на одном из этапов в годы заключения свою знакомую еще по гражданской войне, врача Лефортовской тюрьмы. Эта женщина-врач рассказала, что на второй день процесса «правых» видела Крестинского в Лефортовской тюрьме — он был жестоко избит, окровавлен. Бердичевская предполагает, что после 2 марта на скамье подсудимых находился не Крестинский, а его двойник. Е. А. Гнедин, выполнявший ряд важных поручений, связанных с организацией процесса, считает это предположение вполне допустимым. Писатель Камил Икрамов, сын А. Икрамова, встретил однажды в лагере человека, присутствовавшего на процессе и хорошо знавшего Крестинского еще до 1937 года. Этот человек сказал: «Вы знаете, Камил, они, вероятно, сделали с Крестинским что-то ужасное, потому что на второй день я просто не узнал Николая Николаевича».

Дают пищу для размышлений и показания Н. И. Бухарина. Из них видно, что судили врага Сталина и врага Советской власти. Однако вдумчивый исследователь найдет в этих показаниях множество намеков, которые ставят под сомнение всю версию суда и следствия. Признавая свою принадлежность к контрреволюционному «право-троцкистскому блоку», Бухарин тут же говорил, что эта организация недостаточно сознавала свои цели и не ставила все точки над «и». Признавая свое руководство в «блоке», Бухарин тут же отмечал, что именно как руководитель он не мог знать, чем занимались конкретные участники «блока». Заявив, что «блок» стремился к реставрации капитализма в СССР и что «мы все превратились в ожесточенных контрреволюционеров, в изменников, в шпионов, террористов.., мы превратились в повстанческий отряд» и т. п., Бухарин тут же решительно отвергал обвинения в конкретных преступлениях, таких, как убийство Кирова, Менжинского, Горького, Куйбышева. Столь же категорически он отрицал свою причастность к подготовке убийства Ленина в 1918 году, когда возглавлял фракцию «левых коммунистов». На протяжении всего процесса Бухарин утверждал, что никаким шпионажем не занимался и об актах шпионажа не знает. Подробно рассказав о своих связях с Троцким и о подготовке государственного переворота, Бухарин, несомненно, сознательно допустил множество противоречий в этих показаниях и, кроме того, решительно отвергал какую бы то ни было связь своего «блока» с белогвардейскими и фашистскими организациями и с английской разведкой.

После признаний в самых немыслимых преступлениях Бухарин в своем последнем слове ясно сказал: «Признания обвиняемых не обязательны, признания обвиняемых есть средневековый юридический принцип». Все эти оговорки вызывали нескрываемое раздражение у обвинения и судейской коллегии. На одном из заседаний Ульрих не выдержал и воскликнул: «Пока вы еще ходите вокруг да около, ничего не говорите о преступлениях!»

12 марта, когда подсудимые произносили свое последнее слово, опять не обошлось без инцидентов. А. П. Розенгольц, лишь недавно признавшийся в самых чудовищных преступлениях против СССР, сказал о своих заслугах перед страной и революцией. И дальше: «Я заслужил смертную казнь, но это не значит, что я не расстаюсь с болью с прекрасной Советской землей. Мы имеем такой подъем в Советском Союзе, какого не имеется нигде в мире... Впервые мы имеем жизнь полнокровную, блещущую радостью и красками»,— и запел «Широка страна моя родная...». Большинство присутствующих в зале — и приглашенных, и чекистов — вскочили, не зная, как себя вести. Розенгольц, не закончив песню, с рыданиями упал на свое место.

Ягода в краткой речи пытался все же отрицать, что принадлежал к руководству «блока» и был организатором убийства Кирова, хотя и признал другие свои преступления. Под конец он произнес громким срывающимся голосом прямо в микрофон: «Товарищ Сталин, товарищи чекисты, если можете, пощадите».

Бухарин не просил пощады.

Поздно вечером 12 марта суд удалился на совещание, продолжавшееся шесть часов. В 4 часа утра 13 марта заседание возобновилось, и крайне уставшие зрители, охранники и подсудимые заняли свои места. Москва была пустынна, возле Дома союзов — никого. Около 30 минут Ульрих читал приговор, который все выслушали стоя. Большинство подсудимых были приговорены к «высшей мере уголовного наказания — расстрелу»; Плетнев — к 25 годам заключения, Раковский и Бессонов — к 20 и 15 годам.

В ночь на 15 марта 1938 года Н. И. Бухарина, которого Ленин называл любимцем партии, А. И. Рыкова, бывшего председателя Совнаркома, и их товарищей по несчастью расстреляли. Известно, что Сталин почти всегда выслушивал рассказы руководивших расстрелами чекистов, если речь шла о тех лично ему знакомых людях, которых он явно или тайно ненавидел. Не будем останавливаться на том, как вели себя перед расстрелом многие видные большевики. Нервы выдержали далеко не у всех. Бухарин держался спокойно. Он попросил, однако, дать ему карандаш и лист бумаги, чтобы написать Сталину. Просьба была удовлетворена. Короткое письмо начиналось словами: «Коба, зачем тебе была нужна моя смерть?» Сталин всю жизнь хранил его в одном из ящиков своего письменного стола вместе с резкой запиской Ленина, вызванной грубым обращением с Крупской.

7

В 1936—1938 годах подавляющее большинство советских людей не сомневались, что в Доме союзов судят действительно врагов народа. Этому верили и такие 12—13-летние школьники, каким я тогда был, и такие люди, как Е. А. Гнедин.

Сегодня, когда Верховный Суд СССР, наконец, реабилитировал практически всех обвиняемых на московских «открытых» процессах и объявил, что никаких «параллельных» или «право-троцкистских» центров не существовало, нет смысла подробно доказывать, что эти процессы были фальсифицированы, и приводить неувязки и противоречия, содержавшиеся в обвинительных материалах. Можно лишь выразить сожаление, что реабилитации состоялись только через 50 лет после гибели обвиняемых, хотя настойчивые требования пересмотреть грубые судебные фальсификации раздавались и в КПСС, и в международном коммунистическом движении еще с 1956 года.

Однако возникает вопрос: какие методы использовали Ежов и Ягода при подготовке фальсифицированных процессов, как удалось им добиться от обвиняемых нужных Сталину «показаний»?

Высказывалось предположение, что на суде в качестве обвиняемых выступали хорошо загримированные и специально подготовленные агенты НКВД. Это предположение решительно опровергают люди, присутствовавшие на процессе и хорошо знавшие многих обвиняемых,— Е. А. Гнедин, И. Г. Эренбург и некоторые другие, с которыми я беседовал в 60-е годы.

Слушая показания тех обвиняемых, которых он хорошо знал, Эренбург думал, что говорят они так под воздействием каких-то медицинских препаратов — тогда уже были известны средства и способы превратить на время весьма решительного человека в послушную марионетку. Возможно также, что следователи применяли гипноз и внушение.

Некоторые западные авторы не без основания предполагают, что на заключенных воздействовали различными идеологическими и психологическими методами. Эту версию проводит в своем написанном в 1940 году романе «Слепящая

тьма», перевод которого недавно опубликован в журнале «Нева», Артур Кестлер. Следователи Иванов и Глеткин психологически готовят заключенного в тюрьму героя романа Рубашова, одного из крупнейших руководителей партии и Коминтерна, к участию в показательном судебном процессе. Кестлер признавал, что прототипом Рубашова послужил главным образом Бухарин, но у него есть также черты и Радека, и Пятакова.

Методы, о которых писал Кестлер, несомненно, применялись к части подсудимых. Вероятнее всего, именно таким образом удалось заставить Радека не только говорить, но даже активно помогать следствию в составлении сценария процессов. Бухарина трудно было убедить столь примитивным способом. Многое свидетельствует о том, что Бухарина шантажировали, прежде всего угрожая расправиться с молодой женой, с престарелым и больным отцом, а крохотного сына отдать в детский дом. В первые месяцы следствия семья Бухарина продолжала жить в своей кремлевской квартире, ему передавали записки от жены, книги из домашней библиотеки, фотографии сына. Все кончилось, когда Бухарин был сломлен и начал давать «нужные» показания. Жену его арестовали еще до начала процесса.

Однако главным орудием воздействия на большинство участников судебных процессов были пытки и истязания. Член ВКП(б) Н. К. Илюхов в 1938 году оказался в Бутырской тюрьме в одной камере с Бессоновым, осужденным на процессе «право-троцкистского блока». Бессонов рассказал Илюхову, которого хорошо знал по совместной работе, что перед процессом его сначала почти семнадцать суток заставляли стоять перед следователями, не давая спать и садиться,— это был пресловутый «конвейер». Потом стали методически избивать, отбили почки и превратили прежде здорового, крепкого человека в изможденного инвалида. Арестованных предупреждали, что пытать будут и после суда, если они откажутся от выбитых из них показаний.

Некоторым обещали не только сохранить жизнь, но и дать частичную свободу, направить на партийную, хозяйственную или советскую работу в районы Сибири и Дальнего Востока. Заверяли, что приговор будет простой формальностью, что их восстановят в партии, хотя, возможно, им и придется несколько лет работать под чужой фамилией. По свидетельству жены Я. Дробниса, такое именно обещание дали ее мужу при подготовке процесса «параллельного центра». Дробнис сумел передать об этом родным и просил их «не беспокоиться».

8

Выступая 5 марта 1937 года на Пленуме ЦК, Сталин говорил, что репрессиям нужно подвергать только активных троцкистов, тех, кто сохраняет верность Троцкому. «Среди наших товарищей,— заявил он,— имеется некоторое число бывших троцкистов, которые давно уже отошли от троцкизма и ведут с ним борьбу. Было бы глупо опорочивать этих товарищей»[1].

После опубликования этого выступления в газетах некоторые органы НКВД стали даже сокращать масштабы уже «запланированных» акций. Очень скоро пришли, однако, «разъяснения», и массовые репрессии возобновились с небывалой ранее интенсивностью. Фактически к концу 1937 года были арестованы почти все бывшие члены оппозиций, независимо от их теперешних взглядов.

Показательна в этом отношении судьба виднейшего большевика, члена ВРК в октябре 1917 года, одного из руководителей штурма Зимнего дворца, человека, арестовавшего Временное правительство,— В. А. Антонова-Овсеенко: герой Октября, командовавший позднее не только армиями, но и фронтами гражданской войны, был расстрелян в 1938 году.

Такая же судьба постигла и видного революционера Е. Эшбу, руководителя восстания трудящихся в Абхазии в 1921 году. Короткое время в 1926 году он примыкал к оппозиции, а затем открыто отошел от нее; работал на ответственных постах в тяжелой промышленности. В 1937 году Эшба был обвинен в троцкистской деятельности, арестован и погиб.

И Эшба, и Антонов-Овсеенко теперь полностью реабилитированы, так же как и А. К. Воронский — литературный критик и публицист. В середине 20-х годов Воронский участвовал в оппозиции, но порвал с ней.

Вместе с другими бывшими оппозиционерами погиб обладатель партийного билета № 1 Петроградского комитета РСДРП, революционер Г. Ф. Федоров, на Апрельской партийной конференции избранный членом ЦК РСДРП. К моменту ареста в 1937 году он занимал пост управляющего Всесоюзным картографическим трестом.

Органы НКВД уничтожали участников не только троцкистской, зиновьевской и бухаринской оппозиций, но и более ранних. Были арестованы, например, почти все члены группы «демократического централизма» (1920—1921 годы). Репрессировали таких известных партийных деятелей, как Н. Осинский (в 1937 году он руководил ЦСУ), И. Стуков, И. К. Дашковский. Погибло большинство членов «рабочей оппозиции» (1920—1922 годы). Расстрелян А. Г. Шляпников, в дни Февральской революции один из виднейших руководителей Петроградской партийной организации, возглавлявший в трудное время эмиграций и ссылок в 1916 году Русское бюро ЦК. Шляпников вошел в первое Советское правительство как народный комиссар труда, затем входил в Реввоенсовет Южного и Кавказского фронтов. Перед арестом он был председателем одного из облисполкомов, членом ЦИК СССР. Погиб и Е. Н. Игнатов, видный руководитель московских большевиков в дни Октября. В «рабочей оппозиции» он возглавлял особую группу «игнатовцев», но еще в 20-е годы отошел от всякой оппозиции; в середине 30-х годов работал директором Высших курсов советского строительства при ВЦИК и ЦИК СССР. Органы НКВД физически уничтожили и А. С. Киселева, профессионального революционера с 1898 года, до революции члена ЦК РСДРП, а с 1924 по 1938 год секретаря ВЦИК. Такая же судьба постигла бывшего члена «рабочей оппозиции» Н. А. Кубяка, в 20—30-е годы секретаря ЦК ВКП(б), наркома земледелия, председателя Всесоюзного Совета по делам коммунального хозяйства.

Были арестованы и в большинстве уничтожены все участники группы Сырцова — Ломинадзе, а тем более группы Рютина. В союзных республиках массовые репрессии были направлены против тех членов партии, которые обвинялись когда-то в «национал-уклонизме». Разумеется, Сталин не преминул расправиться и со своим личным врагом, одним из виднейших грузинских большевиков, П. Г. Мдивани: в 1936 году он был арестован и расстрелян. В 30-е годы Мдивани был заместителем Председателя Совнаркома Грузинской ССР.

Одновременно с арестами бывших участников внутрипартийных оппозиций органы НКВД провели в 1935—1937 годах массовые аресты еще сохранившихся в живых бывших членов других партий. Лишь единицы из бывших эсеров, бундовцев, меньшевиков, кадетов, дашнаков, мусаватистов, анархистов не прошли в 1920—1930 годы через тюрьмы. Многие и в середине 30-х годов работали в небольших городах на положении ссыльных. Поддерживая между собой дружеские связи или переписку, они не вели, однако, никакой политической, а тем более антисоветской деятельности (я не имею в виду в данном случае таких бывших меньшевиков, как А. Я. Вышинский, которые и за страх, и за совесть служили Сталину).

Были арестованы бывшие видные руководители партии левых эсеров М. А. Спиридонова, Б. Камков, И. А. Майоров, А. А. Измаилович, И. К. Каховская, один из руководителей партии правых эсеров, А. Гоц, эсер К. Гогуа и другие.

Не пощадили и многих стариков народовольцев. Почти сразу же после убийства Кирова было ликвидировано Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев и закрыт журнал этого общества «Каторга и ссылка». В первую очередь хватали тех, кто до революции был связан с террористической деятельностью. В 1935 году были арестованы А. В. Прибылов и Н. М. Салова. Репрессировали и народовольцев, никогда не занимавшихся террором. Попала в заключение дея-

[1] До смерти Сталина вышло тринадцать томов его сочинений; издание не было завершено. В 1967 году Гуверовский институт при Станфордском университете в Калифорнии довел издание до конца, опубликовав на русском языке 14—16-й тома, причем в том же оформлении. Приведенное высказывание Сталина опубликовано в 14-м томе.

тельница «Южно-русского рабочего союза» Е. Н. Ковальская, постоянный член редколлегии «Каторги и ссылки». Ряд других народовольцев (В. И. Сухомлин, А. И. Прибылова-Корба) арестовали позднее. Почти все они погибли. Среди реабилитированных в 1956—1957 годах мне довелось встретить только одного бывшего меньшевика, фамилию которого я забыл, одну бывшую анархистку — З. Б. Гандлевскую и левую эсерку И. К. Каховскую, которая незадолго до своей смерти оставила друзьям краткие воспоминания о страшных годах, проведенных ею в сталинских тюрьмах и лагерях.

Был арестован и расстрелян видный публицист и русский политический деятель, один из руководителей кадетской партии Н. В. Устрялов, идеолог так называемого «сменовеховства». В 20-е годы Устрялов жил в Харбине, еще с 1921—1922 годов пропагандировал среди эмигрантов идею возвращения на родину. Он работал на КВЖД директором советской библиотеки. После захвата Маньчжурии Японией многие сотрудники КВЖД вернулись в Советский Союз. Вернулся и Устрялов...

Немало представителей других партий, арестованных тогда органами НКВД, не только давно изменили свои прежние взгляды, но и вступили в ВКП(б), участвовали на стороне большевиков в гражданской войне и работали потом на ответственных постах в государственном и партийном аппаратах, в Коминтерне (В. Ф. Малкин, Г. Закс, А. П. Колегаев, Ф. Ю. Светлов, Е. Ярчук, Г. Б. Сандомирский, В. Шатов и другие).

Уже не было каких-либо открытых судебных процессов, об арестах бывших членов всех антибольшевистских партий почти никогда не сообщалось в печати.

Естественно, возникает вопрос: что побудило Сталина физически уничтожить всех бывших оппозиционеров и членов других партий, не представлявших какой-либо опасности для Советской власти?

Уничтожение прежних противников не было продиктовано боязнью образования новой и более опасной оппозиции. Отчасти то была просто политическая месть. В 20-е годы у Сталина не было достаточно влияния и власти, чтобы расправиться со своими оппонентами, часто весьма резко говорившими и писавшими о нем. Терпеливо ожидая своего часа, он лишь формально принял капитуляцию большинства оппозиционеров, явно двурушничал: говорил одно, а готовился сделать другое. И немедленно уничтожил всех бывших оппозиционеров, как только почувствовал себя достаточно сильным для этого. В свою очередь, разгром и физическое уничтожение бывших оппозиционеров, обвиненных в шпионаже, измене родине, вредительстве, позволили Сталину еще больше укрепить свою власть и влияние. Но главное заключалось, конечно, не в мстительности Сталина.

Организуя политические процессы над бывшими оппозиционерами, людьми, которые были частично скомпрометированы перед партией, людьми, в чью виновность, казалось бы, нетрудно поверить, людьми, растерявшими связи с партией и народом и поэтому беззащитными перед Сталиным, он стремился создать в стране обстановку чрезвычайного положения, запугать народ и партию, заставить всех поверить в существование разветвленной сети врагов и шпионов и на этом основании получить в свои руки чрезвычайные полномочия в качестве «спасителя» Советского государства.

Немалое значение имело и стремление свалить на «врагов народа» все политические и экономические трудности. Любому деспоту, насаждающему культ своей личности, нужен козел отпущения. Если в 1928—1932 годах таким козлом отпущения были кулаки и «буржуазная интеллигенция», то в середине 30-х годов — бывшие члены различных оппозиций.

Логика борьбы за власть в стране и в партии, логика преступления вела Сталина к уничтожению под прикрытием политических процессов 30-х годов основных кадров партии и государства, всех неугодных ему деятелей науки, культуры, независимо от того, принимали они участие в каких-либо оппозициях или нет. Все происшедшее до сих пор было только прологом и прикрытием еще более страшной и массовой террористической кампании.

Одним из тех, уничтожить кого Сталин стремился особенно настойчиво, был, как это легко понять, Троцкий.

На первом же московском «открытом» судебном процессе в августе 1936 года Троцкий был заочно приговорен к смертной казни. В это время он жил еще в Норвегии, и формально ему было запрещено заниматься политической деятельностью. Однако, узнав первые подробности о московском процессе, Троцкий сразу же нарушил этот запрет: делал заявления для печати, направлял телеграммы в Лигу Наций, посылал обращения к различным митингам. Правительство Норвегии немедленно предложило Троцкому покинуть страну. Однако ни одна страна Запада не хотела пускать его. Только в конце декабря Мексика дала согласие предоставить Троцкому политическое убежище. В глубокой тайне, под охраной, не на пассажирском судне, а на танкере, нанятом норвежским правительством, Троцкий с женой отплыл в Мексику. Он прибыл туда 9 января, а через две недели в Москве начался процесс «параллельного центра», на котором среди обвиняемых преобладали бывшие троцкисты.

В Мексике Троцкий развернул бурную деятельность, однако она находила очень слабое отражение в мировой прессе, ибо он не был популярен ни в буржуазных, ни в либеральных, ни в социал-демократических, ни тем более в коммунистических кругах. К тому же Троцкий не слишком-то понимал, что происходит в Москве, и в своих оценках часто выдавал желаемое за действительное.

Едва в Москве завершился последний большой «открытый» процесс, Сталин поставил перед НКВД задачу—уничтожить Троцкого. Для убийства Троцкого, а также для расправы с некоторыми дипломатами и разведчиками, оставшимися в 1936—1938 годах за границей, в системе НКВД был создан специальный отдел. В начале 1938 года в одной из французских больниц после успешно проведенной операции аппендицита при странных обстоятельствах умер сын Троцкого Лев Седов. Был арестован и вскоре погиб его второй сын, Сергей, который был далек от политики и отказался выехать с отцом за границу. В это же время по всем лагерям прошли массовые расстрелы троцкистов — и бывших, и тех, кто сохранял верность Троцкому и содержался в заключении еще с конца 20-х годов. В живых почти никого не осталось.

Зимой 1938/39 годов Троцкий занимался организацией нового, IV Интернационала. Его сторонникам удалось собрать учредительный конгресс, однако фактически это было весьма узкое собрание троцкистов — всего около 20 человек представляли несколько стран. Троцкий не мог присутствовать на этом собрании, которое состоялось тайно неподалеку от Парижа и продолжалось только один день — с утра до вечера без перерыва.

Судьба самого Троцкого была трагична. Охота за ним продолжалась, в ней приняли участие и некоторые видные мексиканские коммунисты. Дом Троцкого в Койоакане, превращенный в настоящую крепость, постоянно охранялся. Однажды его обстреляла из пулеметов, а потом атаковала группа, возглавляемая мексиканским художником, коммунистом Сикейросом. Нападавшие сумели разоружить охрану и на 20 минут захватить дом. Троцкий и его жена спрятались в темной комнате. Нападение удалось отбить, дом стали охранять более тщательно, вокруг возвели новые укрепления. В это время в ближайшее окружение Троцкого был уже внедрен молодой испанский коммунист Рамон Меркадер, выдававший себя за американского коммерсанта. 20 августа 1940 года Меркадер смертельно ранил Троцкого ударом ледоруба, который пронес под пальто в его кабинет. Убийца был схвачен и после длительного судебного процесса приговорен к 20 годам тюремного заключения. Руководивший операцией полковник НКВД и мать убийцы, также принимавшая участие в подготовке этого террористического акта, сумели скрыться.

Рамону Меркадеру было присвоено звание Героя Советского Союза, его мать награждена орденом Ленина, ее принимал лично Берия. Руководитель операции получил генеральский чин, и Сталин сказал, что, пока он жив, ни один волосок не упадет с головы этого чекиста. В данном случае Сталин отступил от своего правила уничтожать всех тех, «кто знал слишком много».

УДАР ПО ОСНОВНЫМ КАДРАМ ПАРТИИ И ГОСУДАРСТВА (1937—1938 ГОДЫ)

1

В течение 1937 и 1938 годов поток репрессий неизменно нарастал, принимая все более массовый и зловещий характер, хотя уже в первые месяцы 1937 года большая часть бывших «левых» и «правых», которых было, по-видимому, 50—60 тысяч, находилась в заключении, а многие из них были расстреляны.

Не делая уже почти никакой разницы между участниками той или иной оппозиции и их бывшими оппонентами, между людьми, когда-то выступавшими против политики Сталина, и людьми, которые активно способствовали его выдвижению и сами приложили руки к политическому террору, органы НКВД, руководимые и направляемые Сталиным, начали организованное и планомерное истребление основных кадров партии и государства.

Тяжелый удар был нанесен прежде всего по Центральному Комитету ВКП(б). К началу 1939 года по всякого рода клеветническим обвинениям было арестовано 110 из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранного XVII съездом партии. Все они были вскоре физически уничтожены.

Так, например, был выведен из Политбюро и снят со всех ответственных постов крупнейший партийный деятель В. Я. Чубарь. Его направили на второстепенную работу в Соликамск, а через несколько месяцев арестовали и расстреляли. Член Политбюро С. В. Косиор был первым секретарем ЦК КП(б) Украины. После массовых репрессий в этой республике он был обвинен в недостатке бдительности и отстранен от работы на Украине. Назначенный заместителем председателя СНК СССР, он вскоре был арестован и 26 февраля 1938 года расстрелян. Был расстрелян также кандидат в члены Политбюро, популярный партийный деятель П. П. Постышев, второй секретарь ЦК КП(б) У. Погиб и кандидат в члены Политбюро Р. Эйхе, первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии, назначенный в 1937 году наркомом земледелия СССР. В мае 1937 года был арестован и расстрелян кандидат в члены Политбюро и заместитель председателя СНК СССР Я. Рудзутак.

Расстреляли многих ответственных работников аппарата ЦК — заведующего отделом науки К. Я. Баумана, в прошлом секретаря и члена Оргбюро ЦК; заведующего сельхозотделом Я. А. Яковлева, в прошлом наркома земледелия; заведующего отделом печати и издательств Б. М. Таля; заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК А. И. Стецкого и других.

Погиб известный коммунист А. М. Назаретян, назначенный в 1922 году по совету Ленина помощником Сталина и работавший в 30-е годы в Комиссии Советского контроля и в Бюро жалоб при ЦК ВКП(б).

Вместе с аппаратом ЦК партии был разгромлен и аппарат Комиссии Партийного контроля. Большая часть членов КПК, избранных XVII съездом партии, была арестована (И. М. Беккер, Н. С. Березин, В. С. Богушевский, С. К. Брикке, Е. Б. Генкин,М. Л. Грановский, В. Я. Гроссман, Ф. И. Зайцев, Н.Н. Зимин, М. И. Кохиани, А. А. Левин, И. А. Лычев, Ж. И. Меерзон, К. Ф. Пшеницын, Н. Н. Рубенов, А. А. Френкель и другие). Никто из них не остался в живых.

Одновременно с членами ЦК, КПК и Ревизионной комиссии ЦК арестовали и большинство инструкторов ЦК и КПК и технических работников центральных партийных учреждений.

Тяжелые репрессии обрушились на центральные советские и хозяйственные органы. Арестовали большую часть членов Президиума ЦИК СССР и ВЦИКа. О судьбе попавшего в опалу секретаря ЦИК СССР и ВЦИК Авеля Енукидзе уже говорилось. Исключенный из состава ЦК ВКП(б) и назначенный на второстепенный пост в управлении курортами страны, Енукидзе был в 1937 году арестован и после короткого закрытого суда расстрелян. Аресты членов ЦИК СССР санкционировал, как правило, сам «всесоюзный староста» и председатель ЦИК, а затем Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин. Во время одного из заседаний ЦИК в 1937 году секретарша Калинина вызывала из его кабинета поочередно четырех членов ЦИК, и Калинин, рыдая, подписывал санкцию на их арест, который производился оперативной группой НКВД в соседней комнате[1].

Был разгромлен аппарат Госплана СССР. Погиб долгие годы возглавлявший его опытный партийный и хозяйственный руководитель В. И. Межлаук. Арестовали и его преемника Г. И. Смирнова, которому в 1937 году исполнилось всего 34 года. Расстреляли заместителя председателя Госплана СССР Э. И. Квиринга, а также старейшего деятеля партии, долгое время работавшего в Госплане Г. И. Ломова (Оппокова).

Были арестованы и погибли заместители председателя Совнаркома СССР В. Шмидт и Н. К. Антипов, председатель Совнаркома РСФСР Д. Е. Сулимов, его заместители Д. З. Лебедь, С. Б. Зозиоченко и Т. Рыскулов.

Были арестованы и погибли наркомы СССР: оборонной промышленности — М. Л. Рухимович, легкой промышленности — И. Е. Любимов, лесной промышленности — С. С. Лобов, внутренней торговли — И. Я. Вейцер, здравоохранения — Г. Н. Каминский, зерновых и животноводческих совхозов — М. И. Калманович и Н. Н. Демченко, водного транспорта — Н. И. Пахомов, машиностроения — А. Брускин, заготовок — Н. Попов, председатель Комитета по строительству С. Л. Лукашин, председатель правления Госбанка СССР Л. Е. Марьясин.

Были расстреляны известный партийный работник, руководивший Комитетом по кинематографии, Б. З. Шумяцкий; нарком юстиции РСФСР и СССР, активный участник Октябрьской революции Н. В. Крыленко; выдающийся деятель партии, один из руководителей вооруженного восстания в Петрограде А. С. Бубнов, с 1929 по 1937 год нарком просвещения РСФСР. Погибло и большинство других наркомов РСФСР.

Возглавляемые арестованными наркоматы подверглись настоящему разгрому — репрессировали всех ведущих работников. На основании версии о «шпионско-вредительской группе» в наркомате тяжелой промышленности, руководимой якобы заместителем наркома Пятаковым, органы НКВД арестовали и других заместителей наркома — А. П. Серебровского, А. И. Гуревича и О. П. Осипова-Шмидта; начальников управлений и отделов и членов коллегии К. А. Неймана, А. Ф. Толоконцева, И. В. Косиора, А. И. Зыкова, Ю. П. Фигатнера, С. С. Дыбеца, Е. Л. Бродова и других. То же произошло и во всех других наркоматах СССР и РСФСР. Погибли такие известные и авторитетные деятели партии и государства, как Ш. З. Элиава, Н. П. Брюханов, А. М. Лежава, А. Б. Халатов, Пауль Орас, В. П. Милютин, К. П. Сомс, В. И. Полонский, В. Нанейшвили, М. В. Баринов, И. И. Тодорский, В. А. Кангелари, С. С. Одинцов, В. А. Трифонов, И. И. Радченко, М. М. Майоров, Г. И. Благонравов, А. И. Муралов. Все это были активные участники революционной борьбы в России, «генералы» советской индустрии, главные деятели первой и второй пятилеток.

Жестокой чистке подвергся в 1937—1939 годах аппарат Наркоминдела. Погибли заместители наркома Левон Карахан и Б. С. Стомоняков, арестованы заведующие отделами А. В. Сабинин, А. Ф. Нейман, М. А. Плоткин, А. В. Фихнер, Е. А. Гнедин и другие. Вызвали в Москву и арестовали многих послов и атташе СССР в разных странах — К. Юренева, М. А. Карского, Е. В. Гиршфельда, В. Х. Таирова, Богомолова, Г. А. Астахова, И. С. Якубовича и других.

В тюрьме оказался дипломат М. Розенберг, немало сделавший для франко-советского сближения. Погибли дипломаты В. В. Егорьев и Б. Миронов-Корнев. Объявлены вне закона посол СССР в Болгарии Ф. Ф. Раскольников и посол СССР в Греции А. Г. Бармин, отказавшиеся вернуться на верную гибель в Москву. Репрессии затронули также многих корреспондентов ТАСС и советских газет за границей.

---

[1] Свидетельство П. Аксенова, председателя Казанского горсовета и члена ЦИК СССР, также арестованного в кабинете Калинина. Отец писателя Василия Аксенова и муж писательницы Е. С. Гинзбург, он остался жив после семнадцати лет заключения.

1937—1938-й были временем не только массовых арестов, но и самоубийств. Так, считая себя обреченным, покончил с собой заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Н. Н. Рабичев.

В феврале 1937 года не стало одного из популярнейших руководителей партии Серго Орджоникидзе. Видный деятель революционного подполья, активный участник Октябрьской революции и гражданской войны, Орджоникидзе был в 1937 году членом Политбюро и наркомом тяжелой промышленности.

В опубликованном 19 февраля того года Правительственном сообщении говорилось, что Орджоникидзе скоропостижно скончался 18 февраля в 17 часов 30 минут у себя на квартире от паралича сердца. Опубликовали также подробное медицинское заключение. Только на XX съезде КПСС было официально объявлено, что Орджоникидзе покончил жизнь самоубийством. Виновны в этой трагедии прежде всего Сталин, Ежов и Берия.

Не решаясь прямо предъявить Орджоникидзе какие-либо обвинения, Сталин стремился деморализовать его. Был арестован старший брат Серго — Папулия. Фальсифицированные показания брата передали Орджоникидзе в день его рождения. Почти ежедневно он узнавал о расстреле кого-либо из своих друзей и добрых знакомых. Массовые аресты прошли и в системе тяжелой промышленности, органы НКВД обходились на этот раз без санкции наркома, которую Серго отказывался давать и которую давали Сталин или Молотов. После этого Сталин пристыдил Орджоникидзе, направив ему выбранные под пытками ложные показания. «Товарищ Серго,— писал он в сопроводительной записке,— почитай, что о тебе пишут».

Орджоникидзе, однако, не очень-то верил всем этим показаниям и горячо протестовал против арестов в системе тяжелой промышленности. В некоторых случаях он поручал инспекторам своего наркомата проверить на месте обоснованность тех или иных обвинений. Тем не менее по предложению Сталина Политбюро поручило именно Орджоникидзе сделать на ближайшем Пленуме ЦК доклад о вредительстве в промышленности. Сталин пошел даже на такую провокацию, как обыск в кремлевской квартире Орджоникидзе. И. Дубинский-Мухадзе писал в своей книге об Орджоникидзе, что, узнав об обыске, оскорбленный и разгневанный Серго стал звонить Сталину. Звонил всю ночь. Дозвонился только под утро и услышал в ответ: «Это такая организация, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного...» Утром 17 февраля Орджоникидзе с глазу на глаз несколько часов разговаривал со Сталиным. Был и еще один разговор, безудержно гневный, с взаимными оскорблениями, бранью на русском и грузинском языках.

Некоторые из старых большевиков выдвигали позднее версию об убийстве, а не самоубийстве Серго. Думается, нельзя считать эту версию убедительной.

Как свидетельствовала жена Орджоникидзе Зинаида Гавриловна, вечером 17 февраля он работал в наркомате. На следующий день не вышел к завтраку, даже не оделся и просил, чтобы никто не входил к нему. Все время что-то писал. Днем в квартиру пришел Г. Гвахария, друг Серго, но тот его не принял, велел лишь накормить в столовой, а сам отказался и от обеда. Обеспокоенная Зинаида Гавриловна позвала к себе сестру, Веру Гавриловну. Начинало темнеть. Решив еще раз проведать мужа, Зинаида Гавриловна, проходя через гостиную, зажгла свет. В этот момент в спальне раздался выстрел. Вбежав туда, Зинаида Гавриловна увидела мужа, в окровавленном белье лежавшего на кровати. Он был мертв.

В квартире, кроме «черного» хода, которым все пользовались, был и парадный, не только закрытый, но и заставленный книжными шкафами, вел он в гостиную, так что незаметно пройти через него никто не мог — Зинаида Гавриловна как раз в момент выстрела была в гостиной.

Она немедленно позвонила Сталину, который жил в квартире напротив. Он пришел не сразу — сначала собрал членов Политбюро. В спальню вбежала и Вера Гавриловна; увидев на письменном столе листки, исписанные бисерным почерком Серго, она схватила их и зажала в руке,— читать, конечно, не могла. Когда в спальню в сопровождении Молотова, Ворошилова и других членов Политбюро вошел Сталин, он сразу вырвал эти листки у Веры Гавриловны. Рыдая, Зинаида Гавриловна воскликнула: «Не уберегли Серго ни для меня, ни для партии!» «Молчи, дура»,— оборвал ее Сталин.

Приведу воспоминания об этом трагическом дне Константина Орджоникидзе, младшего брата Серго, оставшегося в живых после 16-летнего заключения. Его вызвали сразу после гибели Серго.

«Я поспешил в спальню, но мне преградили путь и не допустили к покойнику. Я вернулся в кабинет ошеломленный, не понимая, что произошло. Потом пришли Сталин, Молотов и Жданов. Они прошли сначала в столовую. У Жданова на лбу была черная повязка. Вдруг из кабинета Серго увели Гвахария, почему-то через ванную комнату. После этого Сталин, Молотов и Жданов прошли в спальню. Там постояли они у покойника, потом все они вместе вернулись в столовую. До меня донеслись слова, сказанные Зинаидой Гавриловной: «Об этом надо опубликовать в печати». Сталин ей ответил: «Опубликуем, что умер от разрыва сердца». «Никто этому не поверит,— возразила Зинаида Гавриловна. Далее она добавила: — Серго любил правду и нужно опубликовать правду». «Почему не поверят? Все знали, что у него больное сердце, и все поверят».— Так закончил Сталин этот диалог...

Спустя некоторое время в столовой собрались члены Политбюро и ряд других высокопоставленных лиц. Появился и Берия. Зинаида Гавриловна назвала Берию негодяем. Она направилась к Берии и пыталась дать ему пощечину. Берия сразу после этого исчез и больше на квартире Серго не появлялся...

Зинаида Гавриловна обратилась к Ежову и Паукеру и просила сообщить родственникам в Грузию, а также чтобы на похоронах присутствовал старший брат Папулия. Ежов на это ответил: «Папулия Орджоникидзе находится в заключении, и мы считаем его врагом народа, пусть отбывает наказание, можно оказать ему помощь теплой одеждой и питанием. Остальным родственникам мы сообщим, дайте только адреса».

Я дал им адреса брата Ивана и сестры Юлии, а также жены Папулии — Нины.

Поздно вечером приехал Емельян Ярославский. Увидев покойника, он упал в обморок. С трудом уложили его на диван. Когда Ярославский пришел в себя, его на машине отправили домой. После этого приехал Семушкин. День был выходной, он отдыхал на даче в Тарасовке. Увидев страшную картину, Семушкин стал буйствовать. Пришлось, чуть ли не связанным, силой отправить его домой.

Секретарь Серго Маховер, пораженный виденным, произнес запомнившиеся мне слова: «Убили, мерзавцы!»...

Через некоторое время начались усиленные аресты... Арестовали Семушкина с женой и многих работников Наркомтяжпрома, близко соприкасавшихся с Серго. Арестовали Нину Орджоникидзе — жену нашего старшего брата Папулии (Павла) Орджоникидзе. Вместе с ней арестовали и другого нашего родственника — Г. А. Орджоникидзе. Наконец, 6 мая 1941 года арестовали и меня».

Несколько раз пыталась Н. К. Крупская защитить от репрессий многих хорошо знакомых ей партийцев. Так, на июньском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года она протестовала против ареста члена ЦК И. Пятницкого, объявленного НКВД провокатором царской охранки. Говорила, что Пятницкий был деятелем большевистского подполья, отвечал за технику связи с Россией из-за границы и по его линии в партии не было ни одного провала. Протест оставили без внимания.

Лишь в отдельных случаях Крупская смогла добиться освобождения тех или иных партийных работников. Именно в результате ее энергичного вмешательства был освобожден И. Д. Чугурин, который 3 апреля 1917 года вручил партийный билет В. И. Ленину.

Вскоре, однако, на протесты Крупской органы НКВД перестали обращать внимание. Когда на ежегодном траурном заседании памяти Ленина она спросила Ежова о судьбе ряда известных ей товарищей, он, не ответив, отошел в сторону. Умерла Крупская в самом начале 1939 года. Хоронили с почестями, урну с прахом несли члены Политбюро во главе со Сталиным. На следующий

день на квартире и даче Крупской был произведен тщательный обыск и большая часть архива изъята. Издательство Наркомпроса получило директиву: «Ни одного слова больше не печатать о Крупской». Имя ее было предано почти полному забвению. Под разными предлогами книги Крупской убирали с библиотечных полок. В экспозициях на выставке, посвященной созданию «Искры», даже ни разу не упоминалось о работе Крупской в этой газете.

Надо сказать, что многие старейшие члены партии, долгие годы работавшие рядом с Лениным, а нередко и дружившие с ним семьями, не подверглись репрессиям. Однако все они были отстранены от участия в руководстве партией, терроризированы и, конечно, не оказывали влияния на ход событий. О большинстве из них вообще забыли. Здесь можно назвать Г. М. Кржижановского, Ф. Я. Кона, П. А. Красикова, В. Д. Бонч-Бруевича, Н. И. Подвойского, А. Е. Бадаева, Д. З. Мануильского, М. К. Муранова, Ф. И. Самойлова, Н. А. Семашко, Н. И. Шварц, А. М. Коллонтай, Е. Д. Стасову, Л. А. Фотиеву.

Вот, к примеру, судьба Г. И. Петровского, близкого соратника Ленина, большевистского депутата Государственной Думы, председателя ЦИК Украины и самого первого председателя ЦИК СССР[1]. Арестовали его старшего сына Петра, героя гражданской войны, недавнего редактора «Ленинградской правды». Исключили из партии и сняли с должности командира Московской пролетарской дивизии младшего сына — Леонида. Погубили мужа дочери — С. А. Зегера, председателя Черниговского исполкома. В конце 1938 года Г. И. Петровского неожиданно вызвали в Москву к Сталину. Тот грубо обругал Петровского, и его тут же, обвинив в связях с «врагами народа», сняли со всех его постов. На XVIII съезде партии Петровский не был избран в ЦК. Долгое время он вообще не мог найти никакой работы и только перед войной получил должность заместителя директора Музея Революции по хозяйственной части.

Другой пример — судьба поэта-большевика и близкого соратника Ленина Демьяна Бедного. В 30-е годы его перестали печатать. На антифашистском памфлете Демьяна Бедного, предназначенном для «Правды», Сталин сделал пометку: «Передайте этому новоявленному «Данте», что он может перестать писать». В августе 1938 года поэта исключили из партии, а затем из Союза писателей. До самого начала войны перед ним были закрыты двери редакций всех газет и журналов.

В то же время многие лично близкие Ленину люди подверглись репрессиям. Еще в 1935 году был арестован Н. А. Емельянов — питерский рабочий, который прятал Ленина в шалаше у Разлива и помог сохранить его жизнь.

Емельянов был уже на пенсии. По свидетельству Снегова, Крупская со слезами вымолила у Сталина обещание не казнить этого старейшего большевика. Однако его не отпустили на свободу — держали в заключении и ссылке почти 20 лет. Были арестованы жена Емельянова и сыновья Кондратий, Николай и Александр — в 1917 году они, тогда мальчики, помогали укрывать Ленина в Разливе.

Погиб в годы террора А. В. Шотман, старый большевик, руководивший в 1901 году знаменитой «Обуховской обороной» — одним из первых массовых выступлений русского пролетариата. Летом 1917 года Шотман был единственным связным между Лениным и ЦК партии. Партия поручила Шотману не только охрану Ленина в подполье, но и организацию его переезда из Разлива в Финляндию.

Был арестован известный швейцарский социалист, затем коммунист, деятель международного рабочего движения Фриц Платтен. В 1917 году Платтен оказал русской революции неоценимую услугу, организовав переезд Ленина и других русских эмигрантов через Германию в Россию. Он сопровождал Ленина в этой поездке и затем активно участвовал в революционной борьбе в России. В январе 1918 года, когда Ленин возвращался с солдатского митинга, ехавший с ним в машине Платтен прикрыл его собой от пуль террористов и был ранен. С 1923 года Платтен постоянно жил в Советской России, она стала его второй родиной.

---

[1] При создании СССР в декабре 1922 года приняли решение иметь не одного, а четырех равноправных председателей ЦИК, каждый из иоторых должек был работать на этом посту три месяца в году.

В 1937 году он и его жена, работавшая в Коминтерне, были арестованы. Платтен сидел в тюрьмах царской России, боярской Румынии, в каторжной ковенской тюрьме, в застенках Петлюры, в тюрьмах Швейцарии. Умер в лагере для инвалидов «Каргопольлага» — там он заготовлял дранку и плел корзины.

В 1937 году был расстрелян еще один ближайший соратник Ленина — Я. С. Ганецкий, в прошлом видный деятель российского и международного рабочего движения, которого Ленин лично рекомендовал в члены партии. Именно Ганецкий добился освобождения Ленина, арестованного в августе 1914 года в Австрии по обвинению в шпионаже в пользу России. Это был произвол местных властей, но в условиях только что начавшейся первой мировой войны дело могло плохо кончиться для Ленина. Ганецкий помогал проезду Ленина через Германию, встречал его в Швеции, обеспечил дальнейший проезд в революционный Петроград. В последние годы жизни Ганецкий был директором Музея Революции в Москве.

Погиб С. И. Канатчиков, который входил в созданный Лениным в 1895 году «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Погиб Эйно Рахья, связной ЦК партии, который в октябре 1917 года охранял Ленина. В решающую ночь перед началом Октябрьского вооруженного восстания именно Рахья сопровождал Ленина с конспиративной квартиры в Смольный. По дороге юнкера дважды задерживали Ленина, спасла его от ареста находчивость Рахьи. Обеспечивал он безопасность Ленина и в начале октября, когда тот нелегально возвращался из Финляндии в Петроград. В середине 30-х годов Рахья, один из основателей Коммунистической партии Финляндии, был на политработе в Красной Армии.

Сталин не щадил не только тех, кто по старости и болезни уже давно вышел на пенсию,— был арестован, например, Н. Ф. Доброхотов, участник многих партийных съездов, пенсионер с 20-х годов. Сталин не щадил и мертвых. Одни из них были посмертно объявлены «врагами народа», другие преданы несправедливому забвению. Огульной критике подвергся, например, П. И. Стучка, нарком юстиции в первом Советском правительстве. В конце 1918 года Стучка возглавил правительство Советской Латвии, а после падения Советской власти в Прибалтике работал в Москве на ответственных постах. Умер он еще в 1932 году, похоронен на Красной площади; через несколько лет его объявили носителем враждебной идеологии в области правовой науки.

С крайней неприязнью относился Сталин и к крупному государственному и партийному деятелю, ближайшему соратнику Ленина С. И. Гусеву. Его в 1933 году похоронили с воинскими почестями на Красной площади. А вскоре имя Гусева было вычеркнуто из истории партии и из истории гражданской войны; многих его родственников и друзей арестовали.

Перестало упоминаться имя знаменитого большевика-подпольщика Камо (С. А. Тер-Петросяна), погибшего в 1922 году. Скромный памятник на могиле Камо в центре Тбилиси снесли, сестру Камо арестовали. Был арестован и погиб брат Я. М. Свердлова — В. М. Свердлов. Были преданы забвению такие видные большевики, как Л. Б. Красин, В. П. Ногин, Г. В. Чичерин, А. В. Луначарский и многие другие. Более трагичная судьба выпала Авениру Ноздрину. Председатель первого в России Иваново-Вознесенского общегородского Совета рабочих депутатов, он был убит в заключении в возрасте 76 лет.

2

Страшная волна репрессий прокатилась в 1937—1938 годах по всем областям и республикам. В РСФСР было разгромлено до 90 процентов обкомов партии и облисполкомов, а также большинство городских, окружных и районных партийных и советских организаций. Иногда арестовывали подряд несколько составов обкома партии. Среди десятков тысяч арестованных и погубленных работников партийного и советского аппаратов было немало широко известных деятелей партии, членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б): секретари обкомов партии Л. И. Картвелишвили, И. М. Варейкис, И. П. Носов, Н. Н. Колотилов, А. И. Криницкий, А. И. Угаров, Ф. Г. Леонов, В. В. Птуха, И. Д. Кабаков, К. В.

Рындин, Д. А. Булатов, П. И. Смородин, В. П. Шубриков, Б. П. Шеболдаев, Э. К. Прамнэк, М. И. Разумов, И. В. Слинкин, И. П. Румянцев, М. С. Чудов, М. Е. Михайлов, Н. М. Осьмов, П. А. Ирклис, А. С. Калыгина, Я. Г. Сойфер, Г. Байтуни, И. И. Иванов, Н. Д. Акилинушкин, Б. П. Беккер, Е. И. Рябинин, Г. П. Раков, П. М. Тоннгин, С. П. Коршунов, В. Я. Симочкин, А. Я. Столяр, С. М. Соболев, С. М. Савинов, В. Я. Симякин и многие другие. Вместе с ними погибли председатели облисполкомов Г. М. Крутов, Н. И. Пахомов, П. И. Струппе, Ян Полуян, Ф. И. Андрианов, С. Б. Агеев, М. Л. Волков, Н. И. Журавлев, В. В. Иванов, И. Ф. Новиков, А. Н. Буров, Д. А. Орлов, И. Н. Пивоваров, Г. Д. Ракитов, И. И. Рещиков, А. А. Шпильман, И. Ф. Гусихин, И. Я. Смирнов, председатель Ленсовета И. Ф. Кодацкий.

Арест секретаря обкома или председателя облисполкома сопровождался обычно и полным разгромом руководящих кадров. Так, в Москве и Московской области были арестованы и расстреляны секретари областного и городского комитетов партии А. Н. Богомолов, Т. А. Братановский, Е. С. Коган, Н. В. Марголин, Н. И. Дедиков, В. С. Егоров, М. М. Кульков, С. З. Корытный, председатель Мособлисполкома Н. А. Филатов, его заместитель С. Е. Губерман, председатель Моссовета И. И. Сидоров и многие другие. К середине 1939 года из 136 секретарей райкомов партии Москвы и Московской области[1] только 7 остались на своих прежних постах. Почти всех арестованных, в том числе В. П. Тарханова, Н. Е. Воловика, И. Левинштейна, Б. Е. Трейваса, С. Е. Горбульского, Е. Першмана и десятки других расстреляли.

В специально отведенном корпусе Горьковской тюрьмы был заключен в 1937 году весь состав Горьковского горкома партии во главе с секретарем горкома Л. И. Пугачевским и весь состав горсовета во главе с А. П. Грачевым, а также секретари девяти городских райкомов партии и другие ответственные работники города и области. На областной партийной конференции в 1938 году начальник областного управления НКВД заявил, что в Горьковской области «разгромлены целые полчища контрреволюции».

Почти весь руководящий актив был истреблен в Ленинграде и во многих других крупных городах РСФСР.

Разгрому подверглись кадры всех автономных республик РСФСР. В Карелии был арестован и погиб Густав Ровно, первый секретарь Карельского обкома, в прошлом «красный полицмейстер» Гельсингфорса, помогавший в 1917 году скрывать Ленина. Убит председатель СНК Карелии Э. Гюллинг. Погиб председатель КарЦИКа Н. В. Архипов. Было уничтожено почти все руководство Бурят-Монголии во главе с первым секретарем обкома М. Н. Ербановым, одним из организаторов здесь Советской власти. В Татарской АССР стали жертвами репрессий секретарь Татарского обкома партии А. К. Лепа, председатель ТатЦИКа Г. Г. Байчурин, председатели СНК республики К. А. Абрамов и А. М. Новоселов, их заместители, десятки секретарей райкомов и горкомов, С. Саид-Галиев, первый председатель СНК Татарии, видный деятель революционного движения в России, критиковавший в свое время наркома национальностей Сталина.

Погиб первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома партии Бетал Калмыков, секретари обкома Еврейской автономной области Г. Н. Сухарев и М. П. Хавкин, председатели СНК Крымской АССР М. Ибрагимов и А. Самеидов, глава башкирского правительства З. П. Булашев, секретарь Марийского обкома партии Ч. И. Врублевский, руководители республики Немцев Поволжья Е. Э. Фрешнер и Д. Г. Розенберг, а также многие тысячи других работников этих республик.

Огромный урон понесли партийные организации Дагестана и Осетии, Чечено-Ингушетии и Чувашии, Мордовии и Удмуртии, Якутии и Карачаево-Черкессии. В Северной Осетии, например, из 11 членов обкома было арестовано 9. За два года здесь сменились четыре первых секретаря обкома. Даже в такой небольшой и далекой от центров страны республике, как Коми АССР, репрес-

[1] Территория Московской области включала в 1936—1937 годах территории нынешних Рязанской, Калужской, Калининской и Тульской областей.

сиям подверглась четвертая часть всех членов партии во главе с секретарями обкома А. А. Семичевым и Ф. И. Булашевым.

Погибли руководители Украины Чубарь, Постышев, Косиор. В 1937 году были арестованы почти все руководящие работники в Киеве и в провинции, в том числе В. П. Затонский, И. Е. Клименко, К. В. Сухомлин, М. М. Хатаевич, В. И. Чернявский, Е. И. Вегер, Ф. И. Голуб, С. А. Зегер, С. А. Кудрявцев, А. С. Егоров, О. В. Пилацкая, В. Д. Еременко, А. В. Осипов, А. К. Сербиченко, Н. И. Голуб, Г. И. Старый, М. И. Кондаков. Председатель Совнаркома Украины А. П. Любченко, не дожидаясь, пока за ним придут, застрелил жену и сына и застрелился сам.

Были арестованы почти все члены семьи П. К. Запорожца, соратника Ленина. Погиб председатель Госплана УССР, герой гражданской войны Ю. М. Коцюбинский — сын известного украинского революционера, писателя-демократа. Когда Н. С. Хрущев, назначенный первым секретарем ЦК КП(б)У, должен был для восстановления партийного руководства созвать в 1938 году съезд партии республики, выяснилось, что число коммунистов здесь уменьшилось: в 1934 году их было 453,5 тысячи, стало 286 тысяч.

Партийная организация Белоруссии уменьшилась более чем наполовину. Уже в 1937 году в ЦК КП(б) республики и во многих обкомах было зачастую просто некому работать. Перебили по нескольку составов партийных и советских органов. Погибли почти все руководители белорусских большевиков: Н. М. Голодед, А. Г. Червяков (по сообщениям газет он покончил с собой «на семейной почве»), М. О. Скакун, С. Д. Каменштейн, А. М. Левицкий, Д. И. Волкович, А. Ф. Ковелев, известный всей стране герой гражданской войны Н. Ф. Гикало, Я. И. Заводник, А. И. Хацкевич и сотни других видных работников. Из тех, кто пользовался в 30-е годы заслуженной известностью, уцелело лишь несколько человек, в том числе поэты Якуб Колас и Янка Купала.

Массовыми репрессиями в Азербайджане руководил М. Д. Багиров, ставленник Сталина. Здесь был расстрелян один из председателей ЦИК СССР, член Исполкома Коминтерна Г. М. Мусабеков. Погибли председатель СНК Азербайджана Гусейн Рахманов, председатель АзЦИКа С. М. Эфендиев, видные партийные и советские работники М. Д. Гусейнов, А. П. Акопов, Р. Али-Оглы Ахундов, Д. Буниатзаде, М. Церафибеков, А. Г. Караев, М. Кулиев, М. А. Нариманов, Г. Султанов, А. Султанова.

Тяжелые жертвы понесла Грузинская партийная организация. Среди расстрелянных или погибших в заключении: Миха Кахиани, Леван Гогоберидзе, Ясон Мамулия, Сосо Буачидзе, Петр и Леван Агниашвили, Иван Болквадзе. Погиб один из создателей большевистских организаций в Закавказье, долгое время первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б), Мамия Орахелашвили. Такая же судьба постигла и его жену Марию, активную деятельницу женского движения.

Один за другим были арестованы председатели Совнаркома Грузии Г. Мшалоблишвили и Л. Сухишвили, большинство наркомов республики, руководители многих учреждений и предприятий, преподаватели вузов. Погиб вождь абхазских большевиков Н. А. Лакоба, друг Орджоникидзе, Кирова, Дзержинского, Калинина, которому нередко высказывал расположение и сам Сталин. Был расстрелян первый секретарь Абхазского обкома А. С. Агрба. Погиб член бюро обкома Абхазии М. А. Лакоба.

Из 644 делегатов X съезда партии Грузии, состоявшегося в мае 1937 года, 425 человек вскоре арестовали.

Рано начались репрессии в Армении. Еще 9 июля 1936 года бюро Заккрайкома заслушало сообщение НКВД ЗСФСР «О раскрытии контрреволюционной террористической группы по Грузии, Азербайджану и Армении». На этом бюро руководитель коммунистов Армении Ханджян был обвинен в потере бдительности. Вечером после заседания бюро Ханджян погиб. По одним данным, он покончил с собой. По другим, более правдоподобным свидетельствам (А. Н. Шелепин, С. О. Газарян, О. Г. Шатуновская, А. Иванова), его застрелил Берия.

Новые руководители Армении — ставленники Берии Г. Аматуни и С. Ако-

пов под видом борьбы с «дашнакским национализмом и контрреволюцией» начали террор против руководящих кадров республики. В числе их жертв ветераны революции секретари ЦК партии Армении С. Срапионян (Лукашин), А. Ионнисян, Г. Овсепян, А. Костанян, бывший председатель СНК С. Тер-Габриелян, председатель ЦИК С. Мартикян, председатель КПК П. М. Кузнецов (Дарбинян), наркомы Н. Степанян, А. Ерзинкян, В. Еремян, А. Есаян, А. Егизарян, старейшие коммунисты Д. Шавердян, А. Меликян, А. Шахсуварян. В сентябре 1937 года в Армению прибыли А. И. Микоян и Г. М. Маленков, и террор еще более усилился; были арестованы и недавно возглавившие республику Г. Аматуни и С. Акопов.

Массовый характер приняли репрессии в Казахстане. Погибли секретари ЦК Казахстана Л. И. Мирзоян и С. Нурпеисов, все члены бюро ЦК КП(б) республики, в том числе видный ученый И. Ю. Кабулов, председатель ЦИК КазССР У. Кулумбетов, председатель СНК У. Д. Исаев. Одновременно было арестовано большинство членов ЦК, секретари областных комитетов партии, председатели облисполкомов, большинство районного актива. Погибли активные участники борьбы за Советскую власть в Казахстане У. К. Джандосов, С. Сегизбаев, Ю. Бабаев, А. Розыбакиев, А. М. Асылбеков и другие.

В Таджикистане был арестован председатель СНК республики А. Рахимбаев, которого лично знал и высоко ценил В. И. Ленин, видные деятели партии Ш. Шотермор, Х. Бакиев, С. Анваров, Б. Додобаев, К. Ташев, А. Т. Редин и другие.

В Туркменской ССР были репрессированы секретари ЦК партии А. Мухамедов и Я. А. Попок, председатель СНК республики К. Атабаев, председатель ЦИК ТССР Н. Айтаков, а также видные партийные и общественные деятели Ч. Веллеков, Х. Сахатмурадов, К. Кулиев, О. Ташназаров, Д. Мамедов, Б. Атаев, Курбан Сахатов и другие. Из-за массовых репрессий несколько месяцев не функционировало бюро ЦК КП(б) Туркмении.

Тяжелые потери понесла и компартия Узбекистана. Мы уже говорили о руководителях республики А. Икрамове и Ф. Ходжаеве. Погибли и другие — Д. Тюрабеков, Д. Ризаев, Д. И. Манжара, Н. Исраилов, Р. Исламов, сотни секретарей райкомов, горкомов, руководителей советских и хозяйственных организаций.

То, что острие террора второй половины 30-х годов направлялось против актива самой партии, было очевидно даже для обывателей, которые спали по ночам гораздо спокойнее, чем коммунисты.

Погибшие в 30-е годы коммунисты были далеко не одинаковы и по биографиям, и по мотивам поведения, и по личным качествам, и по степени ответственности за преступления и ошибки, совершенные после революции или в ходе самой революции. Среди них было много честных и самоотверженных людей, искренне жаждавших создать справедливое общество и свято веривших в то, что они участвуют в создании именно такого общества и борются только с его врагами. Было немало людей, которые искренне ошибались или были обмануты. Были люди, которые многое поняли, но лишь тогда, когда было уже поздно. Были люди, которые ничего не могли понять до самого конца. Было немало людей думающих, которые остро переживали все то, что происходило в стране, но во многом веривших еще сталинскому руководству.

Были и такие, кто уже не верил ни Сталину, ни его пропаганде, но не знал, как можно изменить положение. Были, конечно, и такие, кто просто боялся. Все это относится также и к чекистам, хотя их ответственность за события 30-х годов очень велика. Но я не могу одинаково относиться к Ягоде и к известному чекисту Артузову, который перед расстрелом написал кровью на стене тюремной камеры: «Честный человек должен убить Сталина».

Продолжение следует.

Е. Старикова

ШАГИ КОМАНДОРА

О РАССКАЗАХ ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА

Однажды в конце 60-х годов очень известный писатель в ответ на очередное сетование, что вот-де не вышла книга, лежит без всякой надежды на опубликование рукопись, очень спокойно, очень холодно, но в конце концов справедливо сказал: «У порядочного литератора листов-то пятнадцать и должно лежать в столе». Потом оказалось, что у «порядочных литераторов» в столах лежало гораздо больше листов. И не будем сегодня делать вид, что все мы вовсе ничего не знали об этих листах. Многое из того, что сейчас только публикуется, читалось нами гораздо раньше и подспудно участвовало и в сохранении, и в созревании нашего самосознания, многое негласно влияло на то, что принято называть скучными словами «литературный процесс». Одним повезло больше в осведомленности, другим меньше, но, думаю, нет не то что пишущего, но и серьезно читающего человека в нашей стране, который остался бы в полном неведении относительно мощных грунтовых потоков русской литературы, полвека таившихся под поверхностным слоем почвы. Своим невидимым движением эти потоки начертали завет всем пишущим: то, что написано пером, можно, но трудно до конца вырубить топором.

Рассказов В. Тендрякова, написанных в конце 60-х — начале 70-х годов и опубликованных в мартовской книге «Нового мира» и в сентябрьской «Знамени», я лично не читала раньше и ни от кого о них не слышала. Тем сильней и непосредственней впечатление от них, тем больше оказалось удивление перед их абсолютной современностью. Они пришлись нам сегодня и ко двору, и ко времени. Не знаю, сам ли автор расположил эти рассказы в том порядке, как они обнародованы, или сделала это Наталья Асмолова, подготовившая к публикации тексты покойного писателя, но при полной самостоятельности каждого из пяти сюжетов в целом получилась единая симфония на тему духовного пути и созревания того поколения, которое подросло к войне. С публицистической прямотой каждый из рассказов Тендрякова начинается с обозначения времени действия: «Пара гнедых» — лето 1929 года, «Хлеб для собаки» — лето 1933 года, «Параня» — лето 1937 года, «Донна Анна» — лето 1942 года, «Охота» — осень 1948-го. Какие памятные даты! Для тех сверстников Тендрякова, кто не вовсе обделен и личной памятью, и общим историческим чувством, эти даты могут служить поистине вехами их духовного созревания.

Год великого перелома совпал с концом их младенчества, с первыми, как об этом пишет Тендряков, сознательными впечатлениями. Конец сплошной коллективизации — с началом школьных лет и первыми самостоятельными поступками (и об этом прямо рассказывает автор «Хлеба для собаки»). Меты тридцать седьмого года в той или иной степени и в том или ином смысле никого из живших тогда не обошли. Ну, а что говорить о первом годе войны? Отступлением к Сталинграду заканчивается рассказ «Донна Анна» — еще один рассказ цикла, образовавшего художественную исповедь писателя о главных исторических потрясениях человека его поколения. Перелом в войне, наш путь от Сталинграда к победе обозначил рубеж уже иной исторической эпохи, вызревшей внутри войны, начало иных драм. Итог тех, о которых рассказал Тендряков в четырех «новомирских» сюжетах,— наше отступление к Волге.

Совсем иные драмы в рассказе «Охота», опубликованном в «Знамени»: в основе его сюжета так называемая «борьба с космополитизмом» конца сороковых годов, пример нравственных испытаний на послевоенном духовном пути поколения победителей в великой войне.

Одна из давних повестей Тендрякова называлась «Тугой узел». Само выражение «тугой узел» точно обозначило не только характер проблем данного произведения, но и наиглавнейшую черту всей прозы писателя, самого способа его художественного мышления: выхватить из потока современной жизни противоречие и разложить его на четко противостоящие друг другу социально-психологические силы, или, иными словами, через частный случай выявить диалектику глубинных общественных процессов. Эта особенность художественного мышления

была свойственна Тендрякову с самых первых шагов его литературного пути, например, в повести 1954 года «Не ко двору» она уже сказалась полностью. Дар художника-социолога, художника-диалектика был сильнейшим свойством таланта писателя, но в нем же заключалась и опасность излишне схематизировать явление, подмять иной раз живое и пестрое цветение жизни логикой познающей ее мысли.

Опубликованным ныне рассказам Тендрякова в высшей степени присущи сильнейшие свойства таланта их автора, хотя, на мой взгляд, и в этих рассказах искомое равновесие между живой жизнью и размывающей ее мыслью сохраняется в разных рассказах не в одинаковой степени. Новым для читателя Тендрякова оказалось то, что дар диалектика, умение развязывать тугие узлы социальных противоречий обращен на этот раз писателем в прошлое, в 30-е — 40-е годы, на которые раньше было наложено табу и где мы сегодня ищем и ищем ответов на то, как же нам жить дальше. «Новые» рассказы Тендрякова — такие тугие узлы, которые к концу 80-х годов приобрели для нас особо острый смысл — и исторический, и политический, и нравственный. Точность попадания автора (и не забудем — публикаторов) здесь просто удивительна.

Кажется, не ошибусь, если скажу, что большинству читателей «Нового мира» из всех опубликованных там рассказов Тендрякова особенно пришелся по душе рассказ «Параня». Однако при неоспоримых достоинствах мне он представляется из трех рассказов цикла наиболее прямолинейным. В этом сюжете писатель до предела четко обнажил страшную и в общем-то очень простую механику массового террора 1937 года. Живописно изобразив городскую дурочку, по чьему бессмысленному оговору бесследно исчезают один за другим обыватели пристанционного поселка, писатель на парадоксальном примере безумия, воплощенного в одном лице, продемонстрировал безумие массовое, одинаково не умеющее разглядеть самоистребительных следствий своих поступков. Автор рассказа обнажил безотказное действие пружины, соединяющей мутную подозрительность со вполне обоснованным страхом, расчетливую подлость с темным предрассудком, маленькую частную выгоду с тотальным террором. Традиционная для старой России фигура вещей юродивой (колтун на голове, рубище из мешковины, задубевшие босые ноги), помещенная в будничную скудную обстановку провинции 30-х годов, послужила по крайней мере двум историческим идеям автора. Во-первых, уверенности писателя в общенародном смысле беды и общенародной ответственности за события середины 30-х годов. Мы сейчас через газеты и телевизор оплакиваем судьбу вождей партии и маршалов, необоснованно репрессированных тогда. Это благотворно и неизбежно на пути к покаянию. Но то, что мы условно называем 1937 годом, — не дворцовая драма, а народная трагедия. И когда в ответ на вопрос людей, скоро ли будет создан памятник жертвам массовых репрессий, газета отвечала, например, что уже есть постановление о сооружении в таком-то городе памятника Блюхеру, то извините, но это была все-таки профанация требования всенародного очищения. Демократизм Тендрякова подсказал ему необходимость изобразить политическую трагедию 30-х годов не на верхних этажах власти, а на низшем уровне социальной иерархии, показав тем самым широту распространения эпидемии подозрительности и страха. Это первое. А второе — в традиционной фигуре юродивой есть ведь и намек на историческую глубину болезни. «Свирженье-покушенье, свирженье-покушенье», — бессмысленно и зловеще бормочет Параня, тыкая пальцем в очередную случайную жертву. Не из XVI ли века звучит этот каркающий голос? А может быть, из XVIII, когда «слово» не хотело расходиться с «делом»? Одно слово — и уже дело. Или это только темная, безграмотная вариация наимоднейших политических формул о бдительности, потоком льющихся из черной тарелки репродуктора на площади? Одно сливается с другим, «тьма веков» — с ультрасовременными способами борьбы за власть. Сливаясь, эти силы и создают угрожающую равнодействующую. И как безошибочно взгляд писателя выхватывает из толпы, тесно поместившейся на составляющем его рассказ осколке фрески народной жизни — продавщица, милиционер, инструктор Осоавиахима, просто пьяница и запоминающий их всех ребенок, — лицо уголовника, вершащего в данной драме конечный суд и расправу. Это знаменательно в смысле точности политических акцентов, расставленных автором. Впрочем, разбойник, говорящий свое слово в финале общенародных и исторических трагедий, — фигура достаточно традиционная, а Тендряков последних лет, очевидно, тяготел к легенде и притче как одному из составляющих своей прозы.

Эта последняя особенность легко проглядывается и в рассказе «Хлеб для собаки», предшествующем «Паране» в новомирском цикле. Здесь с беспощадной обстоятельностью нарисованы писателем разного вида умирания крестьян на улицах равнодушного города. Не забыта ни одна подробность болезни, имеющей название «голод». Казалось бы, тут самое бы место привести несколько цитат, подтверждающих живописную силу Тендрякова и его точность свидетеля не только протекания самой болезни, но и уголовного дела беспрецедентного масштаба, вызвавшего болезнь? Но, по-моему, никто из писавших об этих рассказах не цитировал подобных описаний. Цитировать такое кощунственно. В цитировании было бы что-то от смакования. Не будем этого делать. Кто еще не читал рассказов Тендрякова, обязан прочесть хотя бы этот — «Хлеб для собаки». Такое надо знать.

Однако Тендряков не был бы Тендряковым, если бы ставил только задачу свидетельствования. Десятилетний очевидец событий 1933 года оказывается перед нравственным выбором в той борьбе, которая только что произошла. Мальчик видит, как идущий с заседания партиец без всякого сострадания переступает через полуживого крестьянина. Видит мальчик, что и победитель, и побежденный — оба непримиримы. И это историческая правда. Автор рассказа показал ее открыто и почти беспристрастно. Но он заставил и своего героя, а значит, и своего читателя думать о последствиях той беспощадности и выбирать собственную правду. Можешь ли ты спокойно жить сытым, если рядом голодные? А если не рядом, подальше? И как определить самого нуждающегося в твоей помощи? И надо ли определять самого? Можно ли отказаться от милосердия, если невозможно его осуществить по максимальному счету? Логика размышлений такого рода, а вернее сказать, счетов человека с собственной совестью, приводит героя Тендрякова к вечным проблемам, заключенным в древних притчах. Как накормить пятью хлебами пять тысяч голодных, если не рассчитывать на чудо? Правда, перед героем «Хлеба для собаки» стоят всего пять голодных, а в руках у него всего один кусок утаенного от матери карточного хлеба. Но смысл древней нравственной задачи от этого не меняется.

Когда мы были совсем маленькими, наши матери еще учили нас подавать нищим милостыню. Был такой обычай на Руси: подай просящему. Если нищий был пьяницей или явным обманщиком, матери учили детей: тому, кто просит, хуже, чем тому, кто подает. Подай просящему, не рассуждая о его вине. Потом в школе нас учили другим и тоже справедливым истинам: кто не работает, тот не ест. Ну, а так как право на труд у нас всем обеспечено, то отсюда вытекало, что и жалости быть не должно, что сострадание будто бы унижает человека. Потом, много позднее, через несколько лет после войны, и нищие исчезли с улиц, подавать стало вроде бы некому. Наши дети и внуки не знают старого обычая, не следуют закону сострадания. Вроде бы все логично? Но вместе с милостыней ушло и милосердие. Сейчас наше общество пытается возродить его. Но как вернуть его без непосредственного сострадания? Исторический опыт по закону диалектики привел нас через отрицание этого чувства к вновь обретенной уверенности: не дожидаясь полной справедливости и абсолютного равенства, поделись пока с тем, кому хуже, чем тебе. Искать далеко не придется, если даже на дорогах нищих не видно. Рассказ Тендрякова «Хлеб для собаки» вырос на пути нашего общего возврата к этим простейшим истинам тысячелетней давности. Если бы этот рассказ был опубликован хоть на десять лет раньше!

Зато совсем ко времени пришелся рассказ «Пара гнедых», открывающий цикл. Богатство точных подробностей мало кому уже памятного «воспаленного времени», рубежа 20-х—30-х годов, создает в этом рассказе глубокую перспективу. А открытый финал сюжета (за его границами судьбы героев намечены автором лишь как предполагаемые) приглашает читателя к размышлению над разными историческими возможностями — и осуществленными, и упущенными. Оговариваю, что речь идет о внутреннем построении сюжета, ибо в четырех из пяти рассказов Тендрякова вслед за собственно сюжетом следуют еще и документальные справки, подтверждающие фактическую основу данных житейских обстоятельств. Рассказы, напомню, писались почти два десятилетия назад, и такая опора на документ была необходимым оружием в борьбе за историческую правду. В «Паре гнедых» документы свидетельствуют о десяти миллионах раскулаченных крестьян, то есть о таком решении деревенских процессов, которое скинуло со счетов сложность этих процессов, смахнуло в никуда живую и животворящую народную жизнь. В тендряковском рассказе она еще дышит, она взывает к нам сегодняшним, утверждая всегдашнее наличие исторических альтернатив, всегдашнее право народа и человека на выбор судьбы, как бы труден он ни был.

Вот они стоят друг против друга, две ведущие фигуры «воспаленного времени»: Федор Васильевич Тенков, отец пятилетнего мальчика, чьими глазами оно здесь увидено, «широкий, тяжело давящий сапогами пыльную землю», и красавец Антон Коробов, талантливый «культурный хозяин». Первый — приезжий коммунист, «уже не мужик», но абсолютно уверенный в своем умении и праве во имя справедливости беспощадной рукой вершить мужицкие дела. Второй только что, в годы нэпа, разбогател и всего несколько дней назад выгнан из недавно построенного дома. Уже ясно, за кем сила и победа, но совсем не ясно, за кем правота. «Мне б волю дать, я бы... великую Россию досыта накормил»,— говорит Коробов, в предвидении грядущих событий даря своих коней бедняку Мирону Богаткину. «И стал бы царем — на руках носи»,— парирует слова Коробова Федор Васильевич. Коробов не отказывается и от этой части своей мечты: «Могёт быть». С Коробовым-то все ясно. И не напоминают ли опасения Тенкова сегодняшние страхи некоторых деятелей и многих обывателей перед современными едва-едва оперяющимися кооператорами? А, главное, не подменяет ли в этот самый момент Федор Василье-

вич вопрос о справедливости вопросом о власти? Может быть, как раз в момент этого смещения акцентов н была заложена им самим почва для его собственной недалекой трагедии? Ее предрекает ему тот же Коробов: «Прощай, Федор Васильевич. Мы еще усядемся вместе за красный стол... Хотя... ты прям, как дышло, такие не гнутся, да быстро ломаются».

Один из залогов глубины рассказа Тендрякова «Пара гнедых» в том, что писатель убедил нас: его маленький герой любит обоих идейных противников, жалеет победителя-отца и любуется побежденным владельцем прекрасных коней. Писатель не отделил себя ни от той, ни от другой стороны.

Зная о **реальной** цене в десять миллионов человеческих жизней, заплаченных за искомое и необретенное торжество всеобщей справедливости, писатель не отмахнулся как посторонний от вины жестокого максимализма отцов-победителей. Хотя и наглядно изобразил, как под прикрытием идей полиого равенства грядет пьяница-бездельник Ваня Акуля, «гегемон» с выводком чад, ничему не обученных, голодно-равнодушных, от рождения готовых к паразитическому цинизму. О, мы еще пожнем плоды их деятельности... А сам Тендряков в «Охоте» в тощей фигуре неистребимой деревенской Райки, в твердых скулах городской Раисы Дмитрневны, уверенной в своем праве на все, достаточно выразительно изобразит процесс созреваиия пышных, с разветвленной и цепкой корневой системой сорняков, выросших на ниве стремительных посевов всеобщего равенства и полной справедливости.

Но знает Тендряков и о хищническом аппетите **возможных** преемников Коробова. За одним талантлнвым и удачливым могут прийти и бесталанные. Они уже появлялись на российском горизонте. А измученные нищетой и уже потому рвущиеся к достатку любой ценой, они тоже готовы на все. Внутри рассказа вчерашний бедняк Мирон Богаткин, заполучив задаром коробовских коней, уже грозит каждому, кто на них посягнет. Вот почему в рассказе Тендрякова так важен мотив красоты, благообразия, коробовской мечты о **культурном** хозяйстве, тоже ведь о **новой** для русской деревни жнзни.

Лошадь в России на рубеже 20—30-х годов стала первым мерилом богатства. Обычно раскулачивали за владение двумя лошадьми, но бывало, что хватало и одной. В глазах же ребенка, через которого видятся те давние события, сама красота коробовских коней служит знаком его правоты. Детский взгляд на прекрасных коней придал точным социально-исторнческим свидетельствам еще и сказочный оттенок. Разве не из народиой мечты эта песенная «пара гнедых» с их словно только что «выкупанными» крупами, «отливающими золотом», с их «хрупкими ногами» и «точеными копытами»? Да и сама история добровольного одаривания бедняка бесценным, но таящим опасность богатством тоже сказочна. Направо лн пойдешь, налево ли пойдешь... Песенно-сказочные мотивы рассказа «Пара гнедых» — при обычной «вычисленностн» сюжета — вносят в него элементы утопии, маившей и неосуществившейся крестьянской мечты о том, чтобы богатство слилось со справедливостью и красотой. Нет, не один путь лежал перед крестьянской Россией на рубеже тех десятилетий.

Из пяти рассказов тендряковского цикла лишь рассказ «Донна Анна» не снабжен в публикации фактической справкой, так сказать, оправдательным документом. События 1942 года, видимо, не казались автору еще далекой историей, нуждающейся в публицистических пояснениях. Слишком близко он сам к ним стоял. О том, как гибли в войне наши мальчики, как часто нипочем и зазря они гибли, в начале 70-х годов предполагаемый читатель в справках общего характера еще не нуждался. Но и тогда, и сегодня он нуждался в понимании хода развития нашего общего исторического самосознания: от чего уходим и куда идем? В рассказе «Донна Анна» Тендряков разнонаправленно показал пути осуществления того психологического, может быть, и не всеобщего, но набиравшего силу перелома, наступившего в ходе войны, который произошел в отношении таких понятий, как долг, героизм и цена человеческих жизней, за них заплаченных. Это удивительно, это даже парадоксально: именно тогда, когда гиблн миллионы от вражеских бомб, от голода в плену и блокаде, от пыток в застенках и от собственной, справедливо и несправедливо карающей пули, как это и показано в сценах двух расстрелов у Тендрякова, именно тогда вновь родилось массовое понимание, что кровь людская все-таки не водица, что у каждого погибшего есть или была мать, есть или могли бы быть дети, что каждый из миллионов — личность, не повторяющая одна другую.

Умирающие от голода люди, с беспощадной живописностью изображенные в рассказе «Хлеб для собаки», однако, не имеют ни имен, ни индивидуального лица не только для того, кто через них перешагивает, но и для того, кто протягивает им милосердную руку. То гибла «масса» и торжествовала классовая справедливость, а не просто справедлнвость. И в конце концов и героя рассказа при всей его свидетельской внимательности больше интересовало собственное отношение к вопросу о справедливости, чем конкретная судьба умирающего: кто он, кого и где оставил и кого потерял? В рассказе «Донна Анна» герой его и в кровавом месиве войны все время помнит погибших накануне друзей Славку Колтунова и Сафу Шакирова. Эта родственная близость к погибшим, к мелькнувшему на день человеческому лицу проходит настойчивой темой.

Но почему все-таки «Донна Анна» — блоковская метафора в качестве заголовка рассказа об атаках и расстрелах? Сложные ассоциацин следуют у Тендрякова за слышимыми внутри рассказа и оставшимися вне его строками из «Шагов командора». Тут и самые общие предощущения своей судьбы юными романтиками предвоенных лет: «Выходи на битву, старый рок!» Тут и более частные мотивы, закрепленные в самом сюжете рассказа: «Что изменнику блаженства звуки? Миги жизни сочтены...» Герои рассказа еще и не подозревают о возможности собственной измены, но музыка их жизней уже звучит, уже предрешена. Выбрав еще перед войной Блока опознавательным знаком своей духовной сущности, они наперед обозначили ее трагизм. Для героя-связиста «Донны Анны» и прилепившегося к нему младшего лейтенанта Галчевского любовь к Блоку служит паролем известной степени душевной близости, во всяком случае, одинаковым способом отодвинуть от себя одухотворенным словом жестокую и грязную реальность войны. «Дева Света! Где ты, донна Анна?» Солдаты говорили о бабах. О бабах и о жратве — извечные, неиссякаемые темы»,— рассказывает автор о начале сближения связиста и младшего лейтенанта. Предвоенные старшеклассники много читали. Развлечений было мало, чтение удовлетворяло потребность и в правде, и в красоте, и, не надо забывать, в откровенности, часто отсутствовавшей между людьми. Вот и герои Теидрякова перед гибельными атаками, отступлеииями, расстрелами вспоминают и заклинают: «Только в грозном утреннем тумане// Бьют часы в последний раз:// Донна Анна в смертный час твой встанет.// Анна встанет в смертный час». Это мечта о красоте, озаряющей и жизнь, и смерть. На самом деле расстрел. ждавший любителя поэзии, будничен и безобразен, как любая казнь, а сладость существования для оставшегося в живых героя пахнет мясной тушенкой.

Роль поэзин начала века в настроениях и поведении людей первой половины этого века не приходится сбрасывать со счетов. Поэзия несла в себе мощный заряд идеалов жертвенности. Вместе с другими силами и влияниями эти идеалы предшествовали революционному сознанию и подготовлялн его. Отвлеченная жертвенность одинаково неизбежно переходит и в прекрасное героическое самопожертвование, и в ужасные кровавые жертвоприношения. Через оба искуса прошла наша интеллигеиция. Была ли между зтими двумя полюсами золотая середина?

На вопрос жестокий нет ответа,
Нет ответа — тишина.

Рассказ Тендрякова «Донна Анна» о том, как изначально высокче, но книжные, отвлеченные представления столкнулись с реальностью войны и истории, как они были оплачены не абстрактными «потоками крови», а гибелью миллионов реальных личностей. Такими разными личностями были и застреленный по глупому подозрению в измене истинный герой войны лейтенант Мохнатов, и все убитые в возглавленной любителем поэзии ненужной атаке, и расстрелянный за свое преступлеиие Галчевский. С поименными потерями мириться труднее, чем с безымянными. И, может быть, даже и не надо было по воле автора поэтически настроенному младшему лейтенанту громко проклинать перед расстрелом некий ничтожный предвоенный фильм о войне? Блоковских ассоциаций в данном сюжете вполне достаточно для понимания драмы многих предвоенных школьников, ставших солдатами. Но Тендряков написал так, а не иначе; Тендрякова нет, спорить не с кем. Остается только удивляться современности мыслей и чувств, вложенных писателем в рассказы, обиародования которых он сам не дождался.

Знаменательно, что и рассказ «Охота» говорит о причастности его героев к литературе. Но здесь она предстает не поэтическим знаком жертвенной судьбы поколения, как в «Донне Анне», а скорее в роли жизнеустройства послевоенных молодых людей, их поисками места под солнцем, их ожиданием грядущих успехов. И в отношении автора к поззии в двух рассказах большое различие изображаемых эпох. Стихи здесь вспоминаются скорее забавные, чем прекрасные. О будущем своем и своих друзей, служении литературе говорится автором почти иронически, хотя вряд ли можно сомневаться в истиниости призвания и самого Тендрякова, и описанных им будущих литераторов. В «Охоте» Тендряков изображает в первую очередь быт обитателей послевоенного Литинститута, «Дома Герцена» на Тверском бульваре, где сам писатель учился в конце сороковых годов. Изображает с любовью, с улыбкой, свойственными почти любым воспоминаниям молодости, но и с большим количеством трезвых, прозаических — даже когда они трагические — подробностей о существоваини «бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев». Есть тут и живая память о знаменитых именах, причастных к знаменитому зданию в прошлом и соседствующих с ним не меиее знаменитых — о Маяковском, Есенине, Горьком. А рядом в характерных подробностях возникают фигуры менее известные, но тоже вполне исторически реальные, а затем и совсем не известные широкому читателю, но памятные автору и тоже несущие в себе черты зпохи. Таков, например, истовый поборник борьбы с космополитизмом, недавний фронтовой капитан, а в сорок восьмом году студент Вася Малов, таков и оказавшийся в рассказе на первом плане объект «охоты», комсо-

мольский активист и рабкор 20—30-х годов Юлий Маркович Искин. Его достаточно типичная для первой половины века судьба, его роль более или менее случайной, но в то же время и предопределенной этой судьбой жертвы показательной травли — одного из эпизодов в грандиозном историческом спектакле, призванном к воспитанию масс в должном духе, и служит основой сюжета «Охоты». А в качестве активного и влиятельного егеря в ней неожиданно выступает сам А. А. Фадеев. Да, да, тот самый знаменитый писатель. Неожиданно для большинства сегодняшних читателей «Знамени», но не для памятливых современников событий середины нашего века. Мне было несколько жалко, что роль прославленного писателя в рядовой «охоте» несколько оттеснила фигуру рядового бойца с космополитизмом, она была интересно намечена. Но это с точки зрения художественного равновесия, если можно так выразиться. С точки зрения же исторической памяти, конечно, все справедливо. Насколько точно изображен Тендряковым финал жизни А. А. Фадеева, пусть лучше судят те, кто хорошо знал его при жизни. Таких еще много. Но драма его жизни, драма раздвоенной души — наиболее распространенная драма эпохи, а потому ее присутствие, пусть и очерченное лишь общим контуром, в сюжете конца сороковых годов естественно и поучительно.

В рассказе «Охота» сюжетный узел завязан наименее туго из всех опубликованных в 1988 году рассказов Тендрякова. Материала «Охоты» явно хватило бы или на несколько рассказов, или на большую повесть. Но и то ведь вопрос: считал ли сам автор свое произведение окончательно завершенным? Спасибо ему и за то, что поторопился записать, что помнил и что надо знать другим. И еще одно наблюдение: в «Охоте» особенно очевидна та тенденция к сплаву документальности, «мемуарности» и чистой художественности, который так характерен для сегодняшнего состояния нашей прозы. Тендряков шел в ногу с ее развитием. А видимо, есть что-то в нашем времени, требующее этого сплава, особенно когда речь идет о недавнем прошлом: читателю нужны прежде всего точные свидетельства о нем, но ведь и домысел — в природе искусства, без него, одним-то протоколом, никак не обойтись.

Об особом качестве «новой прозы» прекрасно сказал Варлам Шаламов. В авторских теоретических набросках, помещенных в качестве вступления к публикации его рассказов в «Новом мире», читаем: «Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта... Как и мемуаристы, писатели новой прозы не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи.

Напротив, писатель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Только здесь — успех и доверие. Это — и нравственное, и художественное требование современной прозы». Требования Шаламова прежде всего к себе и писателям его страшного опыта полностью можно отнести и к поискам новой формы, осуществленным с разной степенью удачи в опубликованных в 1988 году рассказах Тендрякова: «серьезность жизненно важной темы», ее «выстраданность» отсутствие «декламации», «пренебрежение литературными «погремушками», «простота и ясность изложения» — все налицо и все подчинено задаче, сформулированной тем же Шаламовым: «Писатель становится судьей времени».

Но как же так: не претендовать на роль судьи и одновременно быть судьей? Конечно, я цитирую всего лишь писательские наброски, где сами противоречия текста — движущая пружина ищущей мысли. Но, может быть, здесь и нет противоречия. Я думаю так: писатель не столько должен судить своего героя, литература не карательный орган, а понять его, понять как производное своего времени. Обстоятельства не снимают с человека ответственности, но и вне обстоятельств нельзя определить меру справедливости нравственного суда.

Во всех пяти рассказах Тендряков говорит от первого лица и открыто пользуется материалом собственной жизни. В то же время он чуть-чуть меняет звучание фамилии своего героя и его отца — Тенковы. И уже эта маленькая подробность — явный знак авторского права на предположение, допущение, фантазию. Автор «Охоты» сам слышал в 1948 году ту речь Фадеева в Доме литераторов, на которую он ссылается, но он не мог слышать разговора кающегося Фадеева с Искиным на Тверском бульваре. Однако этот предполагаемый или переданный автору разговор воспроизведен куда более конкретно, чем публичная речь. Таковы обязанность и право беллетриста: домыслить.

Тендряков в «Охоте» нашел чисто художественный прием для того, чтобы ощутимо и достоверно создать внутри рассказа расстояние между позицией автора 70-х годов и позицией героев 40-х годов, не принижая их и не возвышая себя. На Тверском бульваре герой рассказа несколько раз встречает безвестного, но вещего прохожего, который ошарашивает студента суждениями, ему тогда недоступными, но в которых деликатно звучит зрелый голос автора 70-х годов. Вообще-то Тендрякову иной раз была свойственна некоторая назидательность. В данном случае — прекрасно был найден способ ее избежать. Голосом прохожего звучит в рассказе ироническое и грозное суждение о некогда любимом Тендряковым Литературном институте: «Это ловко кто-то придумал спрятать молодых писателей под одну крышу, под

одну шапку... Да здравствует единомыслие!.. Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег». И тут же безвестный прохожий разъясняет недоумевающему студенту трудность различения космополитизма от интернационализма и преподает ему азы понимания опасности национализма. Опасности для самой нации.

Однако ни в одном из четырех других опубликованных в 1988 году рассказов Тендрякова нет такого обилия, как в «Охоте», мемуарных свидетельств о времени, почти не приобретшем своих откровенных и беспристрастных летописцев. Что-то было в том времени такое, что долго не хотелось вспомннать. Наша постыдная действительность? В 1937 году было страшнее. В 1948 — подлее.

«Охота», о которой рассказал Тендряков, родилась в одном ряду с прочими азартными играми того времени: борьба с генетикой, борьба с кибернетикой, борьба с низкопоклонством и, дай бог памяти, с чем только, едва отвоевавшись, не начали бороться. «И вся-то наша жизнь есть борьба»,— как пелось задолго до интересующих нас событий в одной популярной песне. Напророчили себе.

Но почему все-таки послевоенные события идеологической жизни, довольно широко захваченные вниманием автора «Охоты», не только по времени — «после войны»,— но и по самой своей сути образуют «иную эпоху», чем события 1929—1942 годов, изображенные Тендряковым в «новомирском цикле»? Казалось бы, и здесь, в «Знамени», и там, в «Новом мире», об одном и том же — о голоде в деревне (выразительнейший эпизод «Охоты» история чистой, безотказной тети Клаши и ее дочери — агрессивной завоевательницы города), об арестах, о предательствах и жертвоприношениях. А все, перегорев в огне войны, другое.

В том великом и страшном огне среди многих и добродетелей, и пороков окончательно расплавилась и наша великая наивность. Наивность абстрактных революционных идеалов. Наивность патриархальных крестьянских идеалов. Наивность интеллигентских идеалов самопожертвования ради блага народа (и об остатках этой наивности есть в «Охоте» Тендрякова). В конце 30-х годов еще можно было встретить — и встречали! — фанатиков, оправдывавших — вопреки собственным интересам и личному и горькому опыту — массовый террор некими высшими целями, недоступными пониманию простого смертного. Но пусть мне кто-нибудь сегодня покажет искреннего, убежденного, открытого, бескорыстного «врага космополитизма». Нет, не найдет. Видимо, термин основательно скомпрометирован. Ведь даже у Гитлера — в нашей-то стране! — оказались в 1988 году открытые сторонники. Мы видели по телевизору этих «славных» мальчиков, мечтающих о стерилизации человечества. Всех, кто им не понравится. Даже без малейшей догадки, что кому-нибудь могут в первую очередь не понравиться они сами. А вот открытых последователей «борцов с космополитизмом» почему-то нет, этим понадобились иные этикетки. Откуда такая застенчивость? Вдруг вместо таинственных «космополитов» всплыли и уж вовсе фантастические «масоны». А знаете ли вы что-нибудь определенное, исторически точное о масонстве в XX веке? И они не знают. Но чем непонятнее, тем удобнее. Это уж и не пахнет наивностью. Это совсем другое. Вот и мало охотников вспоминать о конце 40-х — начале 50-х годов, когда вместо былой наивности — недальновидной, опасной, испуганной, но наивности — утвердилось это «другое». Свидетельствуют о том времени пока только прямые жертвы истребительных акций сталинского беззакония. Вот появились наконец-то в печати некоторые из «Колымских рассказов» В. Шаламова, вступление к которым здесь цитировалось. Опубликованы письма дочери Марины Цветаевой А. Эфрон к Б. Пастернаку: замечательный документ о той самой эпохе, о которой идет речь, и замечательный литературный памятник высококультурного сплава фактов жизни и высокой поэзии. Но вот чтобы кто-нибудь из более или менее благополучных современников сейчас взял и написал роман о своих сороковых годах? Последним был Ю. Трифонов. Сегодня что-то не видно охотников. В чем дело?

Мы не нравимся себе те, послевоенные. После **той** и **такой** войны не осталось стремления жертвовать собой. По-прежнему было много жертв, но не было стремления к самопожертвованию. Чем могли, уже пожертвовали. Кто жизнью, кто детьми, кто молодостью. Кто остался жив, хотел жить. Желание законное, но не возвышенное, недостаточное для высокой поэзии.

Когда-то лучшие русские умы мечтали и надеялись, что Россия в отличие от буржуазной Европы минует мещанский путь развития с его эгоизмом, что она, пусть и через большие жертвы, но прямо прошествует ко всеобщему равенству и братству. Рецепты выбора пути были разные, но мечта, в общем, как теперь говорится, «по конечному результату» одна. Не будем здесь судить о конечном результате с точки зрения экономической науки, сегодняшняя пресса свидетельствует, что этот вопрос достаточно сложен и запутан и для тонких знатоков. А вот с точки зрения психологии... Тут мы все невольные специалисты.

Голодный и бездомный человек — а таковым человеком было большинство послевоенных людей — должен был быть или исключительно наивной и бескорыстной личностью, или исключительно духовно развитой личностью, чтобы не возжелать куска хлеба и крыши над головой в первую очередь для себя и своих детей. Это же так естественно. А ведь с

куска только для себя и начинается мещанство и с его жизнеутверждающими добродетелями, и с его жизнеистребительными пороками. Сначала кусок хлеба, потом «жилплощадь», как стал называться человеческий дом и как показал и это Тендряков в «Охоте». И хлеб и дом — самое насущное, самое труднодоступное, а потому — любой ценой, в крайнем случае доносом, преступлением. Люди действительно в войне поняли цену отдельной человеческой жизни, как говорилось здесь по поводу рассказа «Донна Анна», перестали верить справедливости счета только на миллионы, только всей «массой». Но люди в войне окончательно узнали и легкость истребления отдельной человеческой жизни. И тот, и другой опыт пришли разом, рядом, наглядно, очевидно. А если ты не наивно-добродетелен и не исключительно духовен, то вслед за хлебом и крышей очень скоро понадобится непременно дубленка, хрусталь, автомобиль, бриллианты. И что в самом деле в них плохого? Но уж это последнее-то, конечно, какой-то особой ценой, потому что обычным путем, за зарплату, не приобретешь, опять-таки если ты не исключение. И когда путь мещанского преуспеяния неожиданно легок и безнаказан, и когда он очень труден и рискован, и когда он совсем недоступен, а только манящ, все едино: на этом пути неминуемо рождается оправдательное или утешительное чувство собственного превосходства над теми, кто идет иной дорогой. У одних — над неудачливым соседом, над плохо одетым провинциалом, над медлительным пешеходом. У других — над удачливым соседом, над привилегированным москвичом (почему все ему, а не мне? И ведь в самом деле, почему?), над быстро мчащимся автомобилистом (на какие шиши купил?). А в перспективе — над миром. Мы особенные, мы другие, мы лучше их. И когда нам лучше «их», и когда нам хуже «их». В любом случае чувство тайной ущемленности и чувство утверждаемого превосходства — непременное производное мещанской психологии.

И тут, увы, нам пришло время поговорить о национальной гордости великороссов. Никуда не денешься. Потому что и об этом написан рассказ Тендрякова «Охота». К проблеме неизбежно привел автора сам его материал, само время действия рассказа. В то послевоенное время — на ниве разорения, нищеты, неоплаканных еще потерь — гордость наша расцвела самым пышным цветом. Плоды тех цветов пожинаем и сегодня.

Тендряков объясняет тот расцвет: «Давно замечено — победители подражают побежденному врагу». В таком объяснении есть доля правды, но все объяснить заразной эпидемией и несправедливо, и слишком просто. Было ведь и чем гордиться! Еще бы. Но эту естественную и, прямо скажем, весьма умеренную гордость (потому что чаще всего было и не до гордости: очень уж трудно оказалось вернуться к разоренным пепелищам) искусственно раздували, как огонь в горне. Легче и дешевле развести такой огонь, чем быстро справиться с разорением, вернув к тому же победителей к роли послушных «винтиков». Но то ведь был не горн, а бескрайняя высохшая нива, продуваемая всеми ветрами. Удивляться ли опасному полету искр от того огня?

В моменты нынешнего горестного сбора урожая некоторых плодов того давнего цветения иной раз в поисках выхода из трудного положения раздаются призывы к представителям разных народов: гордиться прежде всего своей национальной принадлежностью — каждому своей. И в отличие от того, кто первым произнес слова о «гордости великороссов» — без всяких оговорок, чем именно следует гордиться, а чего стыдиться. Гордиться — и все. В. Тендряков из дали прошлых лет, когда были написаны его рассказы, ответил нашим растерянным ущемленным гордецам устами того «прохожего», что был умнее героя сороковых годов: «Национализм не проявление родословных симпатий, молодой человек, а политика... Твоя нация превыше всего, твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая... Она выгодна недоумкам, у которых нет ничего за душой. Она выгодна всем обиженным и обойденным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтобы вырвать себе благополучие». Впрочем, В. Тендряков отвечал все-таки не нашим современным гордецам, он отвечал И. В. Сталину, поднявшему в 1945 году поздравительный бокал за «терпение» «руководящего народа». Некоторыми представителями данного народа и тогда эти слова воспринимались как издевательство, ибо терпение народа действительно испытывалось на прочность всеми возможными и невозможными способами.

В. Тендряков, увы, не читает с нами сегодняшних газет, не смотрит «Прожектора перестройки», а то бы он, вероятно, нашел и более сильные слова для ответа.

Приходится за автора «Охоты» продолжать ход его мыслей. Ведь если я, русская, горжусь принадлежностью к «руководящей нации», то и ответственность за содеянное на мне самая большая? Каждый не русский может мне сказать: куда глядела твоя руководящая нация? И ведь говорят. Но нет, отвечаю я, это несправедливо. Посмотрите на опустелую деревню, где родился мой отец,— разве она что-нибудь приобрела от этой принадлежности к «руководящей нации»? Ее потери неисчислимы и, боюсь, непоправимы. Но тогда и тут же и не менее часто я слышу явные или подспудные жалобы, что, дескать, нас, несчастных руководящих русских, кто-то иноземный и инокровный обвел вокруг пальца. И тогда во мне действительно вскипает национальная гордость: неужели это так легко сделать? Или мы и впрямь так бесталанны, если не употребить более обидных слов, что только с оружием в руках сильны и можем «руководить» другими? Нет, не верю. Все еще надеюсь, что и нас бог не обидел ни умом, ни талантами. Хотя, может быть, у нас в какой-то момент у первых опустились руки. Устали. Первые начали, первые и устали. Но при таких-то обстоятельствах уместна ли гордость? Может, уместнее заменить ее любовью? Гордиться, как ни крути, значит, испытывать чувство превосходства. Любить — другое дело. Совсем другое. В любви к ребенку ли своему, к матери ли — всегда и боль, и покаяние в совершенных тобой перед ними грехах, и сожаление о не сделанном для них лично тобой в прошлом, и страх за их будущее, и, во всяком случае, полная твоя ответственность и за то, и за другое. Природа любви к своей земле такова же. Должна быть такой же. И никто не помешает, просто не может помешать мне любить то, что я люблю. Никто не заставит любить того, что не люблю. Но при любви, искренней и честной любви, какое место займет чувство превосходства? Боюсь, даже уверена, при данных исторических обстоятельствах доля его в сложной гамме чувств будет не очень велика, если и вовсе не сойдет на нет. И хорошо, хорошо. Гордость, превосходство — они успокаивают. А время ли нам сейчас успокоиться? На чем успокоиться? Это только в старинных гаданиях на картах находился быстрый ответ решения судьбы. Нам же думать и думать. Рассказы В. Тендрякова помогают думать.

«Муза моя, ты сестра милосердия...»

Милосердие... Слово, выпавшее из нашей речи. Слово подзабытое, но не забытое. Потерявшееся, но не утерянное. Неназываемое — оно всегда оставалось в жизни людей, в их делах — повседневных и героических. Милосердие — это не только сострадание, но в первую очередь действо: невозможность принять зло, воплощение добра в реальную жизнь. Добро, сострадание, сопереживание, любовь — составные милосердия.

«...Но как нам детства не хватало! И сколько выпало беды». Быть может, там, в том детстве, где познались «голод и потери и сводок горестный обвал», и начинался поэт? Может быть, там, в школьном классе, рискуя быть исключенным из школы, смешил весь класс, пытаясь вызвать улыбку друга, у которого без вести пропал на войне брат, чтобы тот «хоть на миг из горя вышел»,— и зародилась невозможность обойти чужую боль — зародилась будущая муза поэта?

Война уходит все дальше. Но страдания, слезы людские до сих пор не дают забыть о смерче, прошедшем через народную судьбу. «Муза моя, ты сестра милосердия... Как не побыть возле горести вдовьей?.. Не проходи мимо горя чужого...» Душевная необходимость быть верным избранной музе заставляет поэта вновь и вновь возвращаться памятью к горю общенародному.

Ждет погибшего сына мать. Не может поверить в чудовищную несправедливость его гибели. Ждет двадцать лет — «Матери их мертвыми не помнят, оттого и верят в чудеса». «Алексей, Алешенька, сынок!» — закричит она в муке и счастье, увидев *живого* сына в старой кинохронике («Баллада о матери»).

Память войны... Она звучит со страниц сборника и «невеселой песней военных времен», плывущей по вагону, воскрешая то, «что было давно, что ни старым ни малым позабыть не дано». Она и в безымянных надгробиях над могилами тех, известных и неизвестных, «что на земле так мало прожили, да много сделали на ней». Она в скорби людей, прильнувших к экранам телевизоров:

> Везли по улицам Москвы
> Прах неизвестного солдата.
> Глазами скорби и любви
> Смотрели вслед мы виновато...

Память о «днях потерь и днях разлук» — в скорбном звоне колоколов Хатыни — «симфонии печали». Звонят колокола, звонят, не давая людям забыть о горе вчерашнем, наполняя сердца болью, тревогой за день сегодняшний, в котором опять «гибнут сыновья»:

> У Вечного огня,
> Зажженного в честь павших
> Не на войне минувшей —
> Павших в наши дни,
> Грущу...

Звонят колокола Хатыни, звонят — в тревоге за сегодняшний мир.

Непрочное и сильное маленькое человеческое сердце вмещает огромный мир чувств. «Поэт всегда — номенклатура сердца» — так определяет А. Дементьев направленность своей лирики. И первой по счету в этой «номенклатуре» стоит любовь. Мир поэта — это мир, где «двое» наедине в единственной судьбе» — с радостью встреч, познанием неизведанного, печалью разлук, гневом ревности. Мир любви разнолик — бывает холодный и неприютный, «как холостяцкая комната»; бывает, что порой «все разрушает, ломает судьбы и сердца», но какое это счастье, когда с любовью приходят «вдохновение и смелость».

Лирический герой А. Дементьева, пройдя испытание любовью, приходит к пониманию ответственности, и за это высокое чувство и за другого человека, любимого, он, прежде неуступчивый и нетерпимый, теперь готов и к снисхождению, и к прощению.

Любви посвящено в книге немало строк. Она — в привязанности к отчему дому, который, «как маленький собор, хранил наши души», и в боли прощания с ним — «Срывают отчий дом, как будто душу рушат». Она — в нежности к матери, отцу, детям, постоянной тревоге за них. Она — и в возвращении мыслями к поэтам ушедших времен, гордости за них и сострадании их судьбам («А мне приснился сон, что Пушкин был спасен...»). Она — и в восхищении красотой земли.

Вырвавшись из суетности повседневных забот, пусть на краткий миг, поэт ощущает радость осознания *жизни*, себя в ней:

> И может быть, в пламени этом
> Очистимся мы до конца.
> Прозрачным ликующим светом
> Наполнятся наши сердца...

В сборник вошли стихи разных лет — и двадцатилетней давности, и те, что написаны совсем недавно. Поэт много говорит не только о добрых человеческих чувствах, но и о том, что так мешает человеку быть Человеком, от чего жаждет он избавления — от лжи («Я ненавижу в людях ложь, я негодую и страдаю»), обмана («Опять я за доверчивость наказан»), лести («Лесть незаметно разрушает нас»), зависти («Зависть белой не бывает, зависть свет в нас убивает»)...

Лирика Андрея Дементьева утверждает необходимость служения добру, воспитания добром, воспитание добра! — «Не жалейте своей доброты и участья, если даже за все вам — усмешка в ответ».

Сергей Кравцов

Андрей Дементьев. Стихотворения. М., Советская Россия, 1988.

Без затей

Под повестями Юлия Крелина, вошедшими в его новую книгу, стоят даты: 1983, 1984, 1985—1986. Книга сдана в набор 11 июня 1987 года, подписана к печати 9 октября. Вышла, стало быть, в свет где-то под самый занавес уходившего года, только-только успев оправдать «плановую» дату «1987» на титуле, а к читателям скорее всего добралась где-то в первом квартале восемьдесят восьмого...

Вся эта «хроноарифметика» здесь не случайна: годы-то какие! Сколько всего произошло за это время в жизни страны, в нашей литературе, в нас самих! Сколько прочитано суровых, горьких, трудных страниц — и созданных когда-то, а ныне извлеченных на белый свет, и написанных уже в наши дни. Нет, уже не только публицистики. Пусть не появились еще романы, рожденные новым временем, новым мышлением, но рассказы-то уже есть: думается, мы находимся при начале яркого расцвета этого жанра, которому суждено, быть может, сыграть ныне ту роль, которую в дни «оттепели» конца пятидесятых — начала шестидесятых сыграла поэзия. Как смотрится, как читается в этом контексте книга Крелина — литератора, давно уже выработавшего свой почерк, давно составившего свою читательскую аудиторию? Ведь начиналась книга, можно сказать, по одну сторону исторического водораздела, а заканчивалась — по другую. Не всякая книга выдержит такое испытание «на разрыв»!

Честно говоря, при первом чтении проза Крелина сегодня и впрямь кажется чуть старомодной. В самом деле: не слишком ли преданны его герои — врачи-хирурги — своей профессии, своей больнице? И ведь ни одного негодяя среди них, ни одного законченного «продукта эпохи застоя»! Ну, не ангелы, конечно, хотя и в белых одеждах. К примеру, Алексей Алексеевич из повести «Суета» явно не чужд служебного честолюбия, склонен полюбоваться собой. Заведующий отделением Лев Михайлович «разрывается» не только между хирургией и сочинением (для денег!) сценариев научно-популярных фильмов, но и между женой и возлюбленной. Старый доктор Яков Борисович давно отстал от новейших достижений медицины, да и годы не те, рука уже нетверда, оперировать не может — однако, между прочим, никто не умеет так, как он, поговорить с больным, «снять» лишнюю тревогу, уврачевать словом...

А Евгений Максимович из «Притчи о пощечине» вспыльчив, несдержан, слишком часто и безоглядно пользуется традиционным вроде бы правом оперирующего хирурга на резкое слово. А то и залепить пощечину может обидчику, что и послужило завязкой сюжета для третьей в сборнике повести. Потом сам страдает, кается, просит прощения, да что проку от тех запоздалых покаяний, если обида-то уже состоялась, если прораб Петр Ильич, осуществляющий ремонт больницы, уязвлен, как говорится, в самое сердце и готов дойти до любой инстанции в поисках справедливости,— он и сам точно не знает, какой именно...

Нет, определенно не ангелы живут и действуют на страницах повестей Юлия Крелина. Да и попробуй быть ангелом, если обстановка куда как не райская! Тот же ремонт больницы и впрямь непомерно затягивается, качество из рук вон плохо, плитки, которыми только что облицована стена, отскакивают при первом прикосновении («Притча о пощечине»).

Юлий Крелин. Суета. М., Советский писатель, 1987.

А дефицитное оборудование порой приходится добывать «левыми» путями, с помощью ловкача завхоза Святослава Эдуардовича по прозвищу Свет («Суета»), принимая, между прочим, по его подсказке на лечение «нужных людей». Ибо иначе ничего не получишь: попробовал было доброхот-журналист Глеб Геннадьевич вмешаться в дело, напечатал боевую статью, «пустил волну» — так начальство медицинское тотчас нашло способ отреагировать, чтобы и выступление прессы не осталось без внимания, и охотники «высовываться» получили бы по носу. У начальства таких возможностей всегда хоть отбавляй. Так что лучше уж принимать до известных пределов законы того клана, внутри которого существуешь, а добрейшему Глебу Геннадьевичу намекнуть, чтобы впредь не лез со своей непрошеной помощью!

Все так. Но вот звучит в квартире хирурга «тот самый» внезапный звонок, привозят в больницу больного — неважно, директор ли это завода, старушка ли пенсионерка, которой так и так жить осталось всего ничего, хронический ли алкаш, своей волей в течение многих лет крушивший собственное здоровье,— и все постороннее, вся суета житейская, в чем-то постылая, а в чем-то и милая, словно бы отскакивают от героев Крелина. Они профессионалы. Они мастера. Они рыцари, гуманисты, хотя, конечно, никогда не скажут о себе таких слов — разве что иронически.

Идеализация? Прекраснодушие? «Вчерашний день» литературы? Но почему тогда за книгами Крелина в любой библиотеке очередь, и «Суету» для рецензирования удалось получить далеко не сразу? Может быть, дело в самой «ткани» этой прозы, какой-нибудь особо изысканной и потому лакомой для литературных гурманов? Да ведь и этого не скажешь. «Нормальная», не побоимся этого слова — «средняя» интеллигентная проза, в чем-то, на придирчивый взгляд, и уязвимая. Есть и длинноты, и целые страницы сугубо медицинской «технологии», и композиционные просчеты. Скажем, история знакомства, а потом и дружбы двух врачей, которые по воле случая сами оказались в роли пациентов, кажется совершенно лишней в роли зачина повести «Без затей»: в дальнейшем сюжет движется совсем иными пружинами. Есть самоповторы; приглянулось, например, писателю сравнение — хирургов, рассказывающих в свободную минуту свои профессиональные «байки», сравнивают с охотниками на привале,— и он возвращается к нему дважды или трижды. И тот самый несчастный алкоголик, который ныне совсем уже не пьет — «только портвейн»,— мелькнув в одной повести, благополучно выныривает в другой. А то вдруг споткнешься о странное словечко, малоудачный неологизм, который автору, очевидно, кажется находкой: мужчина «п и к н и ч е с к о г о» сложения. Словом, придраться есть к чему.

В чем же тогда притягательность прозы Крелина?

Первый ответ напрашивается сам собой: в доскональном, доподлинном знании того мира, о котором он пишет. Но ведь само по себе это еще ничего не значит. Или почти ничего. Мало ли мы знаем книг, в которых профессиональное знание предмета не стало знанием художническим! Но у Крелина — на каждой странице, в каждой строке — не только знание, но и любовь. Одного литератора, тоже в прошлом врача, как-то спросили, почему он пишет о чем угодно, только не о мире медицины и медиков, который он лучше всего знает. «Я не хочу, чтобы меня воспринимали как д о к т о р с к о г о писателя»,— был ответ. Позиция, которую тоже можно в чем-то понять. Юлий Крелин не боится, что его будут числить «докторским» писателем. Став писателем, он не перестал быть врачом. Он любит свой мир с его трудностями и неурядицами, со всеми его нравственными коллизиями и перегрузками и никуда уходить из этого мира не хочет. Он любит своих героев со всеми их недостатками и человеческими слабостями—«обыкновенных» людей, истово и честно делающих свое благородное дело при любых культах и любых застоях.

У замечательного и совершенно не оцененного (попросту незамечаемого) критикой русского поэта Владимира Портнова, живущего в Баку (не путать с его московским тезкой и однофамильцем!), есть удивительный верлибр «Оборотная сторона», заканчивающийся такими словами:

И мне снова кажется,
что беды и утраты
не исчерпывают тогдашней жизни.
Мы создали свою жизнь —
или она возникла сама.
И была она оборотной стороной
того страшного или парадиого,
что было где-то за нами или
над нами.
И, может быть,
может быть,—
да простит меня бог, если это
не так,—
она была не оборотной стороной,
а лицом.

Слава богу, драгоценный капитал человечности и порядочности не весь бездумно промотан в минувшие годы. Именно это позволяет нам с надеждой смотреть в будущее. Именно об этом нам напоминает сегодня книги врача и писателя Юлия Крелина. Именно поэтому они не потеряли своего читателя и «по сю сторону» исторического перевала.

Илья Фоняков

В поисках своей эпохи

С первого абзаца «Повести о санаторной зоне» угадывается грядущая трагическая развязка. Медленное и внешне спокойное развитие сюжета лишь усиливает тревожное ожидание. И хотя автор сразу оговаривается: «...с а н а т о р н а я з о н а — н е т е а т р м а р и о н е т о к — это расклад определенной группы общества, за который (расклад) и за которую (группу) я не несу ответственности»,— повествование вряд ли уместно отнести к беллетристическим зарисовкам. Скорее его можно назвать психологической публицистикой.

Пожалуй, только тогда человек всерьез задумывается о собственном месте в мире, когда нарушается привычный ход жизни и он сознательно оказывается в замкнутом пространстве. Именно в такое положение попали персонажи повести Миколы Хвылевого, пациенты тихого неврологического санатория. Классовый инстинкт решительных действий, руководивший их поступками в яростные послереволюционные годы, постепенно притупляется, уступая место потребности в размышлениях. Им уже не надо хвататься за наган, чтобы доказывать свою правоту, ведь враги остались лежать на полях сражений с вескими свинцовыми аргументами в остывших телах.

Сами победители теперь по праву отдыхают, набираются сил и ждут прихода душевного равновесия. Возникающее у них поначалу в новых условиях ощущение свободы столь же обманчиво, сколь и взрывоопасно. При тотальном контроле, слежке и шантаже, от которых несвободна и санаторная зона, неизбежен конфликт мыслящих и, следовательно, сомневающихся людей с существующим режимом, к которому они находятся в оппозиции, пусть даже и внутренней. В такой среде и малый недуг чреват обострением. Что же тогда говорить об изнуренных жизнью обитателях санатория? Самое эффективное лечение не может облегчить их страданий.

Так, пациенты, обрекшие себя на добровольное заточение в семашкинском заповеднике, на самом деле оказываются узниками обстоятельств: арестантами и надсмотрщиками, охотниками и дичью одновременно. Отсюда безысходность их положения!

«...Когда анарх (бывший революционер, один из героев повести) приходил к мысли, что он может, когда захочет, покинуть санаторную зону, где-то в глубоких тайниках начинала шевелиться другая мысль, что он говорит неправду, что он никогда не выйдет отсюда, что отсюда, как с того света, нет возврата, что именно в этом и заключается — если угодно — вся драма».

Несбывшиеся надежды воспринимаются героями повести как крушение идеала. Вместо ожидаемого счастья и покоя — растерянность и безысходность, вместо равенства и братства, о котором когда-то они мечтали и за что боролись,— отчуждение, враждебность, озлобленность и обман, вместо реального противника — «невидимый враг». А обман рождает тревогу, перерастающую в страх, избавление от которого для многих проходит мучительно трудно.

Кто виноват? Виноваты сами герои повести, теперь же узники санаторной зоны,— ведь они искренне верили, что счастье можно построить на чужих костях. Появление в зоне шпиона Карно, этого на первый взгляд отъявленного циника, приводит анарха к выводу: «Карно, бесспорно, призрак, одна из частей его собственного «я». У анарха была не одна возможность убедиться в этом». Следовательно, зло все-таки внутри нас. Оно и есть тот враг, поединок с которым может оказаться для любого смертельным.

Озлобление, беспощадность, спровоцированные братоубийственной гражданской войной, стали нормой поведения, мерой оценки поступков людей. Охота за явными и выдуманными врагами оказалась смыслом существования и даже наслаждением для Майи, как-то признавшейся анарху в порыве откровенности: «За несколько лет баррикадных боев я имела дело не с одним мужчиной и не с десятью и, возможно, не с двадцатью. Конечно, первая горячность прошла, но ее место заняла привычка. Вы понимаете? Я просто привыкла выслеживать, доносить. И поскольку к другим делам испытывала постоянную индифферентность и поскольку я всегда помнила, что отдала охранке все, что могла, я не только полюбила это дело, я просто — сто чертей! — не могу без него жить». До какой же степени нужно было развратить и обмануть народ, чтобы женщина, извечная хранительница жизни, стремилась к близости с мужчиной только ради того, чтобы потом его отправили на тот свет в «двадцать четыре часа»!

Тем не менее Майя так же, как анарх и медсестра Катря или юный мечтатель Хлоня, не ощущает душевного равновесия, ищет выход и мучается оттого, что не может найти его. А вот Карно решает для себя: «Я, собственно, думаю об одном: мне надо жить... Согласно моей философии, жизнь все равно есть тюрьма, которую только нужно обставить так, чтобы в ней были канарейка и самовар...» Люди с таким мировоззрением неплохо приживались в условиях сталинской инквизиции.

М и к о л а Х в ы л е в ы й. Повесть о санаторной зоне. Перевод с украинского А. Руденко-Десияна. Дружба народов. № 7, 1988.

Иное дело Хлоня. Он тяжело переживает разлад мечты и действительности: «Пройдут годы: один, два, десять, двадцать, и, поверьте мне, невидимый враг отомстит. Я уже сейчас вижу, как мысли моего великого учителя стонут под непосильной тяжестью грязи и маклерского извращения. Мировая сволочь, что пролезет в святая святых, спрячется там за его именем и сделает из него орудие, которым и отбросит человечество назад. И, если б у меня была хоть капля надежды, что могу бороться с этой сволочью, я был бы бессмертен... Но я только ничтожная точка у молчаливой стены, перед которой сложил оружие мой далекий учитель».

Блуждания героев Миколы Хвылевого в замкнутом пространстве санаторной зоны и разрешенного «свободомыслия» похожи на поведение сомнамбул. Сталкиваясь с видимыми и невидимыми преградами, пытаются они вырваться из плена собственного страха. Наверное, потому и любят взбираться на Командную высоту, что, видя раскинувшиеся дали, обретают душевное равновесие. Но едва спускаются вниз, в «зону», все повторяется вновь. Поэтому, когда Хлоня неожиданно восклицает: «Пойду искать свою эпоху!», становится ясно, что юноша обречен на гибель. И он находит выход на дне реки. Вслед за ним в этих же водах гибнет и анарх. Больные подавлены, лишь Карно с саркастической усмешкой взирает на происходящее.

И только один человек, чье изображение в тысячах копий видела вся страна, смотрел безучастно и строго на страдающий народ. Анарх «как-то... подошел к витрине и увидел эту голову. Именно она стояла, окруженная красным заревом. Обыватель сказал тогда: «Черный папа коммуны». Не так далек от истины оказался этот обыватель. На совести инквизитора-«папы» лежит множество преступлений и загубленных жизней. Лежит на ней и кровь самого Миколы Хвылевого, талантливого украинского писателя, мастера психологической прозы, застрелившегося в 1933 году от той же безысходности и невозможности отыскать свою эпоху, что привели к роковому решению и героев его «Повести о санаторной зоне».

А. Знатнов

В мастерской Культуры

Как явствует из аннотации, перед нами «книга очерков об узловых вехах в истории французской лирики XIX—XX столетий и ее крупных мастерах: Виньи, Гюго, Нервале, Бодлере, Рембо, Верлене, Малларме, Аполлинере, Десносе, Превере, Шаре, Сен-Жон Персе и многих других. Полю Элюару — всемирно прославленному певцу любви, человеческого братства и революционной перестройки жизни — посвящен самый обстоятельный из портретов».

С полным правом эта книга могла бы иметь подзаголовок, скажем, «Избранные работы по истории французской поэзии XIX—XX вв.» Однако в первых же ее строках недвусмысленно заявлена приверженность автора особому, специфически гуманитарному подходу к изучению культуры — подходу, который «к научному знанию не сводим, а разве только с ним сопределен». Собственно, перед нами подтверждение верности автора давно обнародованному кредо: уже в первой своей работе об Элюаре («...К горизонту всех людей», 1968) С. Великовский ставил непростую задачу «пройти между Сциллой педантичных штудий и Харибдой импрессионистической эссеистики». Сейчас та же установка сформулирована увереннее и спокойнее: «Вещи действительно сложные по возможности не упрощаются, вещи простые не усложняются».

С. Великовский уже лет двадцать занимается «вживлением» французской поэзии в русскую культурную почву. И вот итог: впервые в нашем литературоведении творчество десятков крупнейших поэтов Франции представлено в таком контексте — становления и утверждения первой в истории человечества безрелигиозной цивилизации, в обновляющемся лоне которой необратимо меняется весь уклад культуры. Это повлекло, в частности, и перемены в способах французского стихосложения: «правильный» стих за какие-то полвека — от А. Бертрана через Бодлера и Рембо к Аполлинеру — вытесняется стихом свободным, «освобожденным». Частность? Возможно, но С. Великовский усматривает здесь симптомы резких сдвигов в глубинных пластах самосознания французских лириков. Суть этих мировоззренческих сдвигов, ставших следствием «отпадения от веры», наиболее сжато выражена в главке «Философия приема»: «Переход от классических орудий работы в культуре (приемов мышления, исследования, сочинения) к орудиям неклассическим сопряжен со сменой онтологического положения самого мыслителя (исследователя, живописца, повествователя). Всякий раз он теперь уже не столько нашедший, сколько ищущий».

Промелькнули слова «работа в культуре». Пожалуй, именно к этому роду занятий более всего тяготеет сам С. Великовский, здесь его «сверхзадача» и одновременно отправная точка заявленной им «ненаучности». Если попробовать освежить несколько потрепанные словосочетания, то в самом деле, можно ли **вновь явить** оставшееся как бы в прошлом «явление культуры», **не являясь в ней лично?**

Разумеется, для доктора философии это риск, и не случайно его «свободные эссе» излучают такое внутреннее напряжение: слова отказываются здесь служить только инструментом анализа. Парадокс: излюбленные обороты Великовского принадлежат лексике книжной, нередко устаревшей, но, как ни странно, именно благодаря им усилие, по видимости чисто интеллектуальное, даже рафинированное, на глазах обретает плоть и кровь, побуждает к доверию на правах жизненного факта, а не призрака. Не стоит и спорить, точнее ли передают эти слова существо предмета, чем сухой треск терминов общепринятого «языка науки». Одно несомненно: исследователю удается, рассуждая о непростых материях, пробиться не только к разуму, но и к чувству читателя, непосредственно сообщить ему энергию понимания. Характерна в этом смысле неприязнь автора к любым формам расслабленности, равно как и ложной, недорого стоящей активности в сфере духа — заходит ли речь о псевдопоэтах («искушенные виршеслагатели... ходульные одописцы... назидательные изобличители») или о псевдофилософах, коим сплошь и рядом достается за «умозрительную премудрость», «докучливое суемудрие», «высоколобую философистику».

Напротив, применительно к истинной поэзии очень часты у автора метафоры, скажем так, «производственные»: «стихотворческое хозяйство Франции», «стиховой инструментарий». Здесь не услышишь легкого скрипа перьев, шелеста страниц: один поэт «проводит разведку» новых духовных ископаемых, другой «извлекает сырье», третий «дробит», четвертый «раскаляет добела» — и так далее: «выплавляют», «разливают по изложницам», «отливают болванки», «обтачивают» их, «доводят»... Наверное, такая «технологическая цепочка» не каждому придется по нраву, но в ней проступает одна из любимых идей автора: в Новое Время мастера Культуры уже не ждут благодати свыше, а сами «изготовляют» все духовно ценное на земле, вручную.

Письмо Великовского держится «сотрудничеством» сильной, хотя и неявной эмоции с трезвым анализом, благодаря чему и становятся возможны прорывы к точным и притом живым образам-суждениям. Изредка, правда, читателю приходится вязнуть в какой-нибудь «зябкой, прихотливо укутанной сердечной распутице» (это о Жюле Лафорге) или пытаться вообразить «извилистое струение крепко сбитых строк, плотно пригнанных друг к другу внутри... строфических построений» (о стихах Бодлера). Бывает, при отборе переводов (каждый поэт, кстати, представлен в книге хотя бы одним стихотворением) предпочтение отдается не самым удачным: видимо, в таких случаях внешне броская словесная эклектика в запале принимается за точный эквивалент поэтической энергии. Издержки, впрочем, ничтожны в сравнении с тем, чего автору удается достичь: фундаментальное по своей сути историко-культурное исследование предстает не плодом самодовлеющего умствования, а естественным, на наших глазах разворачивающимся духовным взаимодействием того, кто пишет, с теми, о ком он пишет. Любая серьезная мысль высказывается на страницах книги не **вместо** Рембо, Лотреамона, Малларме, Элюара — но как бы **вместе** с ними, на одном из живых наречий культуры нового времени.

Ярослав Богданов

С. Великовский. В скрещенье лучей. Групповой портрет с Элюаром. М., Советский писатель, 1987.

Советуем прочитать

Вячеслав Кондратьев. Сороковые... Рассказы и повести. М., Современник, 1988.

Страшная война, трудная жизнь тыла, сломанные судьбы людей — все это «сороковые роковые...» Рассказ «На станции Свободный», повести «Дорога в Бородухино» и «Селижаровский тракт» объединены одним героем Андреем Шергиным. Вот он случайно видит, как иа задворках железнодорожной станции заключенные ползут на коленях к товарному составу. «Чтоб не разбежались, гады»,— говорит Аидрею молодой конвоир... Вот мать Андрея, разыскивающая его воинскую часть, кладет еловые ветки на лицо убитого немца — «ведь должно же быть какое-то целомудрие в смерти...» Вот сам Андрей, ставший командиром взвода, ведет людей в бессмысленную атаку и с ужасом видит, «как тает его взвод, как ползут назад раненые, как замирают на поле убитые...»

А рядом, бок о бок с войной, смертью — любовь. Она иа первом плане в «Отпуске по ранению» и во «Встречах иа Сретенке». Главный герой Володька-лейтенант оказывается дома, в Москве, сначала в разгар войны, а потом сразу же после ее окончания, попадает в совсем иную жизнь с мирными заботами. Но он не знает, «что война, с которой, как показалось ему, покончил он, не оставит его никогда. Не знал и того, что эти четыре года останутся навсегда самыми главными в его жизни...»

А. Ахматова. Вечер. Стихи. Репринтное воспроизведение издания 1912 года, М., Книга, 1988.

Триста экземпляров первого сборника стихотворений Анны Ахматовой «Вечер» появились в 1912 году в петербургском издательстве «Цех поэтов». И вот вновь перед читателями книга в сумеречно-голубой обложке работы Сергея Городецкого с предисловием Михаила Кузмина, иллюстрациями-заставками А. Белобородова.

Репринтным воспроизведением сборника «Вечер» издательство «Книга» открывает новую библиотеку под названием «Книжные редкости». Библиотека такого рода изданий познакомит читателей с деятельностью отечественных издательств XIX — первой половины XX века. Ежегодно будут выходить 6—8 книг: художественная проза и поэзия, мемуары, драматургия, публицистика, научная и техническая литература. Среди первых книг новой Библиотеки — издания произведений А. Белого и Н. Бердяева, В. Брюсова и С. Булгакова, И. Бунина и Н. Бухарина, С. Волконского и Н. Гумилева, С. Есенина и Е. Замятина, Вяч. Иванова и Н. Клюева, В. Нарбута и В. Маяковского, Б. Пастернака и А. Ремизова, Н. Рериха и В. Розанова, И. Северянина и С. Соловьева, Ф. Сологуба и М. Цветаевой, К. Циолковского и А. Чаянова.

Елена Ржевская. Далекий гул. Повесть. Дружба народов, № 7, 1988.

Эта повесть — воспоминание о последних днях Великой Отечественной... «Обугленными провалами домов, клочьями рваных стен, костлявыми призраками домов, обглоданными лавиной снарядов и огня, всем безмолвием развалин Варшава мучительно озирала нас». Не менее трагичен был и вид поверженного Берлина. Война показана с достоверными, пронзительными деталями: старая полячка играет на рояле Баха в чудом уцелевшем доме на окраине Варшавы; еврейские женщины спасаются из немецкого концлагеря, брошенного сбежавшей охраной; югославского генерала из плена доставляют на самолете в Москву, к Сталину — генерал был в одном лагере с Яковом Джугашвили и хорошо знал его...

Убить в человеке человеческое не могут ни ужасы кровопролитных боев, ни апокалиптическое зрелище концлагерей... И горечь, и радость победы Елена Ржевская бережно сохранила в памяти, чтобы потом рассказать об этом.

Владимир Короленко. Письма к Луначарскому. Комментарии А. В. Храбровицкого. Новый мир, № 10, 1988.

Выдающийся писатель и гражданин России Короленко писал эти письма в Полтаве в 1920 году, незадолго до смерти. Инициатива переписки, по сведению В. Д. Бонч-Бруевича, принадлежала В. И. Ленину: «Надо просить А. В. Луначарского вступить с ним в переписку: ему удобней всего, как комиссару народного просвещения, и к тому же писателю».

Почти бескровной иа первых порах была Октябрьская революция, если бы затем ие разгорелась гражданская война, в значительной мере спровоцированная интервентами на севере, западе, юге и востоке России. Она и привела к террору с обеих сторон, против которого не мог не протестовать В. Г. Короленко. «И чтобы отныне и уже поистине никогда это страшное явление не возникало в социалистическом и все еще революционном обществе,— пишет С. Залыгин, предваряя публикацию писем Владимира Галактионовича,— нам нужно знать его историю. Всю в целом, а не по отдельным ее частям. Нам нужно помнить и тех рыцарей морали и справедливости, которые находились всегда и везде в самые трагические моменты и действовали так, как подсказывала им собственная совесть и ничто другое. Ведь в самый разгар и таких человеческих бедствий, как терроризм, находились люди, которые по мере своих сил (и даже сверх этой меры) противостояли подобным бедствиям. Может быть, исторически они были и не во всем правы, но даже если это так, они не перестают быть рыцарями и должны бесконечно долго жить в памяти народной».

Письма В. Г. Короленко к комиссару народного просвещения публикуются у нас впервые.

Известно, что Владимир Ильич с этими письмами познакомился вскоре после их выхода в парижском издании.

Т. Готье. Путешествие в Россию. Перевод с французского и комментарий Н. В. Шапошниковой. Предисловие А. Д. Михайлова. М., Мысль, 1988.

Теофиль Готье известен в нашей стране как незаурядный лирический поэт, увлекательный рассказчик, литературный, театральный и художественный критик, сторонник теории «искусства для искусства» и обладатель романтического, бунтарского красного жилета. Но не все знают, что он был другом Гюго и Бальзака. Этот южанин из Прованса был еще и страстным путешественником — побывал в Англии, Бельгии, Голландии, Италии, Испании, Германии, Греции, Швейцарии, Турции, Египте, Алжире. Посетил он дважды и Россию. «Готье был наблюдателем зорким, но все же «посторонним»; поэтому он чего-то не заметил, на что-то не обратил должного внимания. Но то, что он описал, он описал подробно и красочно. Он описал Петербург, Москву, Ярославль, Нижний Новгород такими... какими они теперь давно уже перестали быть. И в этом еще одно из достоинств его книги, не утратившей значения и в наши дни»,— считает автор предисловия А. Д. Михайлов.

Репродукции картин, гравюры, портреты, пейзажи органично дополняют рассказ Готье о русской зиме и Невском проспекте, бегах на Неве, балах в Зимнем дворце, домах и театрах, церквах.

Сергей Хрущев. Пенсионер союзного значения. Огонек. №№ 40—44, 1988. Анатолий Стреляный. Последний романтик. Дружба народов, № 11, 1988.

Обе публикации появились почти одновременно и посвящены Никите Сергеевичу Хрущеву.

Сегодня, как никогда, нам необходимо восстанавливать по крупицам страницы прошлого, такого сложного, порою трагического. И здесь неоценимую роль играют свидетельства очевидцев, участников этих событий. Но, как справедливо замечает доктор исторических наук С. А. Микоян, открывая публикацию Сергея Хрущева, «каждый читатель вправе и даже должен сопоставлять, изучать, сам делать анализ прочитанного и приходить к собственным выводам».

Пожелание это в равной степени можно отнести и к читателю мемуарного очерка сына Н. С. Хрущева, написанного во второй половине 60-х годов, и к публицистическому эссе известного писателя Анатолия Стреляного. Оба материала читаются с неослабевающим интересом, как и появившиеся ранее, в летних номерах «Знамени» записки Алексея Аджубея «Те десять лет» (о чем свидетельствует солидная почта журнала), ибо дают почувствовать дыхание минувшего, хотя и не такого далекого, но ставшего уже историческим времени, помогают лучше понять психологию людей, вершащих эту историю.

Современник, литературный журнал А. С. Пушкина 1836—1837 (избранные страницы). М., Советская Россия, 1988.

31 декабря 1835 года А. С. Пушкин направил прошение о новом журнале на имя Бенкендорфа — шефа жандармов, ведавшего и литературой. Пушкин писал: «Я желал бы в следующем, 1836 году, издать 4 тома статей чисто литературных,.. исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности»... Перед нами книга с обширными извлечениями из четырех томов пушкинского «Современника», выпущенных в свет в течение последнего года жизни поэта. Добротное оформление воспроизводит внешний вид того «Современника», в тексте же представлены обложки всех четырех выпусков журнала. Видим, как в каждом из них «сочетались» произведения Пушкина, Гоголя, Вяземского, Кольцова, Тютчева и менее известных нам авторов. Обстоятельное предисловие, полнота примечаний и указателей помогают разобраться в литературных отношениях и связях тридцатых годов прошлого века. Оправданна и пометка на последней странице: издание адресовано «детям старшего школьного возраста». Резонная рекомендация — книгу можно (да и — должно!) использовать в процессе изучения русской литературы в старших классах общеобразовательной школы.

Я. С. Лурье. Русские современники Возрождения. Книгописец Ефросин. Дьяк Федор Курицын. Л., Наука, 1988.

«Название книги,— предупреждает автор,— никого не должно вводить в заблуждение. Она отнюдь не имеет целью доказать, что XV или XVI века были веками русского Возрождения. Россия и Возрождение — проблема достаточно сложная...»

Вторгаясь в эту сложную проблему, Лурье показывает, сколь непохожи были история Западной Европы и история России, сколь полярными были политические, экономические, социальные и культурные реалии этих регионов: Возрождение и Реформация на Западе и борьба за ликвидацию ордынского ига, а затем его тяжких последствий в России.

В центре книги — два человека, подвижнический труд которых во многом помог культуре Древней Руси занять достойное положение в общеевропейской культуре. Это летописец Кирилло-Белозерского монастыря инок Ефросин, создатель первой на Руси социальной утопии, и великокняжеский дьяк и дипломат Федор Курицын,

автор знаменитой «Повести о Дракуле». Оба они жили во времена царствования великого князя Ивана III (1440—1505), с именем которого связано освобождение Руси от ордынского ига и превращение ее в централизованное государство.

В. Каверин, Вл. Новиков. Новое зрение. Книга о Юрии Тынянове. М., Книга, 1988.

Популярность тыняновских романов «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» в тридцатые годы и более поздние времена, когда эти книги нередко становились мишенью для недобросовестных придирок, а на его научные работы навешивались самые грозные ярлыки, позволили В. Каверину сказать на одной писательской годовщине: «Говорят, что юбилей — это день заслуженных преувеличений. Но наша литература знала столько незаслуженных преуменьшений!»

Примером такого «незаслуженного преуменьшения» была судьба тыняновского наследия. Сегодня произведения Тынянова — на волне интереса читателей, как и сама личность незаурядного литератора. Какими же чертами отличался характер Тынянова? Как он писал? Кто были его враги? Как относился к друзьям?.. О нем рассказывают Вениамин Каверин и Владимир Новиков как об историческом романисте, эссеисте, теоретике кино, переводчике, историке литературы. Рассказывают увлеченно, «перебивая» друг друга новыми и новыми сюжетами. «Жизнь и работа», «Детство», «Гимназия», «Друзья», «Характер», «Страницы архива», «О любви», «Пушкин», «Годы войны» — вот названия глав этой книги.

Ольга Кучкина. Это я, любовь! Повести, рассказы. М., Московский рабочий, 1988.

Мечущаяся по ночам от тоски по сбежавшему мужу Маша, полубезумная старуха Анна Иоанновна, ревностно оберегающая от коварных соседей по коммуналке «пушкинское бюро», не имеющее к Пушкину никакого отношения, автогонщик, вдруг ощутивший в себе после аварии способности экстрасенса... Простая, обыденная жизнь, когда один день медленно переливается в другой, третий, десятый, а потом вдруг от человека, который только что был рядом, остается «седьмой участок, пятнадцатый ряд, сначала прямо, довольно долго, потом налево...»

Многие герои живут как бы не своей, а заимствованной жизнью, вроде «фальшивой Клары» из одноименного рассказа. А вот произведения с названием, вынесенным на обложку книги, вопреки привычной традиции в ней нет. Может быть, потому, что вечная тема любви так или иначе связывает всех героев и все сюжеты.

Завершают книгу рассказы-воспоминания: «Зеленый луч», посвященный памяти Алексея Арбузова, и «Вечное движение» — Валентина Катаева.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии—921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 08.12.88. Подписано к печати 04.01.89. А 04107. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 21.00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 985 000 экз. (1-й завод 1—535 000 экз.). Заказ № 3501. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП. Москаа, А-137, ул. «Правды», 24.